Роберт Роупер

Набоков в Америке

CORPUS

СЕРИЯ "АВТОР КАК ПЕРСОНАЖ"

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

В книге подробно описан важный период жизни и творчества Владимира Набокова. В США он жил и работал с 1940 по 1958 год, преподавал в американских университетах, занимался энтомологией и, главное, стал писать по-английски. Именно здесь, после публикации романа “Лолита”, Набоков стал всемирно известным писателем. В книге приводится много документов, писем семьи Набоковых, отрывков из дневников, а также описывается жизнь в Соединенных Штатах в сороковые и пятидесятые годы и то, как она находила отражение в произведениях Владимира Набокова.

- Роберт Роупер
  -
  - Предисловие
  - Глава 1
  - Глава 2
  - Глава 3
  - Глава 4
  - Глава 5
  - Глава 6
  - Глава 7
  - Глава 8
  - Глава 9
  - Глава 10
  - Глава 11
  - Глава 12
  - Глава 13
  - Глава 14
  - Глава 15
  - Глава 16
  - Глава 17
  - Благодарности
  - Источники иллюстраций
  - Библиография
  - Примечания
- notes
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5

- ○ 6
- ○ 7
- ○ 8
- ○ 9
- ○ 10
- ○ 11
- ○ 12
- ○ 13
- ○ 14
- ○ 15
- ○ 16
- ○ 17
- ○ 18
- ○ 19
- ○ 20
- ○ 21
- ○ 22
- ○ 23
- ○ 24
- ○ 25
- ○ 26
- ○ 27
- ○ 28
- ○ 29
- ○ 30
- ○ 31
- ○ 32
- ○ 33
- ○ 34
- ○ 35
- ○ 36
- ○ 37
- ○ 38
- ○ 39
- ○ 40
- ○ 41
- ○ 42
- ○ 43
- ○ 44
- ○ 45
- ○ 46
- ○ 47
- ○ 48
- ○ 49

- ○ 50
- ○ 51
- ○ 52
- ○ 53
- ○ 54
- ○ 55
- ○ 56
- ○ 57
- ○ 58
- ○ 59
- ○ 60

Роберт Роупер
Набоков в Америке. По дороге к “Лолите”

Биллу Пирсону из Миссисипи,
в ком вечно жива литература

Published by arrangement with InkWell Management and Synopsis Literary Agency

Фото на обложке Carl Mydans/The LIFE Picture Collection/ Gettyimages.ru

Художественное оформление и макет Андрея Бондаренко

Предисловие

Русский отдыхает. Стройный, с надменным красивым лицом, в сопровождении на удивление высокого мальчишки он бродит вдоль форелевого ручья в горах Уосатч, в нескольких милях от Солт-Лейк-Сити, столицы штата Юта. В руках у гуляющих сачки для ловли бабочек. “В день я прохожу по 12–18 миль[1], – сообщает Набоков в письме, которое датируется ориентировочно 15 июля 1943 года, – в одних лишь шортах и теннисных туфлях… в этом каньоне всегда дует холодный ветер. Дмитрий ловит бабочек, сусликов, строит запруды и развлекается вовсю”.

Войска союзников высадились на Сицилии. Гиммлер приказал уничтожить еврейские гетто в Польше. Писатель Владимир Набоков ловит *Lycaeides melissa annetta*, мелких красивых бабочек с блестящими голубыми крылышками. Он находит экземпляры “на обоих берегах реки Литл-Коттонвуд на высоте 8500–9000 футов… для их среды обитания характерны… купы дугласий, муравейники… и заросли *Lupinus parviflorus Nuttall*”[2], местных бледных люпинов.

Писатель, который ловит бабочек, – коронный образ Набокова в Америке – обманул миллионы. “Дядька без штанов и рубашки”[3] – таким увидел его тем летом местный подросток Джон Дауни: он встретил Набокова на дороге в каньоне Коттонвуд. Писатель “шастал полуголым”, а когда мальчишка поинтересовался у Набокова, чем таким он занят, тот сперва ничего не ответил.

Ему было сорок четыре года. В ноябре Набокову удалят два передних зуба, а вскоре и остальные. (“Мой язык ощущает себя во рту подобно человеку, вернувшемуся домой и обнаружившему, что вся его мебель куда-то запропастилась”[4].) Лысеющий, с узкой грудью, заядлый курильщик. Двадцать лет до приезда в Америку жил в крайней бедности – в конце концов, он же художник, а какой художник без лишений? Жена его, Вера Евсеевна, бралась за любую работу, лишь бы прокормить семью. Ни Набоков, ни Вера никогда особенно не любили готовить, так что лишний вес им точно не грозил.

Набоковы угодили в историческую мясорубку и чудом уцелели. В перипетиях XX века они оказались персонажами в духе Зелига: большевики отобрали у них родину, из нацистского Берлина и оккупированного Парижа Набоковы едва успели унести ноги, – “маленькие люди”, в спину которым дышало злобное чудовище. Окажись они летом 1943 года в СССР, наверняка очутились бы среди тех тысяч ленинградцев, что умерли от

голода в самую страшную блокаду в истории человечества. Останься Набоковы во Франции[5], из которой им удалось бежать в самый последний момент, на последнем французском пароходе в Нью-Йорк, Вера, как еврейка, и их маленький сын, скорее всего, попали бы в концлагерь Дранси, откуда заключенных отправляли в Аушвиц-Биркенау.

И вот вместо этого – *melissa annetta*. Прогулки под солнцем дни напролет. В штате Юта не было ни холеры, ни массового голода. И хотя первое впечатление отдавало восхитительным абсурдом (надменный Набоков среди сурков и мормонов), природа неизменно вызывала у писателя восторг, и Америка манила его всю жизнь. Он отличался от прочих отчаявшихся иммигрантов военных лет, которые селились беспокойными анклавами в Нью-Йорке (за исключением художников со связями: эти направлялись прямиком в Голливуд). Три тысячи миль между рекой Гудзон и Тихим океаном на карте Соединенных Штатов, которую изобразил в 1976 году Сол Стейнберг, представлены в виде желтовато-коричневого каменистого клочка земли: несомненно, именно такой представляли себе Америку многие эмигранты. На Западе процветали бескультурье, изоляционизм, антисемитизм и без пяти минут фашизм. Многие образованные европейцы рассказывали о грубости американцев, их надменном невежестве, и эти истории лишь усиливали настороженность, с которой относились к американскому обществу. Разумеется, Набоков все это знал и первый был рад посмеяться над глупостью американцев. Он получил великолепное европейское образование, в совершенстве владел тремя языками, богатые и заботливые родители, разделявшие самые передовые взгляды своего времени, привили ему любовь к культуре и искусству, и вдруг он очутился среди ковбоев и религиозных фанатиков. Что это, как не насмешка судьбы?

Приглашенный преподавать в летней школе в Стэнфорде, Набоков не спешит через всю страну на поезде, но вместо этого отправляется в путешествие длиною в девятнадцать дней на “понтиаке”, за рулем которого его американский друг. Поездка “удалась на диво”[6], как признавалась в письме Вера, а Владимир рассказывал Эдмунду Уилсону, еще одному своему американскому другу: “Во время нашего автомобильного путешествия через несколько штатов (все – очень красивые) я увлеченно охотился на бабочек”[7].

В свои сорок с небольшим Набоков по-прежнему выглядел довольно молодо. Да, у него были вставные зубы и он – худой, с впалой грудью – походил на больного туберкулезом, однако оставался физически крепким и молодым еще и в том смысле, что

был безгранично влюблен в себя, точно восьмилетний мальчишка, который исписывает своим именем страницу учебника. Эта эгоистическая витальность, с которой окружающим было не так-то просто смириться, помогает объяснить странный факт его биографии. За двадцать лет, прожитых в Америке, он наездил почти 200 тысяч миль на машине, причем в основном по западным высокогорьям, во время отпусков, когда он занимался ловлей насекомых. Вера и Дмитрий разделяли его любовь к прогулкам: оба отлично охотились за бабочками, хотя Дмитрий, повзрослев, старался никогда не показываться на публике с сачком (на всех фотографиях, где он изображен с сачком, ему не больше семи).

Две сотни тысяч миль на машине. Разделите их на тринадцать – столько лет семейство Набоковых совершало длительные автомобильные поездки, сделайте поправку на то, что за рулем неизменно была Вера (пока Дмитрий не подрос и не смог ее подменять), прибавьте Владимира, который, сидя на пассажирском сиденье, то и дело сверялся с картой или что-то писал на карточках размером 10 × 15 см, и получите нечто вроде коэффициента глубокого счастья. Набоковым было очень хорошо вместе, и дни их были подчинены простейшей цели: они перемещались *оттуда сюда*, останавливались в заезжих дворах по доллару-два за ночь, в таких типично американских городках, что поневоле улыбнешься. В письмах Уилсону и прочим Набоков описывает эти поездки живо, но сдержанно. Сообщает о том, что загорел, о насекомых, которых удалось обнаружить, но и только. Глубокое счастье не располагает к рассказам. В то же время он продолжает заниматься и другими делами: работает над несколькими книгами, в частности над биографией Гоголя, мемуарами “Убедительное доказательство” (впоследствии озаглавленных “Память, говори”), романами “Лолита”, “Пнин” и “Бледное пламя”, а также над многотомным переводом “Евгения Онегина” с комментариями. В конце концов, Набоков – профессионал, он всегда работает, так почему бы не в дороге? Ведь сочинительство – это еще одно удовольствие.

В эти послевоенные годы американцы восхищались Диким Западом, искали собственное отражение в историях о ковбоях и первых поселенцах. Вестерны и раньше пользовались успехом, теперь же их популярность и вовсе взлетела до небес. В тот же период американцы чаще стали проводить отпуск, путешествуя на автомобиле по стране, и заезжие дворы (которые по новой моде стали называть “мотелями”) открывались повсеместно. Прокладывали новые дороги, чинили старые. Сеть федеральных скоростных автомагистралей, которую было решено организовать

в 1956 году по указу президента Эйзенхауэра, стала самым масштабным общественным проектом в истории человечества и высшим достижением американского дорожного строительства. В пятидесятые машины стали лучше, у людей появились лишние деньги, Соединенные Штаты только что выиграли великую войну: отчего бы и не съездить в Йеллоустоун?

Все эти странствия нашли отражение в американской литературе – в целом довольно посредственной, по мнению Набокова, хотя и не лишенной интереса. В американской литературе существует течение, которое вступает в противоречие с основным потоком достойнейших романов о сложных общественных отношениях – книгами Готорна, Хоуэллса, Джеймса, Кэсер, Драйзера и так далее, причем в то время, когда Набоков оказался в Америке, это течение вновь набирало силу. Традиция началась с Уолта Уитмена, отца нашей поэзии, первого американского поэта, который, надев фетровую шляпу с мягкими полями и туристические ботинки (словно для того, чтобы смахивать на бродягу), пустился в путь. Генри Миллер, большой знаток не американских обычаев, но европейских пороков, в 1930-е годы тоже отправился путешествовать. Битники странствовали и лихорадочно писали в то самое время, когда Набоков, искренне гордившийся тем, что его считают модернистом, только-только сошел на американский берег и незаметно влился в то же литературное течение.

Перекликается творчество Набокова и с еще одной составляющей американской литературной традиции – собранием грубых, но забавных небылиц, причем в этой куче отбросов попадаются истинные бриллианты. Эта традиция берет начало с капитана Джона Смита и через Уильяма Бартрама и Гектора Сент-Джона де Кревкера продолжается до Эмерсона, Одюбона, Торо, Джона Мьюра, Джона Берроуза и многих современных авторов – странствующих натуралистов, которые наблюдают за природой, хоть и не являются учеными. Пожалуй, больше всего в этом с Набоковым (который, к слову, терпеть не мог, когда его с кем-то сравнивали) схож Мьюр, родоначальник американского движения за охрану природы, новатор, переосмысливший роль ледников в формировании ландшафта: его труды упредили знаменитые набоковские поправки к научной классификации полиомматиновых, подсемейства голубянок, которые привели к полной его реорганизации. Частые и продолжительные прогулки Набокова по лесам и лугам того края, который он со временем стал называть своим “родным Западом”[8], перекликаются с тысячемильными путешествиями Мьюра. Оба больше всего

любили высокогорья. Оба были дарвинистами, которые тем не менее ушли от общепринятого восприятия этого учения и иногда высказывались в духе креационизма и мистицизма. Мьюр был, пожалуй, последним истинным трансценденталистом: он, как научил его Эмерсон, верил, что “всякое природное явление есть символ явления духовного”. Набоков тоже был спиритуалистом и, в частности, верил в существование потусторонних сил, которые обитают в нашем грешном земном мире.

Каньон Литл-Коттонвуд, штат Юта

Но вернемся к тому дню и дороге в каньоне Коттонвуд. Джон Дауни, мальчишка, спросивший у Набокова, чем тот занимается, уже знал ответ: Дауни и сам коллекционировал бабочек, а впоследствии стал известным энтомологом. Как он вспоминал в дальнейшем (цитирую по аудиозаписи):

> Не получив ответа, я все же продолжал: “Я тоже коллекционирую бабочек!” Он мельком взглянул на меня, приподнял бровь… но ничего не сказал и даже не замедлил шаг. Вдруг над дорогой порхнула какая-то нимфалида, если я правильно помню. “Что это?” – спросил он. Я в ответ попробовал воспроизвести

> латинское название бабочки, поскольку прежде мне не доводилось использовать термины в беседе с явными специалистами. Не так давно я прочел “Книгу о бабочках” Холланда. Набоков по-прежнему не замедлил шаг, однако на этот раз приподнял бровь чуть выше и не опускал чуть дольше. Еще одна бабочка пролетела над дорогой. “А это что?” – спросил он. Я произнес ее название, но уже не так уверенно… “Гм!” – только и ответил он. На глаза ему попался экземпляр другого вида… Я предположил, что это может быть, и тут он, к моему удивлению, остановился, протянул мне руку и проговорил: “Ну, здравствуй! Я Владимир Набоков”. Вот так мы и познакомились[9].

Здесь мы имеем возможность наблюдать, как грозный Владимир Набоков, который подчас держался отчужденно и снисходительно, *заводит знакомство*. Дауни был не первым из его многочисленных друзей-коллекционеров: сойдя с французского парохода, Набоков едва ли не сразу же отправился в Музей естественной истории, расположенный между Семьдесят девятой улицей и Сентрал-Парк-Вест, где познакомился с сотрудниками и совершенно их очаровал. В предшествовавшие двадцать лет Набокову остро не хватало общения с собратьями-коллекционерами, он крутился, зарабатывая на жизнь, и не мог себе позволить часто выбираться на природу или хотя бы посещать музеи. Однако он с увлечением читал научную литературу, и ему не терпелось посетить популярные места, где в Америке можно было поохотиться на бабочек. Уильям П. Комсток, научный сотрудник музея, и его коллеги делали работу, которую Набоков уважал, а главное – в Музее естественной истории трудились энтузиасты, которые, как и Набоков, для пополнения коллекции охотно выезжали на природу. Они говорили на его родном языке – я имею в виду не русский, а научную латынь, – и им, как никому, было понятно то детское удовольствие, которое испытывал писатель, когда ловил бабочек или же изучал их под микроскопом.

Здесь мы видим, как Набоков исполняет еще одно исконно американское пророчество. Оно гласит, что на этих землях установится новый тип отношений между людьми: демократические, искренние, плодотворные. Набоков, хоть и не особо любил Уитмена[10], воплотил в жизнь его завет дружить с обычными людьми, сближаться с простолюдинами. Разумеется, американские энтомологи – совсем не то, что нью-йоркские рабочие образца 1855 года или солдаты Гражданской войны,

которых Уитмен выхаживал в госпитале, но все-таки они – настоящие американцы, люди практического склада. Они делают то, что меняет мир, они путешествуют и не боятся запачкать руки. Именно они стали преданными друзьями Набокова.

К Набокову я пришел еще в юности и оставался его читателем полвека. Меня восхищает мастерство отдельных его произведений, в особенности я люблю те, что написаны в Соединенных Штатах, в период, который его биографы называют “американским”, то есть с 1940 по 1960 год. Помню, как несколько лет назад оказался в архиве и увидел там пожилого джентльмена, который сидел напротив меня за столом и, посмеиваясь, читал кипу старых писем. Когда старик ушел обедать, я тайком взглянул, что же он такое читал, и надо же! – это оказались письма Набокова. “Вот что мне хотелось бы прочесть, – внезапно понял я, разочарованный рукописями эпохи Гражданской войны. – Эти письма должны лежать на моей стороне стола”.

В поисках следов Набокова я проехал не одну тысячу миль по востоку и западу США: я старался выяснить, где он останавливался, что видел, с кем водил дружбу, на какие горы взбирался. В Афтоне, штат Вайоминг, я обнаружил мотель, который он полюбил летом 1952 года: там почти ничего не изменилось. А на границе национального парка Роки-Маунтин в Колорадо нашел сельскую гостиницу, где они с Верой снимали домик – он стоит по сей день, хотя в нем больше никто не живет. Я не утверждаю, что я был первым из поклонников Набокова, кто, приставив ладонь ко лбу и прижавшись лицом к пыльному оконному стеклу, вглядывался внутрь этой хижины. Вот он, его образ, его тень – бродит по растрескавшимся половицам, ложится на одну из сломанных коек.

То, что я побывал там же, где и Набоков, и видел то же, что и он, в конечном счете не особенно помогло мне в исследованиях. Куда полезнее оказалось пару лет посидеть на месте и перечитать его книги, время от времени совершая экскурсы в труды литературных критиков, чьи работы расплодились, как грибы вокруг величественной русской березы о двух стволах, с которой можно сравнить Набокова. Об этих же трудах хочу сказать следующее. Во-первых, они полностью соответствуют академическим стандартам, написаны понятным языком, с юмором и интеллектуальной честностью, – и это тем более удивительно, учитывая, что первые работы о Набокове увидели свет в то самое время, когда “новая критика” покоряла одну университетскую кафедру английской литературы за другой. Те

мужчины и женщины, которые решились писать о Набокове, использовали, совсем в стилистике предмета их исследований, простые отточенные формулировки и инстинктивно ненавидели научный жаргон: их труды, лишенные многих примет научной моды 1970-х годов, по сей день читаются на удивление легко.

Во-вторых, исследователи Набокова, как всякие ученые, с удовольствием отыскивают в его творчестве редкости, предназначенные для знатоков, причем делают это с максимумом упорства и ригоризма. Набоков заманивает таких читателей в ловушку: педант по натуре, он оставил нам корпус текстов, словно созданных для того, чтобы в них копались, отбирая лучшее. Если приглядеться, в его книгах повсюду рассыпаны скрытые отсылки. Иногда предмет поисков все сужается и сужается, и обычный читатель вроде меня приходит в тихий ужас: это когда-нибудь кончится? Неужели нельзя рассказывать более простые и, пожалуй, важные вещи о великом писателе?

В некотором смысле эта книга – попытка отобрать Набокова у ученых. Он и сам приложил немало усилий, чтобы объяснить простым американцам, как уловить увертливый смысл его произведений[1]. Несмотря на то, что Набоков зачастую держался снисходительно, он все же был не из тех художников слова, кто уклоняется от общения с толпой, при условии, конечно, что толпа соглашается на его условия. Он надеялся, что в Америке найдет более широкую читательскую аудиторию, и, в отличие от многих писателей-новаторов прошлого века, Набоков был готов предпринять для этого необходимые действия.

Я глубоко признателен, как вскоре догадается читатель этой книги, авторам блестящих фундаментальных биографий Набокова: Брайану Бойду за его книги “Владимир Набоков: русские годы” (1990) и “Владимир Набоков: американские годы” (1991), а также Стейси Шифф с ее несравненной “Верой” (1999). Благодаря тому, что эти писатели скрупулезно воссоздали биографию Набоковых день за днем, мне не пришлось изобретать колесо, да я бы, пожалуй, и не отважился.

Хотя, конечно, по ряду вопросов мы с ними все же расходимся. (“Что ж, этого следовало ожидать”, – усмехнулся бы читатель биографий, которые написаны на основе данных, полученных из вторых рук.) Меня снова и снова поражала явная, невероятная *американскость* набоковской трансформации, того, как он открылся здешним влияниям (хотя это давало знать о себе значительно раньше, когда он только мечтал, что в один прекрасный день бежит в Соединенные Штаты). По общему мнению, Набоков пошел на кардинальную перемену: десятилетиями писал и публиковал книги на русском и вот начал

писать по-английски. Чего же более? Это интеллектуальный переворот, истинное преображение, на которое способен не каждый. В Америке, согласно все тому же общему мнению, Набоков огляделся и с присущей ему проницательностью принялся изображать все, что видел, в духе пьесы “Я – камера”[2]. Что ж, соглашусь, однако и это еще не все. Меня поразило глубокое и отчасти завуалированное погружение Набокова в американскую культуру, то, что он усвоил наши литературные традиции и приспособил к собственным модернистским литературным занятиям. Если вдуматься, в этом нет ничего удивительного: все же Набоков был, что называется, классическим писателем, отправной точкой в творчестве которого становятся совпадения, неожиданная взаимосвязь с предшественниками и их трудами. Так было, когда он писал по-русски: его собственные истории росли на сказочно плодородной почве произведений других славянских авторов-предшественников Набокова, которых он любил (хотя некоторых из них любил лишь высмеивать), и он руководствовался теми же принципами, когда начал писать по-английски.

Бойд и другие с готовностью признают, что Америка стала для Набокова благоприятной возможностью, живительной переменой, однако общее мнение таково, что на деле Америка лишь очередной эпизод в мистерии набоковского гениальности. Дескать, он двадцать лет прожил в Берлине и Париже, где писал по-русски и создал выдающиеся произведения, потом еще двадцать лет прожил в Америке, где писал по-английски и где из-под его пера также вышли достойнейшие работы. Потом без малого двадцать лет жил в пятизвездочном отеле в Швейцарии и создавал шедевры. Так, да не так, отвечу я. Все набоковские произведения великолепны, но все же на истинное величие претендуют лишь те, что были созданы в Америке. И дело тут не только в тех романах, принесших ему славу в середине творческого пути, как, к примеру, “Лолита”, которая привлекла к Набокову внимание широкой читательской аудитории, чего он так добивался. Пусть даже миллионы читателей именно благодаря “Лолите” помнят его фамилию (хотя порой и неправильно произносят[3]), однако погружение в американскую действительность повлекло за собой куда более значимые изменения, чем, к примеру, его знакомство с немецким укладом жизни в Берлине или последние десятилетия жизни, проведенные в Швейцарии.

Германию он так и не полюбил (впрочем, мало кто из русских ее любит), Швейцария же стала для него достойным убежищем, местом, где он мог работать и принимать почести. А вот Америку

Набоков любил – ту самую, вульгарную необъятную Америку. То, что он так проникся ею, так спокойно принял перемены, которые она в нем произвела, отчасти объяснялось тем, что здесь он мог в свое удовольствие охотиться за бабочками, но также и тем, что в середине XX века в Америке была возможность вырастить здорового и подающего надежды ребенка. По сравнению с Европой с ее ночными погромами, а также Германией и СССР, пораженными тоталитарным безумием, в Америке было легче дышать, однако, как ни странно, для Набокова-художника это не стало поводом к тому, чтобы успокоиться и почивать на лаврах. Напротив, его манера стала более дерзновенной и даже, я бы сказал, по-американски нахальной.

Американский период в творчестве Набокова, эти двадцать полных лет, уже обросли мифами. О том, как эмигрант без гроша за душой и поначалу без языка, на котором он мог бы свободно обращаться к новому читателю, стал самым популярным англоязычным автором в мире, создателем бестселлера о сексе и прочих выдающихся произведений. Начали переиздавать его ранние русские романы, переводы которых Набоков контролировал лично, и вскоре его объявили живым классиком, гением уровня Пруста, Джойса и Кафки. Его случай служил примером нуждающимся писателям всего мира. Силой его воли и искрометной оригинальностью восхищались даже те, кому не нравились его романы. Раз получилось у Набокова, быть может, получится и у них.

Возможно, его стиль, строгий и вместе с тем вычурный, изобилующий словесными играми и мудреными отсылками, выбивался из русла массовой литературы. Иными словами, не все его романы суть бессмертные классические произведения, как он самонадеянно утверждал в предисловиях, которые сам и писал к английским изданиям. Быть может, “Лолита” действует на публику, как торнадо в Оклахоме: шокирует, удивляет и ужасает, но вместе с тем в гадливой, похотливой манере обнажает истинно американскую фобию, которую, кажется, заметил только Набоков, – страх, что изнасилуют ребенка. Возможно, кто-то прекрасно проживет, не перечитывая “Аду”. Возможно, “Смотри на арлекинов!”, “Прозрачные вещи”, “Под знаком незаконнорожденных”, “Приглашение на казнь”, “Отчаяние”, даже целые части “Дара”, романа, написанного по-русски, которым Набоков особенно гордился, – не так уж и интересны. Набоков умело рекламировал свои произведения, так что, возможно, в некотором смысле нам всучили фальшивку.

Какая разница. Миф остается мифом, и книги мы раз за

разом открываем для себя снова. История о том, чего ему удалось добиться, невзирая на перипетии судьбы, поистине вдохновляет: родители, чьи дети любят книги, должны читать ее им у камина и на ночь, упирая на то, что нежелание пойти на компромисс и отказаться от высоких требований в конечном счете оправдывает себя (хотя, конечно, умение приспосабливаться, находить себе учителей, мимикрировать, внаглую заимствовать и без конца уговаривать – тоже удобная штука).

Бегство в Америку, когда тебя по пятам преследует кошмар мировой войны, – огромная удача, но к этому Набоков долго готовился, впрочем, как и ко многому другому. Истинная загадка в том, как он сумел в четыре года выучиться читать по-английски11 – раньше, чем по-русски, как так получилось, что отец его был сторонником конституциональной формы правления, держался по-американски либеральных взглядов и сумел внушить сыну любовь ко всему английскому, так что мальчик мечтал однажды очутиться в тех краях, где говорят на этом языке. Гуляя по парку родительского имения, юный Набоков воображал себя героем историй про ковбоев и индейцев, с ранних лет полюбил охотиться, как Хемингуэй в Мичигане или Фолкнер на севере Миссисипи (пусть только на бабочек, но все же). Неужели только теперь, по прошествии многих лет, Набоков выглядит типичным американцем, как бы парадоксально это ни звучало? Или же он создал новую Америку – собственную страну в духе “Лолиты”, полную путаницы и заливистого нервного смеха, – словно в доказательство того, кем, как верил Набоков, ему суждено было стать?

Глава 1

К бегству в Америку, которое, сложись обстоятельства иначе, могло и не состояться, Набоковы шли долго. По меньшей мере с 1930 года они предпринимали попытки уехать из Германии, но каждый раз оставались, в основном по финансовым причинам1. В 1936 году Вера все-таки убедила Владимира перебраться в относительно безопасную Францию, а сама с двухлетним сыном предполагала остаться в Берлине, чтобы привести в порядок дела.

Вера, чей заработок был существенен для семьи, оказалась без работы. Она переводила переписку в инженерной фирме, но весной 1935 года нацисты отобрали ее у владельцев-евреев и уволили всех неарийских сотрудников. Набоков, который в этот период активно писал (“Подвиг”, “Камера обскура”, “Отчаяние”, “Приглашение на казнь”, отдельные главы “Дара” – лишь часть созданного им в 1930-е годы), был согласен практически на любую работу в Англии или во Франции. Не пугала его и “жизнь в американской глуши”2, как он писал знакомому преподавателю из Гарварда. Набоковы считали, что главная опасность угрожает не еврейке Вере, а Владимиру: высокий пост в нацистском департаменте по делам эмигрантов занял человек, который для Набокова воплощал в себе худшее из зол, – Сергей Таборицкий, фанатик-монархист, в 1922 году при покушении на Милюкова застреливший отца писателя, Владимира Дмитриевича Набокова. В отличие от отца Владимир Набоков на политические темы не писал, но фамилии и связанных с ней ассоциаций, полагала Вера, было достаточно для включения его в расстрельные списки.

В начале 1937-го, как и годом ранее, Набоков договорился о выступлениях в Антверпене, Брюсселе и Париже. Особенно успешными были чтения на рю Лас Каз – в Париже у Набокова хватало горячих поклонников и поклонниц. Хотя в общем хоре почитателей звучали и голоса недовольных, все же В. Сирина (псевдоним Набокова в эмиграции – впрочем, его знали и под настоящим именем) признавали блестящим писателем и прочили в наследники Пушкину, Лермонтову, Толстому и Чехову. Среди критически настроенных были писатели – как ровесники, так и завидовавшие ему старшие коллеги вроде Ивана Бунина, лауреата Нобелевской премии по литературе за 1933 год, который вечно подтрунивал над молодым талантом, и не всегда по-доброму. Но как бы то ни было, в начале 1937 года Набокова встретили в Париже как героя и восходящую звезду.

С середины января, когда Набоков расстался с женой, и до третьей недели мая, когда они снова встретились, он писал Вере

каждый день, иногда по два раза[3]. Письма его пронизаны невероятной нежностью:

> Жизнь моя, любовь моя, сегодня двенадцать лет [со дня нашей свадьбы]. В этот самый день опубликовали "Отчаяние", и "Дар" вышел в *Annales Contemporaines*… Ленч на вилле Генри Черча (американский миллионер с очаровательным чиреем на затылке… и женой немецкого происхождения, горячей поклонницей литературы) прошел на удивление хорошо… Меня "чествовали", я превосходно выступил… Мы прекрасно поладили с Сильвией Бич, которая издавала Джойса: она может оказать существенную помощь с публикацией "Отчаяния", если Галлимар и Альбин Мишель *ne marcheront pas*… Родная моя, я тебя люблю. Рассказ о моем мальчике… очарователен. [Дмитрий выучил стихотворение Пушкина.] Любимая, любимая, как же я давно тебя не видел… Обнимаю тебя, радость моя, моя усталая девочка[4].

Сочетание нежностей, смешных описаний ("очаровательный чирей на затылке") – все это так по-набоковски. Пожалуй, лишним было бы объяснять, что в Париже Набоков завел роман. Вера это чувствовала; потом какой-то доброхот написал ей о разлучнице, некой Ирине Гуаданини, разведенной молодой особе, которая работала собачьим парикмахером. Гуаданини была из тех поклонниц Сирина, которые могли читать его стихи наизусть целыми страницами, если не сборниками. Набоков измену отрицал и утверждал, что о нем из зависти распускают сплетни. Жене он по-прежнему со все той же нежностью писал каждый день – и при этом напропалую врал[5].

Вера оказалась в отчаянном положении: еврейка с двухлетним ребенком и практически без гроша в кармане, в стране, где в тот год был построен концлагерь Бухенвальд и прошла выставка "дегенеративного искусства", клеймившая, среди прочих, и многих еврейских художников. И все же Вера не спешила ехать к мужу на юг Франции, а вместо этого отправилась на восток, в Прагу, где на небольшую пенсию жила мать Набокова. Мадам Набокова никогда не видела внука, и больше могло не представиться возможности его ей показать.

Решив непременно исполнить долг перед свекровью, Вера хотела заодно помучить неверного мужа – тот и так уже сходил с ума от чувства вины, но все не мог расстаться с Гуаданини, которая, если верить рассказу, опубликованному ею четверть века спустя[6], в жизни никого так не любила, как Набокова. У него

даже начался псориаз, который и раньше досаждал ему во времена бурных душевных переживаний. В конце концов писатель сел в поезд и приехал в Прагу. Там он в последний раз встретился с матерью, а та в первый и последний раз увидела внука. Кризис в отношениях Владимира и Веры продолжался несколько месяцев и разрешился только в середине июля в Каннах, когда Набоков нашел в себе силы сознаться в измене. (Какое-то время он продолжал писать Гуаданини, та однажды отыскала его на берегу моря и умоляла уехать с нею. Окончательное расставание с Ириной было для него трудным и болезненным.)

До женитьбы он слыл ловеласом, и Вера об этом знала. Всего в юности у Набокова было двадцать восемь пассий, и в первые годы брака он продолжал повесничать, разумеется тайком от жены. (“Берлин очень красив сейчас, благодаря весне, которая в этом году особенно хороша, – писал он Ходасевичу в 1934 году, – и я, как пес, дурею от всевозможных привлекательных запахов”7.) После захватывающего, мучительного романа с Ириной Гуаданини бурные похождения на стороне закончились навсегда. Очаровательная Вера – женщина гордая, умная и преданно любящая, – быть может, и поблекла за десять лет скудного существования, родив сына и, по слухам, за год до этого эпизода потеряв второго ребенка8, но явно была не из тех, кого так просто бросают. И хотя биограф Веры Стейси Шифф утверждает, будто роман с Ириной Гуаданини в 1937 году был таким же “последним”, как и “последняя” сигарета в 1945 году (Набоков тогда перестал курить по четыре-пять пачек в день), вопрос измен в этом браке был решительно закрыт9.

Франция – не Германия, но и здесь в конце 1930-х эмигрантов вроде Набокова ждал не самый радушный прием. Несмотря на славу и литературные знакомства, работать на законных основаниях он не мог и до августа 1938 года не имел французской *carte d’identité*[4]. В Париже Набоковы старались не появляться: там их окружали сплетни, там жила Гуаданини. В конце 1938 года Набоков снова выступал с чтениями в столице, но по большей части они с Верой жили уединенно, на Лазурном Берегу, который в те дни считался теплой и дешевой альтернативой Парижу. Набоков увлеченно работал. Нельзя сказать, что в сочинительстве он искал убежища от личных проблем: Набоков и до семейного кризиса много писал. Вера в тяжелый период жизни тоже не оставляла работы и закончила перевод романа “Приглашение на казнь”, чтобы отослать его литературному агенту в Нью-Йорке.

В 1934 году лондонский литературный агент Набокова

продал права на издание в Великобритании двух других романов – “Камера обскура” и “Отчаяние”[10]. Английский перевод “Камеры обскура” разочаровал Набокова: он посчитал его “небрежным, непродуманным, сырым… полным избитых оборотов, которые приглушают… трудные пассажи”[11], но все-таки позволил издателю Хатчинсону оставить все как есть. Три года спустя, когда нью-йоркский агент Алтаграция де Жаннелли продала права на издание романа в Америке, Набоков сам перевел его на английский, в процессе основательно переписав и дав название, которое, как он полагал, привлечет американцев: *Laughter in the Dark* (“Смех в темноте”). Тогда он еще не был полностью уверен в своем английском и поэтому договорился с издателем Уолтером Хатчинсоном, что его редакторы проверят перевод и исправят возможные ляпы[12].

Попутно шла работа над переводом романа “Камера обскура” на французский, шведский, чешский и немецкий языки. Разумеется, английский перевод, учитывая читательскую аудиторию в англоговорящих странах, был самым важным. В Советском Союзе книг Сирина как бы не существовало: родина его литературного дара, где у него были миллионы потенциальных читателей, где он мог бы писать на родном языке и не заботиться о переводах, почивая на лаврах законного наследника самой дорогой и близкой ему традиции – пушкинской, была для него, к несчастью, безвозвратно утрачена. Впрочем, не для него одного. Той России, в которой ему так спокойно и привольно жилось, больше не было. Оставшихся на родине писателей его поколения в большинстве случаев ждал арест и скорый суд в тюремных застенках: так, Исаака Бабеля, автора “Конармии”, арестовали в 1939-м и расстреляли в 1940 году; Осип Мандельштам, арестованный в 1938 году, в декабре того же года погиб в лагере. Знаменитое стихотворение Мандельштама “Горец”, в котором поэт сравнивает “толстые пальцы” Сталина с жирными червями, а “усища” называет “тараканьими”, начинается строчкой: “Мы живем, под собою не чуя страны”. Смысл этих слов в том, что его поколение потеряло Россию навсегда.

Так что переводить собственные книги на английский с тем, чтобы они продавались в Америке, – не худшее занятие для русского писателя в тридцатые годы XX века. И если с американской литературой Набоков был толком не знаком и в целом относился к ней довольно пренебрежительно, то английскую и ирландскую он знал хорошо: Шекспир, Стивенсон и Джойс были любимыми его авторами. В детстве мать читала ему английские сказки, так что язык он усвоил с ранних лет. Став

чуть постарше, зачитывался романами Майн Рида, ирландца, который участвовал в Мексиканской войне 1846–1848 годов, а затем написал несколько книг о Диком Западе: “Охотники за скальпами”, “Вольные стрелки”, “Смертельный выстрел” и “Всадник без головы”. Набоков утверждал, что именно Рид своими непритязательными, но крайне увлекательными романами открыл для него великие прерии и безбрежные небеса Дикого Запада13. Взять хотя бы описание выжженной прерии из “Всадника без головы” (1866):

> Кругом не видно ничего, кроме черных просторов. Нигде никакой зелени – ни стебелька, ни травинки. Пожар прошел недавно – во время летнего солнцестояния. Созревшие травы и яркие цветы прерии – все превратилось в пепел под разрушающим дыханием огня. Впереди, направо, налево, насколько хватает зрения, простирается картина опустошения. Небо теперь не лазоревое – оно стало темно-синим, а солнце, хоть и не заслонено облаками, как будто не хочет здесь светить и словно хмурится, глядя на мрачную землю[5].

Если не обращать внимания на старомодные красивости, можно зримо представить себе эту картину. Майн Рид со всем его молодечеством, безусловно, из тех писателей, кто рассказывает в точности то, что видит своими глазами.

На следующей странице мы читаем:

> Ландшафт, если только его можно так назвать, изменился, но не к лучшему. Все по-прежнему черно до самого горизонта. Только поверхность уже не ровная: она стала волнистой. Цепи холмов перемежаются долинами. Нельзя сказать, что здесь совсем нет деревьев, хотя то, что от них осталось, едва ли можно так назвать. Здесь были деревья до пожара – алгаробо, мескито и еще некоторые виды акации росли здесь в одиночку и рощами. Их перистая листва исчезла без следа, остались только обуглившиеся стволы и почерневшие ветки.

В автобиографии “Другие берега” Набоков отмечает, что во “Всаднике без головы” есть “проблески таланта”. Наглядные описания, выполненные с естественнонаучной точностью – экзотические названия “алгаробо” и “мескито” употреблены тут исключительно к месту, – очень нравятся определенного склада читателям, в том числе многим мальчишкам.

Спустя еще несколько страниц на выжженной равнине

показывается фигура:

> Застывшие на вершине холма лошадь и всадник представляли собой картину, достойную описания. Породистый гнедой конь – даже арабскому шейху не стыдно было бы сесть на такого коня! – широкогрудый, на стройных, как тростник, ногах; с могучим крупом и великолепным густым хвостом. А на спине у него всадник… прекрасно сложенный, с правильными чертами лица, одетый в живописный костюм мексиканского ранчеро: на нем бархатная куртка, брюки со шнуровкой по бокам, сапоги из шкуры бизона с тяжелыми шпорами, ярко-красный шелковый шарф опоясывает талию; на голове черная глянцевая шляпа, отделанная золотым позументом.

Это – герой романа, храбрец Морис Джеральд (“как выясняется впоследствии к сугубому восхищению Луизы… – сэр Морис Джеральд”, – уточняет Набоков). В своих произведениях – а это семьдесят пять романов плюс журналистские репортажи – Майн Рид уделяет большое внимание костюмам персонажей. Его герои брутальны и резки, однако при этом по-своему изысканны и чертовски притягательны для женщин:

> А из-за занавесок кареты на всадника смотрели глаза, выдававшие совсем особое чувство. Первый раз в жизни Луиза Пойндекстер увидела человека, который, казалось, был реальным воплощением героя ее девичьих грез. Незнакомец был бы польщен, если бы узнал, какое волнение он вызвал в груди молодой креолки.

В “Других берегах” Набоков вспоминает, как они с двоюродным братом Юрием Рауш фон Траубенбергом разыгрывали сцены из Майн Рида, совершенствуясь в искусстве держать себя по-ковбойски невозмутимо. Не стоит, видимо, искать истоки набоковского высокого штиля в приключенческих романах его отрочества, и все же свой след в его книгах они оставили: с романами Набокова их роднит восхищение природой Северной Америки, ее зовущими к приключениям просторами; естественнонаучная терминология, экзотическая чувственность и та пристальность писательского взгляда, которая позволяет отметить, что прямо над головой небесная лазурь кажется темнее, чем у горизонта. “Бывшее у меня издание (вероятно, лондонское), – пишет Набоков, – осталось стоять на полке памяти в виде пухлой книги в красном коленкоровом переплете”.

Примечательно, что это был “несокращенный и довольно многословный оригинал”, а не “упрощенный перевод”, которым приходилось довольствоваться Юрию и другим русским мальчишкам, не владевшим в достаточной мере английским языком. Заглавную картинку, “как бы выгоревшую от солнца жаркого отроческого воображения, я вспомнить не могу, – пишет Набоков, – …вместо той картины вижу в окно ранчо всамделишную юго-западную пустыню с кактусами, слышу утренний, нежно-жалобный крик венценосной Гамбелевой куропаточки и преисполняюсь чувством каких-то небывалых свершений и наград”[14].

Американский литературный агент Набокова Алтаграция де Жаннелли трудилась не покладая рук. Судя по ее письмам, она стучалась во все двери, пытаясь пристроить в печать романы Сирина, написанные под заметным влиянием Джойса и Пруста. В августе 1936 года де Жаннелли писала Набокову:

> Прикладываю пару откликов на ваши книги. Не принимайте их близко к сердцу – где-нибудь непременно есть нужный нам человек, и рано или поздно мы его отыщем:
>
> “4 августа 1936 г.
>
> Вынуждены уведомить вас, что издательство *Houghton Mifflin Company* не имеет возможности опубликовать присланную вами рукопись”.
>
> “12 августа 1936 г.
>
> Большое спасибо за то, что прислали нам роман LA COURSE DU FOU [«Защита Лужина»]. Произведение очень интересное, но нашему издательству не подходит. Вы можете забрать рукопись в удобное для вас время”[15].

В декабре Жаннелли прислала еще один отклик:

> К сожалению, имя Набокова-Сирина совершенно неизвестно американскому читателю, а значит, его роман *KONIG DAME BUBE* [“Король, дама, валет”] едва ли будет пользоваться спросом. Исключительно из этих соображений мы не можем взяться за публикацию книги, которая обладает многими несомненными достоинствами[16].

Несколько романов существовали только на русском, и это осложняло работу с американскими издателями, которым совершенно не хотелось нанимать рецензентов со знанием

иностранного языка. Но даже и без этого произведения В. Сирина – или, как он сам себя теперь называл, *Nabokoff*, а впоследствии и просто *Nabokov*, – продавались туго: казалось, автор специально не хочет писать на темы, которые интересны широкой публике, а главные герои у него непременно либо сумасшедшие, либо заблудшие, так что читатель едва ли сможет узнать в них себя. Набоков, как до него Джойс, участвовал в модернистской контратаке на чтиво для обывателей, романы, от которых всегда знаешь, чего ждать, с линейным развитием сюжета и непременной моралью в конце. Он всю жизнь выступал против читателей, искавших в его книгах "социальную проблематику". Подобные запросы приводили Набокова в ярость, как можно заметить хотя бы из записки Ходасевичу:

> [Писатели должны] заниматься своим бессмысленным, невинным, упоительным делом, – мимоходом оправдывающим все то, что, в сущности, оправдания и не требует: странность такого бытия, неудобства, одиночество… и какое-то тихое внутреннее веселье. Поэтому невыносимы – равно умные и неумные – речи о "современности", "inquietude"'е, "религиозном возрождении" и решительно все фразы, в которых встречается слово "послевоенный"[17].

Жаннелли, которая признавала талант Набокова (и, кроме того, считала, что его книги могут пользоваться определенным спросом) – но, к несчастью, рано скончалась[18], умерла до того, как автор пошел на уступки здравому смыслу и стал писать так, что, пожалуй, она смогла бы выгодно продать его произведения, – послала один из романов в шестьдесят с лишним издательств и периодических изданий. Вот лишь некоторые из фирм, в которые обращалась Жаннелли (список взят из собрания писем с отказами, хранящихся в Библиотеке Конгресса): *Houghton Mifflin, Henry Holt, Liveright, Robert M. McBride, Lippincott, Longmans, Creen & Co., Chas. Scribner's Sons, Knopf, Random House, Macmillan, Simon and Schuster, MGM, the New York Times, the John Day Co., Little, Brown, the Phoenix Press, Frederick A. Stokes Co., Esquire, The Saturday Evening Post, G. P. Putnam's Sons, Reynal and Hitchcock, Dodd, Mead & Co., Harcourt, Brace & Co., H. C. Kinsey & Co., the Atlantic Monthly, D. Appleton-Century Co., Blue Ribbon Books, Liberty magazine, Doubleday, Doran & Co.* и *Life*.

То, что удалось продать "Смех в темноте" (1941) в издательство *Bobbs-Merrill*, выпускавшее учебную литературу, было событием из ряда вон выходящим. Но к этому моменту "Смех" дважды перевели на английский, причем второй перевод

Набоков сделал лично и постарался максимально учесть предпочтения американского читателя, поменял немецкие имена на английские (Магду на Марго, Аннелизу на Элизабет и т. п.) и заострил лейтмотив кинематографических клише, заполонивших умы. Художественный критик Альбинус увлекается капельдинершей из кинематографа: капельдинерша молода, красива и бессердечна. Она мечтает стать кинозвездой. Роман изобилует кинематографическими клише: так, Альбинус теряет все (и даже больше) и фактически становится беспомощной куклой в руках юной красавицы и ее жестокого циника-любовника. Световые эффекты в стиле немецкого экспрессионизма – фильм-нуар *avant la lettre*[6] – придают всей истории черно-белое настроение. Жестокость демонстрируют в основном с помощью насмешек, причем всегда над бедным Альбинусом, потерявшим голову от любви:

> В детстве он обливал керосином и поджигал живых мышей, которые, горя, еще бегали, как метеоры. А уж в то, что он вытворял с кошками, лучше даже стараться не вникать. В зрелые же годы… Рекс находил более изощренные способы удовлетворения своего любопытства – не нездорового, болезненного, для которого предусмотрен соответствующий медицинский термин (ничего подобного и в помине не было), а просто бесстрастного, широкоглазого любопытства к тем рисункам на полях, которые жизнь поставляла его искусству. Ему нравилось помогать жизни обретать глуповатые очертания и беспомощно окарикатуриваться[7].

Однако после публикации “Смех…” ждал провал: в *Bobbs-Merrill* отметили, что книга продается вяло, и следующие романы Сирина решили не брать. И даже несмотря на это, относительно короткий роман можно назвать триумфом: захватывающий, оригинальный, он приводил читателей в смятение. Пожалуй, его жестокий юмор несколько опередил время: он напоминает по стилю черную комедию – как и третья часть “Шума и ярости” (“6 апреля 1928 года”), романа, который к тридцатым годам Набоков наверняка еще не прочитал и, скорее всего, не прочел бы никогда, поскольку Фолкнер относился к числу тех американских писателей, которых он неустанно высмеивал[19]. Набоков надеялся, что “Смех в темноте” привлечет внимание продюсеров, и хотя в тридцатые фильм так и не был снят, в 1969 году все же появилась постановка Тони Ричардсона с Николом Уильямсоном и Анной Кариной, однако особого успеха у публики она тоже не имела.

Брайан Бойд, биограф Набокова, представляет Алтаграцию де Жаннелли как фигуру в общем и целом комическую. Он цитирует ее письмо к Набокову, где она называет себя его “литературным (или, точнее, антилитературным) агентом – низкорослой, жуткого вида кривоногой женщиной с выкрашенными в неприлично рыжий цвет волосами”. Жаннелли представлена мещанкой, донимавшей утонченного писателя абсурдными требованиями – написать “модную книгу с привлекательными героями и нравоучительным содержанием”[20]. Однако их споры затрагивали темы, которые по-настоящему волновали Набокова, влачившего в Европе нищенское существование. Как складывается литературная жизнь в Соединенных Штатах? Чего ему ждать от Америки? Жаннелли просвещала его в вопросах, которые считала особенно важными. Так, в 1938 году, еще до того, как они встретились, и после того, как Набоков годами называл ее “мистером Жаннелли”, она писала:

> Нет, на “мистера” я вовсе не обижаюсь по той простой причине, что все, кто ни разу меня не видел, обращаются ко мне именно так… Европейцы не представляют, на что способны американки, и полагают, будто любую мало-мальски серьезную работу может выполнить лишь мужчина. Но в Америке и женщины могут многое. Женщины считают себя ровней мужчин и зачастую выступают против них, поскольку видят в них (пожалуй, в духе Стриндберга) врага[21].

Жаннелли нахваливала Америку за то, что там можно вести серьезный бизнес, а себя, словно оправдываясь, представляла как человека с большими связями – в ответ на предположение Николая Набокова, младшего двоюродного брата писателя, который жил в Нью-Йорке с 1933 года, будто она как-то не так общается с издательствами:

> Для вашего спокойствия я связалась с *Viking* и выяснила, что ваш кузен снова перепутал числа: в издательстве мне сказали, что Гарольд Гинзбург вернется лишь к середине сентября… Редактор, с которым я говорила, собирается в отпуск, так что, пожалуй, не стану высылать им рукопись… пока не встречусь с Гинзбургом лично. Еще… я отправила “Отчаяние” в издательство, которым руководят мои близкие друзья, хотя, разумеется, они покупают книги не из доброго ко мне отношения, а потому что знают, что могут на них заработать[22].

Тогда еще некому было разъяснить Набокову, как обстоят дела в литературном мире Америки. Да, он известный писатель, но почему бы ему не прислушаться к тому, что рассказывает эта забавная мисс Жаннелли? Шестьдесят отказов в публикации, должно быть, немало его удручили: вообще, писателям не привыкать к отказам (как бы неприятны те ни были), но только не Набокову. В Берлине все его рассказы и стихи моментально печатали в литературном разделе “Руля” – газеты, которую учредил его отец. Да и другие писатели и редакторы тоже стремились как можно скорее сделать достоянием общественности все, что он писал. А тут шестьдесят отказов. Даже такой уверенный в себе писатель, как Набоков, мог испугаться, что сама суть его оригинальности – его показная дерзость, его психологические контрасты, его решение “никогда, никогда, никогда не писать романы, которые решают «современные проблемы» или отражают «общественный интерес»”[23], – в Америке обернется против него.

Еще до того, как Набоков стал называть Алтаграцию “миссис де Жаннелли”, он писал ей в манере, к которой почти никогда не прибегал в письмах к обычным литературным агентам:

> Большое спасибо за ваше милое длинное письмо от 12 октября. Я прекрасно понимаю, что вы имели в виду под “старомодными темами”… Боюсь, что в Европе увлечение “сверхсовременным” уже отошло! В России об этом много говорили перед самой революцией… изображая “аморальную” жизнь, о которой вы так очаровательно отзываетесь. Забавно, но меня в американской культуре привлекает именно ее старосветскость, старомодность, которую не затмевает никакой блеск, ни бурная ночная жизнь, ни современные уборные… Когда в ваших обзорах мне попадаются “смелые” статьи – в прошлом номере *Mercury* была заметка о презервативах, – я буквально слышу, как ваши блестящие модернисты аплодируют собственной дерзости[24].

Так что от авангарда Америка была далека: по крайней мере, на это надеялся Набоков. Он и сам не причислял себя к писателям-авангардистам: он был новатор, не такой, как все, со своими стилистическими приемами и формальными новшествами, но чтобы эти стилистические трюки сработали, необходим был заурядный фон. В этом письме Набоков рисует Америку как своего рода стерильную фантасмагорию, которая лишь отчасти строится на “чем-то старомодном”, *Amérique*

profonde консервативного или даже реакционного склада. И все же Америка не напоминала ту примитивную глушь, населенную узколобыми обывателями, какой ее изображали в журнале *American Mercury*, основанном Г. Л. Менкеном и Джорджем Джином Нейтаном25, в особенности в сатирическом разделе “Американа”. “Бастер Браун вырос, – пишет Набоков Жаннелли (пусть даже отчасти выдавая желаемое за действительное), – и несмотря на очаровательную юношескую наивность, его ждет блестящее интеллектуальное будущее, которое, быть может, превзойдет самые смелые его мечты”.

Глава 2

Набоков хоть и интересовался Америкой – читал американские журналы, писал друзьям, обосновавшимся в США, обменивался впечатлениями с литературным агентом, – все же склонялся к тому, чтобы перебраться в Англию. Там он учился (в Кембридже), там у него оставались кое-какие связи. Его бы устроила должность преподавателя славянской литературы (или что-нибудь в этом роде) в альма-матер или любом другом университете1. Набоков принадлежал к тем писателям, кому по нраву научная среда. Но сколько он ни ездил в Англию, как ни пытался задействовать связи, ничего не выходило. В период с 1937 по 1940 год, начавшийся с бегства из Берлина и скандального романа с Гуаданини, чета Набоковых жила очень бедно: и Владимир, и Вера много работали, чтобы заплатить за квартиру, но при этом надеялись, что рано или поздно ситуация переменится, изо всех сил удерживали потрепанное знамя на ветру перемен и ждали известий хоть откуда-нибудь.

Почти год Набоковы провели в Ментоне, к востоку от Канн, затем переехали в деревушку Ле-Мулине, где писатель гонялся за бабочками по скалистым склонам и на высоте четыре тысячи футов над уровнем моря поймал экземпляр неизвестного прежде вида: в статье, опубликованной впоследствии в Америке, Набоков назовет свою находку *Plebeius (Lysandra) cormion Nabokov*2. Жили Набоковы как никогда бедно3. В 1916 году Владимир унаследовал от дяди по матери имение в две тысячи акров плюс состояние, которое равнялось 6 миллионам долларов (более 140 миллионов долларов в 2014 году)4. Целый год Набоков был вполне состоятельным молодым человеком, но настал октябрь 1917 года, и, как большинство его знакомых, писатель превратился в эмигранта очень скромного достатка, а к середине 1930-х годов его доходы уже и скромными нельзя было назвать.

Из Ле-Мулине семья переехала в Антиб, а в октябре 1938-го, в поисках лучшей доли, – в Париж. Набоков крутился как мог: занимал у друзей, давал уроки английского, а один раз получил двадцать пять тысяч франков от Сергея Рахманинова, которого тронуло бедственное положение молодого писателя. Набоков даже написал в советский Литературный фонд (который был учрежден в 1859 году как “Общество для пособия нуждающимся литераторам и ученым”, но после 1917 года прекратил существование): теперь у него был филиал в Америке5. Писателю прислали целых двадцать долларов.

Рахманинов в революцию, как и многие другие, потерял все и вынужден был бежать с женой и дочерьми в Финляндию – зимой, в открытых санях. Рахманинов перепрыгнул через Европу и очутился в сонной добросердечной Америке, где, как он рассчитывал, мог добиться серьезного успеха. Он обзавелся превосходным импресарио (Чарльз Эллис), к 1919 году уже вовсю гастролировал и уверенно двигался к цели: стать одним из самых уважаемых и высокооплачиваемых классических музыкантов XX века. Музыка Набокова интересовала мало – как классическая, так и любая другая, но он знал эту историю (как и все в эмиграции) и, можно сказать, как писатель двигался по той же траектории, что и Рахманинов, хотя и с остановками. Рахманинов, как и Набоков, всегда тепло относился к Америке, где впервые побывал еще в 1909 году, и тоже отличался задумчивостью, которая сочеталась с безрассудной смелостью и любовью к приключениям, – к примеру, очень любил гонять на мощных автомобилях.

Много лет спустя Вера вспоминала, что в определенный момент они окончательно решили перебраться в Америку, и случилось это как раз перед 3 сентября 1939 года, когда Франция и Англия вступили в войну с Германией. Ее биограф ставит это под сомнение – дескать, “положение их было настолько непрочно, что любой порыв ветра мог сорвать их с места и унести в любом направлении”. Во Франции рассчитывать было особо не на что: разрешение на работу получить было трудно, а вскоре страну оккупировала Германия. По-французски Набоков говорил свободно, словарный запас его был богат, но английский писатель знал куда лучше и, возможно, в силу врожденной восприимчивости чувствовал родство с англоязычными авторами. Однако в Англии для него места не нашлось: все двери по-прежнему были закрыты.

В Ментоне Набокова навестил его двоюродный брат Николай. Он теперь преподавал музыку в Уэллс-колледже в далеком городке Орора, штат Нью-Йорк. В Новом Свете Николай устроился на удивление удачно: в 1934 году в Филадельфии состоялась премьера балета “Юнион Пасифик”, для которого он написал музыку на либретто Арчибальда Маклиша, в постановке “Русского балета Монте-Карло”, и вскоре этот “первый американский балет” прогремел на весь свет, став самой популярной постановкой “Русского балета” середины тридцатых годов. Значит, в Америке можно добиться успеха! Николай написал и другие произведения: премьера балета “Жизнь Полишинеля” состоялась в том же 1934 году в постановке парижского театра Опера. К тому же для потрепанного жизнью

эмигранта у Николая были на удивление блестящие связи: он дружил не только с Маклишем, Леонидом Мясиным (хореографом “Юнион Пасифик”) и Солом Юроком (продюсером-импресарио), но и с Джорджем Баланчиным, Игорем Стравинским, Вирджилом Томсоном, Джорджем Гершвином, Анри Картье-Брессоном и многими другими знаменитостями.

Обаятельный высокий красавец, знавший, по слухам, двенадцать языков, “преувеличенно эмоциональный, видный и вечно опаздывавший”6, Николай подружился с Эдмундом Уилсоном, который к концу тридцатых годов считался самым авторитетным литературным критиком в Соединенных Штатах. О чем кузены говорили в Ментоне, мы уже не узнаем: записей не осталось. Но успех Николая не мог не заинтересовать Набокова[8].

Владимир в отличие от брата был человеком несветским. Нет, он отличался ничуть не меньшим обаянием и в юности без тени смущения пользовался помощью сильных мира сего – и не только своего знаменитого отца-издателя7, но и других. Но Владимир был художником до мозга костей. Он с удовольствием общался со знаменитостями – например, со спонсором Джойса и первым издателем “Улисса”; в годы, проведенные в Берлине и Париже, водил знакомство со многими известными людьми, в том числе с самим Джойсом: тот посетил чтения, которые Набоков устраивал в феврале 1937 года, а в феврале 1939 года писатели оказались вместе на одном званом ужине в Париже. В тот вечер Набоков, который всегда отличался остроумием, а порой и вовсе затмевал всех обаянием, был сдержан, и хозяйка вечера, Люси Леон Ноэль, впоследствии предположила, что, возможно, присутствие великого писателя повергло его в трепет. Прочитав ее отзыв, Набоков заметил: “В рассказе об обеде с Джеймсом Джойсом в Париже меня умилило, как меня изобличают в застенчивости (после стольких газетных упреков в «высокомерии»); однако верно ли ее впечатление? Она изображает меня робким молодым художником; на самом деле мне было сорок, и я достаточно ясно представлял себе свой вклад в русскую словесность, чтобы не испытывать смущения в присутствии любого современного писателя”8.

Набоков понимал: писатель, знающий себе цену, может проводить время в светских салонах, но истинное место его не там, а дома, в неотапливаемой мансарде. Он никогда не забывал эту важную правду о себе и своем даре и знал, что добиться успеха он может лишь собственными силами, если только ему не изменит талант или мужество не оставит его.

И все же – даже несмотря на некоторую снисходительность по отношению к младшему двоюродному брату, который всегда

благоговел перед ним, – на Владимира успехи Николая не могли не произвести впечатления. Николаю удалось одержать блестящую победу, в духе американской мечты: он снискал себе славу на суровых дальних берегах. Оказывается, эмигрант без средств (за исключением некоторого культурного капитала) может покорить Америку: одним из первых впечатлений Николая стала "невероятная искренность"[9] американцев, их готовность "помочь друг другу и в особенности новичку, эмигранту" – и, что самое важное, эмигранту, который ведет себя как свой.

Вера вспоминала, что стоило им выбрать Америку, как Америка тут же выбрала их. Марка Алданова[10], известного русского писателя, автора исторических романов, пригласили преподавать в летней школе Стэнфордского университета в 1940 или 1941 году. Алданов тогда ехать в Соединенные Штаты не захотел (решил, что недостаточно хорошо знает английский[11]) и предложил вместо него позвать В. Сирина.

Переговоры длились больше года: проблема была в деньгах. В конце концов профессор славистики Генрих Ланц отказался от части своего жалованья, чтобы Набоков смог приехать в Пало-Альто. (Он читал два курса[12] – обзорный по русской литературе и по основам драматургии – за 750 долларов плюс жилье.)

Но чтобы воспользоваться любезным приглашением Алданова и очутиться летом 1941 года в Калифорнии, Набоковым предстояло приложить немало усилий: в частности, необходимо было получить американскую визу. Однако теперь Набоков, по-прежнему с трудом сводивший концы с концами во Франции, знал, что перед ним готов открыться волшебный сезам, земля обетованная. Алтаграция де Жаннелли собирала для него аффидавиты в Нью-Йорке на случай, если приглашение будет получено: она заставила издателя "Смеха в темноте" подписать письмо, которое сочинил сам Набоков. Он просил рекомендаций и у других знаменитостей – у историка из Гарварда Михаила Карповича, у известного художника Мстислава Добужинского и у дочери Льва Толстого Александры Толстой, которая возглавляла благотворительный фонд Толстого, находившийся в штате Нью-Йорк. Нобелевский лауреат Иван Бунин подписал (а возможно, и сочинил) рекомендательное письмо, датируемое апрелем 1939 года:

> Владимир Набоков (псевдоним В. Сирин[13]) – известный русский писатель, чьи романы… высоко ценят в среде русской интеллигенции за рубежом. Он сын покойного В. Д. Набокова, знаменитого либерала, члена

> Российской думы I созыва, профессора криминологии… [Сирин] не только писатель исключительного дарования, но и серьезный исследователь русского языка и литературы… Все это, вместе с превосходным владением английским языком и огромным опытом преподавания, ставит его в ряд выдающихся преподавателей русской литературы и философской мысли… я искренне его рекомендую.

Письма о ценности творчества Набокова отправились к американскому консулу в Париже. Но требовались и иные доказательства. Набоков писал Добужинскому, своему бывшему учителю рисования:

> Позвольте мне обратиться к вам с очень большой просьбой. Дело в том, что я уже около двух лет стараюсь наладить переезд в Америку… главная трудность состоит в том, что, не располагая никаким капиталом, я непременно должен представить в консульство *affidavits*, которые служили бы для властей достаточной гарантией. Друзья, которые у меня есть в Америке, с трогательной готовностью мне их дают, – но все они сами иммигранты и не располагают крупными средствами, а богатых людей не знаю. Вот я и подумал, что, находясь в Америке, вы, может быть, могли бы попросить кого-нибудь посостоятельнее, в виде большого одолжения дать мне *affidavit*14.

Возможно, Добужинский (хотя сам и не мог помочь деньгами) передал просьбу Набокова кому-то из своих знакомых в Нью-Йорке. Графиня Толстая также хлопотала за писателя: она уговорила Сергея Кусевицкого, руководителя Бостонского симфонического оркестра, написать письмо в поддержку Набокова. Письмо Кусевицкий написал, но оплатить билеты на пароход не предложил. Если бы Набоковым все же удалось получить американские визы – а ведь были еще и французские выездные визы, за которые зачастую приходилось давать взятки чиновникам, – проезд обошелся бы писателю и его семье примерно в шесть сотен долларов, что для них было неподъемной суммой[9].

Осенью 1939 года Набоковым приходилось как никогда туго: Франция вступила в войну, и жили они в основном на ту тысячу франков, что им одалживал раз в месяц владелец парижского кинотеатра15. Набоков нашел несколько учеников, среди которых был и Роман Гринберг, бизнесмен, который впоследствии

переберется за Набоковым в Америку, станет его товарищем по литературе и будет ссужать деньгами[16]. В январе 1940 года Набоковых навестила Нина Берберова и подарила им курицу, которую они и съели. Годом ранее Набоков написал “Подлинную жизнь Себастьяна Найта”, первый роман, написанный им по-английски. “Смех в темноте” в переводе продавался плохо, но все-таки принес писателю аванс, примерно равный стоимости билетов на пароход, и эта немаленькая сумма была веским аргументом в пользу того, чтобы все новые романы писать по-английски. Однако пока что издателя для “Себастьяна Найта” найти не удавалось ни в Англии, ни в Америке.

Отец Набокова к тому времени уже пятнадцать лет как умер, но его труды оказали Владимиру определенную помощь. В 1903 году, на заре журналистской карьеры, добрый, обаятельный, смелый, безупречный Владимир Дмитриевич выступил с гневной статьей против погромов в Кишиневе, столице Бессарабской губернии. “Около пятидесяти убитых, около ста тяжело раненых, до 200 убитых и раненых, – писал В. Д. на первой странице либеральной газеты «Право». – В «мертвецкой» обезображенные и изуродованные трупы лежали друг около друга, многие были покрыты перьями и казались белыми… Одна мать нашла убитыми трех своих сыновей. Само собою разумеется, что эти убийства сопровождали разбойнические нападения на имущество, расхищение добра. Размеры бедствия неисчислимы, 4000 семейств разорены и остались буквально нищими”[17].

Владимир Дмитриевич, которому на момент написания статьи было тридцать два года, преподавал в Императорском училище правоведения и был камер-юнкером – после своего отчаянного выступления разом лишился и звания, и места. Ненависть к антисемитизму проистекала у Набокова отчасти из критики действий государственной власти: погромы в Кишиневе были спровоцированы полицией, орудием “режима угнетения и бесправия”, который “поддерживает это” (то бишь кровавые преследования евреев)[18].

Начиная с этого дня Владимир Дмитриевич безоговорочно выступал против абсолютизма монархии. Продемонстрировал совершенное безразличие к тому, что его лишили звания камер-юнкера, опубликовав в газетах объявление о продаже придворного мундира[19]. Против погрома высказывались и другие деятели российской культуры – Толстой, Горький, – но от их выступлений статью В. Д. Набокова отличает прозорливость и холодная ярость. Убийцы, готовые размозжить головы еврейским младенцам или вспороть животы беременным еврейкам, будут знать, что “за них суда нету”[20]: евреев некому защитить,

поскольку с точки зрения режима они парии, существа низшего порядка. В этих словах слышится предвестие событий грядущего века – его самых кровавых лет[21].

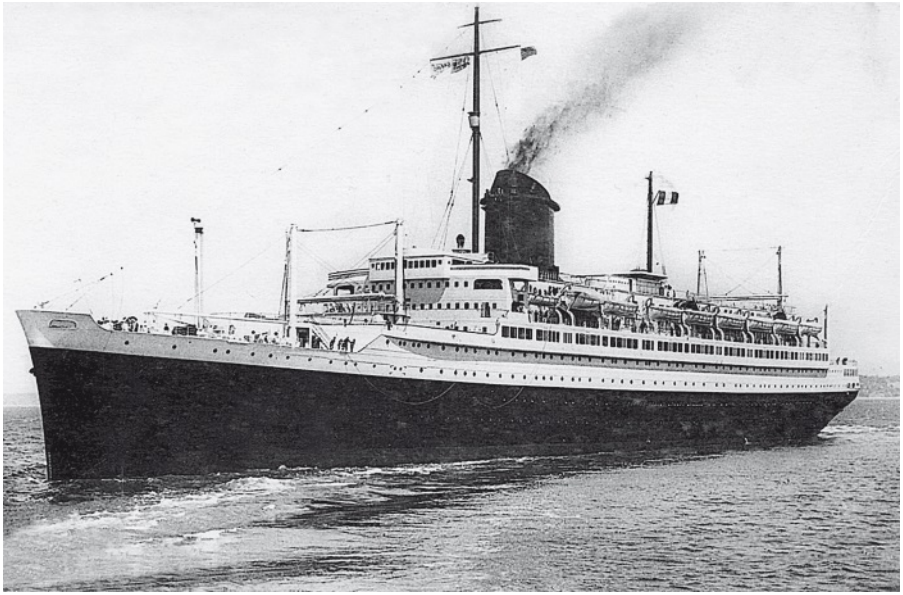
В 1906 году Владимир Дмитриевич снова выступил со статьей, осуждавшей погромы, а в 1913 году публиковал репортажи с процесса рабочего кирпичного завода Менделя Бейлиса, которого обвиняли в ритуальном убийстве[22]. У Набокова-старшего было много друзей-евреев: он общался с ними на равных[10]. После того как Набоков погиб во время покушения на П. Н. Милюкова (благодаря вмешательству Набокова-старшего и А. И. Каминки тот остался цел и невредим), его коллега по газетам “Право” и “Руль”, еврей Иосиф Гессен[23], помогал сыну покойного друга на литературном поприще: печатал стихи, рассказы, шахматные задачи и многие другие работы Сирина. Именно в “Слове”, небольшом издательстве Гессена, были опубликованы первые редакции ранних книг Набокова.

Весна 1940 года: *visas de sortie* получены, и бюрократических преград для отъезда не осталось (только финансовые). Война уже подобралась совсем близко. 10 мая 1940 года Германия захватила Францию и Нидерланды, три недели спустя, как раз после отъезда Набоковых, британские и французские части удалось спасти в ходе Дюнкеркской операции (“чудом”, как сказал Черчилль) – эвакуировать на маленьких и больших кораблях. Вопрос о том, как Набоковым удалось оказаться на огромном океанском лайнере “Шамплен”, который отвез их в безопасный Нью-Йорк, вызывает споры. Одни утверждают, что к этому причастно нью-йоркское Общество помощи еврейским иммигрантам (ХИАС): тогдашний президент ХИАС Яков Фрумкин лично знал Владимира Дмитриевича Набокова и, “как и многие другие евреи из России”[24], как пишет Брайан Бойд, “сохранил… благодарную память о покойном Владимире Дмитриевиче, смело выступавшем против кишиневских погромов и дела Бейлиса, и с радостью вызвался помочь его сыну”[25].

Биограф Веры Стейси Шифф отчасти согласна с Бойдом, однако не во всем: в своей книге она не упоминает ни о Фрумкине, ни о его организации. Шифф утверждает, что Набоковым помог американский Комитет по делам христианских беженцев – агентство, “содействующее гражданам нееврейского происхождения, ставшим жертвами расистской политики нацистов”[26]. Комитет по делам христианских беженцев пожертвовал Владимиру небольшую сумму, как и многие его поклонники и друзья. Шифф не оспаривает этот факт, что все же основные средства Набоковы получили от “организации спасения евреев, возглавляемой бывшим сподвижником Набокова-отца”[27]:

именно ХИАС зарезервировал для беженцев места на нью-йоркском лайнере. ХИАС зафрахтовал французский пароход “Шамплен”, каюты в котором были отделаны в модном в те годы стиле ар-деко, чтобы доставить еврейских эмигрантов в Новый Свет. ХИАС же предложил семейству Набоковых билеты за полцены[28]. Примечательно, что Набоков в “Других берегах”, вспоминая о том дне, когда они взошли на борт, не упоминает ни о стоимости каюты, ни о том, откуда взялись деньги на билеты: он пишет о впечатлениях шестилетнего Дмитрия, который шел между родителями к кораблю по маленькому скверу над портом Сен-Назера и вдруг заметил “там… где прерывчатый ряд домов отделял нас от гавани… великолепные трубы парохода”. Родители “не тотчас обратили внимание сына” на это чудо, “не желая испортить ему изумленной радости самому открыть впереди огромный прототип всех пароходиков, которые он, бывало, подталкивал, сидя в ванне”[29].

На пароходе Набоковым выделили помещение “каютного класса” – на “Шамплене” так назывался первый класс, – хотя они заплатили всего лишь за третий класс. Шифф объясняет это тем, что “агент французского пароходства позаботился обеспечить Набоковым каюту первого класса”. Эндрю Филд, еще один биограф Набокова, оспаривает версию Шифф: он утверждает, что этой любезностью Набоковы обязаны Фрумкину и ХИАСу. Фрумкин “не просто помнил, как горячо В. Д. Набоков защищал Бейлиса, – пишет Филд в книге «ВН: Жизнь и искусство Владимира Набокова», – равно как и его уничижительную критику российского антисемитизма, но… помнил слишком хорошо”, то есть позаботился о том, чтобы путешествие сына В. Д. Набокова и его семейства проходило на высшем уровне. Сам Набоков это подтверждает: “Нам выделили каюту первого класса[30], – говорит он в книге Филда, которую дотошно правил и, разумеется, вырезал бы любые упоминания о Фрумкине, если бы не был согласен с ними. – Каждое утро я принимал ванну. Это было чудесно”.



Лайнер “Шамплен”

Как бы то ни было, доказательство того, что Фрумкин сыграл главную роль, обнаруживается в записке, которую Набоков написал ему в марте 1960 года:

> Ваше письмо и вырезки из газет пришли ровно в тридцать восьмую годовщину со дня смерти отца. С огромным интересом прочитал вашу замечательную статью [о гонениях на евреев при царском режиме]. В ужасном мире, где правят большевики, мы склонны забывать омерзительные и постыдные стороны прежней русской жизни, и статьи, подобные вашей, служат нам полезным напоминанием… PS: Я не забыл о своем долге организации, которая по вашей инициативе помогла нам перебраться в Соединенные Штаты. Теперь наконец я могу начать выплачивать этот долг. Для начала прикладываю 150 долларов и прошу вас не отказать мне в просьбе: пожалуйста, перешлите их куда нужно[31].

К 1960 году Набоков располагал достаточными средствами, чтобы отплатить Фрумкину за доброту. “Лолита” становилась бестселлером два года подряд[32] – это был первый роман со времен “Унесенных ветром”, который пользовался таким успехом. Права на экранизацию Набоков продал Стэнли Кубрику и Джеймсу Б. Харрису, которые поручили ему написать сценарий. Когда Набоков отправил Фрумкину 150 долларов, они с Верой жили на вилле по Мандевиль-Каньон-роуд в Брентвуд-Хайтс: эту

виллу сняли для него Кубрик с Харрисом, пока Набоков писал сценарий и наслаждался идиллической жизнью типичного писателя[33] – водил дружбу с голливудскими знаменитостями (Мэрилин Монро, Джоном Уэйном, Джоном Хьюстоном, Дэвидом Селзником) и время от времени встречался с Кубриком и Харрисом в Юниверсал-Сити. При таких обстоятельствах 150 долларов кажутся ничтожной суммой. Почему же Набоков ждал двадцать лет, чтобы послать их Фрумкину?

Возможно, до этого были и другие, анонимные пожертвования: Набоков отличался щедростью и регулярно помогал нуждающимся родственникам в Европе. Однако он был горд: и он, и Вера утверждали, что в Берлине и Париже они вовсе не жили “в нищете”[34], как сам Набоков однажды признался в трудную минуту; скорее это было приключением, – несмотря на то, что время от времени голод им грозил, они все же никогда не голодали. Они были молоды и азартны, многим в эмиграции жилось куда труднее. К тому же Набоков писал гениальные романы и страстно верил, что они останутся в веках (Вера тоже в этом не сомневалась), родился его любимый сын, да и вообще в жизни было много хорошего. Так что изображать их отъезд из Франции как бегство несчастных бродяг, которые в противном случае сгинули бы навсегда, было бы большой ошибкой.

Вера, отличавшаяся не меньшей гордостью, чем муж, впоследствии утверждала, что никакую курицу Нина Берберова им не приносила[35]. Нужда казалась ей оскорбительной[36]: разумеется, Набоковы мечтали уехать из Франции, но предположения, будто они испугались или Владимир подумывал на время оставить ее с Дмитрием и отправиться в Америку в одиночку, едва ли пришлись бы Вере по нраву, и впоследствии в общении с биографами и журналистами (которое складывалось ох как непросто) она неизменно представляла это совсем в другом свете.

Глава 3

Они поселились на Манхэттене – сперва у Натальи, бывшей жены Николая, двоюродного брата Набокова, которая с сыном Иваном жила в доме 32 по 61-й Восточной улице. Наталья подписала аффидавит с обещанием их приютить[1], "встретила любезно и делала для нас что могла", как впоследствии вспоминала Вера: Наталья разместила их в квартире рядом с той, где жила она сама. Вскоре новоприбывшие переехали на Мэдисон-авеню неподалеку от 94-й улицы, а осенью – в крошечную квартирку в доме 35 по 87-й Западной, где жили вплоть до отъезда в Стэнфорд весной следующего года[2].

Нью-Йорк в мае 1940 года: страну охватило предчувствие неизбежной и неотвратимой войны, хотя споры между изоляционистами и сторонниками вмешательства еще не утихли и Чарльз Линдберг еще не окончательно вышел из доверия. (Миссис Рузвельт в ответ на выступление Линдберга по радио, по поводу которого президент Рузвельт хранил молчание, призналась, что "первая часть показалась ей блестящей… а вот последние три абзаца неудачные"[3] – то есть те, в которых Линдберг обвинил евреев: мол, они по своему обыкновению втягивают страну в войну.) Приезд Набоковых совпал с капитуляцией Бельгии и "Лилльским карманом", в который попали британские и французские войска[4]. Черчилль предупредил о "печальных известиях"[5], то есть о неминуемом уничтожении армии союзников, которая насчитывала сотни тысяч человек.

В порту Набоковых никто не встретил (так получилось, что перепутали время), так что до Ист-Сайда они добирались на такси. Утро выдалось пасмурное[6]. За год без малого в Америку из Франции прибыло около тридцати тысяч беженцев[7]. Большинство пароходов шло в гавань Нью-Йорка мимо статуи Свободы, так что пассажирам открывался вид на Нижний Манхэттен. Клод Леви-Стросс[8], который прибыл в Америку через несколько месяцев после Набоковых, отмечал "грандиозный беспорядок" очертаний Манхэттена, произведший на него огромное впечатление, а Фернан Леже[9], перебравшийся в Америку несколькими годами ранее, назвал архитектурный облик Манхэттена "самым великолепным зрелищем в мире". Набоков не ожидал, что Манхэттен окажется таким красочным. Ему запомнился сиреневый оттенок утра[10]. Цвета всегда много значили для Набокова: он был синестетом, то есть человеком, у кого на конкретные внешние впечатления одинаково откликаются

несколько органов чувств – к примеру, буквы алфавита ассоциируются с определенными цветами (“Черно-бурую группу составляют: густое, без галльского глянца, А; довольно ровное (по сравнению с рваным R) Р; крепкое каучуковое Г; Ж, отличающееся от французского J, как горький шоколад от молочного; темно-коричневое, отполированное Я. В белесой группе буквы Л, Н, О, Х, Э представляют, в этом порядке, довольно бледную диету из вермишели, смоленской каши, миндального молока, сухой булки и шведского хлеба. Группу мутных промежуточных оттенков образуют клистирное Ч, пушисто-сизое Ш и такое же, но с прожелтью, Щ. Переходя к спектру, находим: красную группу с вишнево-кирпичным Б (гуще, чем В), розово-фланелевым М и розовато-телесным (чуть желтее, чем V) В; желтую группу с оранжеватым Ё, охряным Е, палевым Д, светло-палевым И, золотистым У и латуневым Ю; зеленую группу с гуашевым П, пыльно-ольховым Ф и пастельным Т (всё это суше, чем их латинские однозвучия); и наконец синюю, переходящую в фиолетовое, группу с жестяным Ц, влажно-голубым С, черничным К и блестяще-сиреневым З. Такова моя азбучная радуга (ВЕЕПСКЗ)”[11]. То, что, описывая первое впечатление от Манхэттена, Набоков так подробно рассказывает о цветах, могло свидетельствовать лишь о том, как он счастлив.

Едва разобрав чемоданы, он отправился на поиски бабочек: не в Центральный парк или какую-нибудь другую городскую зеленую зону, а в Американский музей естественной истории, который славился своими коллекциями. Еще в Берлине Набокову случалось общаться с руководителями государственных музеев. Об одном из них, директоре Института энтомологии в Далеме, он писал[11]: “Я просто влюбился в этого старого, толстого, краснощекого ученого, смотрел на него, как он с потухшей сигарой в зубах небрежно-ловко перебирает бабочек, картонки, стеклянные коробки… На днях опять поеду, поблаженствую…”[12] В Американском музее естественной истории он застал Уильяма П. Комстока, научного сотрудника и специалиста по голубянкам. Они сразу нашли общий язык. Комсток предоставил Набокову доступ к коллекциям, а его эрудиция и увлеченность – он как раз работал над статьей “Лихениды Антильских островов” (лихениды – семейство, в которое входит подсемейство голубянок) – определили направление набоковских исследований[13]. Ранее Комсток был инженером-строителем[14], но поскольку во время Великой депрессии работы было мало, стал уделять все больше времени своему хобби, лепидоптерологии. Он был ровесником отца Набокова. От Комстока Владимир узнал о тонкостях изучения гениталий различных видов чешуекрылых: такой способ

позволял найти точный ответ на вопрос, к какому именно виду относится та или иная бабочка15, и хотя профессиональные энтомологи знали об этом методе, однако зачастую о нем забывали.

Вскоре после приезда Набоков также написал Андрею Авинову, директору Музея естественной истории Карнеги в Питтсбурге16. Авинов был коллегой Комстока и владел одной из крупнейших частных коллекций современности. Происходил (как и В. Д. Набоков) из старинного рода, близкого к царскому двору. В Америку, как и Рахманинов, Авинов приехал после революции, в 1924 году поступил на работу в музей Карнеги, где формировал коллекции насекомых. Авинов был одаренным художником и иллюстратором. Карьера его во многом складывалась так же непросто, как у Набокова: много лет Авинов сотрудничал с Комстоком и другими нью-йоркскими учеными, работал в Гарвардском музее сравнительной зоологии (платили мало, но зато он занимался интересным делом), – там же, где подвизался Набоков в сороковых годах, разбирая хаотичные коллекции. Авинов тоже любил охотиться за насекомыми в высокогорьях, где разные группы бабочек зачастую оказывались разделены географически и было распространено аллопатрическое видообразование (то есть такое, при котором популяция подвергалась мутациям и формировала новый подвид)17.

Всемирная литература чуть не лишилась величайшего писателя: по словам Набокова, он едва не провалился в кроличью дыру американской энтомологии – до того его захватили охота за бабочками на новом континенте и занятие эволюционной биологией, которой Набоков увлекся не на шутку. Он всерьез признавался в интервью, что коллекционирование бабочек было главной его страстью: “Мои удовольствия – лучшее, что доступно человеку: сочинительство и охота за бабочками”. В “Других берегах” он высказался еще более определенно:

> В отношении множества человеческих чувств – надежды, мешающей заснуть, роскошного ее исполнения, несмотря на снег в тени, тревог тщеславия и тишины достигнутой цели – полвека моих приключений с бабочками, и ловитвенных и лабораторных, стоит у меня на почетнейшем месте. Если в качестве сочинителя единственную отраду нахожу в личных молниях и посильном их запечатлении, а славой не занимаюсь, то – признаюсь – вскипаю непонятным волнением, когда перебираю в уме свои энтомологические открытия… И как бы на горизонте этой гордыни, сияют у меня в

> памяти все те необыкновенные, баснословные места – северные трясины, южные степи, горы в четырнадцать тысяч футов вышины, – которые с кисейным сачком в руке я исходил и стройным ребенком в соломенной шляпе, и молодым человеком на веревочных подошвах, и пятидесятилетним толстяком в трусиках[18].

Охота за бабочками и работа в музее сделали 1940-е годы для Набокова "самым приятным и увлекательным временем моей взрослой жизни": первые десять лет в Америке романов он почти не писал. "Я никогда не рассматривал сочинительство как карьеру, – говорил он в интервью. – Писательство всегда казалось мне смесью уныния и вдохновения… Хотя, признаться, я не раз мечтал о долгой и интересной карьере никому не известного хранителя коллекции чешуекрылых в большом музее"[19].

Разумеется, он все-таки вернулся к сочинительству. Пожалуй, Набоков все же лукавил. Но в сороковых ему пришлось отказаться "от природной речи" – "ничем не стесненного, богатого, бесконечно послушного мне русского слога"[20] и окончательно перейти на английский: переводить на него свои произведения Набоков начал еще в тридцатые годы. Этот переход дался Набокову нелегко. Алтаграция де Жаннелли запретила ему писать по-русски, поскольку русские произведения невозможно было продать, и хотя иногда писатель позволял себе ослушаться ее запрета, в конце концов все же смирился с "личной трагедией", отречением от родного слова, языка его сердца. Коллекционирование бабочек было ему дорого ничуть не менее, чем русский язык, – и этого у Набокова не мог отобрать никто: он нашел утешение в этом занятии.

Коллекционировать бабочек Набоков любил по многим причинам. Во-первых, из-за самих насекомых: блестящих, обманчивых, нежных созданий. К тому же "нельзя забывать и об элементе спорта… проворстве движений и трудной победе… страстных и сложных поисках, оканчивающихся шелковистым треугольником бабочки, сложившей крылья… на твоей ладони"[21]. Охотой за бабочками Набоков увлекся еще в детстве: она казалась ему приключением, азартной игрой. Началось все в Выре, в имении Набоковых, куда они приезжали в теплое время года – идеальную пору для этого занятия. "Парк, отделявший усадьбу от полей и лесов, был дик и дремуч в приречной своей части, – вспоминает Набоков в «Других берегах». – Туда захаживали лоси, что менее сердило нашего сторожа Ивана, степенного, широкоплечего старика с окладистой бородой, чем беззаконное

внедрение случайных дачников. Были и прямые тропинки и вьющиеся, и все это переплеталось, как в лабиринте… В некошеных полях за парком воздух переливался бабочками среди чудного обилья ромашек, скабиоз, колокольчиков, – все это скользит у меня сейчас цветным маревом перед глазами, как те пролетающие мимо широких окон вагона-ресторана бесконечно обольстительные луга, которых никогда не обследовать пленному пассажиру. А за полями поднимался, как темная стена, лес”[22].

Девственная природа – несомненно, именно такой она должна была казаться семи– или восьмилетнему мальчишке. К ловле бабочек его приохотили родители: еще одно пристрастие, обусловленное их любовью ко всему английскому. В богатом приданом матери Набокова Елены Ивановны было в том числе и собрание книг по энтомологии (среди которых имелись и фолианты XVII века). В восемь лет Набоков начал читать эти тексты. В особенности ему нравились более современные работы[23] – такие как “Иллюстрированная естественная история бабочек и мотыльков Великобритании” (*An Illustrated Natural History of British Butterflies and Moths)* Эдварда Ньюмана (1871), труд краткий, но авторитетный; “Самые широко распространенные бабочки Европы” (*Die Gross-Schmetterlinge Europas*) Эрнста Хофманна (1894), настольная книга каждого немецкого энтомолога, и отлично иллюстрированный классический труд Сэмюела Хаббарда Скаддера “Бабочки востока Соединенных Штатов Америки и Канады” (*The Butterflies of the Eastern United States and Canada*) (1889).

Для других увлечений – к примеру, собирания гербариев – тоже существовала обширная библиотека, так что знаний, почерпнутых из книг, хватило бы юным натуралистам на всю жизнь. Однако охота на бабочек приносила Набокову и чисто физическое удовольствие. В хорошую, пусть и переменчивую погоду мальчик часами бродил вокруг Выры (в теплое время года световой день составлял почти девятнадцать часов), наблюдая внезапные рождения и метаморфозы, за которыми вскоре следовала смерть. До финской границы от Выры было менее трехсот километров. Норвежский писатель Кнут Гамсун (1859–1952) – к которому Набоков не испытывал ни малейшего пиетета, как и к Достоевскому, Тургеневу, Лескову и десяткам других самобытных талантов, – в романе “Пан” (1894) приводит описание типичного северного лета:

> Весна хозяйничала вовсю, уже попадались ромашка и тысячелистник и прилетели зяблики и коноплянки; я знал всех птиц в лесу. Порой я вынимал два медяка из

кармана и звенел ими, чтоб не было так одиноко… Ночи совсем не стало, солнце только ныряло в море и тут же выкатывалось опять, красное, свежее, будто вдоволь напилось глубокой воды… По лесу шел шелест. Сопело, принюхивалось зверье, окликали друг друга птицы. И зовами полнился воздух. И майских жуков поналетело в этом году, и на их жужжанье отвечали шорохом крыльев ночные бабочки, и по всему лесу будто шел шепот, шепот[24].

Герой Гамсуна, лейтенант Глан, охотник, вернувшись (в духе Руссо) к природе, переживает то величайшую радость, то глубокое отчаяние, которые короткое арктическое лето лишь усиливает:

> Мотыльки и мошкара неслышно залетают ко мне в окно, соблазнясь огнем в очаге и запахом жареной птицы. Они глухо стукаются о потолок, жужжат у меня над ухом, так что по коже бегут мурашки, и усаживаются на мою белую пороховницу. Я разглядываю их, они трепыхают крылышками и смотрят на меня – мотыльки, древоточицы и шелкопряды. Иные похожи на летающие фиалки. Я выхожу из сторожки и прислушиваюсь… Все светлым-светло от насекомых, мириады шуршащих крыльев. Дальше, на опушке собрались папоротники, и борец, и боярышник, я так люблю его мелкий цвет. Слава тебе, господи, за каждый кусточек вереска, который ты дал мне увидеть… А ночью вдруг распускаются большие белые цветы, венчики их открыты, они дышат. И мохнатые сумеречницы садятся на них, и они дрожат[25].

Маленький Владимир, день за днем бродивший по лесам тысячей километров южнее Глана, но тоже кипевшим жизнью, приучается ценить одиночество и, возможно, жалеть о нем. Оба охотника всей душой откликаются на то, что происходит вокруг. Живая земля говорит с ними, их связь с природой кажется слишком тесной, даже, пожалуй, интимной: Глану чудится, будто лес полон страстных женщин, которые охотятся на него, точно менады; впечатления девяти– или десятилетнего Владимира также носят сексуальный оттенок, пусть и неосознанный. Однако это с полным правом можно назвать пробуждением чувственности:

> На противоположном низком берегу, где начиналась арктика, густое сборище мелких бабочек, состоявшее

> главным образом из самцов голубянок, пьянствовало на черной грязи, жирно растоптанной и унавоженной коровами, и весь лазоревый рой поднялся на воздух из-под моих ног и померцав, снова опустился по моем прохождении. Продравшись сквозь растрепанный, низкорослый сосняк, я достиг моего мохового, седого и рыжеватого рая. Не успел слух уловить характерный зуд двукрылых, кочковое чмоканье, приглушенный кряк дупеля, как я был уже окружен теми полярными бабочками, которых знал только по ученым описаниям… Над кустиками голубики, как-то через зрение вяжущей рот матовостью своих дремных ягод; над карим блеском до боли холодных мочажек, куда вдруг погружалась нога; над мхом и валежником; над дивными, одиноко праздничными, стоящими как свечи, ночными фиалками, темно-коричневая с лиловизной болория скользила низким полетом, проносилась гонобоблевая желтянка, отороченная черным и розовым, порхали между корявыми сосенками великолепные смуглые сатириды-энеисы… Мои пальцы пахли бабочками – ванилью, лимоном, мускусом, – ноги промокли до пахов, губы запеклись, колотилось сердце, но я все шел да шел, держа наготове сачок[26].

Одиннадцатилетний мальчик проходит в лесу своеобразную инициацию. У Фолкнера, еще одного не любимого Набоковым писателя, в повести “Медведь” (1939) герой-протагонист впервые отправляется на охоту в лес примерно в таком же возрасте: инициация занимает несколько лет. У американского сверстника Набокова процесс тесно связан с некими зловещими авторитетами и оказывается более кровавым, хотя и ненамного: юный Владимир так же спокойно относится к убийствам, как Айк Маккаслин (“…промокшая, пропитанная ледяным эфиром вата, темнеющая от него, похожая на ушастую беличью мордочку, голова шелкопряда с перистыми сяжками, и последнее содроганье его расчлененного тела, и тугой хряск булавки, правильно проникающей в мохнатую спинку…”[27]), потеря же отца, по словам Бойда, нанесла Набокову “рану, о которой невозможно забыть, а прикосновение к ней почти невыносимо”[28].

На лосей в Выре Набоков не охотился, однако в совершенстве освоил инструменты, необходимые для охоты на бабочек (“сачок, зеленую жестянку на ремне, конвертики и коробочки для поимок”)[29], – точь-в-точь как Айк, а непролазные дебри, по которым блуждали мальчики, – дремучие миссисипские леса у

Фолкнера, северные болота и топи Выры, – истинный рай для мальчишек и девчонок, который они никогда не забудут (впрочем, и для взрослых тоже). Как пишет Фолкнер в “Медведе”: “Размораживало; завтра гон состоится. И сердце сжалось восторгом, девственным и древним, как в первый день; пусть состарится он на охоте и ловле, никогда не покинет его это чувство ни с чем не сравнимой причастности, смиренье и гордость”[30].

Охота на бабочек требовала и интеллектуальных усилий. Ради своей страсти, которая, по наблюдениям биографов, сопровождала Набокова всю жизнь, к девяти годам он разбирал со словарем мудреные немецкие тексты. В дальнейшем штудии стали глубже, в особенности ему нравились исследования английских ученых со свойственным им более современным и передовым подходом к классификации бабочек: “Уже отроком я зачитывался энтомологическими журналами, особенно английскими, которые тогда были лучшими в мире. То было время, когда систематика подвергалась коренным сдвигам. До того, с середины прошлого столетия, энтомология в Европе приобрела великую простоту и точность, ставши хорошо поставленным делом, которым заведовали немцы: верховный жрец, знаменитый Штаудингер, стоял во главе и крупнейшей из фирм, торговавших насекомыми, и в его интересах было не усложнять определений бабочек”[31]. Читая о пойманных экземплярах, по которым ученые давали название целому виду, мальчик узнал, где именно ловили голотипы (то есть типовые экземпляры вида) – в какой горной цепи, на какой высоте, рядом с какими географическими метками и когда именно. Место поимки – например, осыпь в горах Тянь-Шаня, горной цепи, которая разделяет Китай и Киргизию, или мокрый луг в Колорадо на высоте в без малого три с половиной тысячи километров – претерпевает изменения. Место исторической находки, “ландшафт проживает двойную жизнь, – поясняет Набоков в интервью, – как укромный уголок, прекрасный сам по себе, и как ареал обитания определенной бабочки или мотылька”[32]. Посещая такие места, “то, чему тайно радовался, встречая в книгах, в мудреных научных обзорах, на роскошных гравюрах знаменитых трудов… видишь воочию на крыле… среди растений и минералов, обретающих благодаря этой тесной связи непостижимое волшебство”.

Впоследствии ему предстояла интеллектуальная работа и другого рода: тематизация бабочек в литературных трудах модернистского толка. И то и другое одинаково сложно, если

вспомнить, что когда-то он был мальчиком, чьи пальцы пахли бабочками, и бродил по топкой грязи в надежде поймать добычу – полную охотничью сумку, великолепные трофеи, лучшие экземпляры своего вида.

Через полтора месяца после приезда в Нью-Йорк Набоковы перебрались на юг Вермонта, где у Михаила Карповича, преподавателя Гарвардского университета, было имение в 100 гектаров и старый дом. В течение нескольких месяцев друзья Карповича и его жены Татьяны вели жизнь в духе романов Тургенева – того же “Дворянского гнезда”зз. Ходили по ягоды, точь-в-точь как в России, чаевничали (а вокруг резвились дети), проводили много времени на свежем воздухе, купались в холодных озерах и с удовольствием общались с другими русскими. Именно здесь Набоков впервые исполнил мечту об охоте на бабочек на другом, не родном, континенте. Он проконсультировался с Авиновым из музея Питтсбурга и, скорее всего, проштудировал американские журналы по энтомологии на предмет того, какие виды где водятся. На писателя произвели большое впечатление скунсы и дикобразы, и он поймал “несколько интересных мотыльков”, как впоследствии писал Уилсону[12].

Двоюродный брат Набокова Николай, женатый вторым браком, часть 1940 года провел на полуострове Кейп-Код. Дом Эдмунда Уилсона стоял через дорогу от дома, где остановился Николай, и они часто общались. Уилсон, спустя шесть лет работы, как раз собирался опубликовать книгу “К Финляндскому вокзалу”, посвященную большевистской революции, развитию социалистических идей и всему, что так занимало его в России. Николая влекло к Уилсону все то же безошибочное чутье на выдающихся в интеллектуальном отношении личностей, которое он не раз демонстрировал прежде, Уилсон же, как следует из их переписки, считал Николая типичным душевным русским человеком, который оказался в трудной ситуации и ищет поддержки. Уилсон помогал ему печататься в журналах – познакомил, как впоследствии Владимира, с Эдвардом Э. Уиксом34, новым редактором журнала *Atlantic Monthly*, который охотно публиковал обоих Набоковых. Именно Николай любезно порекомендовал Владимира Уилсону; он написал брату, гостившему тогда у Карповичей, и 30 августа 1940 года началась одна из величайших переписок в истории Америки:

> Мой дорогой мистер Уилсон, написать Вам мне посоветовал мой двоюродный брат Николай. Сейчас я

живу у друзей в Вермонте (здесь в основном лишь золотарник да ветер), но в середине сентября буду в Нью-Йорке. Мой адрес: 1326, Мэдисон-авеню, тел. *At.* 9718635.

Уилсон знал всех и вся и охотно опекал других писателей. Среди тех, по отношению к кому он фактически выступал в роли литературного агента, редактора, консультанта по трудоустройству, советчика или неизменно доброжелательного рецензента, – Ф. Скотт Фицджеральд, Натанаел Уэст, Рэндалл Джаррелл, Элизабет Бишоп, Анаис Нин, Дон Пауэлл, Артур Мизенер, Максвелл Гейсмар, Элен Мучник, Джон Дос Пассос, Луиз Боган, Мэри Маккарти и Эдна Сент-Винсент Миллей, не говоря об обоих Набоковых36. Уилсон прекрасно ладил с русскими и любил их больше других неамериканцев37. Русский язык и литература были для него своего рода ресурсом, источником информации, темой очерков, которые Уилсон сперва публиковал в журналах, а потом включал в книги. Николай обращался к новому другу с просьбами, выполнить которые было трудно. После того как Уилсона в 1943 году назначили редактором отдела книжных рецензий *New Yorker*, Николай спросил, можно ли ему опубликовать в журнале статью. Уилсон ничем не мог ему помочь, однако поспособствовал с публикациями в других изданиях, и Николай откликнулся:

> Большое спасибо за вашу любезную помощь! Я получил письмо от [Пола] Розенфельда [музыкального редактора]: он пишет, что статья выйдет в следующем номере… Еще у меня к вам небольшой вопрос: можно ли написать для *New Yorker* очерк о дирижерах (разумеется, писать его придется под псевдонимом, чтобы в дальнейшем мои произведения не выбрасывали из программ всевозможные – ицкие, – овские и проч.38

Три года спустя Николай отказался навестить Уилсона, поскольку собирался на десять дней в Калифорнию к Стравинскому:

> Мне вдруг пришла мысль написать о Стравинском – наподобие того, как Никколо Туччи об Эйнштейне. Как вы думаете, если очерк получится хорошим, можно ли будет его опубликовать в *New Yorker* в рубрике “Свободный репортер”? Никогда раньше не был в Калифорнии. Я еду с Баланчиным39.

Уилсон ответил: “Я передал ваше предложение редакции… и мне ответили, что это было бы интересно [статья о Стравинском]. Разумеется, ничего обещать они не могут… но, думаю, попробовать стоит”.

Два года спустя, когда вышла его первая книга, Николай послал Уилсону сигнальный экземпляр:

> Надеюсь (очень-очень), что вы опубликуете рецензию в *New Yorker*… Я был бы очень рад. Признаться, я не только надеюсь, что вы напишете рецензию на мою книгу: я думаю, что вы просто “обязаны” ее написать (как учитель “обязан” проверять работы учеников), потому что в некоторой степени вы были “крестным отцом” этой книги и именно вы надоумили меня “зарабатывать на жизнь писательством”. Напишете? Ну пожалуйста!40

Неизвестно, заставил ли Уилсона этот опыт впредь осмотрительнее помогать писателям по фамилии Набоков, однако знакомство с Владимиром состоялось в октябре 1940 года и оказалось удачным. Внешне Набоков и Уилсон были непохожи, как Матт и Джефф[13], в остальном же были точной копией друг друга: литераторы до мозга костей, упрямые всезнайки, всегда готовые ввязаться в спор, отпрыски семейств из высшего общества, у обоих отцы – известные юристы, принимавшие активное участие в политической жизни. И Набоков, и Уилсон любили Пруста, Джойса и Пушкина. Оба старались зарабатывать на жизнь писательством. Уилсон, который тогда работал в *New Republic*, предложил Набокову книги на рецензию, и тут же подоспел взрывоопасный материал для будущих споров: обозревая книгу Г. П. Максимова под названием “Гильотина за работой”, посвященную Советскому Союзу, Набоков писал:

> Семь лет ленинского режима стоили России от 8 до 10 миллионов жизней. За 10 лет Сталин добавил к ним еще 10 миллионов. Таким образом, по “очень скромным” подсчетам господина Максимова, с 1917 по 1934 год было уничтожено около 20 миллионов человек: одних пытали и расстреливали, другие умерли в тюрьмах или погибли в Гражданскую войну… Эта страшная и немногословная книга тем важнее, что она поможет развенчать печальный миф, будто Ленин был чем-то лучше своего последователя41.

Уилсон в книге “К Финляндскому вокзалу” доказывал, что

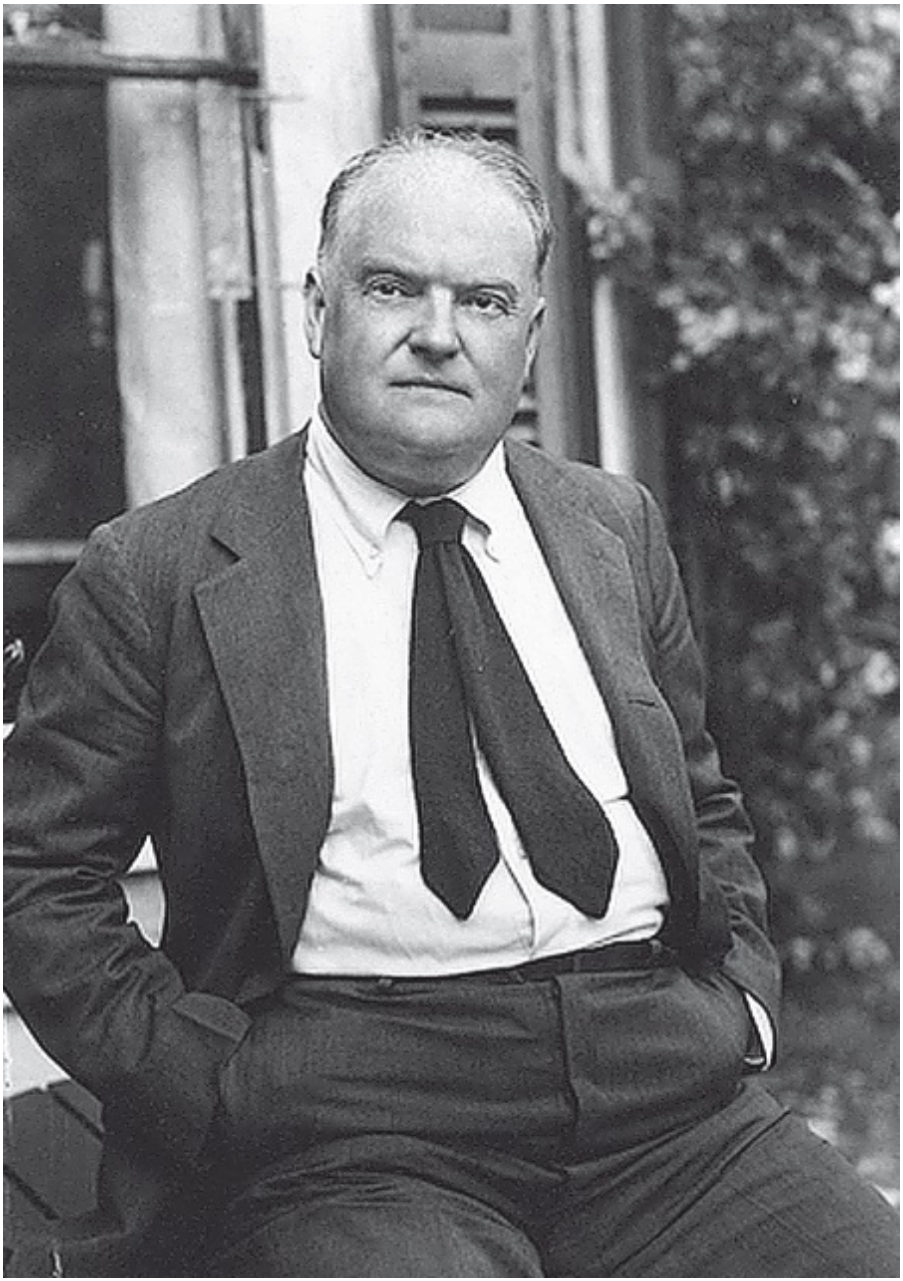
Ленин и впрямь лучше Сталина: первый был уникальной исторической личностью, выражал интересы угнетенных и боролся за их права. На ужине у Романа Гринберга[14] Набоков высказался о диктаторе еще более уничижительно: его слова сподвигли Уилсона отправить писателю экземпляр своей новой книги “в надежде, что это побудит [вас] переменить мнение о Ленине в лучшую сторону”42. Должно быть, к этому времени Набоков и Уилсон уже искренне и крепко подружились (не говоря о том, что Набоков наверняка понимал: ссориться с главным литературным критиком Америки неблагоразумно и недальновидно). Владимир не вспылил, не разразился презрительной тирадой, как делал всегда, когда ему доводилось сталкиваться с подобным отношением американцев к Ленину. Во всем, что касалось советских вождей, Набоков был абсолютно категоричен и непримирим: он не склонен был видеть хоть что-то положительное или обнадеживающее в уничтожении миллионов человек и удушении либерализма в результате катастрофы 1917 года. Отчасти его антибольшевизм (с годами превратившийся в разновидность антикоммунизма, характерного для американского обывателя: в 1950-е Набоков, как ни странно, симпатизировал Джо Маккарти, а в 1960-е открыто возмущался протестами студентов-хиппи против войны во Вьетнаме) объяснялся почтением к памяти отца – и верностью собственным надеждам на Америку. Он уже прекрасно понимал, что русские в эмиграции – более миллиона человек, которые после революции были вынуждены покинуть родину, – в глазах большинства образованных уроженцев Запада нелегитимны как класс. Они против Советского Союза, следовательно, реакционеры: так рассуждала западная интеллигенция. Те, кто воспротивился событиям 1917 года, встали на пути исторического прогресса.

Уилсон не пропагандировал ни ленинизм, ни сталинизм. К тому времени, когда он дописал “К Финляндскому вокзалу”, Уилсон уже был в ужасе от политических убийств и репрессий и как-то заметил в письме, что его работа над книгой закончилась тогда же, когда Россия попыталась прикончить Финляндию (речь шла о советско-финской войне)43. Глубокое влияние на Уилсона оказала Великая депрессия, о которой он писал репортажи в *New Republic*. В начале журналистской карьеры он писал о культуре, но в дальнейшем заинтересовался социальными проблемами. Биржевой крах вызвал у Уилсона сильную тревогу за переживавшую кризис родину:

> Сегодня [речь о январе 1931 года] в Соединенных Штатах… около девяти миллионов безработных. Наши

> города являют миру зрелище лишений и невзгод: масштаб бедствий потрясает до глубины души… сельское хозяйство разорено… промышленность, переключившись на Юг, оказалась в ужасных условиях… почти как в Англии сто лет назад[44].

Уилсону казалось, будто мир окутал “мрак”, “земля расколота и близится судный день”[45]. Особое внимание он уделял эпидемии самоубийств. Все это свидетельствовало об ослаблении воли, хотя самоубийцы вызывали у Уилсона искреннее сострадание. Оставив работу в *New Republic*, он несколько месяцев ездил по стране и писал о положении дел на заводах и о Генри Форде как непоследовательном пророке капитализма, о близившемся голоде, о суде над парнями из Скоттсборо в Чаттануге[15]. В 1932 году Уилсон собрал репортажи в книге “Американские передряги: год кризиса” (*The American Jitters: A Year of the Slump*)[46]: получился в целом беспристрастный, неожиданный и удивительно подробный рассказ о глубоких ранах, нанесенных Америке и ее надеждам на будущее. В главе под названием “История автора” Уилсон в грубоватой, но добродушной манере описывает себя как мелкого буржуа, конформиста, гедониста и эгоиста. Рассказывает о собственных доходах в 1920-е годы, признавая, что наследство давало ему возможность “читать, выпивать и ни о чем не заботиться”[47].



Эдмунд Уилсон, начало 1940-х годов

Уилсону еще и потому так нравился коммунизм, что писатель полагал, будто американское правительство работает плохо и не оправдало надежд народа. Оно неспособно распознать грядущую экономическую катастрофу несмотря на то, что президент Гувер ранее был министром торговли. Теперь же этот президент, писал Уилсон, “уверяет нас, будто бы дела в полном порядке”, сам же

тем временем посылает генерала Дугласа Макартура “сжечь лагерь безработных ветеранов войн, которые пришли в Вашингтон, чтобы потребовать справедливости… а мы еще гадаем, жизнеспособны ли американские республиканские институты”[48]. Уилсону казалось, что уж в СССР-то не спасовали бы перед такими проблемами: решили бы их, не моргнув глазом. “Успехи Советского Союза вызывают у нас все большее восхищение: советское правительство уделяет пристальное внимание промышленным и экономическим вопросам и сумело предотвратить подобные кризисы”[49].

К моменту знакомства с Набоковым Уилсон все же понял, что на самом деле творится в Советском Союзе и кто такой Сталин. В 1935 году Уилсон побывал в России на средства, выданные фондом Гуггенхайма: свойственные писателю энергичность, любознательность и дружелюбие помогли ему собрать материала на три книги. Он понял, что СССР – полицейское государство, прочувствовал царившую среди интеллигенции атмосферу страха (многие вскоре были репрессированы). Толпа на улицах показалась Уилсону “неряшливой” и “скучной”[50]. Социализм не развеял всепоглощающую русскую тоску – скорее наоборот.

Однако в своих книгах Уилсон не обмолвился о страхе: он постарался отыскать примеры советского опыта, которые можно перенести на американскую почву и которые свидетельствовали о компетентности и власти над будущим. Ведь обе страны так похожи: обширные и до конца не освоенные территории, кругом “степи, бурные реки и дикие леса”[51] – “никогда не знаешь, что таится… в глуши этих земель, никогда не знаешь, что из них выйдет”.

Глава 4

Уилсон достал для Набокова заказы на книжные рецензии, помог завязать новые полезные знакомства, благодаря чему Набоков благополучно пережил первую зиму в Америке без постоянной работы. Его ждала должность в Стэнфордском университете, а в феврале двоюродный брат Николай договорился для него о лекции в Уэллс-колледже. Набоков привез в США "сотню лекций – примерно 2000 страниц – по русской литературе"[1] и был готов прочесть их, как только представится такая возможность. Он видел себя не только художником, но и потенциальным преподавателем – тем, кто несет культурные блага и знание диковинной иностранной литературы аудитории, которая готова платить за это деньги. Набоков не утратил оптимизма и выбрал правильную стратегию приспособления к жизни в эмиграции.

По рекомендации Карповича, преподававшего в Гарварде, Набокова включили в список внештатных преподавателей Института международного образования, и колледж Уэлсли пригласил его в марте 1941 года прочесть двухнедельный курс лекций – отчасти потому, что в тамошней библиотеке вместе с прочими изданиями Льюиса Кэрролла обнаружился перевод "Алисы в Стране чудес", который Набоков сделал в 1922 году[2]. Набоков-лектор оказался обаятельным, эрудированным, с отменным чувством юмора и очаровательным английским акцентом. "Мои лекции пользуются обнадеживающим успехом, – писал он Уилсону. – Я между делом разделался с Максимом Горьким, мистером Хемингуэем и еще некоторыми, изувечив их трупы до неузнаваемости"[3]. Писателю понравились студентки Уэлсли и "очаровательные" преподавательницы. В Бостоне он пообедал с Эдвардом Уиксом, который, как и Набоков, учился в Тринити-колледже в Кембридже. Уикс "принял мой рассказ, а заодно и меня самого с трогательной теплотой", – сообщает Набоков (речь о рассказе "Облако, озеро, башня", который рекомендовал Уилсон). Уикс рассыпался в похвалах, назвал рассказ "гениальным" и тут же предложил Набокову написать для журнала *Atlantic* еще несколько "маленьких шедевров" ("это то, что нам нужно"). Набоков был потрясен.

Вера почти весь год проболела: впоследствии она признавалась, что ее болезнь стала "результатом всех переездов и треволнений"[4]. Она искала работу, в январе 1941 года нашла (переводы для газеты *Free French*), но потеряла, поскольку несколько недель ее мучил ишиас[5]. Из-за болезни

запланированная поездка в Пало-Альто угрожала сорваться: казалось маловероятным, что Вера сможет отправиться в путь. Однако 26 мая, в понедельник, который пришелся на новолуние, семья выехала на запад на машине Дороти Льютхолд, одной из студенток Набокова.

Поездка в Калифорнию на автомобиле в 1941 году была в некотором роде авантюрой. Систему дорожной нумерации (*U. S. I, Md. Hwy* 97) ввели всего десять лет назад[6], и покрытие на многих дорогах, в том числе и на основных автомагистралях, оставляло желать лучшего. Ситуация в мире была в высшей степени нестабильной. За две недели до того, как Набоковы, с рукописями и семилетним сыном, отправились в путешествие на тяжелой американской машине, парижское гестапо схватило 3600 евреев, в том числе много детей[7].

Немцы только что захватили Крит, и военные корабли фашистов громили в Северной Атлантике британский флот. Намерения Германии в отношении Советского Союза, с которым был заключен пакт о ненападении, тоже принимали иной характер. Трудно сказать, насколько Вера с Владимиром следили за развитием событий в газетах и по радио, но после того как немцы напали на СССР, Набоков писал Уилсону:

> Почти двадцать пять лет русские, живущие в изгнании, мечтали, когда же случится нечто такое – кажется, на все были согласны, – что положило бы конец большевизму, например большая кровавая война. И вот разыгрывается этот трагический фарс. Мое страстное желание, чтобы Россия, несмотря ни на что, разгромила или, еще лучше, стерла Германию с лица земли, вместе с последним немцем, сравнимо с желанием поставить телегу впереди лошади, но лошадь до того омерзительна, что я не стал бы возражать[8].

“Понтиак” тоже был лошадью, но уже другого рода. Путешественники называли его “понькой” (от слова “пони”)[9]. Эта предпринятая семейством Набоковых экспедиция Льюиса и Кларка[16] с местным гидом (мисс Льютхолд, которая хотела попрактиковаться в русском) стала прообразом последующих летних поездок. Каждый день они ехали дотемна или пока не уставали. Вдалеке показывалась вывеска мотеля или иного пристанища. Составленный Набоковым список мест[10], где они останавливались на ночлег, свидетельствует о том, что путешественники предпочитали мотели (*Motor Court Lee-Meade, Wonderland Motor Courts, El Rey Courts* и т. п.) и избегали обычных гостиниц, где в 1940-е еще был принят дресс-код и надо было

давать чаевые. Только раз Набоковы остановились в отеле: *The General Shelby* в Бристоле, штат Теннесси (Шелби был генерал кавалерии, герой армии конфедератов)11. Набоковы избегали пансионов – всех этих меблированных комнат с общим столом и уборной (Набоков предпочитал ни с кем ее не делить).

В то время, когда миллионам людей грозила гибель, сфера туристических услуг в Америке благополучно развивалась и постепенно меняла ландшафт. Гостиницы потихоньку отмирали, в особенности в маленьких городках, поскольку американцы все реже путешествовали на поезде. Раньше пассажиры прибывали в город по железной дороге и останавливались в отеле, как правило, расположенном рядом с вокзалом12. Но начиная с 1910-х годов американцы все чаще путешествовали на автомобилях, и после целого дня за рулем измученному туристу не хотелось блуждать по улицам незнакомого города в поисках отеля, где с него сдерут втридорога. Так что в 1941 году Набоковы пожинали плоды перемен, которые начались задолго до их приезда, плоды тридцатилетней эволюции, в ходе которой американские автобродяги сперва возили с собой палатки и останавливались в любом красивом месте у дороги или же в кемпинге, существовавшем на средства муниципалитета. В дальнейшем стали набирать популярность частные кемпинги с душевыми кабинками, общей кухней и простейшими домиками (или палатками), где можно было укрыться от непогоды. Им на смену пришли кемпинги с более комфортабельными отдельными деревянными домиками, которые можно было снять за относительно умеренную плату: в домиках были нормальные кровати и прочая мебель. Потом настал черед коттеджных лагерей, они же коттеджные дворы. Коттедж представлял собой усовершенствованный деревянный домик: свежепокрашенные стены, занавески на окнах, более удобная мебель, отдельный душ и место для стоянки автомобиля. Популярные в сороковых мотели, как следует из списка Набокова, отличались от коттеджных дворов: в мотелях под одной крышей было несколько отдельных номеров13. Часто такие автопансионаты имели прямоугольную или вытянутую форму, так что посередине получался дворик, который можно было благоустроить. В архитектуре подобных заведений к 1940-м годам царило удивительное разнообразие: строили мотели в стиле Тюдоров, в виде простых бревенчатых хижин, индейских вигвамов, в колониальном стиле с цветочными кадками и даже в виде миниатюрного форта Аламо.

Путешествие через всю страну, учитывая, что вела машину только мисс Льютхолд, дама средних лет, заняло у Набоковых три

недели. На поезде вышло бы четыре дня. Набоков увлеченно охотился за бабочками. Впоследствии он подарил собранную коллекцию Американскому музею естественной истории, где она семьдесят лет пролежала взаперти в душном запаснике в конце коридора вместе с прочими экспонатами. В 2011 году двое научных сотрудников, Дэвид Гримальди и Сьюзен Рэб Грин, заметили на ярлычке фамилию “Набоков”[14].

El Rey Court (ныне *El Rey Inn*), Санта-Фе, штат Нью-Мексико

Образцы так и хранились в конвертах из пергамина, на которых Набоков записывал дату и место поимки. Каждый день путешествия приносил минимум один трофей. 28 мая, через два дня после начала путешествия, Владимир поймал экземпляры, которые ему показались достойными того, чтобы их сохранить, – в Лурее и Шенандоа, штат Виргиния, в местах, расположенных почти в 30 км друг от друга, по дороге из Геттисберга, где они остановились в первую ночь, в Лурей, где провели вторую. Они также заехали в Грейт-Какапон, штат Западная Виргиния, что в 120 км к западу от Геттисберга. С собой в “поньке” у Набокова было три сачка: путешествие неминуемо должно было выстроиться вокруг интересов главы семейства – похожее бывает в тех семьях, где отец, скажем, увлекается гольфом и деспотически настаивает на том, чтобы поиграть на каждом поле, мимо которого проезжает.

Набоков охотился за бабочками в национальном парке Грейт-

Смоуки-Маунтинс на границе штатов Теннесси и Северная Каролина, который всего лишь за несколько месяцев до этого торжественно открыл президент Рузвельт. В Теннесси писатель собирал экземпляры в Бристоле, Кросвилле, Нэшвилле и Джексоне. О маршруте можно догадаться по картам, которые бесплатно раздавали на бензоколонках. Автомобильные клубы, такие как Американская автомобильная ассоциация, также публиковали справочники, которые Набоков внимательно изучал[15]. Карандашные пометки писателя о заведениях, которые они посетили ("Мотель *Shelby* – хорошо", "*Maple Shade Cottages* – нет", "*Cumberland Motor Court* – очень мило"), напоминают современные рейтинги в справочниках. Названия гостиниц – величественные или безыскусные, обещавшие отдых на природе, – послужили прообразом для пародийных названий мотелей, появившихся впоследствии в "Лолите".

Они ехали на юго-запад вдоль Голубого хребта по скоростной автомагистрали *U. S. Route* 2 (ныне федеральная трасса *Interstate* 81). Практически всю дорогу шоссе было двухполосным. В Ноксвилле они свернули на шоссе *U. S.* 40; судя по остановкам, Набоков охотился за бабочками там, где путешественники располагались на ночлег: скорее всего, они приезжали вечером, снимали номер, а утром писатель, вооружившись сачком, отправлялся на поиски. В Литл-Роке они свернули с *U. S.* 40 на *U. S.* 67, которое вело на юго-запад. Практически сразу за Литл-Роком мисс Льютхолд согласилась сделать очередной крюк: наверно, ей, как и иностранцам, хотелось увидеть как можно больше интересных мест, тем более в теплые июньские деньки, так что путешественники направились в национальный парк Хот-Спрингс, куда с начала XIX века американцы приезжали лечиться на водах.

О впечатлениях Набокова от пейзажей, которые они проезжали, можно судить хотя бы по письму, которое он написал по прибытии в Пало-Альто: "Во время нашего путешествия на машине через несколько штатов (один краше другого) я как безумный гонялся за бабочками"[16]. Десять лет спустя он писал в ныне знаменитом фрагменте из "Лолиты" о "прекрасной, доверчивой, мечтательной, огромной стране", по которой Гумберт Гумберт и Лолита путешествовали на автомобиле. Гумберт, которого, однако, не следует принимать за Набокова, тем не менее видит Америку его глазами: "За обработанной равниной, за игрушечными кровлями медлила поволока никому ненужной красоты там, где садилось солнце в платиновом мареве, и теплый оттенок, напоминавший очищенный персик, расходился по верхнему краю плоского сизого облака, сливающегося с далекой

романтической дымкой”[17]. Гумберт называет свою прозу “затейливой”, однако в описаниях пейзажей он более, чем где-либо, обращается к читателю без обиняков. Гумберт Гумберт тепло описывает “виды североамериканской низменности”, и чувствуется, что он, как всегда, борется с искушением выйти за пределы того, о чем рассказывает, – вырваться из плена собственных дурных предчувствий и лукавых ученых аналогий – и взглянуть на все свежим взглядом.

Возможно, во время поездки Набоков вспоминал “Книгу о бабочках” Уильяма Джейкоба Холланда, популярный иллюстрированный справочник чешуекрылых США и Канады – издание ненаучное, но исключительно информативное. Скорее всего, Уильям Комсток или Андрей Авинов подсказали писателю, где лучше охотиться, или же он узнал об этом из статей *Journal of the New York Entomological Society*, который внимательно штудировал. “Понтиак” пересек границу Техаса, и перед путешественниками открылись виды из книг Майн Рида. Они по-прежнему двигались по шоссе *U. S.* 67 и 2 июня проехали без малого 500 км из Хот-Спрингс в Даллас: типичные пейзажи Запада понемногу сменились бескрайними равнинами. Из-за неожиданно открывшихся глазу просторов с хребтами или пиками гор на горизонте, казалось, небо увеличилось в размерах и стало парадоксально близко, так что иногда путников мучило ощущение избыточной пустоты и чересчур яркой синевы[18].

Чтобы повеселить Дмитрия, путешественники наверняка искали, где можно посмотреть на ковбоев и индейцев. Через несколько месяцев после возвращения няня в Уэлсли, штат Массачусетс, вечером 31 октября 1941 года разрисовала Дмитрию лицо акварельными красками и повела по соседям[19]. Голову мальчика украшал индейский убор из перьев. К этому времени Дмитрий уже бегло болтал по-английски. Мать с отцом не спешили одевать сына *à l’Américain*: летом в Стэнфорде он щеголял в коротких шортах-ледерхозе, а в холодную погоду носил шубку. Его мать, вспоминая о детстве сына, рассказывала, что иногда к нему подходили дети и спрашивали, кто он – мальчик или девочка. “Нет, я мальчик, – спокойно отвечал Дмитрий, – у нас в таких ходят мальчики”[20]. Он был добрый, дружелюбный и смелый, писала Вера. С ранних лет он проявлял “сдержанность во всем, что касалось глубоких чувств”: “потеря ранила его тем сильнее, чем меньше он о ней говорил”. Вера вспоминала, что поездка через Америку запомнилась Дмитрию “множеством красивых мест… помню, как-то мы остановились на ночлег в моторкорте, и я повела его стричься. «Где твой дом, сынок?» – спросил парикмахер… – «У меня нету дома», –

последовал ответ… «Где же ты живешь?» – «В домиках у дороги»”[21].

Набоковым было не привыкать жить в таких “домиках”: с тех самых пор, как родился Дмитрий, они сменили более 35 адресов в трех странах. В открытую Дмитрий не тосковал по оставленным жилищам – например, по квартире в Берлине, где жил с родителями до трех лет, но, по мнению матери, проявлял “странную привязанность к более людным местам”[22], а то, что он в детстве “так дорожил своими вещами и старательно собирал «полные» наборы… пяти– и десятицентовых машинок и поездов, объяснялось той давней утратой дома и игрушек”. Это была “отчаянная попытка очень маленького и растерянного человека бросить собственный якорь посреди непонятного”.

На фотографиях, снятых, судя по каменной кладке в стиле Управления общественных работ, в очередном национальном парке, Владимир настолько увлечен своим хобби, как будто его заставили позировать. В кадре он все время спиной или потупив взгляд, словно высматривает насекомых, или одновременно и спиной, и потупив взгляд. Тощая шея выгнута, как у цапли. Перед самым отъездом из Нью-Йорка Набоков писал Уилсону: “Завтра утром отбываю в Калифорнию с сачками, рукописями и новенькой вставной челюстью”[23]. Зубы не давали Набокову покоя всю жизнь: в 11 лет в Германии ему потребовалась консультация “знаменитого американского дантиста”[24], а к тому времени, когда писатель добрался до Америки, битва шла за каждый зуб – эти вырвать, те оставить, а потом, к сожалению, вырвать и те.

1941-й оказался самым влажным годом за всю историю Техаса[25]. Не раз путешественники попадали в грозу, но все-таки большую часть времени стояла нестерпимая жара: благодаря теплой и влажной погоде активно плодились бабочки, так что Набоков ловил насекомых для коллекции и в Минерал-Уэллс, и в Лаббоке, и в Далласе[26]. Из Далласа путешественники отправились на запад по шоссе 108 и *U. S.* 84, въехали в Нью-Мексико неподалеку от Кловиса, городка, где в 1929 году в ходе раскопок нашли наконечники копий времен палеолита. В Форт-Самнере, по дороге в Санта-Фе, Набоков поймал еще один ценный экземпляр. Именно в Форт-Самнере некогда застрелили известного преступника Билли Кида: об этом упоминается в большинстве путеводителей. К западу от реки Пекос и к востоку от Рио-Гранде путешественники свернули с *U. S.* 84 на трассу *U. S.* 66, уже тогда легендарную, – любимое романтиками шоссе из Чикаго в Лос-Анджелес. В Санта-Фе они провели две ночи в очередном мотеле (“чудесном”)[27] и купили Дмитрию индейский головной убор из перьев.

Что до охоты на бабочек, то гвоздем путешествия стал, конечно же, Большой Каньон. Здесь путешественники остановились в *Bright Angel Lodge*, на южном краю каньона: несколько сблокированных домиков в считаных метрах от пропасти. Очевидно, с *U. S.* 66 (ныне *I*-40) они отправились на север по *U. S.* 180 и попали в парк по Южной въездной дороге. В парке они пробыли два дня. Ночью лил дождь со снегом, и 9 июня выдалось таким холодным, что Вера с Дмитрием грелись в машине[28], пока Владимир и мисс Льютхолд гуляли по тропе Брайт-Эйнджел-Трейл, которая в то утро казалась “скользкой тропинкой”[29]. Домики недавно перестраивали, причем работами руководила архитектор Мэри Э. Дж. Колтер, проектировавшая строения для железной дороги Атчисон, Топека и Санта-Фе[30], которой принадлежали концессии на южном краю каньона. Некоторые части домов, сохранившиеся после переустройства под руководством Колтер, датировались 1896 годом. Превращение заурядного постоялого двора, который предоставлял прибывшим по железной дороге туристам дилижансы до палаточных лагерей, в городок из домиков, а там и в небольшой пансионат, где сдавали не только отдельно стоящие затейливые постройки, объединенные перголами, но и комнаты, во многом отражает историю развития мотелей как таковых, – хотя, разумеется, то, что Колтер решила использовать в строительстве и местный камень, и окоренные бревна, и кирпич и внимательно следила за тем, чтобы все строения непременно вписывались в пейзаж, выгодно выделяют *Bright Angel Lodge* из череды мотелей, в которых Набоковым случалось останавливаться.

Bright Angel Lodge, ныне памятник старины, – наглядный пример характерного для Управления национальных парков деревенского стиля (который иногда называют “паркитектурой”). Среди прочих примеров – гостиница *Ahwanhee* в Йосемити и *Paradise Inn* в национальном парке Маунт-Рейнир в штате Вашингтон. Колтер была одной из основоположниц этого стиля. Деревенский стиль экспериментирует с национальными мотивами: взять хотя бы Хопи-Хаус[31], мастерскую и сувенирную лавку, которую Колтер спроектировала в 1906 году. Архитектор переосмыслила стиль домов-пуэбло индейцев хопи в городе Ораиби, штат Аризона: кстати, в то самое время, когда Колтер разрабатывала проект своей мастерской, обитателей настоящих пуэбло выжили представители племен, более лояльно относившихся к белым. В Хопи-Хаусе, расположенном по соседству с величественной гостиницей *El Tovar*, туристы могут увидеть современные изделия племен навахо и хопи,

понаблюдать за настоящими индейцами за работой и купить какой-нибудь сувенир.

Перед тем как отправиться в первое путешествие по Америке, Набоков попросил друга из Американского музея естественной истории дать ему рекомендательное письмо – дескать, он “аккредитованный представитель” этого учреждения. Благодаря этому писателю разрешили ловить бабочек в национальном парке “Большой Каньон”. Среди его трофеев оказались самцы и самки нового, как думал Набоков, вида32: он назвал его *Neonympha dorothea* в честь мисс Льютхолд, их бессменного шофера, – именно она случайно задела ногой коричневую бабочку в то холодное утро на “скользкой тропке”. Набоков с детства мечтал открыть новый вид бабочек33, который назовут в честь него (“*Neonympha dorothea Nabokov*”). Спустя год или около того после путешествия он написал стихотворение – не об этой бабочке, но о другой, которая, увы, тоже, как выяснилось, не принадлежала к новому виду:

Нашел и по-латыни имя дал,
Стал крестным милой пленницы моей.
И первым, кто находку описал, —
Иной же славы не хочу, ей-ей.

Приколотые крылья распластав,
Вдали от ползающих родичей и ржи
В укромной крепости та бабочка свой прах
Переживет и тленья избежит34.

Путешествие на запад обернулось удачей. Маленький отряд на “понтиаке” катил вперед, останавливаясь по просьбе Владимира, который охотился за бабочками и в Лас-Вегасе, и в Сан-Бернардино, и в Санта-Монике, и в Охае35.

Глава 5

То, что архитектор Мэри Колтер позаимствовала для сувенирной лавки проект пуэбло, которые индейцы хопи строили на протяжении 900 лет, и даже материалы, для того времени было обычным делом. Владельцы железных дорог и гостиниц на юго-западе Америки на протяжении десятилетий всеми силами старались привлечь в регион туристов и даже строили псевдопуэбло на всемирных ярмарках1. Колтер пошла дальше других: у нее Хопи-Хаус строили из песчаника и можжевельника настоящие индейцы из племени хопи, камины клали из керамических черепков, а потолок делали из соломы.

Трудно сказать, что запомнилось Набокову из этой стилистической мешанины. Здания, которые он повидал в первую поездку на запад, в архитектурном смысле были "не вполне рыба и не вполне мясо", как писал в тридцатые годы Джеймс Эджи в журнале *Fortune* об американских придорожных строениях. Типичными достопримечательностями, расположенными вдоль крупных автомагистралей, Эджи считал пещеры, которые использовали как приманку для туристов. (Второе место занимали коттеджные поселки, лишь немного уступавшие пещерам в популярности.) Эджи писал:

> Однако с коммерческой точки зрения найти такую [достопримечательность] – полдела. Если поискать, то отыщутся и шахты со стволами, в которые можно спуститься (в некоторых даже есть лифты). У входа в такие шахты выстроены "хижины" стоимостью в сотни тысяч долларов – с уборными, буфетами и сувенирными прилавками. Одетые в униформу сотрудники проведут вас бетонными дорожками… Во всех хороших пещерах есть электрическое освещение, часто с неожиданными эффектами. У каждой… достопримечательности свое название – затейливое или с уклоном в романтику2.

В таких местах "очарование природы соединяется с мастерством предпринимателя", замечает Эджи: "Хорошая пещера приносит в год до 150 тысяч долларов…3 Такое прибыльное местечко… еще выгоднее, если в нем есть неожиданные повороты и изгибы, какой-нибудь прудик (который неизменно называют «подземным озером») или ручей (непременно «Стикс»)".

Набоковым попадалась по дороге реклама пещер. В Лурее,

штат Виргиния, они проезжали знаменитую систему карстовых пещер, а в Нью-Мексико их путь пролегал севернее Карлсбадских пещер, которые при президенте Гувере превратили в национальный парк. В “Лолите” пещеры тоже упоминаются – среди развлечений, которые Гумберт искал для своей юной наложницы, были “пещера в Арканзасе [или] точное воспроизведение Лурдского Грота в Луизиане”4. Пошлые, вульгарные переделки пейзажа, лишь бы заработать доллар-другой: и пусть придумали это не в Америке, но она далеко обогнала Старый Свет в игривом бесстыдстве. Однако Набоков не пятился в ужасе. В письмах друзьям он почти не упоминает о рукотворных достопримечательностях: вместо них он замечает “поволоку никому ненужной красоты”5 вдалеке или попадавшихся на глаза бабочек6. Внимание писателя привлекали (и поражали его) мотели, оформленные в духе “Сказок матушки Гусыни”, и “кафетерии в виде заварочного чайника, совы из папье-маше с гигантской надписью «УХУ-ЩЕНИЕ» и смеющаяся свинья с неоновыми зубами” – и это лишь немногие из длинного перечня “чудес”, о которых пишет Эджи. Об этом можно судить по классическим описаниям придорожных городков, которые Набоков сделал впоследствии.

В Пало-Альто Набоковы остановились в доме 230 по Секвойя-авеню, примерно в квартале от кампуса Стэнфордского университета. Перед “премилым домиком”, как назвал его Владимир, росла секвойя (*Sequoia sempervirens*), а на заднем дворе стоял удобный шезлонг7, в котором писатель загорал в плавках8. До войны Стэнфорд не считался особенно престижным университетом: в нем преподавали несколько известных ученых, еще несколько занимались наукой, но наибольшее впечатление на тех, кому довелось там побывать, производили красота окружающего пейзажа и райский климат, в особенности летом, когда стояли предсказуемо погожие дни, – было жарко, однако ночью становилось прохладнее, – на васильковом небе не видно было ни облачка, а вдали маячили Береговые хребты. Осенью, еще до приезда Набоковых, в Стэнфорде (после Гарварда) проучился несколько месяцев Джон Кеннеди: жил он в коттедже с одной спальней за домом 624 по Мэйфилд-авеню, владелица которого, Гертруда Гардинер, впоследствии вспоминала, что Кеннеди был “на голову выше” обычных студентов. Кеннеди любил отдыхать в университетском кампусе с его дубами, привозными пальмами и эвкалиптами. Ездил будущий президент на зеленом, как кактус, “бьюике”-кабриолете с красными сиденьями, который купил на гонорар за книгу “Почему Англия

спала”: писать ее Кеннеди помогали два человека из окружения его отца, посла Америки в Великобритании Джозефа П. Кеннеди. Проведя в Стэнфорде несколько спокойных недель, он написал другу по приготовительной школе, что “девушки здесь очень симпатичные и вообще на Ферме хорошо”[9] (обитатели Стэнфорда называли его “Фермой”).

Дороти Льютхолд вернулась на восток. Набоков же не только дремал в шезлонге: лекции по современной русской литературе и писательскому мастерству он читал с небывалым пылом[10], на который никак не влияла малочисленность аудитории (двое слушателей на занятиях по истории русской литературы и четверо – по писательскому мастерству). Один из его студентов вспоминал: Набоков увлекался темой лекции и даже не замечал, как в уголках рта у него скапливается пена[11].

Прежде Набоков никогда настолько не увлекался лекцией, чтобы брызгать слюной. Студенты, которым писатель впоследствии читал лекции в Уэлсли и Корнелльском университете, также не видели его в таком волнении: его отличала завидная выдержка и хладнокровие. За двадцать лет, проведенных в Европе в эмиграции, он написал несколько самобытных, оригинальных произведений: почти все были опубликованы и получили высокую оценку критиков и читателей. Благодаря упорному труду Набоков занимал одно из первых мест в литературном табеле о рангах XX века, безотносительно к тому, знали об этом в англоязычном мире или нет. Он собрал аудиторию, восприимчивую к его чувствительности. Это все были русские, эмигранты, как и сам Набоков: их не вводила в заблуждение издевка, с которой писатель относился к своим героям, настороженное внимание к сильным чувствам и презрение к красивым, но банальным историям. В Америке ему предстояло заново сформировать круг читателей, пусть сделать это было нелегко, и еще непонятно было, получится что-то или нет.

Улегшись в шезлонг, Набоков занялся задачей, которую считал второстепенной: он редактировал переводы, которые должны были читать его студенты для курса по истории русской литературы. Он всегда считал, что главное – перевод: от качества перевода зависело многое. Если писателю удалось бы донести до слушателей музыку пушкинского “Пира во время чумы” или, к примеру, гоголевской “Шинели”, то это было бы только к лучшему. Англоязычный читатель, почувствовав вкус шедевров русской литературы, рано или поздно непременно понял бы, в чем ее суть. Набоков писал своему бывшему учителю рисования Добужинскому, что ему некогда писать свое. “Мало у меня досуга

для собственных трудов и много себе задаю лишней работы, особенно в смысле переводов на англ [ийский], но что поделаешь, когда существующие переводы… не перекладные лошади просвещения, а дикие ослы дикого невежества. Какая небрежность, какая недобросовестность”12, – сокрушался Набоков.

Если же студенты смогут постичь литературу в целом, в особенности произведения тех писателей и поэтов, которых больше всего ценил Набоков, – Пушкина, Тютчева, Гоголя, Лермонтова, Толстого и некоторых других, – им откроется и подлинное сокровище: творчество самого Набокова.

В начале июля в Пало-Альто приезжал Джеймс Лафлин, основатель издательства *New Directions*. О Набокове ему, помимо прочих, рассказывал Уилсон. Лафлин предложил писателю крошечный аванс13 за издание “Подлинной жизни Себастьяна Найта”, романа, которому прежде не везло с публикациями, и Набоков согласился: по крайней мере, это был аванс, то есть гарантия того, что роман все-таки выйдет.

Набоков ездил охотиться за бабочками в Лос-Альтос, к югу от Стэнфорда[17]. Добужинскому он расхваливал “прелестные желтые холмы” побережья, обрамленные темным лесом. Калифорнийское лето, когда на солнце жарко, а в тени прохладно из-за влажности, напомнило ему пушкинскую поэтическую прозу, прозрачную и чуть прохладную14. Уилсон предостерегал Набокова от чар Золотого штата: “Боюсь только, что Калифорния Вас околдует и Вы больше никогда не вернетесь обратно… Погода у нас который день стоит прекрасная, и остальной мир мнится поэтому каким-то нереальным”15.

Понемногу весть о лекциях облетела университет, и на занятия стали стекаться заинтересованные слушатели16. К студентам Набоков относился снисходительно, не судил за ошибки, а вот к авторам, которые не соответствовали его высоким стандартам, был беспощаден. “Главная задача драматурга – написать не удачную пьесу, а бессмертную”17, – заявлял он, словно в продолжение спора с Алтаграцией де Жаннелли. Несмотря на отсутствие некоторых зубов, впалую грудь и одежду с чужого плеча (ярко-синий костюм ему отдал Михаил Карпович, твидовый пиджак – Гарри Левин, еще один преподаватель из Гарварда), несмотря на ботинки на босу ногу, брызжущую слюну и чрезмерные эстетические претензии – несмотря на все перечисленное (а может, благодаря этому), лектором Набоков был прекрасным, харизматичным, “настоящим”18.

Генрих Ланц предложил Набокову место в Стэнфорде, и они подружились19. Ланц был “высокий, худой, с округлыми плечами

и мягкими проницательными черными глазами”[20], как описывает его университетская газета. Финн по происхождению (отец Ланца был натурализованным американским гражданином), Ланц родился в Москве, учился там же и в Германии. Во время Первой мировой войны перебрался в Лондон, где в тридцать лет женился на четырнадцатилетней. В Калифорнии Ланц учил английскому языку американских солдат славянского происхождения. К концу войны должен был получить место преподавателя в Стэнфорде, на созданной им же языковой кафедре. На Ферме Ланц слыл уникумом: бегло говорил на нескольких языках, был музыкален, склонен к мистике, удивительно рассеян – в общем, очаровательный европейский господин. Ланц обожал шахматы, и в то лето они с Набоковым сыграли не одну сотню партий (большую часть которых Набоков выиграл). Своему биографу Эндрю Филду Набоков описывал Ланца как *un triste individuel*[18] – эвфемизм для “педофила”, принятый в швейцарской прессе. Сидя за шахматной доской, они откровенничали, и Ланц признался, что любит нимфеток, а еще ему нравится смотреть, как девушки мочатся.

Возможно, Ланц так или иначе оказал некоторое влияние на образ Гумберта Гумберта. Филду это казалось очевидным, однако, когда он поделился своими соображениями с Набоковым, тот в гневе их отверг. Тема совращения малолетних уже встречалась в творчестве писателя – начиная со стихотворений конца 1920-х годов. Вся “Лолита” в каком-то смысле восходит к фрагменту из романа “Дар” (1938), в котором один из персонажей, Федор Константинович, признается жениху падчерицы:

> Эх, кабы у меня было времячко, я бы такой роман накатал… Из настоящей жизни. Вот представьте себе такую историю: старый пес, – но еще в соку, с огнем, с жаждой счастья, – знакомится с вдовицей, а у нее дочка, совсем еще девочка, – знаете, когда еще ничего не оформилось, а уже ходит так, что с ума сойти. Бледненькая, легонькая, под глазами синева, – и конечно на старого хрыча не смотрит. Что делать? И вот, недолго думая, он, видите ли, на вдовице женится. Хорошо-с. Вот, зажили втроем. Тут можно без конца описывать – соблазн, вечную пыточку, зуд, безумную надежду[21].

Гумберт Гумберт, который женится на вдове, чтобы заполучить ее дочь, реализует свои мечты (и ночные кошмары), когда миссис Гейз погибает. Герой повести Набокова “Волшебник” (1939) – куда более явный прототип Гумберта: он женится на тяжело больной вдове, которая вскоре умирает и

оставляет на него свою дочь22. Совершенно очевидно, что Набоков вынашивал замысел “Лолиты” задолго до того, как начал в Америке писать роман, и он вернется к теме (возможно, волновавшей и его самого) девичьих тел в других текстах. Можно сказать, что в каком-то смысле все его произведения23 так или иначе посвящены именно этому[19].

У Ланца Набоков позаимствовал для героя “Лолиты” – по крайней мере, так кажется – европейское обаяние и вкрадчивые манеры. Ланц был милым и в сексуальном смысле получал то, что хотел. Дома он велел своей юной жене носить детские платьица, а по выходным, если верить тому, что он рассказывал Набокову, ездил “на природу” “участвовать в оргиях”24 (возможно, что и с детьми). Больше всего на Гумберта Ланц походил рассеянностью и неумением противостоять соблазну. Он “был одержим… нимфетками”, говорил Набоков, если верить Филду: хрестоматийный пример из трудов сексолога Хэвлока Эллиса – такое не лечится. Когда Ланц скоропостижно скончался в пятьдесят девять лет (Гумберт в книге тоже умирает молодым), Набоков был убежден, что тот покончил с собой, а не умер от “запущенной инфекции и перитонита”25, как следовало из некролога в Стэнфордском университетском журнале.

Не так-то просто определить, кто послужил прообразом того или иного персонажа Набокова: был ли Ланц прототипом Гумберта или, скажем, Гастона Годэна, другого героя “Лолиты”, тоже иностранца и распутника. В “Подлинной жизни Себастьяна Найта”, которая была опубликована через три месяца после возвращения Набокова из Калифорнии, единокровный брат умершего прозаика старается выяснить все что можно о жизни покойного. Себастьян был старше В. (так зовут брата) на шесть лет. Выросли они в одном и том же доме в Петербурге, но Себастьян, как многие старшие братья, держался с младшим холодно и отчужденно. В., наблюдая, как Себастьян рисует акварелью, карабкается к нему на стул, но старший брат

> …дернув плечом… отталкивает меня, так и не обернувшись, так и оставшись холодным и молчаливым, – каким он был со мною всегда. Я помню, как, заглянув через перила, я увидал его всходящим после школы по лестнице… Губы мои пучатся, я выдавливаю белый плевочек, который падает вниз, вниз, всегда минуя Себастьяна; я делаю это не оттого, что хочу ему досадить, но в томительной и тщетной надежде заставить его заметить, что я существую26.

В девятнадцать лет Себастьян уезжает учиться в Кембридж. В. с матерью перебирается во Францию, и с тех пор всякая связь между братьями практически прерывается. В романе повсюду рассыпаны факты из биографии самого Набокова, но измененные до неузнаваемости: читателя так и подмывает сказать, что роман – иллюстрация, пусть и с оттенком пародии, к тем изменениям, которые дальновидный прозаик вносит в историю, основанную на материалах из собственной биографии.

У Набокова было два младших брата. Тот, что был ближе к нему по возрасту, Сергей, погиб в концлагере Нойенгамме[27] 10 января 1945 года (в лагерь он попал за "провокационные заявления"). До этого его сажали в тюрьму за гомосексуализм, но отпустили. Нельзя сказать, что братья были дружны. Владимира многое раздражало в Сергее: его наивное эстетство, религиозность, друзья-гомосексуалы из парижского бомонда, но больше всего, конечно же, его гомосексуальность – это было главным камнем преткновения. Можно предположить – в конце концов, вся "Подлинная жизнь Себастьяна Найта" располагает строить предположения о жизни и творчестве писателя, – что Набоков стеснялся своего брата, считал его обузой, но при этом никогда не забывал, что Сергей – его брат и имеет право на собственное мнение. (Другой брат, Кирилл Набоков, был младше Владимира на 12 лет, и старший брат порою тоже держался с ним холодно и надменно, но все же их отношения были гораздо сердечнее.)

Пожалуй, отчасти "Себастьян Найт" стал попыткой что-то исправить в отношениях с братьями. Видимо, Набоков, сознавая, что был с ними слишком суров, как бы допускает, что его братья – благородные, преданные, глубоко интеллигентные люди (как В. в романе) и заслуживали куда лучшего обращения. Младший брат, В., настолько положителен и вызывает у читателя такое сочувствие, что в романе даже прослеживается намек, мол, писателем Себастьяном мог быть и он. Что ж, вполне вероятно, учитывая дальнейшую судьбу Сергея, если предположить, что у Набокова, как у всякого истинного художника, был дар предвидения – почему бы и нет, ведь всеми прочими дарами он обладал в полной мере, – так что он предугадал возможность Нойенгамме или похожего ужасного конца и заранее оплакивал брата.

"Себастьян Найт" располагает к подобным умозаключениям, но и упорядочивает цепь рассуждений. В., стараясь отыскать следы брата, не пренебрегает и подсказками в его опубликованных романах, которые частенько цитирует, однако детективное расследование получается долгим и извилистым.

Среди персонажей появляется и недобросовестный биограф, которого по иронии судьбы зовут Гудменом: он замыслил нажиться на славе Себастьяна. Гудмен намеренно все путает, а когда правда выясняется, грубит герою. (Еще одно пророчество: Набоков словно обращается к Эндрю Филду, своему первому биографу, с которым познакомился тридцать лет спустя.) Однако В. совсем не такой, как Гудмен. Он чувствителен и наделен богатым воображением, он способен заглянуть в тайную жизнь брата – именно заглянуть, а не проникнуть, поскольку, как замечает второй, исключительно добросовестный, биограф Набокова Брайан Бойд, "живущему невозможно постичь чужое «я»"[28], то бишь мы все друг для друга – тайна.

Книга столь же удивительна, сколь и утомительна. Когда Набоков ее писал, он был ярым поклонником модернизма, который почти целиком и полностью обязан своим появлением Прусту и отчасти Джойсу. Набоков сформировался как писатель в эпоху триумфа модернизма, хотя нельзя сказать, что до знакомства с романами "В поисках утраченного времени" и "Улисс" он был невеждой: у него за плечами был багаж русской литературы, равно как и английской, и французской за несколько столетий, а в отрочестве он зачитывался стихами поэтов Серебряного века, в частности символистов и акмеистов. Все это прошло сквозь него, и многое осело в душе. Когда Набоков делал первые шаги на поприще словесности, авторитетные литературные критики вовсю воспевали модернизм, и первые его произведения, написанные в строгом соответствии с канонами модернизма, появились незадолго до "Себастьяна Найта"[29].

Роман о романисте полон рассуждений о том, как нужно писать романы. Удивительная уверенность в притягательности творческого человека как предмета описания. Бесспорно, именно это должно быть в центре внимания литературы как искусства, тем более в романе, в котором все прочие аспекты бытия подвергаются лишенному какой бы то ни было сентиментальности изучению. Эти приемы использовал еще Пруст в своих прекрасных исчерпывающих описаниях персонажей, за каждым из которых угадывается автор. Впрочем, как и Джойс. Местами "Себастьян Найт" похож на "Портрет художника в юности". Вопрос в том, как назвать образ автора и можно ли, если очень постараться, постичь его во всей полноте.

Набоков вставляет в роман автобиографические подробности. Стоившая ему стольких переживаний история с Гуаданини закончилась за год до того, как Набоков начал писать "Себастьяна Найта", и, разумеется, воспоминания об этом окрасили роман. Вместо писателя, который едва не ломает себе жизнь, бросив

любящую его жену, в романе появляется писатель, который ломает себе жизнь, бросив преданную ему женщину ради прелестей любовницы: разумеется, заканчивается это плохо. Любовные письма, которые Набоков писал Гуаданини, фигурируют в романе в виде писем, которые умирающий Себастьян завещает брату с наказом “уничтожить”. Брат В. поступает так, как не поступил бы ни один биограф: он сжигает письма, не прочитав. Отныне никто и никогда не узнает правду о Себастьяне Найте. С точки зрения обычного читателя этот жест не что иное, как глупость, граничащая с интеллектуальной жестокостью: автор словно бьет нас по рукам и отправляет прочь несолоно хлебавши – для нашего же собственного блага.

На исходе лета в Стэнфорде Набоковы отправились в привычное для калифорнийцев путешествие[30]: поехали в долину Йосемити с супружеской четой, которую знали еще по Берлину. Последний раз они виделись с Бертраном и Лизбет Томпсонами в 1937 году на юге Франции, как раз тогда, когда брак Набоковых трещал по швам. Лизбет, одна из самых близких подруг Веры, должно быть, чувствовала неладное, но сейчас, четыре года спустя, отношения между Набоковыми наладились[31], Дмитрий выглядел здоровым и веселым, Владимир поймал много новых бабочек, а Вере явно понравилось путешествие через весь континент[32] и знакомство с американскими “красотами”[33].

Бертран, по возрасту годившийся Набокову в отцы[34], очень ему нравился. Он походил на героя американского романа[35] – что-нибудь в духе Сола Беллоу образца 1950-х годов, нечто среднее между “Приключениями Оги Марча” и “Хендерсоном, повелителем дождя”. Бертран был афроамериканцем. Родился в Денвере, вырос в Лос-Анджелесе. Родители Томпсона развелись, и мать растила его одна. В восемнадцать лет он получил диплом юриста, но, поскольку из-за цвета кожи найти работу по специальности не мог, стал священником унитарианской церкви. Потом поступил в Гарвард в магистратуру по экономике и написал книгу “Церкви и наемные работники” (*The Churches and the Wage Earners*). По долгу пастыря Томпсону приходилось бывать в легендарных местах, о которых писал еще Готорн, в том числе в Сейлеме и Пибоди.

Долина Йосемити, национальный парк “Йосемити”, 1939 г.

Томпсон не остановился на достигнутом: он стал руководителем Бостонской торговой палаты, познакомился там с теориями управления Фредерика Уинслоу Тейлора, который ныне считается основоположником научной организации труда и менеджмента. В 1914 году Томпсон написал “Научную организацию труда” (*Scientific Management*), трактат в духе Тейлора, который, однако, последовательно опровергал его взгляды.

В 1917 году Томпсон выпустил книгу “Теория и практика

научной организации труда”[36], которую переиздают по сей день. В классическом труде Лоренса Говарда и Джерома Маккинни “Государственное и региональное управление: баланс власти и ответственности” работа Томпсона названа “пожалуй, самым фундаментальным исследованием по научной организации труда”. Но на этом перемены не окончились. Томпсона позвали преподавать в Гарвард, но он предпочел роль внештатного консультанта по вопросам бизнеса и распространял учение Тейлора во Франции, Германии и Италии. Французское министерство обороны пригласило Томпсона, чтобы он помог усовершенствовать процесс снаряжения снарядов. В 1920-е годы Томпсон разбогател. Год провел на Филиппинах в качестве консультанта на плантации и на заводе по переработке сахарного тростника *Calami*. В 1929 году лишился большей части состояния. К 1937 году ездил на подержанном “студебекере”[37], и финансовые дела его понемногу приходили в порядок. А вот к моменту поездки в Йосемити в 1941 году Томпсон уже водил новенький “студебекер-коммандер”[38] и в очередной раз начал карьеру с нуля: изучал биохимию в Беркли[39]. Томпсону было уже за шестьдесят, когда он занялся цитобиологией, и за восемьдесят, когда он отправился в Уругвай проводить исследования в области онкологии[40]. Умер Томпсон в Уругвае в возрасте 87 лет вскоре после возвращения из Чикаго, куда ездил по приглашению представителей деловых кругов.

“Йосемити” не был ни самым старым, ни самым большим национальным парком Америки, однако считался чем-то вроде символа или талисмана: Джон Мьюр потратил не одно десятилетие на то, чтобы сохранить парк в его первозданном виде. В некотором смысле Мьюр продолжал дело первого покровителя парка Авраама Линкольна[41], который в разгар Гражданской войны подписал указ, передававший долину Йосемити штату Калифорния для общественного отдыха, и стал первым, кто вывел участок федеральных земель из сельскохозяйственного использования для иных целей. К началу 1940-х годов парк приобрел свой нынешний вид. Появились несколько построек в сельском стиле, характерном для зданий Управления национальных парков. Герберта Майера, спроектировавшего музей Йосемити[42], назначили начальником регионального управления Гражданского корпуса охраны окружающей среды. Отныне при строительстве любых зданий в национальных парках пользовались руководствами Майера по проектированию и дизайну, так что все постройки по умолчанию получались в сельском стиле.

Набокову нравились американские национальные парки. Уже

в первую поездку он посетил национальные парки “Грейт-Смоки-Маунтинс”, “Хот-Спрингс”, “Большой Каньон” и, возможно, “Петрифайд-Форест” (неподалеку от Холбрука, штат Аризона: там он поймал очередную бабочку). Побывал писатель и в нескольких парках разных штатов: только в одном Теннесси он охотился за бабочками в заповеднике “Маунт-Рузвельт” и его окрестностях, а также в парках “Фроузен-Хед” и “Камберленд-Маунтин”. В Йосемити ему снова пригодилось рекомендательное письмо из Нью-Йоркского музея естественной истории. Однажды Набоков настолько увлекся погоней за насекомыми43, что наступил на спящего медведя[20]. Набоковы и Томпсоны приехали в парк на машине, что было типично для тех лет[21]. Жили они, скорее всего, в благоустроенных палатках в парке (11 долларов 50 центов за неделю за семью из трех человек, с постельным бельем чуть дороже). Впрочем, в парке было немало и бесплатных лагерей для автотуристов. Лагеря эти походили на кемпинги 1920-х годов44: с водоразборными колонками, столами для пикников, общими уборными. Однако Набоковы никогда не брали с собой в поездки палатку и не спали на земле.

Перед туристами, въезжавшими в парк со стороны Сан-Франциско, как Набоковы и Томпсоны, неожиданно вырастали горы Сентинел-Рок, Эль-Капитан и Хаф-Доум – одни из самых популярных туристических видов в Северной Америке, величественные гранитные скалы. Автопутешественники, которые, как Томпсоны и Набоковы, проводили в парке неделю, часто ездили на день в Глейсер-Пойнт45, в лес секвой Марипоза-Гроув, в Крейн-Флэт, долину Хетч-Хетчи (до затопления) и к знаменитым водопадам.

Бывал в Йосемити и Ральф Уолдо Эмерсон. Полюбоваться великолепными пейзажами приезжали президенты Кеннеди, Эйзенхауэр, Рузвельт, Тафт и Грант. Набоковым, как во всех его путешествиях по западу Америки, двигало желание поохотиться на бабочек, и хотя то, что он наступил на медведя, свидетельствует о том, с каким увлечением он отдавался любимому делу, но все же были у писателя и другие цели. Ему хотелось, во-первых, чтобы сын погулял и порезвился на природе, а во-вторых, пообщаться с американцами в типично американской обстановке (пусть это и не было основным мотивом, но подразумевалось). В дальнейшем писатель не раз посещал национальные парки. В переписке с Алтаграцией де Жаннелли Набоков признавался, что проникся “старомодным очарованием”, которое Америка не утратила, несмотря на весь свой “яркий блеск”, а парки, помимо прочего, являют собой пример благоприятной демократичной среды, по-деревенски простой (и

поэтому “старомодной”), недорогой, здоровой – если, разумеется, не свалишься со скалы, – далекой от всего, что можно назвать аморальным, ультрамодернистским и дерзким (если перечислить культурные тенденции, которые Набоков, по собственному признанию, презирал)[22].

К сентябрю 1941 года, когда здесь побывали Набоковы46, парк максимально благоустроили для автомобилистов, в частности заасфальтировали дороги. Начало сентября – чудесная пора47: дождей почти нет, дни стоят теплые и ясные. Ночью на высоте в тысячу с лишним метров отлично спится. Пик туристического сезона уже прошел, хотя тем предвоенным сентябрем машин в парке было много. 9 или 10 сентября Томпсоны отвезли Набоковых обратно в Пало-Альто48.

Пожалуй, на западе Америки Набоков мог бы прожить всю жизнь. Там можно было в свое удовольствие охотиться за бабочками, да и природа ему очень нравилась. В письме художнику Добужинскому Набоков так описывал палитру Большого Каньона (который ошибочно отнес к штату Нью-Мексико): сверхъестественные “расщелины и ложбины” в оранжевой земле и голубое небо – красота, от которой невозможно оторвать взгляд. На русский язык английское прилагательное *blue* можно перевести и как “голубой”, и как “синий”, что лишний раз доказывает: носители русского языка тоньше разбираются в оттенках синего, нежели носители английского49. “Какое было хорошее путешествие! Я, конечно, главным образом ловил бабочек по дороге, но все же засматривался на великолепные ландшафты”50.

Американцы не любили сидеть на одном месте51. Они обожали дальние поездки, причем зачастую путешествовали просто так, для удовольствия, и в этом отличались от многих европейцев. Самые большие расстояния – на западе: именно уроженцы западных штатов – самые заядлые путешественники. Набоков, как многие путешественники, вскоре тоже начал вести учет милям, которые проехали за день, и потраченным галлонам бензина52, отмечать посещенные места и мотели или другие пристанища (например, пансионаты на ранчо). В разлуке с излюбленными местами отдыха признавался, что ему не терпится вернуться на запад и что было бы идеально, помимо квартиры в Нью-Йорке, завести домик на природе53, где-нибудь в запомнившемся ему “уголке пустыни в Аризоне”54.

Глава 6

Из Нью-Йорка, куда они прибыли на поезде в жестокие холода, Набоковы отправились в Бостон1. Двухнедельный курс лекций, который Владимир прочитал в Уэлсли в марте 1941 года, пользовался таким успехом – всех покорило обаяние писателя, – что колледж предложил ему контракт с окладом 3000 долларов в год (ставка штатного преподавателя). К 18 сентября Набоковы поселились в Уэлсли в 32 км от Бостона2. “Мы только что возвратились на Восточное побережье, – писал Набоков Уилсону. – В течение года я буду здесь читать курс сравнительного изучения литературы. Очень хочется повидать Вас”3.

Когда читаешь о разрыве двух писателей, приключившемся два десятилетия спустя – жестоком, с публичными взаимными обвинениями (пожалуй, последняя подобная битва педантов в истории Америки – хотя кто знает?), – удивляешься, как же до такого дошло, как могла разрушиться такая дружба? “Дорогой Кролик, – писал Набоков Уилсону в начале 1940-х, – я получил гуггенхаймовскую стипендию. Спасибо, дорогой друг. У тебя удивительно легкая рука. Я заметил, что всякий раз, когда ты принимаешь участие в моих делах, успех мне обеспечен… В Нью-Йорке буду проездом в среду и четверг, 14 и 15 апреля. Позвоню в среду днем, если дашь мне свой телефон”4.

Уилсон уговорил Набокова подать заявку на стипендию фонда Гуггенхайма и даже написал рекомендательное письмо[23]. В итоге грант Набоков получил, причем едва ли ему дали бы его без помощи Уилсона: писателю на тот момент уже исполнилось 43 года, а прежде среди стипендиатов фонда не было никого старше 40 лет.

Набоков писал ему в 1941 году:

> Дорогой Уилсон, большое *spaseebo* за то, что “свели” меня с *Decision* и *New Direction*. Мы очень мило пообщались с Клаусом Манном [сыном писателя Томаса Манна и редактором журнала *Decision*]: он предложил мне написать для них статью в 2000 слов. Я получил письмо от Джеймса Лафлина и посылаю ему мой английский роман5.

“Английским романом” Уилсон называл “Подлинную жизнь Себастьяна Найта”. Он не только помог опубликовать книгу, но и свел Набокова со многими влиятельными людьми и

издательствами. В декабре 1940 года Уилсон писал Набокову:

> В конце этой недели я ухожу из *The New Republic*, но я договорился с Брюсом Блайвеном [председателем редколлегии журнала], что он закажет вам цикл статей… о современной русской литературе. Думаю, каждая статья должна быть максимум в 1500 слов, разве что вы захотите написать что-то очень важное: тогда можно больше[6].

Ранее Уилсон советовал Набокову:

> В дальнейшем, когда будете писать рецензии в *The New Republic*, ставьте сверху, как у нас принято, название книги и автора. А также число страниц и стоимость издания. Вкладываю для примера рецензию. И еще одно: пожалуйста, воздержитесь от каламбуров, к чему, я вижу, у Вас есть некоторая склонность. В серьезной журналистике они здесь не в чести[7].

Уилсон слыл человеком отзывчивым – в американской литературе нет второго писателя, который с такой охотой помогал бы другим, – но в отношении Набокова он превзошел самого себя. Он знакомил его с редакторами, готовыми платить гонорары (“Мне кажется, Клаус Манн… заплатит вам больше, чем *Partisan Review*”), советовал, как лучше подавать в издательство чистовой экземпляр рукописи, делал редакторские замечания (Набоков посылал Уилсону рассказы, стихи, переводы и целые книги, а Уилсон их все читал), подсказывал, как общаться с издательствами и редакторами, к кому обратиться (“пошлите это Найджелу Деннису, он сейчас там главный… напомните, что я договорился… с Блайвеном”): словом, помогал всегда и во всем. Некоторые исследователи творчества Набокова усматривают в помощи Уилсона корыстный интерес: дескать, ему нравилось все русское, хотелось попрактиковаться в языке. Разумеется, в каком-то смысле ему было выгодно общаться с русским писателем, но эта выгода меркнет перед уилсоновской активной деятельностью и упорством. В 1944 году он добился, чтобы Набокова опубликовали в *New Yorker* – важный шаг, который принес неоценимую пользу дальнейшей карьере писателя. В журнале стали выходить главы того, что впоследствии оформилось в мемуары “Память, говори”, и рассказы. Кэтрин Уайт, литературный редактор *New Yorker*, также сыграла важную роль в жизни Набокова. Александра Толстая из Фонда Толстого предупреждала писателя, что “все американцы абсолютно

некультурные, легковерные дураки”[8]. В чем-то это ее суждение было справедливо, однако вопреки этому в первые же годы в Америке Набокову посчастливилось познакомиться с образованными и влиятельными людьми.

Без помощи Уилсона карьера Набокова в Америке сложилась бы иначе, если вообще сложилась бы[9]. Бойд, который недолюбливал Уилсона, все же признает, что “Набокову с самого начала довелось познакомиться со сливками американской интеллигенции”[10], но ведь ввел писателя в этот круг не кто иной, как Уилсон. “Себастьяну Найту” не удалось найти издателя, несмотря на усилия двух литературных агентов, пока Уилсон не переговорил с Лафлином, после чего, как писал Набоков, “*New Directions* приняло к публикации мой английский роман, по этому поводу у меня был Лафлин из Лос-Анджелеса… Напечатают в октябре”[11].

Редакторы журнала *New Yorker* обратили внимание на произведения Набокова, потому что благодаря Уилсону их уже публиковал *Atlantic*. Уилсон дружил с Уиксом из *Atlantic*, так что, когда Набоков попросил Уилсона повлиять на Уикса, чтобы тот поскорее выплатил гонорар, Уилсон ответил: “Мне говорить ему об этом не хочется: я и без того постоянно кого-то рекомендую в *Atlantic*, и Уиксу может не понравиться, если я вдобавок стану указывать ему, когда следует платить авторам”[12].

Набоков называл Уилсона “истинным чародеем” – в знак преклонения перед его умом и в благодарность за помощь. Переведя пушкинский монолог Скупого рыцаря, Набоков пишет Уилсону: “Не могли бы Вы быть его крестным отцом – если, конечно, сочтете перевод приемлемым. И буду ужасно признателен за поправки и замечания”[13].

И пусть у каждой из сторон – и у Набокова, и у Уилсона – были свои интересы, однако достаточно просто объяснить то, почему же они так тесно общались на протяжении стольких лет: Набоков и Уилсон были близкими друзьями. Их тянуло друг к другу. Уилсон писал в марте 1945 года:

> Дорогой Володя, в среду я отплываю [в Европу]… Меня не будет месяца четыре или шесть. Удачи тебе. Кстати, если ты действительно хочешь преподавать в университете, напиши Льюису Джонсу, директору Беннингтона, и скажи, что ты – тот самый человек, о котором я ему говорил… Наши беседы с тобой были одними из немногих утешений в моей литературной жизни за последние годы, когда старые друзья умирали один за другим, исчезали или становились все более и

> более нервными, да и общее положение дел в мире наводило на грустные размышления[14].

Годом ранее Уилсон похоронил близкого друга, Джона Пила Бишопа, и вскоре ему суждено было потерять еще одного, Пола Розенфельда. В год, когда Уилсон познакомился с Набоковым, умер Фрэнсис Скотт Фицджеральд, так что Уилсон, видимо, перенес на Набокова братскую заботу, которую привык дарить нуждавшемуся в ней Фицджеральду (Уилсон дружил с ним с университета)[15].

Набоков испытывал к Уилсону искреннюю симпатию: об этом свидетельствует то, что письма Уилсону он писал сам, а не Вера от его имени (впоследствии даже близким друзьям Набокова по его поручению писала именно она), да и сам стиль этих писем: блестящий, легкий, остроумный. В марте 1943 года, когда Уилсон женился на Мэри Маккарти, Набоков писал: “В середине апреля я остановлюсь на один день в Нью-Йорке… и тут уж я непременно повидаю вас обоих. Очень соскучился”. В другом письме: “Вы одни из очень немногих людей в мире, по кому я искренне скучаю, когда долго не вижу”[16].

Были у Набокова и другие друзья[17]. Он писал им в основном по-русски, увлекательно и с душой, но далеко не так, как Уилсону. Как и в письмах любимой жене, Уилсону Набоков сообщает о каждом литературном замысле, о каждом достижении, маленьком или большом:

> Я надеюсь, ты с интересом прочтешь мою новую работу о чешуйчатокрылых – прилагается к письму. Постарайся прочесть то, что спрятано между описаний, хотя в них тоже есть удачные пассажи. Сегодня закончил рассказ для *Atlantic* (после “Мадемуазель О” [пятая глава будущих мемуаров “Память, говори”] Уикс звонил мне четыре раза на предмет новой вещи; пришло письмо из Общества “За чистоту речи” (и еще чего-то) с просьбой дать согласие на использование отрывка из “Мадемуазель О” в их учебнике”)[18].

Читать о каждом достижении нестерпимо скучно. Набоков уверяет Уилсона, что тот сам тому причиной: “…если столь подробно говорю о своих делах, то лишь потому, что Вы – мой великий покровитель”[19].

Мэри Маккарти, стараясь объяснить их взаимную привязанность, вспоминала: “Они просто души не чаяли друг в друге. Эдмунд всегда *блаженствовал*, когда появлялся Владимир; он *обожал* его”[20]. Они часто навещали друг друга: то Набоковы

гостили у Уилсонов на Кейп-Коде, то Уилсоны у Набоковых на съемных квартирах, причем встречи эти неизменно проходили бурно, весело, с обильными возлияниями. Эндрю Филду, своему биографу, Набоков говорил, что Уилсон “разумеется, был моим самым близким другом” (а не “моим самым близким другом среди американцев”)[21]. Следует отметить их совместимость даже в политических вопросах, притом что Набоков и Уилсон придерживались противоположных взглядов на СССР. Оба были крайними индивидуалистами, говорили, что думали, без обиняков, даже если их суждения оказывались чересчур резки. Оба были юдофилами, хотя в те годы даже самым известным англоязычным авторам – Элиоту, Паунду, Хемингуэю, Фицджеральду и многим другим – было свойственно пренебрежительное отношение к евреям. В рецензии на книгу “Гильотина за работой”, которую так и не опубликовали в *New Republic*, несмотря на предисловие Уилсона, – журнал счел, что подобная враждебная позиция по отношению к Сталину зимой 1942 года неуместна, – Набоков признает, что истории нужны идеалисты (и Уилсон разделял эту его позицию): “Такие вот мечты вращают землю: без них она бы встала”. И далее: “Есть люди, которым настолько отвратительно страдание как таковое, что они готовы ввязаться в любую авантюру, если есть хоть малейший шанс сделать жизнь человечества лучше”, и это “невольно внушает оптимизм, который нас, – пожалуй, к счастью, – никогда не оставит”[22].

Учебная нагрузка Набокова в Уэлсли была символической: три пары в октябре и три в январе плюс шесть публичных лекций в год. “Нам тут очень комфортно и хорошо. Первая лекция у меня 1 октября. Всего в октябре три, в феврале три и пять-шесть публичных – и все; правда, еще надо принимать участие в «общественной жизни» (ленчи в колледже и прочее)”, – рассказывал Набоков Уилсону. Небольшая нагрузка и множество досуга для того, чтобы писать. И далее о научных занятиях и достижениях (как будто Уилсону не терпелось об этом узнать): “В последнее время я много работал в своей специальной области энтомологии, два моих сообщения появились в научном журнале, сейчас я описываю новую бабочку из Большого Каньона, а также пишу весьма амбициозное сочинение о мимикрии”[23].

Работа в Уэлсли давала Набоковым средства к существованию на протяжении семи лет. На постоянную работу в колледже, учитывая перипетии военного времени, его так и не взяли. После Перл-Харбора сокращения бюджета продолжали расти, Советский Союз пользовался дурной славой,

администрация колледжа с прохладцей относилась к славистике, и преподавателей-славистов в штате стало меньше. Однако после того как стало известно о страданиях и отчаянной борьбе советского народа с фашистами и невероятной, блестящей, разнесшей планы Гитлера по захвату мира в пух и прах победе над Шестой армией вермахта под Сталинградом, все русское снова обрело популярность. Осенью 1942 года, после года, который Набоков провел в качестве “штатного писателя”, контракт с ним не продлили, но к весне 1943-го[24] он уже преподавал в Уэлсли: читал факультативные курсы, по которым студентам не надо было сдавать зачеты и экзамены, а к академическому году 1944–1945 его практически взяли в штат внеклассным преподавателем русского языка.

Антисоветские взгляды Набокова, считавшего, что коммунизм и фашизм – одно и то же, не нравились президенту Уэлсли, Милдред Хелен Макэфи. В дальнейшем она переехала в Вашингтон, стала первым директором организации женщин-резервистов *WAVES* (*Women Accepted for Volunteer Emergency Service*, “Женщины-добровольцы службы экстренной помощи”) и, в общем, позицию Набокова “чума на оба ваши дома” расценивала как не вполне корректную. Весной 1942 года она, несмотря на давление состоятельных выпускников, отказалась продлить контракт с писателем, так что Набоков, проведя год на вольных хлебах, вернулся в Уэлсли лишь после того, как Макэфи уехала в Вашингтон[25].

Преподавал он блестяще, хотя и своеобразно. Он не был иностранным лектором, который, мучительно подбирая слова на неродном языке, проповедует в вакуум, в никуда, ставит аудиторию в тупик: Набоков тщательно продумывал, с кем и о чем говорить. У него был дар чувствовать слушателей, представлять себе, что у них на уме. Вместо того чтобы целый год, как положено избалованному писателю, временно преподающему литературу в университете, вынашивать творческие замыслы, Набоков написал ряд лекций, адаптированных под разных студентов: с теми, кто учит испанский, он обсуждал, почему русские оппозиционеры так любят Дон Кихота, с итальянцами говорил о Леонардо, а студентам-зоологам рассказывал про мимикрию у чешуекрылых, которая его особенно интересовала. Для публичных лекций[26] старался выбирать писателей, знакомых университетской публике: Чехова, Тургенева, Тютчева (вот тут Набоков, конечно, ошибся) и Толстого – последнего непременно.

Набоков высоко ценил Толстого. Владимир Дмитриевич, его отец, был знаком с Толстым: оба были сторонниками

общественных реформ. Когда Владимиру-младшему было десять лет, они с отцом как-то встретились на улице в Петербурге с “невысоким бородатым старцем”[27]. Мальчик ждал, пока взрослые поговорят, а потом отец сказал ему, что это был Толстой. Набоков относился к писателю неоднозначно: слишком значительна была личность Толстого, – впрочем, как и его вклад в русскую литературу. Он преклонялся перед Толстым, что не мешало Набокову иногда его высмеивать. “Обратили ли Вы внимание, читая «Войну и мир», – пишет он Уилсону, – на трудности, с какими сталкивается Толстой, которому необходимо свести смертельно раненного Болконского, географически и хронологически, с Наташей? Весьма это мучительно – видеть, как беднягу волокут и укладывают и везут куда-то, и все ради того, чтобы они могли счастливо соединиться”[28]. В одном Толстой был безупречен: он как никто умел соотнести хронологию повествования с внутренним читательским ощущением времени, так что у читателя, бороздившего волжские просторы толстовского текста, создавалось впечатление, будто события происходят более-менее в реальном времени, тогда, когда следует[29]. Набоков тоже умело выстраивал хронологию повествования, хотя у него она осложнялась модернистскими разрывами в структуре текста. При этом он мастерски воспроизводил сознание и ощущения персонажей и питал искреннюю симпатию к читателям.

В мае 1942 года в Бостон приезжал Джеймс Лафлин, издатель Набокова. Первый роман писателя, который вышел в издательстве Лафлина, продавался плохо – Америка вступила во Вторую мировую войну как раз тогда, когда этот непонятный русский выпустил роман о гносеологических сомнениях, – но Лафлина это не смутило: он был готов и впредь сотрудничать с Набоковым, и вопреки коммерческому провалу “Себастьяна Найта” и перипетиям войны, они заключили контракт еще на две книги – исследование о Гоголе и сборник переводов избранных сочинений Пушкина и Тютчева.

Лафлину было около тридцати. Тремя годами ранее он закончил Гарвард. Он был правнуком ирландского эмигранта, который разбогател на производстве стали. Лафлин получил блестящее образование: его двоюродный дед, Генри Клэй Фрик, был угольным магнатом, президентом компании *Carnegie Steel*. Лафлины были состоятельными и влиятельными промышленниками. Джеймс еще в юности решил, что “не пойдет на завод”[30], но нежелание заниматься семейным бизнесом не означало разрыва с семьей: как писал Лафлин много лет спустя,

когда ему вручили очередную премию, “ничего из этого не случилось бы [издательства, которое он основал, и литературных успехов] без предприятий моих предков, смекалистых ирландцев, которые в 1824 году эмигрировали из графства Даун [и] основали компанию, которая со временем стала четвертой по величине в Америке. Я благодарен им от всего сердца”[31].

Лафлин и сам писал стихи. Но Эзра Паунд, к которому Лафлин ездил в середине тридцатых годов, посоветовал ему заняться изданием книг и порекомендовал достойных писателей. Советы Паунда помогли Лафлину создать лучшее независимое англоязычное издательство XX века[32]. Заключенный в мае 1942 года контракт с Лафлиным на две книги помог Набокову продержаться на плаву, поскольку преподавательской работы не было и не предвиделось. Исследование о Гоголе было полезно ему лично: написать о Гоголе значило заявить о себе и в дальнейшем познакомить американского читателя с русской культурой.

Набоков энергично принялся за дело, но вскоре процесс застопорился. Проблема была в том, что нужные ему для книги цитаты из Гоголя оказались дурно переведены[33]. Перевод “Ревизора”, сделанный Констанс Гарнетт, Набоков в письме к Лафлину окрестил “сухим дерьмом”[34] и признался, что тратит время на то, чтобы заново перевести отрывки из “Ревизора” и “Мертвых душ”[24]. Вариант Гарнетт вышел в 1923 году: это обычный английский перевод. Но Гоголь-то – не обычный писатель, его нельзя переводить небрежно: до него русская литература не знала такого яркого, живого языка, такого фантастического гротеска, и Набокову необходимо было это показать, написать об этом.

> До появления его и Пушкина русская литература была подслеповатой… цвета как такового она не видела и лишь пользовалась истертыми комбинациями слепцов-существительных и по-собачьи преданных им эпитетов, которые Европа унаследовала от древних. Небо было голубым, заря алой, листва зеленой… Только Гоголь (а за ним Лермонтов и Толстой) увидел желтый и лиловый цвета[35].

Знаменитый фрагмент из “Мертвых душ”[25] – причем знаменитым его сделал именно Набоков, в двух книгах и множестве лекций, – в варианте Гарнетт выглядит так:

> *The big overgrown and neglected old garden which stretched at the back of the house, and coming out behind the village,*

> *disappeared into the open country, seemed the one refreshing feature in the great rambling village, and in its picturesque wildness was the only beautiful thing in the place. The interlacing tops of the unpruned trees lay in clouds of greenery and irregular canopies of trembling foliage against the horizon. The colossal white trunk of a birch-tree, of which the crest had been snapped off by a gale or a tempest, rose out of this green maze and stood up like a round shining marble column; the sharp slanting angle, in which it ended instead of in a capital, looked dark against the snowy whiteness of the trunk, like a cap or a blackbird*[36].

У Набокова:

> *An extensive old garden which stretched behind the house and beyond the estate to lose itself in the fields, alone seemed, rank and rugged as it was, to lend a certain freshness to these extensive grounds and alone was completely picturesque in its vivid wildness. The united tops of trees that had grown wide in liberty spread above the skyline in masses of green clouds and irregular domes of tremulous leafage. The colossal white trunk of a birchtree deprived of its top, which had been broken off by some gale or thunderbolt, rose out of these dense green masses and disclosed its rotund smoothness in midair, like a well proporotioned column of sparkling marble; the oblique, sharply pointed fracture in which, instead of a capital, it terminated above, showed black against its snowy whiteness like some kind of headpiece or a dark bird*[37].

Сейчас, спустя семьдесят лет, оба варианта кажутся чересчур многословными. Впрочем, Набокова это ничуть не смущает: его идеал – не точность, но верность стилистике и ритмике Гоголя (так, "[отломленный] бурею или грозою" Набоков переводит как *"gale or thunderbolt"*, а не *"gale or a tempest"*, – что правильно, хотя и стилистически избыточно). Перевод Набокова отличает плавное, ровное течение с периодическими всплесками, которые начисто отсутствуют у Гарнетт. Первое предложение у Набокова оканчивается хлестким *"vivid wildness"*, Гарнетт же завершает его мягким, рыхлым *"the only beautiful thing in the place"*.

Это лирическое описание природы, нехарактерное для "Мертвых душ", вероятно, восхищало Набокова обилием деталей, дотошностью, стремлением так показать предмет изображения, чтобы он вышел как живой. И пусть предмет этот всего лишь старый сад – совместное творенье природы и человека, выросшее кое-как где-то в России. Скользнул взглядом по строчкам и читаешь дальше, не задумываясь, – а может, вернулся к

предыдущему абзацу и перечитал. Вглядеться в эту картину и передать ее с помощью метафор – затейливую, забавную, в чем-то даже, пожалуй, зловещую: *“showed black against its snowy whiteness*, – пишет Набоков, – *like some kind of headpiece or a dark bird”* (в переводе Гарнетт смысл передан неточно: она упрощает, смягчает гоголевский текст – *“a cap or a blackbird”*).

И далее:

> *Strands of hop [a sinous, twining vine], after strangling the bushes of elder, mountain ash and hazel below, had meandered all over the ridge of the fence whence they ran up at last to twist around that truncate birchtree halfway up its length. Having reached its middle, they hung down from there and were already beginning to catch at the tops of other trees, or had suspended in the air their intertwined loops and thin clinging hooks which were gently oscillated by the air*[26].

Это Набоков. Гарнетт не сокращает абзац, как другие переводчики, но теряет детали: вьющийся хмель у нее превращается в более общие *“tendrils faintly stirring in the breeze”*38 (побеги, колыхавшиеся на ветру). Может, она просто устала, ей не хватило слов (Набокову всегда хватало слов). Набоковское *“truncate birchtree”* (“береза со сломанной вершиной” – у Гоголя “до половины сломленная береза”) – в самом словосочетании как бы слышится треск ломающегося ствола – у Гарнетт передано банальным *“broken birch-tree”* (“сломанная береза”), а набоковское *“oblique, sharply slanting fracture”* (“косой остроконечный излом” у Гоголя), которое вызывает ассоциации не только с силой, с которой отломали верхушку дерева: кажется, будто размозжили кость, кипенно-белую, точно береза, – у Гарнетт превращается в пресное *“sharp slanting angle”* (“сломанный под острым углом”).

Казалось бы, обычный пейзаж, не более того. В матушке России таких местечек миллионы. И как, оказывается, интересно можно описать какой-то медвежий угол! Начинающему писателю это дает надежду. “Мертвые души”, в общем-то, исследование таких вот медвежьих углов, знакомство с постыдной стороной жизни густонаселенной российской глуши и тьмутаракани: Набоков, впервые прочитавший поэму Гоголя еще в отрочестве, должно быть, почувствовал нечто вроде приглашения в будущее. Этот сад, принадлежавший Плюшкину, выручил Набокова на выпускных экзаменах в Кембридже в 1922 году: ему выпало задание описать заросший сад в имении помещика, и он увлеченно вспоминал строчку за строчкой великого произведения39.

Лето 1942 года выдалось жарким. Июль и август Набоковы провели у Карповичей в Вермонте. Денег у Владимира и Веры практически не осталось. Восьмилетний Дмитрий почти всю зиму проболел, и ему удалили гланды. Он был симпатичный, тоненький и высокий, точно аист, с невероятно длинной шеей, руками и ногами: к десяти годам он почти догнал в росте мать, а через несколько лет набрал добрых два метра и превратился в настоящего американца – уверенного в себе, спортивного, помешанного на автомобилях.

Набоковы экономили на всем чем можно, кроме образования сына. Вера иногда жаловалась, что он подружился с грубыми американскими мальчишками и вся его природная ласковость куда-то улетучилась. Родители старались дать Дмитрию лучшее образование из возможных, и хотя Вера боялась, что сын станет слишком уж американцем, но и она, и Владимир понимали: ассимиляция неизбежна. В опубликованных в 1980-х годах мемуарах Дмитрий вспоминал о жизни в Уэлсли:

> Я в одиночку ездил на велосипеде с резиновыми шинами по тенистой дороге в школу по соседству. Мы жили в доме с гонтовой крышей на Эпплбай-роуд, и это название в памяти моей навсегда связано с зелеными яблоками, которые спеют в густых кронах в тупике: мы их использовали как снаряды в тщательно спланированных сражениях. Весной соседская девочка посвятила меня в таинство игры в шарики. Ее таинственная двенадцатилетняя женственность… казалась мне восьмилетнему недосягаемой зрелостью, и я так и не решился объявить о своих чувствах[40].

Дмитрий часто менял места учебы: если родителей не устраивала очередная школа, они тут же переводили его в новую и очень радовались его американизации:

> Здесь приключилась примечательная история [в школе в Кембридже, штат Массачусетс]. Миссис Рудебуш, учительница музыки… заметила, что мне, европейскому ребенку, не привыкшему петь национальные американские песни, не даются мотивы гимнов, которые поют на школьных собраниях. Она взяла меня под свое музыкальное крыло, давала мне уроки сольфеджио, учила играть на фортепиано и начала тренировать мое высокое сопрано… Отчаянье сменил энтузиазм. Я пел в хоре, участвовал в выступлениях учеников и постепенно вознаградил ее за труды, став

профессиональным оперным басом.

Но истинное преображение происходит на спортивной площадке:

> Я сижу на лужайке в школе Декстер. Сегодня день вручения весенних спортивных наград. В школу Декстер я пришел три года назад [1944] довольно-таки неприспособленным к роли американского мальчика. Директор школы, Фрэнсис Кэсуэлл, стал вторым лучшим педагогом в моей жизни. Он не только рассказал мне о Цицероне и Цезаре, но и научил, как отбивать подачу и ставить блок, как крепко пожимать руку, глядя другому в глаза, как быть "гражданином"… Мне удалось показать великолепные результаты в различных видах спорта, но я по-прежнему считал себя тощим неуклюжим чужаком… Сижу, погрузившись в мысли, как вдруг слышу: объявляют, что я стал абсолютным чемпионом весеннего спортивного соревнования, куда входила как легкая атлетика, так и бейсбол. Я оглядываюсь, думая, что ослышался[41].

Оставив Дмитрия и Владимира в Вермонте, Вера съездила в Бостон, чтобы найти квартиру. Единственная, на которую у них хватало денег, в доме 8 по Крейги-серкл, Кембридж, впоследствии стала местом паломничества поклонников Набокова: в этой квартире № 35 на третьем этаже шестиэтажного дома они жили дольше всего в Америке. В строении красного кирпича с вертикальными вставками из белого облицовочного кирпича и дубовой входной дверью имелся холл, обшитый деревянными панелями, и небольшой передний дворик. Сама квартира была тесная: Набоков как-то назвал ее "тусклой"[42]. Ему приходилось писать "пониже старой дамы с каменными ногами и повыше дамы молодой, обладательницы сверхчувствительного слуха"[43], однако во время войны он гордился этим жилищем, нарисовал сестре Елене план этажа и рассказывал, как смотрит из окна на Дмитрия, когда тот утром идет в школу, "очень стройненький, в сером костюме, в красноватой жокейской фуражке"[44].

Часом позже уходил и Набоков. Каждый день он шел в Музей сравнительной зоологии, где работал на добровольных началах, по ровным улицам под раскидистыми деревьями: он с гордостью рассказывает Елене, что они с Верой живут "в пригороде… в университетском Harvard'ском районе"[45]. Дорога, занимавшая у него пятнадцать минут, проходила мимо теннисных кортов, которые во время войны заросли сорняками[46]. Гарвард

совершенно переменился: теперь вместо студентов здесь хозяйничали военные – тысячи солдат, сотрудники лабораторий и курсанты Службы подготовки офицеров резерва[47], – факт, о котором Набоков не упоминал ни в письмах, ни в других сочинениях тех лет. Разумеется, он не так давно перебрался жить в Америку вообще и в Гарвард в частности, а следовательно, не так хорошо, как местные жители, понимал, что и насколько переменилось. А может быть, то, что он этого не замечал или же не записывал то, что видел, свидетельствовало о погруженности в личные дела.

Дом № 8 по Крейги-серкл, где Набоковы жили с 1942 по 1948 год

В основном его интересовали бабочки. В музее, куда Набоков принес экземпляры из Большого Каньона, его встретил Натан Бэнкс, заведующий кафедрой энтомологии в Гарварде. Выяснилось, что у них с Набоковым есть общие знакомые в Нью-Йорке: писатель зарекомендовал себя деятельным и компетентным специалистом, так что Бэнкс был рад с ним сотрудничать, тем более что в Музее сравнительной зоологии

вскоре должно было освободиться место, поскольку сотрудников призывали на войну. Бэнкс несмотря на то, что был ученым-энтомологом, в чешуекрылых разбирался неважно, поскольку занимался в основном осами, сетчатокрылыми, коридалами и клещами (самая известная из его работ, пожалуй, “Трактат об акаридах, или клещах”, 1905 г.). Владимир писал Елене о том, что ему посчастливилось устроиться в музей:

> Музей мой – знаменитый на всю Америку (и бывшую Европу), *Museum of Comparative Zoology*, при Гарвардском университете, к которому я причислен. Моя лаборатория занимает половину четвертого этажа. Большая часть ее заставлена шеренгами шкапов с выдвижными коробками бабочек. Я куратор этих совершенно баснословных коллекций, у нас бабочки со всего света; множество *type specimens* (т. е. те именно экземпляры, с которых были сделаны описания, с сороковых годов прошлого века по сей день). Вдоль окон тянутся столы с моими микроскопами, пробирками, кислотами, бумагами, булавками и т. д. У меня ассистентка, главное занятие которой расправка материала, присылаемого собирателями… Работа моя упоительная, но утомляет меня вконец[48].

В коллекциях царил беспорядок, удивительный для такого заведения. Иногда Владимир проводил за рабочим столом по четырнадцать часов[49], так что Вера даже боялась, что он навсегда оставит литературу. “Знать, что орган, который рассматриваешь, никто до тебя не видел”, писал Набоков, “погружаться в дивный хрустальный мир микроскопа, где царствует тишина, ограниченная собственным горизонтом… все это так завлекательно, что и сказать не могу”. После долгого дня увлеченной работы он шел домой, “уже в синей зимней темноте, в час вечерних газет, в час, когда катят домой […], и запевают радиолы в освещенных квартирах больших плющом одетых домов”[50].

Лепидоптерология была его отрадой, его святилищем: надо было жить дальше, с истинно американским проворством делать карьеру писателя, но Набокову нужно было освоиться, приспособиться, превратиться. В письме Уилсону (который, что называется, “сделал себя сам”) он рассказывал о смятении, которое испытывал: “Забавно сознавать, что русский знаешь лучше всех – во всяком случае в Америке, да и английский – лучше любого русского в Америке, а в университет при этом устроиться не можешь”[51]. Он владел истинным сокровищем,

литературным даром, который в один прекрасный день обеспечит его будущее: в этом Набоков не сомневался. По иронии судьбы он родился в последний год девятнадцатого столетия, ровно век спустя после Пушкина, его кумира, стал непосредственным свидетелем революции и прихода к власти нацистов, а впоследствии оказался в стране, которой отчаянно не хватало знаний о русской культуре, именно в тот момент, когда Америка была готова их воспринять. Одержимость Набокова переводами русских классиков выдает нетерпение, вызванное жаждой обладания. Он знал то, чего другие не знали, погружался в произведения более вдохновенно и глубоко: он и только он должен открывать перед американцами сокровища русской культуры.

Тем более что он и так уже наполовину выпал из привычной языковой атмосферы, погрузившись в бездонные американские глубины. Посетовав, что приходится заново переводить текст “Мертвых душ”, из-за чего работа над книгой о Гоголе застопорилась, Набоков высказывается откровеннее: “Книга подвигается медленно, главным образом по причине возрастающего разочарования в моем английском. Когда я закончу, уеду в трехмесячный отпуск со своей румяной, пышущей здоровьем русской музой”52.

Голубянки, пойманные Набоковым и другими, Музей сравнительной зоологии, Гарвард

Но правда в том, что муза его покидала[27]. “Я так завидую вашему английскому”53, – писал он Уилсону. Завидовал ли Набоков английскому Уилсона или нет, но ему было трудно выразить мысли: “желание писать иногда нестерпимо, но поскольку я не могу писать по-русски, то не пишу вовсе”54. Иногда он писал прозу, фрагменты того, что впоследствии оформилось в роман “Под знаком незаконнорожденных” (1947). Впоследствии он вспоминал о мучениях, которые испытывал из-за необходимости сменить язык, с оттенком скуки, но это вовсе не значит, что на самом деле Набоков не страдал. Исайя Берлин, которому пришлось пройти через то же в более юном возрасте55, остаток жизни сожалел о том, что оказался лишен родного языка, и признавался другу:

> Я обожаю наши русские разговоры и всегда с нетерпением жду их, думаю о них и помню дольше всего… В Англии так ни с кем не поговоришь… Русский язык образнее, душевнее и поэтичнее любого другого: когда я говорю по-русски, я чувствую, что меняюсь – мне словно становится легче выразить мысль, мир вокруг становится радостнее и милее.

Мучась из-за утраты языка и несовершенства своего английского (а также из-за того, что было трудно платить шестьдесят долларов в месяц за квартиру на Крейги-серкл)56, Набоков дописал замечательную книгу, первый гениальный труд за все время в Америке. “Николай Гоголь” отличается поразительной прямотой: в этой книге практически нет свойственных стилю Набокова мудреных слов. С самого начала он погружает читателя – желанного американского читателя – в самую глубину причудливого, гротескного мира славянского писателя: Гоголь умирает в Риме. Ему сорок два года, и его лечат “чертовски энергичные” иностранные доктора: ставят пиявки на его длинный заостренный нос, которым он мог на потеху публике дотронуться до нижней губы. Пиявок засовывали в ноздри, чтобы они лучше присосались к нежной слизистой, и француз, тоже та еще пиявка, велит держать Гоголю руки, чтобы тот не мог их стряхнуть.

Над всей этой сценой царит набоковская кривая ухмылка. “… Картина эта неприглядна и бьет на жалость, что мне всегда претило”57, – заявляет он, и это пункт первый “набоковской эстетики для американцев”: мысль о том, что притязания на сочувствие предосудительны. Негоже писателям играть на сострадании: слишком долго они этим грешили. В “Николае

Гоголе” Набоков в сокращенном виде воспроизводит пространные рассуждения из “Дара” о том, как русская литература заразилась опасными бациллами общественной жалости и оказалась из-за них близка к исчезновению[58]. Радетели реформ из среды русской интеллигенции стали диктовать вкусы: если писатель в произведениях не высказывался против царской диктатуры, его и читать не стоило. Таким образом, они превратились в неких протокомиссаров, предшественников советских церберов, которые умели найти управу на непокорных писателей. События XX столетия, которым Набоков был свидетелем, привели его к неприятию любой борьбы с инакомыслящими, но во фразе “бьет на жалость, что мне всегда претило” слышится презрение гения, в юности зачитывавшегося акмеистами и футуристами, к дешевым сентиментальным стишкам во вкусе старых дам.

Гоголь явил миру “странный гений”, продолжает Набоков, и это второй пункт его рассуждений: великие, бессмертные художники все с чудинкой, все наособицу. Между ними можно проводить параллели, как между Пушкиным и Гоголем, но их невозможно отнести к какому-то “течению” или “направлению” в истории культуры. “…Гений всегда странен: только здоровая посредственность кажется благородному читателю мудрым старым другом, любезно обогащающим его, читателя, представления о жизни”[59]. Тут Набоков проговаривается о себе. Он понимает, что может показаться читателям дерзким и, пожалуй, холодноватым. Откровенные рассуждения о “посредственностях” и “гениях”, о “самом великом писателе, которого до сих пор произвела Россия” – в 1942 году подобные умозаключения уже выглядели старомодно. Писателей было принято обсуждать с точки зрения школы, к которой они принадлежали: их человеческая природа никого не интересовала, поскольку критиков куда больше занимали их идеи и замыслы. Набоков же оперирует старыми категориями, и явно подразумевается, что он гений. Здесь он одновременно и консерватор, и модернист: Джойс и Элиот, Пруст, Паунд, Стайн, Вульф, Фолкнер – все эти писатели верили в старую идею, представление о шедевре, который на голову выше остальных и не знает себе равных, литературном творении, способном поразить весь мир[28]. Каждый считал, что уж он-то как раз написал нечто подобное. Отказ от подобного взгляда, насмешка над идеями такого рода, признание того привилегированного положения, которое занимают некоторые авторы или произведения, ироническое представление о том, что любое творение пестрит беспардонными заимствованиями из других явлений культуры: все это еще только должно было появиться,

причем не сказать чтобы очень нескоро. Набоков, пожалуй, оказался последним истинным, искренним адептом старых взглядов. Безапелляционность, с которой он рассуждает о гениальности и о том, что тот, кто возомнил себя писателем, равным ему, смешон в своем заблуждении, свидетельствует о том, что Набоков чувствовал шаткость своего положения. Но Гоголь, бесспорно, был гением. Гоголь, словно по мановению волшебной палочки – или своего огромного носа, – создал классический русский роман.

Сражаясь с неродным языком, Набоков находил утешение в работе с научной лексикой. Никто в Гарварде не разбирался в голубянках так, как он: по примеру Уильяма Комстока Набоков выбрал предметом исследований именно это семейство бабочек. Пожалуй, тут он руководствовался теми же соображениями: необходимостью заполнить пробелы, выполнить работу, которую, кроме него, никто не может сделать, – что и в отношении русской литературы в Америке. “Забавно сознавать, что я сумел попасть в Гарвард исключительно благодаря бабочкам”, – пишет он Уилсону[60]. Первые научные работы, которые Набоков написал, используя экспонаты музея в качестве таксономического материала[61], свидетельствуют о том, что и здесь Набоков учился, как и в случае с Уилсоном: в надежде освоить азы он полагается на американских друзей, в частности на Комстока и еще одного исследователя из Американского музея естественной истории, Чарльза Дункана Миченера. “Если вы сочтете, что в статье все в порядке, не могли бы вы отправить ее в какой-нибудь журнал или иной источник, который ее опубликует”, – просил Набоков Комстока после исчерпывающего разбора первого исследования. Впоследствии, в той же манере, что и Уилсону, он пишет: “Я пользуюсь вашей добротой, но вы сами виноваты в том, что я к ней привык”[62].

Научные статьи Набокова отличала та же уверенность, что впоследствии и его литературные труды. Первые заметки о бабочках, которые он еще мальчиком сделал в России, были написаны по-английски: Набоков зачитывался британским журналом *The Entomologist* и по нему выучил научные термины. С тех пор английский стал для него языком науки[63]. Чем ему нравилась охота за насекомыми, почему он так любил о них писать – большой вопрос (еще и о том, что именно доставляло ему удовольствие в целом), но отчасти, конечно, благодаря возможности в мельчайших подробностях воспроизвести научный стиль, в котором столетиями писали ученые, прекрасно им владели и по этому стилю узнавали друг друга. Характерный

пример научного стиля Набокова представлен в его статье “Некоторые новые или малоизвестные неарктические нимфалиды (чешуекрылые: сатириды)” (*Some new or little-known Nearctic Neonympha (Lepidoptera: Satyridae*), опубликованной в 1943 году в журнале *Psyche*, который имел непосредственное отношение к Гарварду:

> Широкая пепельная кромка, испещренная темно-пурпурными поперечными прожилками, сливающаяся с пепельным же исподом каймы, ограниченная изнутри изгибами вторых дисковидных и субтерминальных полос, занимает всю внешнюю треть (кроме светло-коричневого пятна в форме виноградного листа, если смотреть снизу, между второй дисковидной и субтерминальной полосой), и, таким образом, полностью охватывает глазки и прочие отметины[64].

В этом отрывке Набоков описывает задние крылья бабочки. В конце концов он создал систему исчерпывающего описания местоположения отметин на крыле насекомого в соответствии с рядами чешуек[65]. Он с детства писал о бабочках[66] и разбирался в них практически как специалист, восходящее светило энтомологии. Подражание или пародия стали для Набокова, как и в случае с художественными его произведениями, основой для изучения важных вопросов – в данном случае запутанной классификации чешуекрылых и теории эволюции.

Глава 7

Набоков так усердно работал в Музее сравнительной зоологии на добровольных началах, что Натан Бэнкс назначил его на должность научного сотрудника на 1942–1943 годы со скромным окладом в тысячу долларов в год. Вера тоже как могла вносила вклад в семейный бюджет: давала уроки, служила в Гарварде секретарем. Она ведь “вышла замуж за гения”1 (так она говорила подруге), а значит, должна была поддерживать его, следить за тем, “чтобы он ни в чем не нуждался” и мог писать. Их шаткое материальное положение побудило Веру предпринять несколько разумных шагов. Она убедила мужа написать письма двум профессорам из Уэлсли, которые симпатизировали Набокову, и сообщить, что он был бы рад, если бы его снова позвали преподавать. Еще она напечатала резюме со списком тем, по которым Набоков мог читать лекции, и отправила в агентство, организующее лекционные турне. Агентство ангажировало писателя прочесть несколько лекций в колледжах на Юге и Среднем Западе, и в октябре 1942 года Набоков отправился туда, прервав работу над книгой о Гоголе2.

Эта поездка чем-то напомнила путешествия Чичикова, хотя и без инфернальных ассоциаций. В Спрингфилде, штат Иллинойс, где Набокова возили на экскурсию в дом и на могилу Линкольна, писатель познакомился с совершенно гоголевским персонажем, который словно сошел со страниц повести “Иван Федорович Шпонька и его тетушка”: он обожал колокольни (Шпоньке в произведении Гоголя снятся колокольни). Человек из Иллинойса был “пугающе-молчаливый меланхолик какого-то церковного видаз, – писал Владимир Вере, – с небольшим списком механических вопросов… Лишь раз он оживился, глаза его блеснули… когда заметил, что флагшток у мавзолея Линкольна заменили на новый, повыше[29]”. Письма Набокова из второй поездки по Америке задушевны и пространны. Казалось, Америка пробуждает дух бродяжничества и желание объять всю страну целиком: письма и дневники Одюбона, отчеты Уитмена из путешествий (в основном вымышленных), пять тысяч страниц дневников из экспедиции Льюиса и Кларка, сделанные Токвилем в 1830-е годы описания приграничных поселений – вот лишь некоторые предшественники занимательных, богатых поэтическими образами писем, которые Набоков посылал Вере. 14 октября он писал из Валдосты, штат Джорджия:

Приехал сюда, на границу Флориды, вчера около

семи вечера и отбуду в *Tennessee* в понедельник утром… Встретившая меня на вокзале профессорша отвезла меня в гостиницу, где мне снята колледжем прекрасная комната, а также оплачены все мои *meals*, так что и здесь я ничего не потрачу до отъезда. Дали мне и автомобиль, но я только смотрю на него, не решаясь управлять им. Колледж [Женский колледж штата Джорджия], с очаровательным *campus'*ом среди сосен и пальм находится в одной миле от городка. Тут очень южно. Я прошелся по единственной южной улице, в бархате сумерок и лазури неоновых ламп и одолеваемый южной зевотой вернулся к себе[4].

Везде, где только можно, Набоков охотился за насекомыми. Так, из Хартсвилла, штат Южная Каролина, он писал Вере:

> После завтрака биолог из колледжа отвезла меня на своей машине… в рощицу у озера, где я поймал несколько замечательных гесперид и разных видов пиерид. Трудно описать, какое наслаждение доставила мне прогулка по этой странной синеватой траве между цветущих кустов (один усыпан ягодами, такими яркими, будто их на Пасху покрасили дешевой лиловой краской – совершенно жуткий химический оттенок…) После "Трагедии трагедии" [одна из лекций Набокова] я снова отправился на охоту… Познакомился с пресвитерианским священником, Смитом: он страстный коллекционер бабочек и сын известного лепидоптеролога Смита, о котором я много слышал[5].

Страна не просто огромная: в ней полным-полно охотников за бабочками. Набоков, разумеется, волновался, как примут его лекции, признавал бесполезность этой затеи (денег она принесла мало, поскольку ему приходилось оплачивать свои расходы), жалел, что не остался дома, где мог бы дописывать книгу или работать в Музее сравнительной зоологии, и все же Владимир, еще относительно молодой человек с хорошим пищеварением, пишет о поездке в стилистике повести "Налегке" Марка Твена – или уитменовских рассуждений об очаровании Бродвея на Манхэттене[6]. Набоков признается:

> Всю ночь глаз не сомкнул, поскольку на многочисленных станциях так трясло и вагоны так грохотали, когда подцепляли новые… что было невозможно заснуть. Днем за окном мелькали красивые

> пейзажи – высокие деревья всевозможных форм – с тенями, точно писанными масляными красками и переливчатой зеленью, которая напомнила мне… долины Кавказа… Сошел с поезда во Флоренции [Южная Каролина] и поразился тамошней жаре, солнцу и игре теней – такое чувство, будто приехал из Парижа на Ривьеру[7].

Он понимал – возможно, не тогда, когда писал эти строки, но опять же, кто знает? – что собирает материал для новой книги[8]. Забавные сценки (как-то Набоков ждал, когда за ним приедут из колледжа, и услышал, как в фойе отеля кто-то удивляется, почему это не видно русского профессора. “Но я и есть русский профессор!” – восклицает Набоков); столкновение с расовой дискриминацией в южных штатах, которое стало для писателя откровением (“По вечерам те, у кого есть дети, почти никуда не ходят… потому что не с кем оставить детей; негритянская прислуга никогда не ночует в домах белых – это запрещено – а белых слуг нанять нельзя, поскольку те не могут работать с черными”); снова и снова прогулки по залитым солнцем, поросшим густой листвой южным лесам[9], охота за насекомыми: поездка будоражила его воображение, наводила на размышления, побуждала взяться за перо.

По стилю письма Набокова похожи на те, что он писал в 1937 году. Но на этот раз у него не было никакой тайной интрижки, да и он уже не был блестящим молодым писателем, которого чествует *le tout Paris*. Набоков по-прежнему восхищается собой и хвалится, что внушает другим почтение, но признается, что и у него бывают промашки[10]: заболтавшись с преподавателями в колледже, лезет в карман и обнаруживает, что позабыл конспекты лекций дома. Знакомится с легендарными афроамериканцами[11], в том числе с У. Э. Б. Дюбуа, и пишет Вере из колледжа Спелман, что это “черный Уэлсли”, которым руководит важная дама с бородавкой у носа и требует, чтобы он по утрам присутствовал на службе в церкви вместе с четырьмя сотнями студентов. Впоследствии Набоков говорил интервьюерам, пытавшимся дознаться, кто же перед ними: реакционер, ярый либерал или консервативный ярый либерал, – что не приемлет расовой сегрегации[12].

> На западе хлопковые плантации, – пишет он из Южной Каролины, – и богатство многочисленных Кокеров [основателей колледжа Кокер], которым, кажется, принадлежит половина Хартсвилла, основывается на этой самой хлопковой

> промышленности. Сейчас как раз сезон уборки, и “негритосы” (до дрожи ненавижу это слово, похожее… на “жидков” западнорусских помещиков) работают на полях, получая доллар за сотню “бушелей” – я тебе пересказываю эти интересные факты, потому что они сами собой звучат у меня в ушах[13].

Набоков – не либерал из северных штатов, ужасающийся порядкам Южной Каролины, однако и его задели за живое социальные язвы. “Мою лекцию о Пушкине… встретили почти с комическим энтузиазмом”, – пишет он Вере (до этого он сообщил слушателям в Спелмане, что дедушка Пушкина был эфиоп). Набоков отчасти стремился угодить публике, но по сути сказал чистую правду.

Впоследствии эти письма фигурировали в планах продолжения мемуаров “Память, говори” – книги о жизни в Америке, которую Набоков надеялся когда-нибудь написать. Он собирался озаглавить ее “Память, говори еще” (а может, “Дополнительные свидетельства” или “Америка, говори”): в книге рассказывалось бы о дружбе с Братцем Кроликом, то есть с Уилсоном, о путешествиях по западным штатам, начиная с лекционного тура, в который Набоков отправился в первый год войны. Связки писем писатель забрал с собой в Швейцарию, где обосновался в 1960-х, однако книги так и не случилось. Пожилой Набоков не мог перечитывать эти письма без душевного волнения. “Мне незачем вам говорить, – писал он вдове Эдмунда Уилсона в 1974 году, через два года после смерти друга, – как мучительно больно мне перечитывать беседы, относящиеся к ранней беззаботной поре нашей переписки”[14]. Набоков слишком долго вынашивал замысел книги: такое порой случается даже с гениальными писателями.

В мае 1943 года Набоков сообщил Лафлину, что наконец-то дописал исследование о Гоголе, книгу, которая “стоила мне бóльших трудов, нежели любая другая написанная мною книга… Я никогда не согласился бы на ваше предложение, если бы знал, сколько галлонов крови из мозга она поглотит”. Писать было трудно, потому что “сперва пришлось создать” писателя (то есть перевести Гоголя), “а потом уж его обсуждать… Постоянное переключение с одного ритма работы на другой совершенно меня измотало… Теперь я очень слаб и со слабой улыбкой лежу в частной родильной палате, ожидая роз”[15].

Лафлина рукопись озадачила. Он рассчитывал увидеть простую и понятную работу, знакомившую с Гоголем читателей,

которые о нем, скорее всего, слыхом не слыхали, Набоков же создал оригинальное истолкование творчества Гоголя в стилистике сборника эссе “В американском духе” (*In the American Grain*) Уильяма Карлоса Уильямса или “Этюдов о классической американской литературе” Д. Г. Лоуренса. Обе вышли в двадцатые годы. Лоуренс в свое время тоже эмигрировал из Европы в Америку и тоже пытался найти себя на новом месте, и его книга, как и труд Набокова, посвящена преимущественно авторской стилистике. Задавшись целью доказать, что некоторые “классические” американские авторы (Франклин, Купер, Кревекур, По, Готорн, Мелвилл, Дана, Уитмен) отнюдь не “детские писатели”, как было принято думать, Лоуренс раскрывает особенности их “художественного слога”16, в котором отнюдь не было ничего детского. Лоуренс пишет:

> Старый американский художественный слог отличается своеобразием, которым он обязан американскому континенту: больше такое нигде не встретишь. В американской классике слышится новый голос. Мир не хотел его услышать и объявил, что это, мол, детские истории… Мир боится новизны более, чем чего бы то ни было… Мир как может уклоняется от нового, но американцы его в этом превзошли17.

Книга стоила Лоуренсу больших трудов, как и Набокову – исследование о Гоголе18. Она выросла из той же надежды найти в Америке читателя, который заменил бы европейскую публику: та, казалось, с каждым годом все меньше понимала писателя. Лоуренс обходится с классиками американской литературы примерно так же бесцеремонно, как Набоков с Гоголем[30]. Едва ли Набоков читал сборник эссе Лоуренса: во всяком случае, о Лоуренсе он никогда не отзывался без демонстративной усмешки. Разумеется, что-то из его книг Набоков даже читал (скорее всего, романы). То, как смело и вольно Лоуренс обращался с темой секса, равно как и скандальная слава “Любовника леди Чаттерлей” (ни одну книгу в XX веке так не запрещали, как этот роман), оказали столь сильное влияние на дальнейшее творчество Набокова, что его деланая усмешка, скорее, выдавала глубокую неуверенность.

В первой главе “Этюдов” Лоуренс пишет:

> Старые американские книги написаны с чувством, в отличие от современных, которые по большей части вообще лишены какого бы то ни было чувства… Художественный слог – вот истина. Художник обычно… лжец, но его искусство, коль скоро

это искусство, не солжет ни на йоту… Все американские писатели прошлого – отпетые лжецы. Но при этом они художники… Вам выбирать, чему вы хотите верить, когда читаете “Алую букву” Готорна: приторной лжи голубоглазой красотки, которая врет, как все красотки, или же истине художественного слога… Точно так Достоевский прикидывается Иисусом, на деле же оказывается сущим чудовищем19.

Здесь Лоуренс словно через годы подмигивает Набокову, который презирал Достоевского более, чем любого другого из русских писателей. Для Лоуренса главное – стиль: первозданная Америка проявляет себя, оживает лишь в голосах местных художников, которых, однако, Лоуренс не считал гениями и о которых писал со смесью любви и снисхождения20.

В марте 1943 года Набоков узнал о том, что ему дали стипендию Гуггенхайма, 2500 долларов21. Его снова пригласили преподавать в Уэлсли, и Музей сравнительной зоологии, где Набоков числился научным сотрудником, продлил с ним контракт, повысив оклад до 1200 долларов в год. Он тут же принялся планировать очередное путешествие на запад. В предыдущую поездку в Калифорнию Набоков охотился за насекомыми в Нью-Мексико “неподалеку от места, которое имеет отношение к Лоуренсу”, писал он Уилсону (вероятно, речь шла об округе Таос)22. “Ты обещал рассказать мне про какое-то место, но нас что-то отвлекло… Нам нужен скромный, но хороший пансион в гористой местности”23.

Непременно в горах: там складывались благоприятные условия для эволюции новых видов. Лафлин, который еще не прочитал книгу о Гоголе, предложил Набоковым остановиться на лыжной базе, частью которой он владел, неподалеку от Сэнди, штат Юта, к юго-востоку от Солт-Лейк-Сити. Лыжная база располагалась на высоте 2500 метров над уровнем моря в длинном осыпавшемся каньоне, с осинами и гранитными скалами, над которым на три с лишним тысячи метров вверх возносились горные вершины24. Лепидоптерологи почему-то обычно обходили Юту стороной. Набоковы отправились туда на поезде.

Тем летом Дмитрий помогал отцу ловить *Lycaeides melissa annetta*. В письме, отправленном Набоковым в конце войны его сестре Елене, которая всю войну провела в Праге, он пишет о сыне: “Он учится превосходно, – но это благодаря Вере, которая проходит с ним подробно каждый урок… его исключительная одаренность включает порцию ленцы”. Дмитрий[31] “может забыть все на свете и погрязнуть в авиационные журналы –

аэропланы для него то же, что для меня бабочки”[25]. Дмитрий Набоков “самолюбив, вспыльчив, драчлив, щеголяет американскими (довольно-таки блатными иногда) словечками здешних школьников”, хотя по сравнению с другими американскими мальчишками “бесконечно нежный и вообще страшный душенька”.

В одиннадцать лет Дмитрий по-прежнему ходил в школу “в сером костюме, в красноватой жокейской фуражке”. Упрямство, о котором пишет Набоков, проявится годы спустя, став поводом для выговоров в пронизанных любовью и волнением письмах Веры сыну, который сперва учился в Гарварде, а потом стал оперным певцом в Италии[26]. Родители давали сыну большую свободу, которой он с удовольствием пользовался, но при этом готовили его к работе, которая впоследствии принесет ему славу, обеспечит моральную и материальную поддержку. Он стал сотрудником семейного предприятия по производству книг под маркой “Набоков”. Русским он владел хорошо, поскольку родители старались говорить с ним на родном языке, но писал плохо. Когда Дмитрий учился на первом курсе, Набоков попросил Романа Якобсона, знаменитого лингвиста из Гарварда, позаниматься с Дмитрием: ему совершенно необходимо было подтянуть грамматику. Это был шаг, хотя далеко и не первый, в длительном процессе подготовки Дмитрия к роли переводчика произведений отца.

Алта, лыжная база Лафлина, ныне легендарная американская горнолыжная база для фрирайда, была своего рода крепостью в горах. Набоковы доехали на поезде до Солт-Лейк-Сити, а оттуда отправились в горы на попутной машине: выбора у них особо не было, поскольку ни Владимир, ни Вера не водили, да и автомобиля в семье не было. Вера чувствовала себя плохо из-за погоды. Она восхищалась красотой гроз и ливней с градом в горах, но в то лето в Алте было холодно и ветрено. Отношения с Лафлином и его женой были натянутыми, если не сказать холодными. Лафлин пообещал, что плата за комнату будет “умеренной”, но в нем “домовладелец отчаянно борется с поэтом, – писал Набоков Уилсону, – и первый побеждает”[27]. Как и другие наследники больших состояний, Лафлин не хотел, чтобы его держали за дурака, и со многими своими авторами заключал сделки на кабальных условиях. Они с Набоковым не на шутку повздорили из-за книги о Гоголе, и это, разумеется, не могло не повлиять на события того лета. Помимо прочих правок, которые Набоков считал смехотворными, Лафлин требовал, чтобы он дополнил рукопись краткими пересказами гоголевских произведений. Набоков, скрепя сердце, добавил хронологию и

новую последнюю главу, “Комментарии”, в которой выставил издателя на посмешище (Лафлин тем не менее опубликовал ее в том виде, в каком написал Набоков).

В этой главе, напоминающей популярный рассказ Хемингуэя “Пишет читательница”, Набоков утверждает, будто Лафлин говорил: “Я все понимаю. Но, в конце концов, сюжет есть сюжет, и студенту надо рассказать, что происходит”. Владимир отвечает, что он рассказал об этом, на что Лафлин возражает: “Я все прочел очень внимательно, и моя жена тоже, но сюжетов мы не узнали. И потом, в конце должно быть что-нибудь вроде библиографии или хронологии. Студент должен понять, что к чему, иначе он придет в замешательство и не захочет читать дальше”[28].

Алта-Лодж, 1945 г.

В рассказе Хемингуэя, опубликованном в сборнике “Победитель не получает ничего” (1933), женщина, чей муж заразился сифилисом, пишет в газету врачу и спрашивает, что это за болезнь и как быть. Ее напускная скромность смешна: писатель словно укоряет американских женщин (или только жен) за ханжество. Рассказ Набокова практически целиком представляет из себя диалог: обычно он относился пренебрежительно к повествованию, построенному на диалогах, и к рассказам Хемингуэя в том числе, но здесь для пущего комизма прибегает к

прямой речи, демонстрируя тем самым тупоумие так называемого “издателя”, который компрометирует себя с каждым словом. В отличие от него автор, который в диалоге скрывается за “я”, проявляет терпение и рассуждает здраво, так что раздражение его оправданно: он жертва человека, который находится в совершеннейшем восторге от своих идей, – к несчастью, именно он выписывает чеки. Считается, что такой литературный прием изобрел Хемингуэй: он никак не высказывает авторскую позицию, чтобы читатель сам сделал выводы. Этот прием Набоков использует снова в пародийной сценке из шестой части, когда терпеливый автор, пересказав по просьбе издателя “Ревизора” до смешного близко к тексту, слышит в ответ: “Да, конечно, вы можете это изложить”, то есть вставить этот фрагмент в отредактированную рукопись.

Набоков терпеть не мог Хемингуэя[29]. Впрочем, о Фолкнере он тоже отзывался уничижительно[30], однако пик славы Хемингуэя пришелся как раз на те годы, когда Набоков перебрался в Америку: его популярности и тиражам завидовали многие писатели. В 1940 году, когда Набоков приехал в Америку, имя Хемингуэя было у всех на устах: в октябре как раз вышел “По ком звонит колокол”, длинный, местами гениальный роман о гражданской войне в Испании, который публика встретила восторженно. Набоков признавался, что читал Хемингуэя. В 1960-е в интервью он говорил: “Хемингуэя я впервые прочел в начале 1940-х, что-то про колокола, балы и быков, редкая гадость. Впоследствии я еще читал его «Убийц» и ту прелестную вещицу о рыбе”[31]. Что до “колоколов, балов и быков”, Набоков, видимо, перепутал “По ком звонит колокол” с “Фиестой (И восходит солнце)”, а “прелестная вещица о рыбе”, скорее всего, “Старик и море”, еще одна повесть, вызвавшая бурный восторг у публики, однако не совсем характерная для стилистики Хемингуэя. “Убийцы” – один из ранних его рассказов, построенный на диалогах, фактически сценарий. Он повлиял на американское кино, но по нему трудно судить о таланте писателя[32].

Внимание Набокова к событиям литературной жизни, в частности к творчеству собратьев-писателей, вполне естественно для амбициозного нового иммигранта, который стремится заявить о себе. Судя по одному письму, которое он написал тем летом из Юты, Набоков активно знакомился с произведениями американских авторов. 15 июля, прожив месяц в Алте, он написал Уилсону, что “ему очень понравилась критика, с которой Мэри [Маккарти] обрушилась на пьесу [Торнтона] Уайлдера в *Partisan*”[33]. (Пьеса эта была “На волосок от гибели”, и Маккарти в своей язвительной рецензии назвала ее “избитой шуткой, причем

шуткой одновременно провинциальной и самонадеянной”.) Набоков также прочел (и от всей души возненавидел) длинную эпическую поэму Макса Истмена “Лотова жена”, которая недавно вышла отдельной книгой[34]. Уилсон упомянул писателя-эмигранта В. С. Яновского, и Набоков, без тени сочувствия к брату-славянину, который ныне тоже писал для американского читателя, обозвал Яновского “самцом… если ты понимаешь, о чем я”[35]. Вдобавок “он не умеет писать”. Возвращаясь к западным штатам, Набоков пишет:

> Двадцать лет назад здесь разыгрывался вестерн в духе “Ревущего ущелья”, золотоискатели устраивали перестрелки в салунах, теперь же вокруг Лодж ни души. Недавно прочел на диво глупую, но довольно-таки милую книгу о дантисте, который убил жену – написано в девяностые и по стилю невероятно похоже на перевод из Мопассана. Все заканчивается в пустыне Мохаве[36].

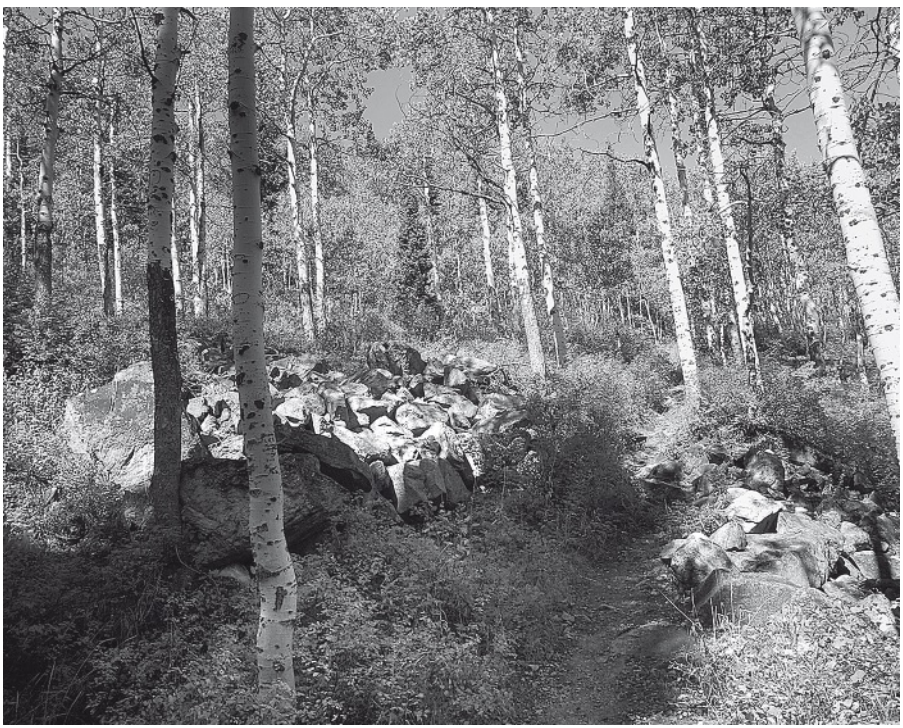
Речь идет, скорее всего, о “Мактиге” Фрэнка Норриса[37].

Кое-что из того, что происходило в Алте, можно представить себе по письмам Набокова, по отрывкам из книги о Гоголе и воспоминаниям Лафлина о том, какими привередливыми гостями оказались Набоковы. Уединенный каньон выглядел запущенно[38]: местные серебряные рудники закрылись, так что Набокову сквозь зеркальные окна дома были видны старые отвалы и брошенное оборудование. Лыжная база, выстроенная четырьмя годами ранее железнодорожной компанией (Лафлин подключился позже в качестве инвестора), представляла собой скромное деревянное здание на крутом склоне каньона, с покатой крышей и верандой на сваях с нижней стороны по склону. Внутри каменные камины и номера, которые зимой сдавали лыжникам. Набоков любовался видами. “Золотую щель нежного заката обрамляли мрачные скалы, – пишет он в «Николае Гоголе». – Края ее опушились елями, как ресницами, а еще дальше, в глубине самой щели, можно было различить силуэты других, совсем бесплотных гор поменьше”[39].

Вечерами он выходил на веранду. Лафлин вспоминал, что Набоков “вешал изнутри на окна большие фонари… и ловил мотыльков” (часть этих бабочек, семейства пяденицы[40], он послал в Американский музей естественной истории Джеймсу Макдоно, который дал им название *Eupithecia nabokovi*). Лафлин поражался энергичности Набокова. “Он писал каждый день и каждый погожий день охотился за бабочками[41], – вспоминал Лафлин в 1960-е годы в интервью журналу *Time*. – Не знаю, что именно он писал… он не любил об этом рассказывать, но я слышал стрекот

пишущей машинки”. (На машинке печатала Вера, Владимир обычно пользовался ручкой[42], которая на такой высоте писала плохо.)

Когда из-за непогоды приходилось оставаться дома[43], русские играли в китайские шашки. У Лафлина и его молодой жены было два щенка коккер-спаниеля, которые частенько крутились под ногами: “…черный с обвислыми ушами и симпатичной косинкой в голубоватых белках и белая сучка с розовыми пятнышками на морде и животе”[44], – писал Набоков. Собаки должны были сидеть на террасе, но пробирались в дом.



Тропа на гору Лоун

Несмотря на проходившие время от времени грозы, “никогда в жизни… у меня не было лучшей охоты, чем здесь, – писал Набоков Уилсону. – Я с легкостью поднимаюсь на 12 000 футов… Прохожу по 12–18 миль в день в одних лишь шортах да теннисных тапочках”[45]. Флора в каньоне была богатая. Чувствуя себя полным сил и бодрости, Набоков (возможно, с досады из-за размолвки) подбил Лафлина, прекрасного спортсмена и неутомимого туриста, подняться вместе на гору Лоун – серьезное восхождение, во время которого им предстояло пройти десять километров от подножия до вершины и подняться на высоту почти в две тысячи метров над уровнем моря. В наши дни пешие

туристы считают гору Лоун самой трудной для восхождения из всех вершин хребта Уосач[46]. В 1940-х годах на вершину были два маршрута, и ни на одном из них не было источников воды, кроме как в самом начале тропы, так что опытные и хорошо подготовленные туристы брали воду с собой во фляжках. Есть все основания полагать, что Набоков и Лафлин подготовились к восхождению не так уж хорошо. Набоков был “в белых шортах и кроссовках”[47], как рассказывал Лафлин корреспонденту журнала *Time*, “гора была очень крутая, так что подъем и спуск заняли… девять изнурительных часов”. На подъеме надо быть очень внимательными, чтобы не сбиться с пути и не оступиться на гранитных скалах. Хороший современный интернет-путеводитель предупреждает об “очень крутых”, “с расселинами”, “лишенных растительности и продуваемых всеми ветрами” участках пути, а у самой вершины путешественников ждет “отвесная стена”, на которую еще “надо вскарабкаться”[48].

Из-за обильных снегопадов в тот год вершина оказалась покрыта снегом. В интервью *Time* Лафлин вспоминал, что Набоков на обратном пути “оступился, упал и проехал метров 150–200 вниз”[49], ободрав ягодицы. А ведь мог и разбиться насмерть. Другому интервьюеру двадцать лет спустя Лафлин рассказывал, что они отправились на гору с научными целями: Набоков взял с собой сачок для бабочек и охотился неподалеку от заснеженной вершины. А потом на обратном пути “мы оба поскользнулись и стали съезжать вниз. Мы катились все быстрее и быстрее… прямо на огромную груду камней, но у Набокова был с собой сачок… [которым он] каким-то чудом ухитрился зацепиться… за торчавший из снега обломок камня. Я схватил его за ногу и повис… Тот сачок стал нашим спасением”[50].

Поскольку Набокова с Лафлином долго не было, Вера позвонила шерифу округа, и тот выслал патрульную машину[51]: помощники шерифа встретили путешественников, когда те уже выходили из леса, измученные, но целые и невредимые[32].

Отдых в Юте, несмотря на мелкие досадные недоразумения, доставил Набокову удовольствие. Ему удалось поймать отменные экземпляры, он “прошел что-то около 600 миль по хребту Уосач”, рассказывал он Уилсону[52]. Марку Алданову, другу-писателю из Нью-Йорка, он с мистическим восторгом описывал тамошнюю природу:

> Мы живем в диких орлиных краях, страшно далеко, страшно высоко… Серая рябь осин промеж черни елей, медведи переходят дорогу, цветут мята, шафран, лупина, стойком стоят у своих норок пищуны (вроде сусликов)…

> Я знаю, что вы не поклонник природы, но все-таки скажу вам о несравненном наслаждении взобраться чуть ли не по отвесной скале на высоту 12 000 ф. и там наблюдать “в соседстве” пушкинского “Бога” жизнь какого-нибудь диковинного насекомого, застрявшего на этой вершине с ледниковых времен[53].

“Бог” стоит в кавычках, но все же нельзя не заметить, что в этом Набоков не одинок: многие альпинисты, восходя на вершину, ощущали присутствие “высшего духа”. И не только американцы (начиналось все как минимум с Моисея на горе Синай), однако именно американцы возвели восхождения в привычку: Джон Мьюр, забиравшийся на Сьерра-Невада, и Генри Торо, покоривший гору Монаднок, – вот самые известные примеры американских любителей путешествовать по горам.

Несколько лет спустя, когда Дмитрий увлекся альпинизмом, Набоков записал его на учебный курс, проводившийся на хребте Титон в Вайоминге. Дмитрий занимался с лучшими американскими альпинистами тех лет, причем некоторые из них относились к горам с мистическим почтением. Набоков так пытался объяснить это Уилсону:

> Дмитрий сейчас на озере Дженни [Владимир и Вера сняли хижину в 150 км оттуда]… и лазает по горам, причем по самым опасным и трудным склонам. Он страстно увлекся альпинизмом. Профессиональные альпинисты – замечательные люди: физические нагрузки, которых требуют горы, каким-то образом превращаются у них в духовный опыт[54].

Мистиком Дмитрий не стал. Но одним из его инструкторов был, скорее всего, Вилли Ансолд, первый человек, который покорил Западный гребень Эвереста: в XX веке никому из американцев не удалось повторить его успех[33]. Ансолда пригласили преподавать в альпшколе в то же лето, когда там учился Дмитрий[55]. Человек религиозный, образованный (Ансолд написал докторскую об Анри Бергсоне, и это исследование высоко оценили в научных кругах)[56], в минуты опасности он сохранял необычайное спокойствие, был спортсменом мирового класса и считал, что озарение можно снискать путем физического риска. Он погиб в лавине на горе Рейнир.

Другим легендарным альпинистом, у которого Дмитрий, скорее всего, учился в то лето, был Арт Гилки, геолог, погибший во время восхождения на К2, она же Чогори, в 1954 году. Так что к альпинизму Дмитрия приобщили профессионалы,

относившиеся к своему делу с благоговением: они не только оттачивали мастерство, они преследовали духовные цели. Так, среди прочего, они учили, что альпинизм – своего рода процесс познания: восхождение к вершине пробуждает мысли о божественном, погружает в экстаз.

Глава 8

Возвращение в Кембридж далось Набокову нелегко[1]: после великолепных видов Юты пришлось снова привыкать к подстриженным газонам, опавшей листве, надоевшим бабочкам и унылым холмам. Он снова с головой погрузился в работу в Музее сравнительной зоологии. Набоков писал Уилсону, что трудится “не покладая рук”:

> Часть моего исследования о голубянках… в котором я связываю неарктических [американских] и палеарктических [европейских] представителей вида, должна выйти через неделю-другую… Одних каталожных карточек уже больше тысячи… Я препарировал и отсек гениталии 360 экземпляров и разоблачил таксономическую авантюру, которая читается как роман. Прекрасная тренировка с точки зрения нашего (если мне позволено так выразиться) мудрого, точного, пластичного, прекрасного английского языка[2].

В Музее сравнительной зоологии Набоков держался в некотором смысле наособицу (кроме него, никто из научных сотрудников голубянками не интересовался), так что вся огромная коллекция была полностью в его распоряжении. Десятью годами ранее Николаю Набокову довелось пережить схожий процесс погружения в культуру Нового Света. Он согласился написать для Леонида Мясина балет “на американскую тему” и с воодушевлением принялся собирать материал, необходимый для создания подлинно американского танца. До тех пор Николай Набоков знал Америку в основном по книгам и фильмам, признается он в мемуарах: Америка была для него страной “молочных коктейлей и бананового сплита”[3], автомобилей, похожих на “загробных чудищ”, “грязных, шумных, ветхих надземных поездов” – некультурное, зловещее место. Арчибальд Маклиш познакомил Николая с Джеральдом Мерфи, джазовой знаменитостью, который, помимо того что дружил с Хемингуэем, Фицджеральдом, Пикассо, Кокто и прочими легендами “потерянного поколения”, еще и собирал музыкальные инструменты и аппаратуру. В его коллекции были “цилиндры с записями, сделанными Томасом Эдисоном” на рубеже XIX–XX веков, причем на некоторых оказались образцы “самой что ни на есть аутентичной”[4] американской музыки, мелодий для “медвежьих шагов”[34], “волчьих шагов”, “фокстротов” и…

популярных перед гражданской войной “кэк-уоков”, как выяснил Николай. “Не только мелодии, но и гармонии, ритмы их казались свежими и настоящими5, равно как и манера игры или пения и выбор инструментов”[35].

Кузен Николая, Владимир, с головой погруженный в исследования насекомых, все же понемногу возвращался к сочинительству. Он утверждал, что Вера оттащила его от края этой пропасти – отвлекла от энтомологии, захватившей Набокова целиком:

> Вера провела со мной серьезный разговор относительно моего романа [речь идет о книге “Под знаком незаконнорожденных”]. После того как роман был нехотя извлечен из-под вороха бумаг с описанием бабочек, обнаружились две вещи. Во-первых, что он хорош, и, во-вторых, что по крайней мере первые страниц двадцать можно смело печатать и отсылать в издательство. Что и будет незамедлительно сделано. После многочисленных измен возлег я наконец со своей русской музой и посылаю тебе большое стихотворение, которое она от меня зачала… Вдобавок, я почти закончил рассказ по-английски6.

Завершив работу над “Николаем Гоголем”, Набоков стал придумывать, как избежать сделки, которую заключил с Лафлином: согласно второй части их договора, ему предстояло написать для издательства еще несколько книг за мизерный гонорар. Уилсон предложил взять за основу переводы, которые делал Набоков: “Что, если мы вместе поучаствуем в книге о русской литературе: я – своими эссе (несколько их дополнив), ты – переводами?”7 Уилсон писал о русских авторах для журнала *The Atlantic* и предполагал, что “с учетом растущего интереса к русскому языку, такая книга… расходилась бы неплохо. Она наверняка будет в своем роде единственной”.

Этот период переписки Набокова и Уилсона свидетельствует об их совершенной близости, задушевной и литературной дружбе. Уилсон послал Набокову свои статьи для журнала *Atlantic*, присовокупив: “Статьи эти могут показаться тебе пресноватыми, но ведь они ни на что не претендуют, это всего лишь первые впечатления иностранца, не более того”8. Набоков ответил: “Возвращаю твои корректуры. Нам с Верой эта и другая статьи очень понравились”9. Тут Уилсон ступал на территорию Набокова, приникал к сокровищнице русской литературы, но Владимир этому был только рад: даже заметки Уилсона о Пушкине, к которому Набоков питал искреннее почтение, были

встречены благосклонно. Уилсона не стоит недооценивать. Его эссе о Пушкине – пример блестящей публицистики10: точка зрения Уилсона и понимание творчества поэта, возможно, отражали сомнения, которыми он был обязан Набокову (писатель это подметил, и ему это польстило)[36]. Набоков высоко ценил Уилсона как коллегу. Никому из современных писателей, кроме Ходасевича (1886–1939), он не выказывал такого уважения11. В надежде, что "Дар", который Набоков считал лучшим своим произведением, все же удастся донести до американского читателя, писатель попросил Уилсона его перевести:

> Так что я по-прежнему ищу человека, который может перевести книгу в пятьсот страниц… Я знаю человека, способного с этим справиться при условии, что я помогу ему разобраться с русским текстом. Я все хожу вокруг да около, понимая, что у Вас своих дел по горло, к тому же я не питаю никаких иллюзий относительно гонорара, который готов заплатить Лафлин, – исхожу из тех сумм, какие получал *я*; разве только другие получают больше12.

У Уилсона действительно было полно других забот, и он ответил: "Будь у меня свободное время, я бы с радостью взялся за твою книгу. Мне бы очень хотелось, чтобы ее перевели… Но у меня столько дел… что едва ли получится"13.

Теперь Набоков практически все свои работы посылал Уилсону. Статьи о бабочках, старые стихотворения, фрагменты романов, пьесу. Послал и "Николая Гоголя", и "целую книгу"14, которая впоследствии вышла под названием *Three Russian Poets* ("Три русских поэта"). (Ее опубликовал Лафлин: из замысла Набокова написать книгу в соавторстве с Уилсоном так ничего и не вышло.) Набоков, точно пылкий младший брат, верит, что каждое его слово будет встречено благосклонно. Иногда он и сам замечает, что хватил через край. Так, в январе 1944 года он пишет Уилсону: "Маловразумительная статья о кое-каких маловразумительных бабочках, напечатанная в маловразумительном научном журнале, явится очередным образцом набоковианы, который в скором времени попадет тебе в руки"15, и в марте: "Я послал бы тебе [корректуру «Гоголя»], если бы не знал, сколько времени у тебя отнимает чтение книг".

Дружба их была увлекательной и вдохновляющей. Причем Набоков, что для него нехарактерно, открыто признает, что произведения Уилсона его воодушевили, навели на мысль написать кое-что свое:

> Много ли ты пишешь? Мне понравились твои школьные воспоминания[37]. Я тоже, пожалуй, напишу про Тенишевское училище – ты *dedanche* картины моего прошлого: русский учитель Владимир Гиппиус (прекрасный поэт школы Белого), в которого я однажды запустил стулом; отчаянные кулачные бои, доставлявшие мне огромное наслаждение, поскольку, будучи физически слабее двух-трех главных наших забияк, я брал частные уроки бокса и *savate*… футбольные баталии во дворе, и кошмар экзаменов, и поляк-гимназист, щеголявший честно заработанным триппером, и упоительная синева невской весны16.

Вопрос о том, что и сколько посылать Уилсону и насколько злоупотреблять его вниманием, оказался важным. Роман, над которым работал Набоков, “Под знаком незаконнорожденных”, был готов в январе 1944 года, после чего отправился к редактору в издательство *Doubleday*. Уилсон, на тот момент штатный рецензент журнала *New Yorker*, читал начало романа еще в рукописи, очень хвалил и признавался в письме Набокову, что ему не терпится увидеть продолжение. Нагрузка в *New Yorker* была серьезной: каждую неделю Уилсон писал по большой рецензии, так что, возможно, отрывок из романа Набокова прочел второпях. Отметил на полях кое-какие комментарии по поводу использования английских глаголов, но в целом объявил, что это “великолепно”17.

В издательстве *Doubleday* роман не понравился. Впрочем, это не имело значения – у Набокова был настолько мощный и продуманный замысел романа, что он безапелляционно заявил Уилсону: “В конце книги, в которой будет 315 страниц, возникнет и получит развитие идея, за которую раньше еще никто не брался”. Большая часть романа была написана два года спустя, зимой-весной 1945–1946 годов18. Антиутопия, политический роман, несмотря на то, что Набоков не признавал этот жанр и вообще произведения на злобу дня, “Под знаком незаконнорожденных” перекликается с кафкианским романом Набокова “Приглашение на казнь”, который он писал в 1930-е годы. После “Приглашения на казнь” можно было ожидать, что новый роман также будет выдержан в традициях модернизма и читать его будет гораздо труднее. Однако этого не случилось. Алтаграция де Жаннелли, если бы она по-прежнему давала Набокову советы о том, что именно следует писать, наверняка заявила бы, что его занесло не туда. Брайан Бойд, который в биографии писателя кратко пересказывает его произведения

(большинство из них Бойд считал шедеврами), в случае с “Под знаком незаконнорожденных” отмечает “намеренное нежелание соответствовать интересам обычного читателя”[19]. Роман “рефлективен” и лишен “очевидного очарования” прочих произведений Набокова, пишет Бойд.

Роман труден еще и тем, что представляет собой модернистское смешение стилей: прямое повествование вперемежку с пародийным; остроумные, хотя и нудные, главы, посвященные толкованию “Гамлета”, и прочие комментарии к Шекспиру; обращения к читателю, свидетельствующие о том, что автор рефлексирует над собственным текстом и дает это понять; причудливые слова, собранные в вычурные абзацы, которые перебивают плавное повествование. Главный герой, Круг, – всемирно известный философ и “человек гениальный”, которого в начале книги легко принять за двойника себялюбивого автора. К несчастью, Кругу выпало жить в полицейском государстве, диктатор которого, бывший школьный товарищ философа, хочет, чтобы Круг высказался в поддержку режима. Возможно, презрительное описание государственного строя в романе было продиктовано отвращением, которое Набоков питал к нацизму и сталинизму: потому-то писатель и решил выставить мучителей и убийц кретинами и клоунами. Иногда повествование смахивает на античную комедию, кульминацию которой омрачает жестокость.

В самом начале романа умирает жена Круга, и он утаивает эту новость от сына:

> Здесь у белой двери [детской] он остановился и тяжкий шум его сердца внезапно прервался особым спальным голосом сына, отстраненным и вежливым, Давид с грациозной точностью применял его для извещенья родителей (когда они возвращались, скажем, с обеда в городе), что он еще бодрствует и готов принять всякого, кто пожелает вторично сказать ему доброй ночи[20].

Государство возьмет Давида в заложники и в конце концов убьет. Произведение, высмеивающее некоторые популярные американские романы, развивается в традиционном духе: автор усердно старается докопаться до первопричины всех событий. “Главной темой *«Bend Sinister»*, – писал Набоков двадцать лет спустя в желчном предисловии к новому изданию, – является, стало быть, биение любящего сердца Круга, мука напряженной нежности, терзающая его, – и именно ради страниц, посвященных Давиду и его отцу, была написана эта книга, ради них и стоит ее

прочитать”[21]. Но если это и так, тогда тема раскрыта неуклюже. Чувства Круга к сыну описаны приторно, а его демонстративная верность покойной жене кажется какой-то абстрактной: читатель слышит об этом, но не чувствует.

Второстепенный персонаж Эмбер[22] во многом похож на Эдмунда Уилсона: тесная дружба Эмбера и Круга тоже основывается на общих литературных пристрастиях. Они испытывают друг к другу глубокую симпатию. Некоторые исследователи творчества Набокова утверждают, будто бы писателя безмерно разочаровал и уязвил тот факт, что Уилсон не узнал себя в герое[23], которого Набоков вывел с такой любовью, а ведь Набоков и Уилсон частенько толковали Шекспира, да и вообще роман напичкан фрагментами, которые наверняка были Уилсону по вкусу: например, Набоков обыгрывает название одного из романов Мэри Маккарти. Однако когда книга вышла, Уилсон словом не обмолвился ни об Эмбере, ни об аллюзиях[24]. Роман ему не понравился. “Роман «Под знаком незаконнорожденных» меня несколько разочаровал”, – так начинается его письмо Набокову от 30 января 1947 года.

> Сомнения возникли у меня, еще когда я читал первые главы… Есть на этот счет и другая точка зрения: я знаю, например, что Аллену Тейту [редактор, который купил права на книгу для издательства *Holt*] твой роман понравился необычайно; он говорил мне, что считает его великой книгой. На мой же взгляд, хотя в романе есть что похвалить… к твоим лучшим вещам его отнести нельзя. Прежде всего, мне кажется, у него тот же недостаток, что и у твоей пьесы про диктатора [имеется в виду пьеса “Изобретение вальса”, тоже про диктатора]. Политика, социальные преобразования – это не твои темы, они тебе не даются по той простой причине, что тебя все эти вопросы совершенно не интересуют, ты никогда не брал на себя труд понять их[25].

Это самый откровенный и подробный критический отзыв Уилсона на роман “Под знаком незаконнорожденных”. Есть все основания полагать, что, хотя Набокову, скорее всего, было неприятно это читать, он все же очень внимательно отнесся к мнению друга:

> Для тебя такой диктатор… попросту вульгарное и гнусное существо, которое угрожает серьезным и значительным людям вроде Круга. Ты совершенно себе не представляешь, почему и каким образом Жабе

> удалось взять власть и что такое его революция. В результате – написанная тобой картина оказывается довольно невнятной. Только не говори мне, что истинный художник не должен иметь с политикой ничего общего. Художник может не принимать политику всерьез, но если уж он обращается к подобным темам, то обязан знать, что они собой представляют. Никто так не сосредоточен на чистом искусстве… как Уолтер Пейтер, чью книгу "Гастон де Лятур" я сейчас дочитываю. Но я со всей ответственностью заявляю, что он гораздо глубже проник в суть непримиримой борьбы между католиками и протестантами в XVI веке, чем ты – в конфликты века XX[26].

Хвалебных рецензий на роман было мало. Двадцать лет спустя в предисловии к переизданию Набоков вспоминал, что книга "глухо шлепнулась"[27]. А Уилсон продолжал:

> Мне также кажется, что тебе не слишком удалась вымышленная страна. Твоя сила – в наблюдательности, умении запечатлеть реально происходящее; объединив же германское и славянское, ты создал нечто, от реальности очень далекое… В сравнении с нацистской Германией и сталинской Россией испытания твоего несчастного профессора выглядят отталкивающим бурлеском. Уже в первых главах Круг не показался мне слишком убедительным… В результате же у тебя получилось сатирическое описание событий столь ужасных, что сатира к ним неприменима[28].

Роман показался Уилсону скучным и "затянутым", в отличие от других произведений Набокова. Уилсон отметил, что в романе Набоков "стремился к более густой прозе", полной сложных аллюзий, однако "Незаконнорожденные" напомнили ему Томаса Манна[29] – "писателя второго ряда", которого Набоков терпеть не мог.

Критика Уилсона задела Набокова за живое, и он запомнил ее надолго. В язвительном предисловии, о котором уже шла речь, Набоков нападает не лично на Уилсона ("мой добрый друг, Эдмунд Уилсон, прочитал типоскрипт…"), но на бестолковых читателей, которые требуют, чтобы автор объяснял свои аллюзии и образы. В 1963 году Набоков был одним из самых популярных писателей в мире. Едва ли кто-то сомневался в его гениальности. И все равно в предисловии он, оседлав любимого конька, распинается о своей аполитичности и "литературе социального

звучания", точно строгий школьный учитель, который трясет за плечи рассеянного ученика. Интерес к политике оскорблял Набокова: до чего же глуп этот мир! Однако нельзя сказать, чтобы роман провалился. В нескольких последних главах Набоков перестает ставить оценки и пишет с блестящей непосредственностью и черным юмором, которые заставляют вспомнить один из самых сильных и захватывающих ранних его романов "Смех в темноте" и которые впоследствии проявятся в "Лолите" – следующем романе писателя, полном аллюзий, неоднозначном с точки зрения морали, но совершенно гениальном. "Лолита" похожа на "Незаконнорожденных" и в целом, и в частностях – так, в этих строках слышатся перипетии будущего шедевра:

> Она стояла в ванне, волнообразно намыливая спину – по крайности те участки ее узкой, усеянной впадинками, отблескивающей спины, до которых могла дотянуться, закинув руку за плечо. Волосы были зачесаны кверху и покрыты косынкой или чем-то еще, накрученным. Зеркало отражало рыжеватую подмышку и бледный пузырек соска. "Сичас иду!" – пропела она[30].

Это Мариэтта, маленькая и жестокая шпионка, которая работает у Круга няней. Круг "ахнул дверью, подчеркнуто выразив гнев"[31], но тут же вообразил себе "подростковые ягодицы" Мариэтты, а через несколько дней ему приснилось, "как он украдкой ублажается Мариэттой, покамест та сидит, слегка содрогаясь, у него на коленях во время репетиции пьесы, в которой она играет роль его дочери".

Как и Гумберт, Круг тоже придумывает для Мариэтты сальное определение: она не нимфетка, но *puella*[38]. Мариэтта еще девочка, но с пробужденной сексуальностью и опытом:

> – Спокойной ночи, – сказал он. – Не засиживайтесь допоздна.
>
> – Можно, я посижу у вас, пока вы пишете?
>
> – Определенно нет.
>
> Он повернулся, чтобы уйти, но она остановила его.
>
> – Ручка на буфете.
>
> Застонав, он вернулся с кубком в руке, взял перо.
>
> – Когда я одна, – сказала она, – я сижу и делаю вот так, точно сверчок. Послушайте, пожалуйста.
>
> – Что послушать?
>
> – А вы разве не слышите?
>
> Она сидела, приоткрыв рот, чуть шевеля плотно

перекрещенными бедрами, издавая тихий звук, мягкий, как бы губной, но перемежающийся поскрипыванье, словно она потирала ладони[32].

Круг заранее отпускает себе грехи. “В ноябре он лишился жены”, так что вполне понятно, что мужчине хотелось “с такой приятностью избавиться от вполне естественного напряжения и неудобства”[33]. (Гумберт, кстати, тоже тысячу раз прощает себе все, что вытворяет с малюткой Лолитой.) В последний миг Кругу удается удержаться от падения, не воспользовавшись подвернувшимся случаем, но тут в его дверь стучат:

> Он отворил… За дверью стояла в ночной рубашке она. Медленно смигнула, прикрыв и опять обнаружив странное выражение темных, непроницаемых глаз. Локтем прижимала подушку, в руке будильник. Она глубоко вздохнула.
>
> – Пожалуйста, впустите меня, – сказала она, и отчасти лемурьи черты ее белого личика умоляюще сморщились. – Мне так страшно, я просто не могу оставаться одна. Я чувствую, случится что-то ужасное. Можно, я здесь посплю? Пожалуйста!
>
> Она на цыпочках пересекла комнату и с бесконечной осторожностью опустила на ночной столик круглолицые часы. Свет от лампы, просквозив ее папиросный покров, обнаружил персиковый силуэт тела[34].

Круг, отчасти в духе Шарлотты Гейз, Лолитиной матери, которая пишет Гумберту любовное письмо, отвечает:

> – Ты знаешь слишком мало или слишком уж много, – сказал он. – Если слишком мало, тогда беги, запрись, никогда не приближайся ко мне, ибо это будет животный взрыв, тебя может сильно поранить. Я предупреждаю тебя. Я старше тебя почти втрое, я огромный, печальный боров. И я тебя не люблю.
>
> Сверху вниз она поглядела на корчи его рассудка. Прыснула.
>
> – Значит, не любишь?
>
> *Mea puella, puella mea*. Моя горячая, вульгарная, божественно нежная, маленькая *puella*[35].

Переклички с “Лолитой” присутствуют и в сценах, когда Мариэтта и прочие, в том числе и восьмилетний сын Круга Давид, используют американский сленг[36]. Давид говорит *“uh-uh”* (“не-а”)

и *“Gee whizz”* (“Вот здорово!”), и Круг представляет себе, как перебрался бы в страну, где “его малыш сможет расти в безопасности, в мире, в свободе (длинный, длинный пляж, испещренный телами, ласковая лапушка с ее атласным чичисбеем), – реклама чего-то американского, где-то виденная, как-то застрявшая в памяти”. В конце концов врываются полицейские, избивают Круга и отнимают Давида, причем разговаривают эти негодяи так, словно насмотрелись голливудских фильмов или решили разыграть по ролям сцену из хемингуэевских “Убийц”:

> – Смак, – ответствовал Мак. – И ты не простынешь, – там, в машине, есть норковая шубка.
>
> Из-за того, что дверь в детскую неожиданно приоткрылась… стал на мгновение слышен голос Давида: как ни странно, ребенок вместо того, чтобы хныкать и звать на помощь, пытался, видимо, урезонить невозможных своих гостей… Круг подвигал пальцами, – онемение проходило понемногу. Как можно спокойней. Как можно спокойней, он снова воззвал к Мариэтте.
>
> – Кто-нибудь знает, чего ему от меня нужно? – спросила Мариэтта.
>
> – Слушай, – сказал Мак Адаму, – либо ты делаешь, что тебе говорят, либо не делаешь. И если ты не делаешь, тогда тебе делают чертовски больно, понял? Встать![37]

У Мака “тяжелая квадратная челюсть” и ладонь “размером с бифштекс на пятерых”[38]. Он – герой комиксов и голливудских фильмов: Блуто из “Моряка Попая” наверняка сказал бы, как Мак, “А-а, господи боже” и “Держи его прямо, детка”, когда его фонарик плясал в пальцах Мариэтты. Эти абзацы – краткие попурри из примитивных тем американской массовой культуры. Америка – родина гангстерства, но именно там, если бы Кругу удался задуманный побег, у его сына началась бы другая жизнь:

> Он увидел Давида, ставшим старше на год или два, сидящим на чемодане в ярких наклейках – на пирсе, у здания таможни. Он увидел его катящим на велосипеде между сверкающих кустов форситий и тонких, голых стволов берез, по дорожке со знаком “Велосипедам запрещено”. Он увидел его на краю плавательного бассейна в черных и мокрых купальных трусах, лежащим на животе, резко выступала лопатка… увидел его в одной из тех баснословных угловых лавок, что

> выставляют пилюли на одну улицу и пикули на другую, взобравшимся на насест у стойки и тянущимся к сиропным насосам. Он увидел его подающим мяч особенным кистевым броском, неизвестным у него на родине. Он увидел его юношей, пересекающим техниколоровый кампус[39].

А через год-другой уже Лолита будет пробовать газировку в очередной американской лавке во время поездок туда-сюда по стране с Гумбертом. Но и Лолите не суждено вырваться в другую, большую жизнь: она никогда не пересечет чисто подметенный кампус, не одолеет грозный рок, который в эти военные и послевоенные годы был для Набокова неотделим от беззащитности детства.

Многие события в “Лолите” (1955) происходят в 1947–1948 годах. Среди прочих достоинств романа, очаровавших сотни тысяч читателей, в особенности американских, – забавные бытовые подробности, отражавшие реальную жизнь. Литературный критик Элизабет Хардвик писала о романе, что его автор “совершенно в духе Марко Поло в Китае разглядывает набившие (нам) оскомину подробности американского быта. Мотели, рекламные объявления, жевательная резинка… для Набокова это все свежо и ново”[40]. В 1880-е годы таким же откровением для американского читателя стали сельские пейзажи в твеновских “Приключениях Гекльберри Финна”: на фоне типичных сонных южных городков на берегах Миссисипи разворачиваются такие события, как вражда Грэнджерфордов и Шепердсонов или мошенничества Герцога и Дофина. Роман “Приключения Гекльберри Финна”, как и “Лолита”, полон американского колорита.

Английский язык полностью покорился Набокову лишь в 1946 году. В начале 1947 года он пишет Уилсону:

> …тысячу лет ничего от тебя не получал. Как живешь? До тебя дошло мое русское стихотворение? Мой роман [“Под знаком незаконнорожденных”] должен появиться в начале июня… Из издательства мне прислали совершенно абсурдную аннотацию на обложку… Надеяться на то, что “Под знаком незаконнорожденных” принесет деньги, не приходится. Пишу сейчас две вещи. 1. Короткий роман о человеке, которому нравились маленькие девочки; называться он будет “Королевство у моря”. 2. Автобиографию нового типа – научная попытка распутать запутанный клубок

человеческой личности; назвать ее собираюсь *“The Person in Question”*[41].

Книги получились замечательными, увлекательными[42], для большинства читателей – лучшим, что создал Набоков. Пожалуй, их можно даже назвать реалистичными – в том смысле, что в них изображен умопостигаемый мир, хотя и с нехарактерной для обыденной жизни подробностью. Уилсону, когда тот все-таки прочитал “Лолиту”, роман не понравился, но он все равно присоединился к хору тех, кто хвалил[43] эссе, которые Набоков начал публиковать в журнале *New Yorker* (впоследствии они вошли в “Память, говори”). Ни мемуары, ни “Лолита” не были, в отличие от “Под знаком незаконнорожденных”, фантазией на политические темы: ни в первом, ни во втором произведении нет вымышленной страны.

И в том и в другом произведении встречаются сложные фрагменты, полные аллюзий, однако в “Лолите” Набоков все же отчасти скрывает свою эрудицию. В “Под знаком незаконнорожденных” рассуждения о Шекспире занимают почти целую главу и, хотя не выглядят в тексте чем-то чужеродным, все же сбивают ритм повествования – тем из читателей, кому не терпится узнать, что же было дальше, приходится запастись терпением. “Лолита”, напротив, читается легко, поскольку там нет лирических отступлений. Повествование от первого лица (Гумберта Гумберта) разворачивается гладко:

> “Заставьте-ка маму повезти нас (нас!) на Очковое озеро завтра”. Вот дословно фраза, которую моя двенадцатилетняя пассия проговорила страстным шепотом, столкнувшись со мной в сенях – я выходил, она вбегала. Отражение послеобеденного солнца дрожало ослепительно-белым алмазом в оправе из бесчисленных радужных игл на круглой спине запаркованного автомобиля[44].
>
> Лежа в постели и перед сном распаляя себя мечтами, я обдумывал окончательный план, как бы получше использовать предстоящий пикник. Я вполне отдавал себе отчет в том, что мамаша Гейз ненавидит мою голубку за ее увлечение мной. Я замышлял так провести день на озере, чтобы ублажить и мамашу. Решил, что буду разговаривать только с ней, но в благоприятную минуту скажу, что оставил часики или темные очки вон там в перелеске – и немедленно углублюсь в чащу с моей нимфеткой[45].

Фабула проста: ученый-педофил развлекается с малолеткой, которая в конце концов от него сбегает. Фабула романа “Под знаком незаконнорожденных”, который короче “Лолиты” на треть, напоминает лабиринт по сравнению с линейным сюжетом “Лолиты”, хотя, пожалуй, события последней можно назвать загадочными в том смысле, в каком и не снилось “Незаконнорожденным”. “Лолита” привлекательна еще и легкостью, с которой она читается. Гумберт так ловко завоевывает симпатии читателя своей болтовней, что поневоле подавляешь отвращение, которое вызывают его действия (“О, Лолита моя, все что могу теперь, – это играть словами”)[46]: простота, с которой нам удается проникнуть в его мировоззрение, подкупает. Нам бы возмутиться тем, что он держит в сексуальном рабстве девочку-подростка, отложить роман и взяться за более достойную книгу, однако ж мы этого не делаем.

“Другие берега” (и “Память, говори”), витиеватые по стилю, кому-то из читателей могли показаться трудными:

> Учебный год длился с начала сентября до первой трети мая, с обычными праздничными перерывами, во время которых гигантская елка касалась своей нежной звездой высокого, бледно-зелеными облаками расписанного, потолка в одной из нижних зал нашего дома, или же сваренное вкрутую яйцо опускалось с овальным звуком в дымящуюся фиолетовую хлябь[47].

С другой стороны, женщин из рода Корфов я вижу вполне отчетливо – прекрасные лилейно-розовые девы с высокими, румяными *pommettes*, бледно-голубыми глазами и той маленькой, похожей на мушку родинкой на щеке, которую моя бабушка, мой отец, трое или четверо его сестер и братьев, некоторые из моих двадцати пяти кузенов и кузин, моя младшая сестра и мой сын Дмитрий наследовали в различных степенях проявленности, будто более или менее четкие копии одной и той же гравюры[48].

“Память, говори”, совсем в духе Пруста, с начала до конца посвящена экскурсам в личные воспоминания, но при этом текст нельзя назвать модернистским: он написан изящными, долгими, как глубокий вдох, предложениями, которые требуют вдумчивости, но не сбивают с толку. Возможно, читателям журнала *New Yorker* и приходилось искать такие термины, как *hiemal* (“зимний, застывший”) и французское *pommette* (“скулы”), в словаре, но все же “Память, говори” – невероятно прозрачные и ясные воспоминания, написанные в прекрасном классическом стиле, с идеальной выдержкой.

Набоков нуждался в деньгах. “…Финансы мои истощились”[49], – пишет он Уилсону, узнав, что во второй раз фонд Гуггенхайма грант ему уже не даст. Планы снова съездить на Запад[50] пришлось отложить сперва на год, потом на два, потом на три. Дмитрию “совершенно негде играть, да и не с кем – по соседству живут одни несносные сорванцы”[51]. Летом семейство совершало короткие вылазки на природу – на озеро Ньюфаунд в Нью-Гэмпшире, которое сейчас считается самым чистым озером в штате[52], тогда же показалось Набокову “грязным”[53]. Впоследствии Набоковы рассказывали об антисемитизме[54], с которым им довелось столкнуться в Нью-Гэмпшире, – и это после войны и репортажей из лагерей смерти. Встретив в меню некоего заведения строчку “Евреев не обслуживаем”, Набоков поинтересовался у официантки, отказались бы они обслужить мужчину, женщину и ребенка, которые приехали бы к ним на осле. Официантка не нашлась, что ответить. Набоковы покинули ресторан.

В других версиях этой истории[55] – которые напоминают роман и фильм “Джентльменское соглашение” (вышли в 1947 году) – трое из Назарета приезжают “на старом форде”. В одной из версий с ними нет Веры, зато Дмитрий захватил с собой друга, и мальчишек поражает прямолинейность Набокова. Он тогда страдал от острого нервного истощения и в Нью-Гэмпшир отправился по рекомендации врача: измотанный работой над “Под знаком незаконнорожденных” и статьей по лепидоптерологии, Набоков обратился в клинику[56] с жалобой на проблемы с сердцем, язву, рак пищевода и камни в почках. Доктор счел, что пациент здоров, но порекомендовал взять отпуск. В письмах Уилсону, датированных началом 1946 года, Набоков называет себя “импотентом”, причем, как ни странно, в отзыве о “Мемуарах округа Геката” (*Memoirs of Hecate County*) Уилсона, недавно опубликованном сборнике рассказов, который читатели активно раскупали – в основном из-за откровенных фрагментов о сексе:

> Там много прекрасных мест… Ты придумал партнершам [своего персонажа] такие замечательные оправдания, что читатели (или как минимум один из них, поскольку в твоем маленьком гареме я оказался бы совершеннейшим импотентом) не получают от совокупления героев никакого удовольствия. С тем же успехом я мог бы попытаться открыть пенисом банку сардин[57].

Набоков скучал по Западу, и плохое самочувствие его,

возможно, было вызвано тем, что, бросив курить, он поправился на тридцать килограммов. Начиная с 1947 года все последующие 15 лет практически каждый год он ездил на Запад, в основном в горы, и долгие пешие прогулки помогали ему оставаться в форме. Озеро Ньюфаунд показалось ему унылым и грязным, а в домике, где они остановились, воняло жареными моллюсками: запах долетал из расположенного неподалеку отеля сети *Howard Johnson's*[58].

И случилось чудо. В конце 1940-х годов эмигрант, которому наконец удалось полностью подчинить себе мудрый, точный, пластичный английский язык, сделал следующий шаг: он описал Америку, как видел. Как впоследствии Набоков рассказывал в интервью журналу *Playboy*, "мне пришлось придумать Америку… У меня ушло что-то около сорока лет, чтобы придумать Россию и Западную Европу, и вот теперь я столкнулся с такой же задачей, только времени у меня было меньше"[59]. Америка, какой ее изобразил Набоков, полна причудливых особенностей – затейливых и звучных названий городков в "Лолите", вроде "Рамздэля", "Эльфинстона", "Бердслея", – но с точки зрения метапрозы, ощущения поворота, с помощью которого автор дает понять: текст выдуман, – в них нет ничего странного. (Гумберт, рассказчик, но не автор, признает, что кое в чем он приукрасил, но в целом уверяет, что так все и было.) Для эрудированного читателя, которому нравится исследовать глубины текста, "Лолита", как и два последующих американских романа Набокова, "Пнин" (1957) и "Бледное пламя", представляет идеальное поле для деятельности: повествование словно бы соткано из множества литературных источников, однако Набоков старательно поддерживает иллюзию "реальности" для тех, кто ищет в его произведениях всего-навсего увлекательный сюжет.

Интересоваться Америкой он начал задолго до приезда[39]. По настоянию Уилсона он читал книги тех писателей, которые ранее ускользнули от его внимания, – например, Генри Джеймса (Набоков назвал его "бледной морской свиньей"[60] и считал, что миф о Джеймсе давно пора развенчать). Он был знаком с творчеством По, Эмерсона, Готорна, Мелвилла, Фроста, Элиота, Паунда, Фицджеральда, Фолкнера, Хемингуэя и многих других[61], несмотря на то что преподавал преимущественно русский язык и литературу. Сохранились и другие, нелитературные доказательства интереса писателя к Америке. В стихотворении, которое он написал, побывав в гостях у Уилсона, Набоков демонстрирует тонкое понимание американского сюрреализма:

“Сохранит охлажденным”, – нам щит говорит, ого-го! —
Горы
Ветчины, сочных фруктов, эскимо и пломбира,
Молока три бутылки, в тусклом свете эфира
Белоснежного бога
В уютных чертогах
Пар блаженных, чьи взоры, как звезды, горят[62].

Его творческий путь – до “Лолиты” – выглядел многообещающе и без особого увлечения американской тематикой. Уилсон помог ему заключить договор с *New Yorker*, согласно которому Набоков получал ежегодный аванс в обмен на то, что первыми все его новые произведения будут читать редакторы журнала, а произведения эти были в основном посвящены России и всему русскому. Так что он вполне успешно мог бы играть на ностальгии по “старому режиму”: впрочем, творчество Набокова и так в некоторой степени возрождает для читателя и заботливо переосмысливает произведения Пушкина, Гоголя и других великих русских писателей.

У него был “острый глаз бродяги”[63]. Томас Манн, которому тоже пришлось бежать из Европы в Америку и который также написал в США немало книг, в своих произведениях американского периода и словом не обмолвился, что живет в Пасифик-Пэлисейдс, штат Калифорния, а до того жил в Принстоне, штат Нью-Джерси. Манн пишет о фашизме, о вымышленном немецком композиторе, о десяти заповедях и папе римском Григории I Великом, который жил в VI столетии: для Америки на страницах его книг просто не оказалось места – впрочем, он и не стремился его найти[64]. Пожалуй, из писателей-эмигрантов на Набокова с его интересом к Америке больше всего похожа Айн Рэнд[65] (1905–1982), которая была практически его сверстницей. Рэнд, как и Вера Слоним, была из еврейской семьи. С точки зрения поэтики, проблематики и стиля между Набоковым и Рэнд нет ничего общего: разве что она тоже писала для кино, а в пятидесятые создала бестселлер (“Атлант расправил плечи”). Родом Айн Рэнд тоже была из Петербурга, после революции тоже эмигрировала, и с переездом в Соединенные Штаты для нее начался период интенсивного самообразования и в целом знакомства с “типичной” Америкой (как ее понимала Рэнд).

В первом рассказе Набокова, действие которого разворачивается в Америке, – “Превратности времен” (“*Time and Ebb*”, в других переводах – “Время и забвение”, “Быль и убыль”) – повествователь описывает события 1940-х годов восемьдесят лет

спустя. Старик вспоминает причудливые, очаровательно-старомодные детали, из которых складывалась жизнь в 1944 году, – небоскребы, киоски с газировкой, самолеты – и говорит с читателем сложными, вязкими предложениями:

> Я также достаточно стар, чтобы помнить пассажирские поезда; малым ребенком я молился на них, подростком – обратился к исправленным изданиям скорости… Их окраску можно было бы объяснить созреванием расстояния, смешением оттенков порабощенных ими миль, но нет, сливовый цвет их тускнел от угольной пыли, приобретая окрас, свойственный стенам мастерских и бараков, предпосылаемых городу с тою же неизбежностью, с какой грамматические правила и чернильные кляксы предшествуют усвоению положенных знаний. В конце вагона хранились бумажные колпачки для нерадивых гномов, вяло наполнявшиеся (передавая пальцам сквозистую стужу) пещерной влагой послушного фонтанчика, поднимавшего голову, стоило к нему прикоснуться[66].

Ностальгия носила оттенок самолюбования. Пожалуй, Набоков подражал Г. Уэллсу, книгами которого зачитывался в детстве, или же Фредерику Льюису Аллену, автору бестселлера “Только вчера” (1931), бойкой истории 1920-х годов. “А, так это он про те конусообразные бумажные стаканчики”, – думает читатель, расшифровав тайнопись последнего предложения, поскольку “сквозистая стужа” и “вяло наполнявшиеся… пещерной влагой бумажные колпачки” сбивают с толку своей вычурностью.

Набоков относился к Америке с нежностью. Здесь “воплотились… мои заветнейшие «даровые» мечты, – пишет он сестре в 1945 году. – Семейная моя жизнь совершенно безоблачна. Страну эту я люблю. Мне страстно хочется перетащить вас сюда. Наряду с провалами в дикую пошлость, тут есть вершины, на которых можно устраивать прекрасные пикники с «понимающими» друзьями”[67]. И пусть его туда забросила судьба, но он выбрал эту страну сердцем. Писатель хотел, чтобы, несмотря на всю вульгарность Америки, туда приехала его сестра с сыном. Как Манн, выгуливавший пуделя в парке Пэлисейдс в Санта-Монике, был очарован светом Калифорнии, так и Набоков был полон жизни и надежд и в этот счастливый период замыслил написать “Лолиту”.

Глава 9

Когда Набоков начал работу над романом, Уилсон прислал ему шестой том французского издания “Исследований по психологии пола” Хэвлока Эллиса1. Уилсон хотел обратить внимание Набокова на приложение к книге: сексуальные откровения некоего мужчины, который родился на Украине около 1870 года. Он был из богатой семьи, воспитывался за границей, половую жизнь вел с 12 лет. Он был настолько одержим сексом, что это мешало ему учиться, так что, дабы получить диплом инженера, мужчине пришлось от секса на время отказаться. Накануне свадьбы с невестой-итальянкой он спутался с малолетними проститутками и предался прежней порочной страсти. Промотал все деньги, свадьба, разумеется, расстроилась, а он пристрастился к сексу с девочками-подростками и стал эксгибиционистом. Рассказ его заканчивается признанием, что жизнь сломана, надежды нет и нет сил бороться со страстью2.

В ответ Набоков написал:

> Большое спасибо за книги. Меня немало позабавили любовные похождения этого русского. Невероятно смешно. Ему очень повезло, что в его отрочестве нашлись девочки, которые были не прочь… Концовка до смешного сентиментальна3.

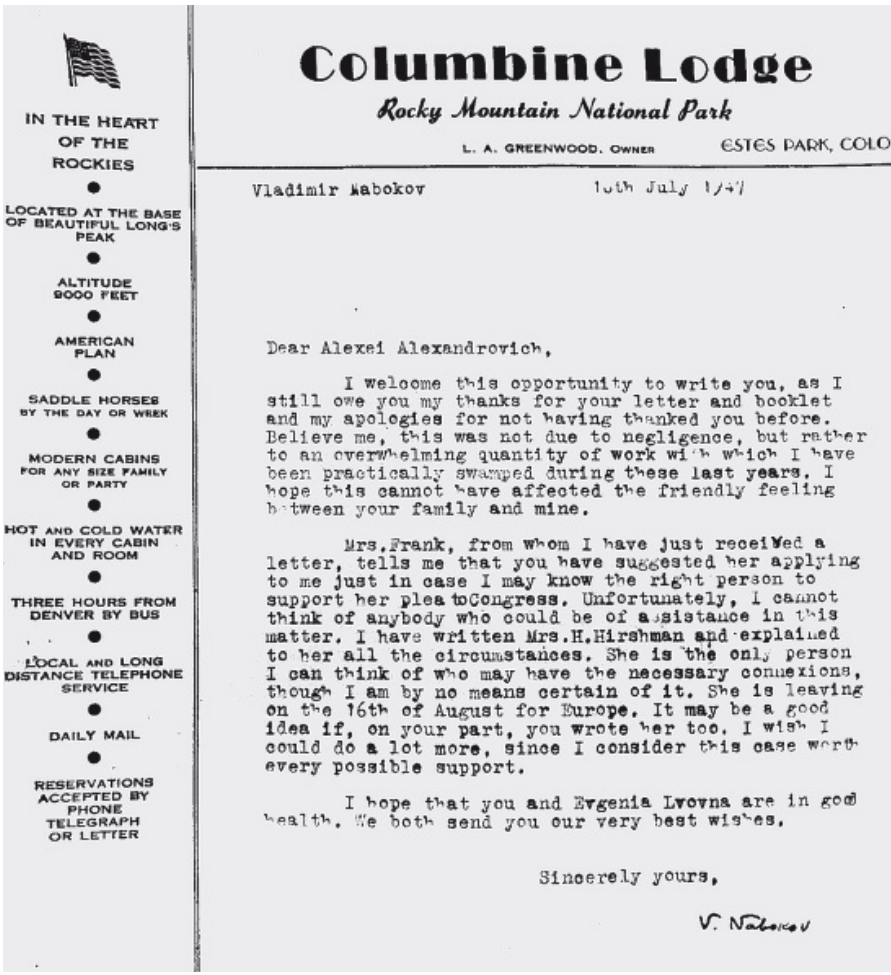
Набоков, вероятно, находился в том состоянии души, когда кажется, будто мир сам идет тебе навстречу, и повсюду видятся отражения замысла, который пока еще только у тебя в голове. Похоже, он твердо решил написать роман о сексе – который, скорее всего, подвергнется нападкам за непристойность, как было с уилсоновским сборником “Мемуары округа Геката”. Примечателен и тон его письма Уилсону: уже появляются остроумные саркастические замечания, каких не было прежде. Кажется, будто Набоков предчувствует, за что именно критики ополчатся на его роман – за недостаточное сострадание к тем, кто его заслуживает, и за излишнюю снисходительность к тем, кто ее недостоин: в самом деле, негодяю Гумберту Гумберту писатель сочувствует едва ли не больше, чем несчастной нимфетке, чью жизнь он исковеркал.

В Кембридже у Набокова было много знакомых. У него были друзья по литературе, преподаватели из Гарварда и Уэлсли, и собратья-“страдальцы”, которые так же, как он, любили ловить и изучать насекомых. Одним из набоковских приятелей-

энтомологов был сын хранителя фонда моллюсков из гарвардского музея[4]: Набоков с 1943 года переписывался с молодым человеком, который интересовался голубянками. Другой молодой ученый, Чарльз Л. Ремингтон, начал наведываться в Музей сравнительной зоологии, как только уволился с военной службы, и вскоре стал одним из основателей Общества лепидоптерологов, членом которого стал и Набоков. В середине лета 1946 года Ремингтон написал Набокову и предложил вместе съездить в Колорадо поохотиться на бабочек[5]. Еще он написал Хейзел Шмолль[6], владелице заказника неподалеку от национального парка Роки-Маунтин, и спросил, нельзя ли пожить у нее на ранчо. Шмолль, которая была ботаником и изучала флору штата Колорадо, обычно давала объявления о сдаче комнат для гостей в газете *Christian Science Monitor*. Набоков, узнав, что она предпочитает непьющих постояльцев, наотрез отказался у нее останавливаться.

На следующее лето он все-таки поехал в Колорадо. Поездка состоялась благодаря тому, что Набокову выплатили аванс в 2 тысячи долларов за роман “Под знаком незаконнорожденных”[7], да и в целом материальное положение его поправилось: в Уэлсли ему платили 3250 долларов, жалованье в Музее сравнительной зоологии и годовой аванс от журнала *New Yorker* вместе составляли довольно-таки круглую сумму, к тому же время от времени случались гонорары за лекции[8]. На запад Набоковы поехали на поезде. Дмитрию уже исполнилось тринадцать лет, он очень вытянулся (его рост уже тогда был больше 180 см). Поездка на запад означала для него возвращение к любимому занятию – альпинизму и прогулкам по горам. Маршрут строили исходя из энтомологических интересов Набокова-старшего. Тут пригодились советы друзей (Комстока из Американского музея естественной истории и Чарльза Ремингтона), однако к этому времени Набоков уже изучил тысячи экземпляров бабочек, многие из них впервые внес в каталог, так что и сам прекрасно знал, где лучше искать. Он отлично помнил названия американских мест для охоты за бабочками, как известных, так и нет. Чивингтон, перевал Индепенденс-Пасс и пик Ла-Плата в Колорадо, Руби и каньон Рамсей в Аризоне, западная часть Йеллоустоунского национального парка, болота Толланд, окрестности городка Полярис, штат Монтана, и Харлан в канадской провинции Саскачеван. Набоков уже сорок лет читал труды по энтомологии[9]. Его карточки из Музея сравнительной зоологии демонстрируют любовь к деталям, прежде всего к морфологическим – подсчет количества чешуек на крыльях, описания гениталий, портреты политипов – и во вторую очередь

подробностям, связанным с поимкой того или иного экземпляра. “Поймана Хаберхауэром в окрестностях Астрабада в Персии, – писал Набоков об одном из насекомых, попавшем в коллекцию семьдесят пять лет назад, – скорее всего, в горах Лендакур… где летом 1869 года он провел два с половиной месяца, с 24 июня, «в ауле, где только летом живут пастухи», Хадшьябад, 8000 футов”[10].



IN THE HEART OF THE ROCKIES

LOCATED AT THE BASE OF BEAUTIFUL LONG'S PEAK

ALTITUDE 9000 FEET

AMERICAN PLAN

SADDLE HORSES BY THE DAY OR WEEK

MODERN CABINS FOR ANY SIZE FAMILY OR PARTY

HOT AND COLD WATER IN EVERY CABIN AND ROOM

THREE HOURS FROM DENVER BY BUS

LOCAL AND LONG DISTANCE TELEPHONE SERVICE

DAILY MAIL

RESERVATIONS ACCEPTED BY PHONE TELEGRAPH OR LETTER

Columbine Lodge

Rocky Mountain National Park

L. A. GREENWOOD, OWNER ESTES PARK, COLO.

Vladimir Nabokov 10th July 1947

Dear Alexei Alexandrovich,

I welcome this opportunity to write you, as I still owe you my thanks for your letter and booklet and my apologies for not having thanked you before. Believe me, this was not due to negligence, but rather to an overwhelming quantity of work with which I have been practically swamped during these last years. I hope this cannot have affected the friendly feeling between your family and mine.

Mrs. Frank, from whom I have just received a letter, tells me that you have suggested her applying to me just in case I may know the right person to support her plea to Congress. Unfortunately, I cannot think of anybody who could be of assistance in this matter. I have written Mrs. H. Hirshman and explained to her all the circumstances. She is the only person I can think of who may have the necessary connexions, though I am by no means certain of it. She is leaving on the 16th of August for Europe. It may be a good idea if, on your part, you wrote her too. I wish I could do a lot more, since I consider this case worth every possible support.

I hope that you and Evgenia Lvovna are in good health. We both send you our very best wishes.

Sincerely yours,

V. Nabokov

Другая заметка на удивление поэтична: “завалы из бревен на песчаной отмели [реки Прист, штат Айдахо] и стремительный бег облаков, отражавшихся в темной воде меж высоких берегов”[11]. Набоков гордился оригинальным стилем таких описаний. Так, о бабочке *Lycaena aster Edwards* он писал: “Летом 1834 года они водились в таком же изобилии, как *Coenonympha tullia* на острове Карбониэр… где нельзя было шагу ступить, чтобы из травы не вспорхнула стайка этих ярких созданий”[12].

Пик Лонгс, национальный парк Роки-Маунтинс, Колорадо

Более традиционное и содержательное описание демонстрировало точность и внимание к природе в целом:[40]

> Сев. Колорадо, Спринг-кн. [каньон], к зап. от Форт-Коллинса, выс. 525500 фут., сухие, поросшие травой предгорья, верхнесонорский биом с переходными элементами, 23 мили вверх от каньона Литтл-С.-Паудер-Рив. от “Форкс” (выс. 6500 фут.), переходная зона с эл. каньон.; Белвью, ок. Лаример, выс. 5200 фут. Суходольные луга и равнины. Три биома… на 6 милях равнины13.

Даже в научных заметках Набоков остается Набоковым с его виртуозным, выразительным, очаровательно-колким стилем. Так, он пишет:

> Жарким августовским днем с моста в Эстес-Парке, Колорадо, мы с женой с минуту наблюдали полосатого бражника (*Celerio*), зависшего над водой вверх по течению против быстрого потока, в процессе питья. Тонкий след от погруженного в воду хоботка прибавлял

происходившему выразительности[14].

В статье, опубликованной в энтомологическом журнале *Psyche*:

> Когда разрезаешь целиком [гениталии самца голубянки], и раскрываешь, точно устрицу, так что симметрично вытянутые вальвы смотрят вниз… то сразу же бросаются в глаза… два удивительных полупрозрачных крючка… обращенных друг к другу на манер степенно поднятых кулаков двух боксеров… с [отростком в форме капюшона], как у ку-клукс-клана[15].

Образно, но от этого не менее убедительно. Дураки совершенно запутали классификацию ликенид, заявлял Набоков, ошибочно определили виды, и писатель выступал против их влияния точно так же, как высказывался против романов "с социальным звучанием" и чтением ради "содержания":

> Вероятнее всего… ярко выраженная вашингтонская форма подвида *scudderi* прячется за наименованием "*Plebeius Melissa var lotis*" в невероятно примитивной работе Лейтона, где царит совершенная путаница из-за отсылок… к невозможно недостоверной книге Холланда. В этой связи следует повторить, что Холланд принял "тип" *Lycaena scudderi Edwards* за самца *melissa samuelis Nabokov*… и это одна из причин, по которой я не придаю значения неубедительному утверждению Чернока, что он якобы обнаружил "двух самцов… которые могут быть частью того же комплекта, переданного Эдвардсу Скаддером". Во всех этих работах… сплошная неразбериха[16].

Тон ранних статей Набокова куда галантнее. Тогда он писал как европейский натуралист XIX века, которого больше заботил стиль, нежели научная строгость:

> Более десяти лет я вообще не занимался коллекционированием, а потом вдруг по счастливому стечению обстоятельств мне удалось посетить… Восточные Пиренеи и Арьеж. Ночная дорога из Парижа в Перпиньян была отмечена приятным, хотя и глупым сном, в котором мне предложили нечто, на редкость похожее на сардину, на деле же это был тропический мотылек[17].

Америка сделала из него ученого, а не любителя, для которого ловля бабочек скорее прогулка, чем охота. Она предоставила ему интеллектуальный инструментарий – анализ гениталий бабочек, исследования под микроскопом, голубянки как основная тема исследований – и предоставила в его распоряжение обширные коллекции Музея сравнительной зоологии. Разница между снами о сардинах и лабораторными исследованиями 1940-х годов огромна:

> [*Icaricia icarioides*, голубянку Буадюваля] можно определить как бабочку рода *Polyommatus* с органом как у рода *Aricia*. Есть одна специфическая "американская" черта, которая роднит ее с *shasta neurona*: невероятно тонкий, как стекло, серп [часть гениталий самцов], при этом очень широкий… но заострен практически от самого основания, из-за чего кажется, будто он атрофировался… похож на заостренную карамельку, которую тщательно обсосали[18].

К 1947 году Набоков писал глубокие научные работы, посылал их близким друзьям и стал душой энтомологического сообщества[19]. Вместо ранчо Хейзел Шмолль с ее запретом на алкоголь Набоков останавливался в Колумбайн-Лодж[20], построенном в начале века отеле с деревянными домиками, которые упоминались в издании "Путеводителя по западным штатам" за 1947 год Американской автомобильной ассоциации. Некоторые друзья-энтомологи приезжали его навестить[21]. Чарльз Ремингтон отвез его на юг, к болоту Толланда[22], в кустистую, влажную низину вдоль тропы Саут-Боулдер-Крик, расположенную на высоте почти 3000 метров. "Я краем уха слышал, что он пишет романы, – вспоминал Ремингтон 45 лет спустя, – но об этой стороне его деятельности мы никогда не говорили". Вместо этого они болтали о "недавно пойманных экземплярах бабочек и об исследованиях", которые ведет каждый из них, – словом, с удовольствием занимались общим хобби. Набоков "был не меньше увлечен этим": ему доставляло истинное, чисто физическое удовольствие бродить летом по топким низинам в Скалистых горах[23].

В Колумбайн-Лодж, расположенной в шести с половиной километрах от пика Лонгс, были номера как с удобствами, так и без удобств; путеводитель Американской автомобильной ассоциации называет гостиницу "привлекательной". Набоков писал Уилсону: "В нашем распоряжении отдельный удобный домик"[24]. Примерно в километре находилась куда более известная гостиница Лонгс-Пик-Инн[25], а в полутора километрах –

популярная Хьюз-Кирквуд-Инн, легендарный пансионат, который построил Чарльз Эдвин Хьюз, автор “Песни Скалистых гор” и других поэтических произведений[41]. Джеймс Пикеринг, еще один здешний автор, так описывал местность того времени, когда там гостил Набоков:

> Вот в Тахоса-Вэлли-то я и ездил ребенком, в 1946 году, по примеру отца… “Хижина”, как мы ее называли, мальчишке из нью-йоркского пригорода казалась волшебным местом. На полу в гостиной перед массивным двухъярусным очагом, сложенным из поросших мхом камней, лежали две огромные медвежьи шкуры (с клыками в пастях и когтями на лапах); из окна открывался потрясающий вид на восточный склон пика Лонгс… а в углу стоял заводной патефон с коллекцией поцарапанных пластинок с танцами… Ни воды, ни электричества в хижине не было, а еда хранилась в “пещере” у заднего крыльца. “Дядя Фред и тетя Джесси” рассказали, что однажды в пещеру забрался медведь и сожрал все припасы. Потом его поймали и “переправили через хребет”. Еще в хижине имелись керосиновые лампы… и целая стопка книг в бумажных обложках – романы Зейна Грея и Люка Шорта26.

Для Пикеринга “это был самый что ни на есть Дикий Запад!” Восточные окна Колумбайн-Лодж смотрели на Твин-Систерс, пирамидальные пики Передового хребта в три с лишним тысячи метров высотой, а западные выходили на пик Лонгс и прочие горы континентального водораздела. Между этими двумя хребтами простирались высокогорные луга, изрезанные ручьями, которые питались родниками и талой водой. Там и сям ручьи были перегорожены бобровыми плотинами27. Набоков писал Уилсону, что “растительность великолепна”, и за длительное пребывание – Набоковы пробыли здесь с конца июня до начала сентября – они успели повидать, как распускаются всё новые и новые полевые цветы. На склонах гор дерен душистый сменяла скрученная широкохвойная сосна вперемешку с желтой сосной, можжевельником и множественными купами осин28.

Вера наслаждалась летом29, хотя и досадовала, что в Эстес-Парке, ближайшем мало-мальски крупном городке, невозможно купить еженедельник *Saturday Review of Literature*, который они с мужем любили читать. Дмитрий совершал восхождения на пик Лонгс. В июле в гости к Набоковым приехал коллекционер из Колдуэлла, штат Канзас, Дон Столлингс30, с которым Набоков переписывался с 1943 года, с тех самых пор, как друг, работавший

в Музее сравнительной зоологии, послал Столлингсу статью Набокова (скорее всего, “Некоторые новые или малоизвестные неарктические *Neonympha*”[31], где описаны бабочки, пойманные Набоковым в Большом Каньоне). Столлингс, адвокат по профессии, попросил Набокова помочь ему определить, к какому виду относятся некоторые экземпляры, и предложил заплатить. Писатель ответил: “Разумеется, я с радостью помогу определить вид ваших экземпляров. Денег не надо”[32].

Колумбайн-Лодж, “медвежий” домик, отдельное строение, которое летом 1947 г. предположительно занимали Набоковы

В ответном благодарственном письме Столлингс признается: “Приятно знать, что мы с женой в целом правильно определили виды этих экземпляров… Если вам для будущих исследований понадобятся какие-то из наших бабочек, они в полном вашем распоряжении”. И добавил: “Разумеется, я понимаю, что у меня не такая уж и большая коллекция, бывают и больше, и все же в ней представлено около 10 000 североамериканских бабочек, это чуть больше 1100 видов, плюс несколько неизвестных, которые… пока что не представляется возможным определить, поскольку не хватает материала”[33].

У Столлингса была огромная частная коллекция. Через несколько лет он, пройдя обучение у Набокова[34], открыл фирму *Stallings & Turner, Lepidopterists*, которая продавала инструментарий

для коллекционеров и музеев. Переписка Столлингса с Набоковым с самого начала носила дружеский характер: оба по-приятельски подтрунивали друг над другом. Столлингс, живший на границе Оклахомы, в поисках бабочек исходил весь юго-запад, бывал и в Мексике, и Набоков полагался на его информацию о тамошних охотничьих местах: когда в 1943 году он решил поехать в Алту, то сначала поделился замыслом со Столлингсом[35].

В исследованиях Набоков охотно пользовался микроскопом, и Столлингс последовал его примеру. В статье, написанной в соавторстве с другим энтомологом для журнала *Canadian Entomologist*, Столлингс с пылом неофита заявляет:

> Этот огромный вид категории *freija Thun*. пойман вдоль военно-автомобильной дороги на Аляске на территории Британской Колумбии. По размерам и форме крыла это скорее разновидность *frigga Thun.*, а не *freija*, в чем мы нимало не сомневаемся, однако те, кто полагается исключительно на внешние характеристики, будут утверждать, что мы ошибаемся, впрочем, анализ гениталий убедительно доказывает прямую взаимосвязь этого вида с *freija*[36].

К путешествию на Аляску Столлингс готовился, изучая экземпляры бабочек, которые Набоков одолжил ему из фондов Музея сравнительной зоологии. “Да, мы бы хотели позаимствовать экземпляры, пойманные возле военно-автомобильной дороги на Аляске”, – писал он в апреле 1945 года, сперва заявив:

> Видите ли… кое в чем я довольно ленив, и если кто-то до меня уже что-то сделал, то я обычно прошу разрешения взглянуть на результаты, прежде чем браться за дело самому, – поэтому мне хотелось бы видеть ваши зарисовки гениталий *pardalis*, чтобы понять, в чем они отличаются от *icarioides*, а еще вы так и не прислали мне эскизы внутренностей вида *Melissa-scudderi-anna*[37].

Столлингс признался, что “мы с вами зачастую думаем об одном и том же, но вы всегда опережаете меня на добрый десяток шагов”[38]. В 1946 году он писал: “Получил вашу последнюю статью, которая больше смахивает на книгу. Спасибо. Мне нравится ваша работа по гениталиям чешуекрылых. Надеюсь, мне тоже удастся… сделать что-то в этом роде”[39].

Столлинг попросил Набокова, чтобы тот научил его, как

называются части гениталий бабочек[40], и вскоре по мере сил повторял занятия писателя в Музее сравнительной зоологии:

> Вечером препарировал. Пара *icarioides* и один экземпляр, который я определил как *pardalis*, но не обнаружил… различий, хотя еще не делал зарисовки вальв, фалакса и ункуса. Не могу раздобыть микроскоп, так что пока пользуюсь заимствованным, с 90-кратным увеличением… и в 300 раз увеличить не получается[41].

Общение Набокова со Столлингсом не ограничивалось энтомологическими темами. Так, от Столлингса писатель услышал (или узнал больше) о том, что волновало типичного американца тех лет. Столлингс в письме признался, что мечтал бы следующим летом отправиться охотиться за бабочками, “если дядя Сэм до той поры не отправит меня в путешествие”[42]. Еще он писал: “Получил письмо от зятя, доктора Тернера, 6 июня 1944 года он высадился с десантом союзников в Нормандии[43] и по-прежнему в строю. Как только кончится война… мы хотим [поехать на юг Аляски за бабочками]”.

В финале “Лолиты” (композицию романа Набоков продумывал примерно в это время[44]) героиня, в 17 лет уже замужем, пишет письмо Гумберту Гумберту, от которого сбежала три года назад. Разумеется, Гумберт тут же едет по адресу, указанному на конверте[45], – он называет этот город “Коулмонт”, “торговый городишко в восьмистах милях на юг от Нью-Йорка” (“не в Виргинии, и не в Пенсильвании, и не в Теннесси – и вообще не «Коулмонт» – я все замаскировал”, – признается Гумберт). Лолита беременна. Она просит у него несколько сотен долларов, чтобы они с мужем, “ветераном далекой войны”, могли перебраться на Аляску и начать новую жизнь. Гумберт едет в Коулмонт, чтобы убить мужа Лолиты, но понимает, что это не тот, кто ему нужен. Он умоляет Лолиту бежать с ним: она отказывается. Вся эта сцена дышит таким предощущением катастрофы, что Лолита, странным делом уцелевшая, несмотря на все невзгоды, по-прежнему привлекательная и трогательно скромная в юной своей женственности, вскоре умрет в родах, и бледный проблеск надежды на темном небосклоне романа погаснет без следа.

Скорее всего, именно Столлингс рассказал Набокову о Теллуриде, штат Колорадо: в 1940-е годы это был маленький шахтерский городок в глуши, а значит, там можно было отлично поохотиться на бабочек[46]. Четыре года спустя именно там Набоков поймал один из лучших экземпляров чешуекрылых. В послесловии к американскому изданию “Лолиты” Набоков писал,

что именно в Теллуриде поймал “неоткрытую еще тогда самку мной же описанной по самцам голубянки *Lycaeides sublivens Nabokov*”: случилось это на склоне горы высоко над шахтерской деревушкой. “Мелодическое сочетание звуков” жизни внизу, описанных в романе, претерпевает кардинальные изменения и в конце концов превращается, на слух Гумберта, в голоса играющих детей:

> …слух иногда различал… почти членораздельный взрыв светлого смеха, или бряк лапты, или грохоток игрушечной тележки, но все находилось слишком далеко внизу, чтобы глаз мог заметить какое-либо движение на тонко вытравленных по меди улицах. Стоя на высоком скате, я не мог наслушаться этой музыкальной вибрации… и тогда-то мне стало ясно, что пронзительно-безнадежный ужас состоит не в том, что Лолиты нет рядом со мной, а в том, что голоса ее нет в этом хоре[47].

Столлингс предложил Набокову съездить в Канзас. Сошлись на Эстес-Парке, где и встретились наконец, вместе с женами, в конце июля. “Моя семья присоединяется ко мне и передает наилучшие пожелания вам и миссис Столлингс, – писал Набоков после поездки. – Два дня, что мы провели с вами, были прекрасны”[48]. Первый день дался Столлингсу нелегко: он только приехал из равнинного Канзаса, а Набоков сразу же повел его на пик Лонгс, как будто решил похвастаться собственным умением прыгать с камня на камень по высокогорью. На следующий день Столлингс заявил: “Сегодня будем охотиться по-моему”[49], и им посчастливилось поймать *Erebia magdalena*, бабочку из семейства сатирид, почти у самого подножия каменистых склонов у леса, где обитают такие бабочки.

Набоков и Столлингс продолжали общаться и в 1950-е годы. “Никогда не забуду ваше лицо, когда я предложил срезать путь к местообитанию *magdalena*”[50], – писал Набоков (видимо, короткая дорога оказалась довольно-таки крутой). Они по-прежнему обменивались экземплярами бабочек. Столлингс, зная, что Набоков интересуется *argyrognomon sublivens*, писал:

> Посылаю вам несколько экземпляров *melissa*, которые мы поймали на юге Колорадо в районе перевала Индепенденс-Пасс и южнее, возле Лейк-Сити и Сламгаллиэн-Пасс, – едва ли это ваши *sublivens*, скорее, какая-то “заурядная” разновидность [*melissa*, похожая на *sublivens*][51].

Годы энтомологической работы Набокова подходили к концу. Ему удалось привести в порядок коллекцию чешуекрылых Музея сравнительной зоологии, провести исследование и совершить открытие, о котором давно мечтал. Он писал сестре, что с годами ничуть не изменился – все тот же мальчишка, все те же мечты[52]. Гармония этого мира, неизменность пристрастий и черт характера – один из лейтмотивов “Память, говори” (и ее русской версии, “Другие берега”). Набоков начал делать наброски еще во Франции, в конце концов книга глава за главой появилась в американских журналах[53]. “…Какая-то часть моего естества, должно быть, родилась в Колорадо, – писал он Уилсону, – ибо я с радостным сердцебиением постоянно узнаю многое из того, что меня окружает”. Колорадо напомнило ему родительское поместье на реке Оредеж, горы Крыма, где он ловил бабочек, а небо Колорадо – синь летнего неба в Выре, когда он спозаранок выбирался на охоту[54].

Два знаменитых фрагмента из “Других берегов”, из главы про бабочек (6-я глава), проделывают удивительный фокус со временем и насекомыми: шестилетний мальчик (точнее, даже не он сам, а его гувернантка) выпустил махаона, которого поймал слуга, но потом “после сорокалетней погони, я настиг ее и ударом рампетки «сбрил» с ярко-желтого одуванчика, вместе с одуванчиком, в ярко-зеленой роще, вместе с рощей, высоко над Боулдером”. Одиннадцатилетний мальчик, исследуя окрестности реки Оредеж, вдруг оказывается в Колорадо:

> Наконец я добрался до болота. Подъем за ним весь пламенел местными цветами – лупином, аквилией, пенстемоном; лилия-марипоза сияла под пондерозовой сосной; вдали и в вышине, над границей древесной растительности, округлые тени летних облаков бежали по тускло-зеленым горным лугам, а за ними вздымался скалисто-серый, в пятнах снега *Longs Peak*[55].

“Я не верю в мимолетность времени, – признается автор. – Этот волшебный ковер я научился так складывать, чтобы один узор приходился на другой”[56]. Несмотря на перипетии века – революцию, убийство отца, Вторую мировую войну, репрессии, – увлечение бабочками сопровождает Набокова всю жизнь, и, что более важно, в произведениях он связывает между собой свои миры, объединяет их, обуздывает хаос.

И все-таки он верит в мимолетность времени. Герой-протагонист Набокова сражается со временем, пытается от него убежать либо же одержать над ним верх, а бороться можно лишь с тем, в существование чего веришь. Он также верит – смакует и

записывает – в бесконечное множество специфических подробностей, и волшебство, которое превращает голубику и прочие болотные растения в цветы Скалистых гор, прекрасно, однако неточно. “Споткнется или нет дорогой посетитель, это его дело”, – пишет он, и мы действительно спотыкаемся о неточности описания лилий-марипоз, которые вообще-то любят солнце и каменистые почвы, а вовсе не растут в тени сосен, как у Набокова.

В романе “Под знаком незаконнорожденных” он смешал описания нескольких стран в одну. Однако в лучших своих американских романах Набоков отошел от этого (и не возвращался до самого “Бледного пламени”, опубликованного уже позже, в Швейцарии). Отчасти такое вольное восприятие географии имеет лепидоптерологическое объяснение: бабочки, как тот махаон из “Других берегов”, не только презирают границы, но и, подобно *Lycaeides*, семейству голубянок, которым занимался Набоков, населяют “потерянную страну изобилия [за и у] современного Северного полярного круга; питомник их – горы Средней Азии, Альпы и Скалистые горы. В одном географическом районе редко обитает больше двух (и никогда больше трех) видов; по данным исследований, даже один и тот же прудик или поросший цветами берег реки больше двух видов бабочек обычно не посещает”[57].

Набоков верил, будто существует материк бабочек – северная половина того, что когда-то звалось Пангеей (протоконтинент, существовавший триста миллионов лет назад). Там крохотные неброские голубянки порхают над просторами, на которых раскинулись Россия, Америка и прочие страны.

В лучших своих американских произведениях Набоков держит воображение в узде. Он вовсе не утратил интереса к географическим выдумкам, однако на энное количество лет мир в его книгах останется стабильным, точь-в-точь как настоящий, так что обычный читатель 1940–1950-х годов, который впервые открывает романы Набокова, найдет там много сомнительного, но хотя бы не столкнется с полной переделкой карты мира.

Отчасти такая временна́я стабильность была обусловлена обилием американских впечатлений. Чтобы заработать на жизнь, Набоков в течение двадцати лет преподавал американским студентам русский язык и литературу и за эти годы научился ориентироваться на их восприятие. Ему приходилось выступать перед самой разной аудиторией – от языковых групп из трех-четырех человек до лекционных залов, куда свободно помещалось три-четыре сотни. Из никому не известного лектора он превратился в университетскую знаменитость, и эта метаморфоза в каком-то смысле была предвестьем успеха и в писательской

карьере. Преподавание приносило Набокову массу впечатлений:

> Самые живые воспоминания связаны с экзаменами. Большая аудитория [в Корнелле]. Экзамен с 8 утра до 10.30. Примерно 150 студентов – немытые, небритые юнцы и довольно-таки ухоженные юницы. Всех томит скука и отчаяние. Половина девятого. Кто-то откашливается, кто-то нервно прочищает горло – сперва один, потом и остальные за ним… Некоторые мученики погрузились в раздумья, сцепив руки за головой. Встречаю устремленный ко мне унылый взгляд… Девица в очках подходит к моему столу и спрашивает: “Профессор Кафка, вы хотите, чтобы мы сказали то-то и то-то? Или же нам нужно ответить лишь на первую часть вопроса?”… Дрожь сведенного судорогой запястья, чернила кончились, деодорант не в силах скрыть запах. Стоит мне поймать направленный на меня взгляд, как студенты тотчас же поднимают глаза и прилежно смотрят в потолок. Стекла запотели. Мальчики стаскивают свитера. Девицы ритмично жуют жвачку. Десять минут, пять, три, время истекло[58].

Ученики Набокова из Стэнфорда и Уэлсли вспоминали, что он виртуозно владел сленгом[59] и интересовался этнологией. Будь Набоков как другие писатели-эмигранты – скажем, Бертольт Брехт[60], который приехал в Америку примерно в ту же пору и раньше представлял ее себе как страну небоскребов, жестокую и несентиментальную, – вряд ли бы у него появилось много близких друзей среди американцев. Набоков погрузился в жизнь народа. Он в меньшей степени похож на художника в эмиграции, будь то Манн, Брехт или другой знаменитый писатель, который вращается исключительно в кругу себе подобных, чем на некогда знаменитого трудягу-кинорежиссера: например, Билли Уайлдера, который с легкостью учился новому и раньше снимал фильмы на французском, немецком и только потом уже – на английском, и Генри Костера[61], который после комедии *Das Hässliche Mädchen* (“Дурнушка”) снял картины “Сто мужчин и одна девушка”, “Жена епископа”, “Харви”, “Плащаница”, “Поющая монахиня” и многие другие.

Набоков подружился с лаборанткой Музея сравнительной зоологии Филлис Смит, которая готовила для него препараты. Они работали вместе с тех пор, когда Филлис было семнадцать. Когда ей было за пятьдесят, она вспоминала: “он отлично меня знал”[62]. Набокову нравилось с ней разговаривать; “иногда он был тихим, иногда громким”, но всегда “держался естественно и

непринужденно”[63]. В начале 1940-х годов Набоков прочитал “Моби Дика”[64], и впоследствии они с Филлис обсуждали этот роман. Он задавал ей “вопросы, вопросы. Вопросы «как», вопросы «почему»”: ему нравилось наблюдать за обычаями и привычками американцев в их естественной среде обитания[65]. Когда родители Смит развелись, Набоков морально ее поддерживал, неизменно интересовался, как у нее дела[66].

В июне 1944 года он “пообедал виргинской ветчиной в маленьком *Wursthaus* возле Гарвард-сквер и безмятежно… исследовал гениталии экземпляров [из Калифорнии] в Музее, когда вдруг ощутил странную волну тошноты”[67]. Приступ геморрагического колита породил рассказ в две тысячи слов, который Набоков отправил Уилсону и Маккарти, – забавный, красочный, полный любопытства, не покинувшего писателя несмотря на рвоту и ректальное кровотечение:

> К тому времени я был в состоянии полного бесчувствия, и когда появился доктор… ему не удалось найти у меня ни пульса, ни давления. Он стал звонить по телефону, и я услышал, как он говорит “необычайно тяжелый случай” и “нельзя терять ни минуты”. Пять минут спустя… он все устроил, и я в мгновение ока очутился в лечебнице “Маунт-Обри”… в полуотдельной палате – “полу” обозначает старика, умиравшего от острого сердечного расстройства (я всю ночь не мог спать из-за его стонов и *ahannement* [учащенное дыхание] – он умер к рассвету, сказав неизвестному “Генри” что-то вроде: “Мой мальчик, нельзя так со мной поступать. Давай по совести” и т. д. – все очень интересно и полезно для меня)[68].

После почти суток под капельницей Набокова перевели в общую палату:

> …где по радио передавали пылкую музыку, рекламу сигарет (сочным голосом от всего сердца) и остроты, пока наконец (в 10 часов вечера) я не завопил, чтобы медсестра прекратила это издевательство (к большому недовольству и удивлению персонала и пациентов). Это любопытная деталь американской жизни – на самом деле они не слушают радио, все разговаривали, рыгали, гоготали, острили, флиртовали с (очень обаятельными) медсестрами… но, очевидно, невыносимые звуки, доносившиеся из этого аппарата… служили “живым фоном” для обитателей палаты, потому что как только

радио смолкло, воцарилась полная тишина, и я вскоре заснул[69].

Набоков подмечает, как задыхается старик и “сочный голос от сердца”. Он ведет себя как писатель: запоминает мельчайшие детали – возможно, это и помогло ему пережить тяжкое и унизительное испытание. Что бы ни случилось, он всегда продолжал наблюдать.

Глава 10

Вскоре после возвращения Набокова из Колорадо ему написал профессор Корнелльского университета Моррис Бишоп и сообщил, что у них открыта должность преподавателя по русской литературе. Бишоп знал Набокова по рассказам, выходившим в журналах, к тому же двоюродный брат писателя Николай был “довольно-таки экстравагантным преподавателем музыки”[1] в колледже Уэллс, который находился к северу от Итаки. Бишоп время от времени публиковал свои стихи в журнале *New Yorker*, и Кэтрин Уайт, узнав о вакансии в Корнелле, уговорила его написать Набокову[2].

Однажды ему уже довелось там побывать. Теперь же, при поддержке Бишопа, Набоков отправился в Корнелльский университет, чтобы обаять потенциальных работодателей: отборочная комиссия не хотела нанимать человека без ученой степени[3], но в Корнелле недавно создали литературное отделение, которое не зависело от прочих кафедр университета, и ставку преподавателя русской литературы оплачивали из гранта, выделенного фондом Рокфеллера (5 тысяч долларов)[4].

Итака стала американским домом Набокова. Здесь он прожил с Верой и Дмитрием (который приезжал к родителям на каникулы) 11 лет начиная с лета 1948 года, в домах, которые снимал у преподавателей, покинувших университет. Бишоп и его жена Элисон подружились с Набоковыми. Эрудиция и характер Бишопа, его остроумие, блиставшее в стихах, которые выходили в *New Yorker* в те же годы, когда в журнале публиковались писатели-юмористы Джеймс Тербер и Сидни Перельман, импонировали Набокову; кроме того, в университете Бишоп стал его покровителем, как некогда Уилсон и Комсток. Кроме стихов и научных работ, Бишоп писал популярные книги, он даже сочинил детектив, который издал под псевдонимом У. Болингброук Джонсон. Бишоп свое авторство отрицал, однако в одном из экземпляров в библиотеке Корнелла обнаружился лимерик, написанный его рукой:

На севере диком в Висконсине
В хижине спрячусь до осени,
Чтоб забыли обо мне,
И “Растущем пятне”,
И У. Болингброуке Джонсоне.

Набоков с самого начала дал понять, чего от него ожидать как от преподавателя. “Не хочу вас разочаровывать, – писал он декану факультета наук и искусств, – но я начисто лишен административных способностей. Организатор из меня никудышный, так что, боюсь, в любой комиссии окажусь совершенно бесполезен”[5]. Однако “я совершенно согласен с вами, что лекции по русской литературе не следует читать только по-русски… Знаю по опыту, что лекции по этому предмету на английском очень нравятся студентам, которые интересуются литературой в целом: курс, который я в настоящее время читаю в Уэлсли, один из самых посещаемых в колледже”[6].

Набоков досадовал, что его не взяли в Гарвард[7]. Но и должность в Корнелле была настоящим подарком судьбы. Жизнь в эмиграции явно стала налаживаться. Его маленькая лодка оказалась на гребне волны послевоенного интереса к образованию. Талантливый педагог, артистичный лектор, знаменитый писатель, которым мог бы гордиться любой университет, Набоков слишком долго искал работу из-за длительного послевоенного спада во всех сферах деятельности, и вот наконец его мытарства завершились[8].

За время работы в Корнелле Набоков создал немало произведений – среди прочего частично или целиком “Лолиту”, “Пнина”, “Память, говори”, а также рассказы, стихи, переводы (как собственных книг, так и других авторов). Он сделал 1895-страничный перевод с комментариями “Евгения Онегина” и перевод “Слова о полку Игореве”. Задумал и начал писать “Бледное пламя” и “Аду”, знаменитые романы, которые вышли уже в 1960-е. В “Бледном пламени”, кстати, гениально описана Итака. Набоков как бы походя, невзначай изображает свой городок с такой любовью и живостью, которая и не снилась прочим бытописателям. В Нью-Вае, университетском городе из романа, тоже, как и в Итаке, холмистая местность, хвойные леса и продуваемые всеми ветрами старые дома над озером. Зимы снежные и суровые, как выясняет доктор Чарльз Кинбот, полусумасшедший, выживший из ума повествователь, рассказу которого, тем не менее, все же можно доверять:

> Мне никогда не забыть, как ликовал я, узнав, – об этом упоминается в примечании, которое читатель еще найдет, – что дом в предместье (снятый для меня у судьи Гольдсворта, на год отбывшего в Англию для ученых занятий)… стоит по соседству с домом прославленного американского поэта, стихи которого я пытался перевести на земблянский еще за два десятка лет до

этого! Как обнаружилось вскоре, помимо славного соседства гольдсвортову шато похвастаться было нечем. Отопление являло собою фарс, его исполнительность зависела от системы задушин в полах, сквозь которые долетали до комнат тепловатые вздохи дрожащей и стонущей в подземелье печи, невнятные, словно последний всхлип умирающего… Разумеется, как и любого приезжего, меня уверяли, что я попал в худшую из зим за многие годы… В одно из первых моих тутошних утр, приготовляясь отъехать в колледж на мощной красной машине, которую я только что приобрел, я заметил, что миссис и мистер Шейд – ни с той, ни с другим я знаком пока еще не был… испытывают затруднения со своим стареньким “Паккардом”, страдальчески изнывавшим на осклизлой подъездной дорожке, силясь высвободить измученное заднее колесо из адских сводчатых льдов9.

Кинбот шпионит за Шейдом, который пишет стихи в духе Роберта Фроста, и в этом ему помогают пейзажи Итаки/Нью-Вая:

Хорошо известно, как на протяжении многих веков облегчали окна жизнь повествователям разных книг. Впрочем, теперешний соглядатай ни разу не смог сравниться в удачливости подслушивания ни с “Героем нашего времени”, ни с вездесущим – “Утраченного”. Все же порой выпадали и мне мгновения счастливой охоты. Когда мое стрельчатое окно перестало служить мне из-за буйного разрастания ильма, я отыскал на краю веранды обвитый плющом уголок, откуда отлично был виден фронтон поэтова дома. Пожелай я увидеть южную его сторону, мне довольно было пройти на зады моего гаража и по-над изгибом бегущей с холма дороги смотреть, притаясь за стволом тюльпанного дерева, на несколько самоцветно-ярких окон… Когда же меня влекла противная сторона, все, что требовалось проделать, – это взойти по холму к верхнему саду, где мой телохранитель, черный верес, следил за звездами и знаменьями, и за заплатами бледного света под одиноким фонарным столбом, там, внизу, на дороге. Первый порыв весны как бы выкурил призраков, и я одолел весьма своеобразные и очень личные страхи… и не без удовольствия проходил в темноте травянистым и каменистым отрогом моих владений, заканчивающимся в рощице псевдоакаций, чуть выше северной стороны

дома поэта[10].

В книге воспоминаний о Набокове, опубликованной впоследствии, Моррис Бишоп вспоминал давние свободные от занятий дни:

> Большинство преподавателей факультета происходили из буржуазной, даже, скорее, мелкобуржуазной среды. Мы привыкли на всем экономить: сами стрижем траву, сами подключаем стиральные машинки, сами красим полы. Набоковы же знали две крайности: сперва – богатство, потом – нищенское существование в дрянных берлинских меблированных комнатах. Золотой середины они почти не знали[11].

Дома с готовой обстановкой, за которыми толком не надо было ухаживать, идеально им подходили. Одни были ужасны, другие прекрасны – как дом одного преподавателя на Хэмптон-роуд в Каюга-Хайтс[12], расположенный на вершине холма, с панорамным окном, которое смотрело на озеро Каюга. Вера "несла бремя повседневной жизни на скромный доход в провинциальном городке", вспоминал Бишоп, а Стейси Шифф обстоятельно перечисляет все роли, которые Вера играла при муже: она была шофером, помощницей в университетских делах, домохозяйкой, риэлтором и секретарем[13]. Вид у нее был царственный, многие втайне восхищались ею, но и жалели, и беспокоились за нее – разумеется, тоже втайне:

> Внимание привлекало прежде всего распределение у Набоковых обязанностей. Многие, проходя мимо стоянки у супермаркета, оборачивались на Веру, которая, поставив в снег тяжелые сумки с продуктами, трусила за ключами, затем загружала багажник. Владимир при этом неподвижно, с отсутствующим взором сидел в машине. Аналогичная сцена наблюдалась и при переезде, когда Набоков шагал в новый дом с шахматами и маленькой лампой, а Вера ковыляла за ним с двумя увесистыми чемоданами[14].

У Дмитрия о Корнелле сохранились самые лучезарные воспоминания. Он бывал там наездами; Итака стала следующим шагом на пути его успешной адаптации к Америке, местонахождением "кокона любви, одобрения и благополучия, который свили вокруг меня родители"[15], как впоследствии писал

Дмитрий. Размышляя об Итаке, он вспоминал, как возвращался "домой на зимние каникулы и ходил на лыжах за продуктами по занесенным метелью дорогам, а весной ездил на нашем любимом «олдсе» или его предшественнике, зеленом, как лягушка, «бьюике»… на корт у школы «Каскадилья», чтобы поиграть с отцом в теннис"[16].

Каждый дом был "по– своему очарователен, – подковки на двери, мастерская в подвале или неизвестно откуда взявшееся настоящее пушечное ядро, которое я выкопал в саду у Ханстинов – в моей памяти оно почему-то связано с выражением «как об стенку горох»[17]. Вечера проходили за просмотром комедийного сериала «Новобрачные»… на одном из телеканалов… или фильмов Хичкока, предзнаменовавших их сотрудничество [с Владимиром], которое почти что получилось через несколько лет"[18].

Дмитрий тогда был ровесником Долорес Гейз[19]. Она тоже была типичным американским подростком, но ее история тягостна и нелепа: битком набитый мексиканскими безделушками дом, в котором она жила с матерью, стал местом, где она осиротела – сперва умер ее отец, а потом погибла мать. Жизнь Лолиты превратилась в кошмар. Успехи сына, которого Владимир с Верой растили, не жалея сил, были для Набокова источником гордости и поводом похвастаться перед друзьями. Набоковы вывезли сына из фашистской Германии и, несмотря на все передряги, сумели-таки добраться вместе со своим мальчиком (пусть худосочным, в нелепой одежке и не знавшим ни слова по-английски) до страны надежд. Спустя несколько дней после переезда в Итаку Набоков писал Кэтрин Уайт, редактору журнала *New Yorker*: "Мы в совершенном восторге от Корнелла и очень-очень благодарны милостивой судьбе, которая привела нас сюда"[20].

Воспитание Дмитрия давалось Набоковым не так-то просто. Он был упрям ("Я не всегда был примерным сыном"[21]), а его обучение в частных школах – сначала в Декстере (где до него учился Джон Ф. Кеннеди), затем в школе святого Марка (директор которой был "грубиян", по мнению Веры[22]) и Холдернесс, где Дмитрий научился ходить на лыжах и выбирался с одноклассниками в туристические походы, стоило Набокову примерно трети его жалования в Корнелле[23]. Дмитрий признавался:

> За время обучения в пансионах… меня не раз заносило на поворотах. Я… балансировал на опасной грани между успехами… и проказами тайком: пиво в

> лесу, ночные прогулки, в первый год даже что-то украл по мелочи… Чарльз Эбби, замечательный педагог… рассказал мне о Шекспире и отправлял на олимпиады от штатов Нью-Йорк и Новая Англия… Меня уже приняли [в колледж, когда] несколько городских матушек подняли гневный протест… Я вызвался регулярно возить однокашника, страдавшего спастическим параличом, на прием к местному остеопату, а у доктора оказалась дочь-кокетка, так что я несколько раз с ней пообжимался. Стараниями [директора школы] мне разрешили уйти с достоинством: выпускные экзамены я сдал дома и получил диплом с отличием[24].

Родители позаботились о том, чтобы Дмитрий взял от Америки самое лучшее. И то, что Набоковы могли себе позволить забрать сына из такого престижного и прославленного заведения, как школа святого Марка (пусть и грешившего фаворитизмом, как полагал Набоков), и отдать в более подходящую для Дмитрия школу Холдернесс, свидетельствовало о том, что их жизнь в Америке складывалась более чем удачно.

Лолита тоже училась в частной школе. После года странствий (и сексуальных утех) похотливый отчим отдает ее в “школу Бердслея” в Новой Англии. У школы Бердслея были “псевдобританские притязания”[25], пишет Гумберт, однако она считалась прогрессивной и, по словам начальницы, мисс Пратт, ставила себе целью “приспосабливание ребенка к жизни группы”[26]. Лолита, дерзкая, хотя и перенесшая серьезную психологическую травму и оттого уязвимая, учится хорошо, но мисс Пратт подмечает в ее поведении кое-какие странности: девочку “преследуют сексуальные мысли, для которых она не находит выхода”[27], при этом “болезненным образом отстав от сверстниц, не интересуется половыми вопросами… подавляет в себе всякий интерес к ним, чтобы этим оградить свое невежество и чувство собственного достоинства”. Долли “написала непристойный термин, который, по словам нашей докторши Кутлер, значит писсуар на низкопробном мексиканском жаргоне, – написала его своим губным карандашом на одной из брошюр по здравоохранению”[28], но при этом она, похоже, совершенно не представляет себе, как в действительности происходит размножение даже у птиц или у пчел, не говоря уже о людях.

Озабоченных американских подростков Набоков, скорее всего, описывал под впечатлением от сексуальных похождений сына[29]. Гумберт ревниво оберегает падчерицу от приставаний

мальчишек: “…пока господствует мой режим, ей никогда, никогда не будет позволено пойти с распаленным мальчишкой в кинематограф или обниматься с ним в автомобиле”[30]. За словами Гумберта о “самодовольном насильнике с чирьями и усиленным до гоночной мощности автомобилем”[31] вырисовывается образ одержимого автомобилями Дмитрия. Как бы он себя ни вел, мудрые и заботливые родители оставляли за ним право исследовать, экспериментировать, старались направить сына на верный путь[32], по возможности сделать так, чтобы американизация прошла для него спокойно и безопасно, чтобы он был счастлив, имел стабильный доход. Они оберегали сына, но вместе с тем давали ему свободу. Словом, поступали не как Гумберт, которого едва ли можно назвать хорошим отцом, а совсем иначе

Лолита, у которой, в отличие от Дмитрия, таких хороших родителей не было, оказывается предоставлена сама себе. Ее прелесть неотразима, девочка лучится красотой:

> О, мне приходилось очень зорко присматривать за Лолитой, маленькой млеющей Лолитой! Благодаря, может быть, ежедневной любовной зарядке, она излучала, несмотря на очень детскую наружность, неизъяснимо-томное свечение, приводившее гаражистов, отдельных рассыльных, туристов, хамов в роскошных машинах, терракотовых идиотов у синькой крашеных бассейнов, в состояние припадочной похотливости… маленькая Лолита отдавала себе полный отчет в этом своем жарком свечении, и я не раз ловил ее, *coulant un regard* по направлению того или другого любезника, какого-нибудь, например, молодого подливателя автомобильного масла, с мускулистой золотисто-коричневой обнаженной по локоть рукой в браслетке часов, и не успевал я отойти (чтобы купить этой же Лолите сладкую сосульку), как уже она и красавец механик самозабвенно обменивались прибаутками, словно пели любовный дуэт[33].

Созревшая раньше времени Лолита ступила на опасный путь. Мальчишке в такой ситуации было бы куда проще. Набоков, внимательно изучавший исследования по педофилии, несколько искажает факты (что, впрочем, ему практически не свойственно):

> Господа присяжные, милостивые государи и столь же милостивые государыни! Большинство обвиняемых в проступках против нравственности, которые тоскливо

> жаждут хоть каких-нибудь трепетных, сладко-стонущих, физических, но не непременно соитием ограниченных отношений с девочкой-подростком, – это все безвредные, никчемные, пассивные, робкие чужаки, лишь одного просящие у общества – а именно, чтобы оно им позволило следовать совершенно в общем невинным, аберративным, как говорится, склонностям и предаваться частным образом маленьким, приятно жгучим и неприятно влажным актам полового извращения без того, чтобы полиция или соседи грубо набрасывались на них. Мы не половые изверги! Мы не насилуем, как это делают бравые солдаты. Мы несчастные, смирные, хорошо воспитанные люди с собачьими глазами… Поэты не убивают[34].

Тут он ошибся: убивают, еще как убивают. Клэр Куильти гибнет от руки Гумберта Гумберта, да и Шарлотта Гейз оказывается под колесами автомобиля тоже, в общем, из-за него. Умирает и Лолита. Вырвавшись после нескольких лет в плену у Гумберта, она тут же попадает в другой: к Куильти. Над нимфеткой словно довлеет проклятье сексуального рабства. Лолита – американка и априори не может относиться легко к таким вещам. Когда она на манер Гекльберри Финна планирует бежать на Аляску, беременная ребенком, которому не суждено появиться на свет, с небес за ней словно бы наблюдает Готорн: надеясь перехитрить судьбу, она лишь усугубляет свое отчаянное положение и вскоре погибает.

Глава 11

Не в меру любопытная мисс Пратт из Бердслейской школы истолковывает поведение Лолиты с точностью до наоборот, но в главном все же не ошибается: в подоплеке действительно секс. Забота о "приспосабливании ребенка к жизни группы", по мнению мисс Пратт, это в первую очередь сексуальное воспитание, а не нравственное или интеллектуальное развитие. Как типичный американский педагог середины XX века, желающий казаться передовым, она ставит секс на первое место: "танцы, дебаты, любительские спектакли и встречи с мальчиками"1, поясняет она Гумберту Гумберту политику школы. Грядет эпоха фрейдизма, который, несмотря на всю его глубину, в массовом сознании сводится к зацикленности на сексе. Так что Гумберту Гумберту невероятно повезло – а уж к добру или к худу, другой вопрос, – что он оказался в Америке в середине века секса.

Секс изобрел не Фрейд, равно как и тему секса в литературе: это случилось задолго до него. Набоков, как известно, Фрейда терпеть не мог: по словам писателя, он соблюдал психическую гигиену и каждое утро "с нескрываемым наслаждением доказывал несостоятельность трудов Венского Шамана, в деталях вспоминая сны без единого упоминания о сексуальных символах или мифических комплексах"2. При этом лучший его романз не противоречит вульгарному восприятию фрейдизма – что "все дело в сексе". Главный герой, безусловно, одержим сексом. Сексуальные переживания отрочества на всю жизнь оставили след в его душе, и Лолита для него – воплощение мечты, которая питает его мучительное существование: она его возрождает. Окажись детская сексуальная травма серьезнее, было бы труднее ее осмыслить; Гумберт Гумберт, тоже противник учения Фрейда, "анархист" по определению автора, не в силах разорвать сценарий, навязанный ему первым психоаналитиком.

В ранних романах Набокова также встречаются описания сексуальных переживаний, но наслаждение, как правило, неотделимо от мучений, как в романах "Соглядатай" (1930), "Смех в темноте", "Подлинная жизнь Себастьяна Найта" и в прочих произведениях. Самые эротические пассажи у Набокова – описания не полового акта, но объекта вожделения. Персонажи Набокова – знатоки женских прелестей, и мы смотрим на героинь их восторженными глазами:

> Сестры были похожи друг на дружку, но откровенная бульдожья тяжеловатость лица старшей была у Вани

только чуть-чуть намечена, и была иначе, и как бы придавала значительность и своеродность общей красоте ее лица. Похожи у сестер были и глаза, черно-карие, слегка асимметричные, слегка раскосые, с забавными складками на темных веках. У Вани глаза были еще бархатнее и, в отличие от сестриных, несколько близоруки, точно их красота делала их не совсем пригодными для употребления.

“Соглядатай”

Альбинус научил ее ежедневно принимать ванну, вместо того чтобы только мыть руки и шею, как она делала раньше. Ногти у нее были теперь всегда чистые, и не только на руках, но и на ногах отливали бриллиантово-красным лаком. Он открывал в ней все новые очарования – трогательные мелочи, которые в другой показались бы ему вульгарными и грубыми. Полудетский очерк ее тела, бесстыдство, медленное погасание ее глаз (словно невидимые осветители постепенно гасили их, как прожекторы в театральной зале) доводили его до такого безумия, что он вконец утрачивал ту сдержанность, которой отличались его объятия со стыдливой и робкой женой.

“Смех в темноте”

“Да что же в ней привлекательного? – в тысячный раз думал он. – Ну, ямочки, ну, бледность… Этого мало. И глаза у нее неважные, дикарские, и зубы неправильные. И губы какие-то быстрые, мокрые, вот бы их остановить, залепить поцелуем. И она думает, что похожа на англичанку в этом синем костюме и бескаблучных башмаках… как только Мартын доводил себя до равнодушия к Соне, он вдруг замечал, какая у нее изящная спина, как она повернула голову, и ее раскосые глаза скользили по нему быстрым холодком…”

“Подвиг”

В некоторых произведениях Набокова встречаются и описания секса, но без пошлостей (и, разумеется, без ненормативной лексики). Постельные сцены у него вполне в духе Голливуда: притворно-изощренные, кадр до, кадр после, а сам процесс остается за кадром. Все происходит быстро и

неправдоподобно часто. В “Смехе в темноте” Марго, бессердечная кокетка, постоянно занимается сексом с Рексом, своим любовником-психопатом, под самым носом у Альбинуса, которому с удовольствием изменяет и с которым тоже постоянно занимается сексом. В романе “Ада”, написанном на тридцать лет позже, персонажи совокупляются с тем же кроличьим автоматизмом, в который трудно поверить. Секс в произведениях Набокова[4] абсолютно нефизиологичен, так что читателю приходится додумывать, как оно было на самом деле. И если прочие его современники брали на себя смелость описывать секс откровенно, выразительно, ничего не скрывая, Набоков поступал совершенно иначе.

Он прекрасно описывает влюбленность как одержимость, обожествление возлюбленного. В “Волшебнике”, ранней повести в духе “Лолиты”, он охватывает зорким оком облик героини:

> Девочка в лиловом, двенадцати лет… торопливо и твердо переступая роликами, на гравии не катившимися, приподнимая и опуская их с хрустом, японскими шажками приближалась к его скамье сквозь переменное счастье солнца, и впоследствии (поскольку это последствие длилось), ему казалось, что тогда же, тотчас он оценил ее всю, сверху донизу: оживленность рыжевато-русых кудрей, недавно подровненных, светлость больших, пустоватых глаз, напоминающих чем-то полупрозрачный крыжовник, веселый, теплый цвет лица, розовый рот, чуть приоткрытый, так что чуть опирались два крупных передних зуба о припухлость нижней губы, летнюю окраску оголенных рук с гладкими лисьими волосками вдоль по предплечью[5].

Впоследствии Набоков говорил, что “Волшебник” – “старое барахло”[6]: “Я был недоволен повестью и уничтожил ее вскоре после переезда в Америку в 1940”[7]. Двадцать лет спустя, подбирая рукописи, чтобы передать их Библиотеке Конгресса и получить налоговые льготы, Набоков нашел повесть, перечитал ее “с куда большим удовольствием” и решил, что это “прекрасный образец русской прозы, точный и прозрачный”[8]. Но все же не назвал произведение удачным, не сказал, что история получилась убедительной.

Рассказ об изнасиловании ребенка оказался для Набокова непростой задачей и вышел очень сумбурным. Первые страницы невразумительны и неловки[9]. Безымянный герой в безымянном же европейском городе анализирует свое влечение к девочкам. Текст изобилует лукавыми эвфемизмами. На протяжении

пятидесяти пяти страниц (объем повести в рукописи) рассказчик ходит вокруг да около, не решаясь приблизиться к самому главному, сдерживает вожделение: собственные чувства внушают ему ужас, но молчать он все-таки не может. “Худощавый, сухогубый, со слегка лысеющей головой и внимательными глазами”[10], он так похож на “хорошо воспитанных людей с собачьими глазами”, о которых говорит Гумберт Гумберт, но не на самого Гумберта Гумберта – “взрослого друга, статного красавца” (каким его якобы видит Лолита).

Впрочем, после невнятного начала повествование в “Волшебнике” течет довольно гладко: читать произведение легко. В отличие от “Лолиты”, повесть не оставляет у читателя ощущения вовлеченности в события (отчасти потому, что повествование ведется от третьего лица, а не от первого, как в “Лолите”). Стиль “Волшебника” отличается сравнительной простотой[11]: в повести почти нет аллюзий, которыми изобилует текст “Лолиты”. В остальном же оба произведения очень похожи – начиная от описания персонажей (глаза Лолиты тоже напоминают повествователю крыжовник; и там, и там у девочек “бисквитный запах”) до основных поворотов сюжета. Когда автор спустя десять лет вернулся к этому материалу, скорее всего, основное уже было придумано. Почему Набоков вернулся к этой теме – другой вопрос. Рассказ о педофиле, волей случая ставшем опекуном ребенка, успеха не имел – такая история скорее наводит тоску, а не захватывает дух: едва ли можно было ожидать, что он произведет такое впечатление.

Вероятно, у Набокова были личные причины (скорее всего, интимного характера) вернуться к этой теме. Профессиональное писательское чутье подсказало ему, что сюжет многообещающий. “Мемуары округа Геката” Уилсона (едва ли именно они побудили Набокова вернуться к забытой теме, однако свою роль сыграли) произвели фурор. Сенсационный роман Уилсона, первая из более чем двадцати его книг ставшая бестселлером, отличается невероятной откровенностью:

> Но больше всего меня поразила и изумила не только красота ее стройных, как колонны, ног: все, что между ними, было настолько прекрасно и эстетически совершенно, что прежде мне никогда не доводилось видеть ничего подобного. Бугорок был эталоном женственности: круглый, гладкий, пухлый; волоски на лобке были не золотистые, а чуть светлее – белокурые мягкие кудряшки; створочки густо-розовые, точно лепестки живого цветка. Они исправно впускали

входящего и совершали женскую свою работу с таким проворством, так сочились нежнейшим медом, что зря я подумал… будто она не откликается на мои ласки12.

В другом фрагменте говорится:

> Помню одно холодное зимнее воскресенье, когда Анна пришла ко мне после полудня, – день блеклых окраинных фасадов и благопристойных окраинных видов, когда я отправился в пустынный музей о чем-то справиться в книге, а когда вернулся, мне показалось дикостью и неприличием то, как она сняла розовую комбинацию и осталась в прозаическом бюстгальтере: теплое липкое тело с мшистым и влажным низом… меж холодными дневными простынями в пасмурной воскресной комнате; как-то вечером, когда я вернулся домой с вечеринки, на которой Имоджен подарила меня улыбкой в ответ на мои любезности и нежные ухаживания… и занялся с Анной любовью во второй раз, – стоило ей одеться, и у меня тут же проснулось желание при виде ее белых бедер и ягодиц, мелькнувших меж черным платьем и серыми чулками13.

Уилсон читал Генри Миллера, который в “Тропике Рака” (1934) и “Тропике Козерога” (1939) использовал запретные выражения14. “Любовник леди Чаттерлей” Лоуренса, по замечанию Леона Эдела, редактора уилсоновского сборника “Двадцатые” (1975), определил отношение американцев к сексу и социальным классам15. И хотя сейчас описания Уилсона кажутся вполне целомудренными – во всяком случае, порнографией это назвать нельзя, “все-таки следует помнить, – писал Эдел, – что его честность, верность правде жизни и себе самому вызвала лавину произведений на эротические темы, которые ныне занимают воображение американских писателей”16.

В “Волшебнике”, далеко не таком откровенном, как рассказы Уилсона, все же встречаются красочные описания. Когда безымянный повествователь с ужасом осознает, что его возбуждают девочки-подростки (причем выражено это с помощью завуалированных изощренных сравнений – “еще никогда придаточное предложение его страшной жизни не дополнялось главным”)17, в конце концов выясняется, что

> уже его взгляд… пополз по ней вниз, левая рука тронулась в путь… Наконец, решившись, он слегка погладил ее по длинным, чуть разжатым, чуть липким

ногам, шершаво свежевшим книзу, ровно разгоравшимся к верховьям – с бешеным торжеством вспомнил ролики, солнце, каштаны, все… – пока концами пальцев поглаживал, дрожа и косясь на толстый мысок, едва опушившийся, – по-своему, но родственно сгустивший в себе что-то от ее губ, щек[18].

Однако в повествовании все же сохраняется недосказанность: растлителю так и не удалось овладеть девочкой. Он трогает ее руками, но куда смелей его взгляд: поневоле вспоминается любовь Набокова к ловле бабочек и наблюдению за ними "в удивительном хрустальном мире микроскопа", когда герой повести, обреченный через считаные минуты погибнуть под колесами грузовика, созерцает райское блаженство.

Возможно, Набоков вернулся к этой теме еще и потому, что чувствовал: этот материал, рискованный, трудный для автора, может обернуться невероятным успехом. Причем успехом не только и не столько коммерческим, хотя, разумеется, Набокову этого хотелось бы ("Все мои предыдущие книги в финансовом отношении, к несчастью, оказывались полным провалом", писал он Кэтрин Уайт в 1950 году)[19], но и стилистическим. К "Волшебнику" у Набокова были именно стилистические претензии. Диалоги, которые в "Лолите" претерпят изменения и окажутся куда свободнее, живее и распущеннее, в "Волшебнике" скованны. Герои изъясняются так длинно и складно, что не сразу и разберешь, кто это говорит – мужчина ли, женщина, – и те и другие словно задыхаются, затянутые в корсет:

– Теперь посидим и потолкуем, – через минуту заговорила она, тяжело и смиренно присев на вернувшийся диван… Прежде всего, мой друг, я, как вы знаете, больная, тяжело больная женщина; вот уже года два, как жить значит для меня лечиться; операция, которую я перенесла двадцать пятого апреля, по всей вероятности, предпоследняя, – иначе говоря, в следующий раз меня из больницы повезут на кладбище. Ах, нет, не отмахивайтесь… Предположим даже, что я протяну еще несколько лет, – что может измениться?[20]

– Но поймите, продолжил он тише… – поймите, что я хочу сказать: отлично – мы им все заплатили и даже переплатили, но вероятно ли, что ей там от этого станет уютнее? Сомневаюсь. Прекрасная гимназия, вы скажете (она молчала), но еще лучшая найдется и здесь, не говоря о том, что я вообще всегда стоял и стою за

домашние уроки[21].

Набоков высмеивает косность и церемонность своих героев, однако и повествование его несвободно от этих качеств. Тема безнравственности фиктивного брака (который в “Лолите” обыгрывается с черным юмором) практически не раскрыта. Педофилия ведет к быстрой гибели, и на этом пути не бывает остановок для дьявольских импровизаций, для разнузданных гумбертовых утех.

Если Набоков собирался пополнить ряды авторов, которые пишут о сексе, – допустим на минуту, что такая мысль могла прийти ему в голову, – ему надо было как-то выделиться. И с “Лолитой” ему удивительным образом удалось этого добиться. Свойственный его повествованию вуайеризм, в “Волшебнике” смахивавший на обычное любопытство, в “Лолите” усугубляется. В “Волшебнике” безымянная девочка выведена слишком общо, Лолита же предстает перед взором гения оригинальности, и окружающая ее обстановка описана столь же живо.

Девочка на роликах проносится перед взглядом читателя так стремительно, что черты ее расплываются – зубы, кудри, прелестные щеки. Лолита же завораживает, так что время необъяснимым образом замедляется, и ее совратитель, сперва ослепленный страстью, тоже учится сдержанности. В начале книги он видит “всего лишь застывшую часть ее образа, рекламный диапозитив, проблеск прелестной гладкой кожи с исподу ляжки, когда она, сидя и подняв высоко колено под клетчатой юбочкой, завязывает шнурок башмака”[22]. Потом на читателя обрушивается поток открытий, описанных на все лады – глуповатых, напыщенных, наукообразных, ироничных, восторженных. Ни дать ни взять, “Птицы Америки” Одюбона, посвященные одной-единственной девочке, представительнице породы нимфеток:

> …я посвятил мадригал черным, как сажа, ресницам ее бледносерых, лишенных всякого выражения глаз, да пяти асимметричным веснушкам на ее вздернутом носике, да белесому пушку на ее коричневых членах… я мог бы сказать… что волосы у нее темно-русые, а губы красные, как облизанный барбарисовый леденец… ах, быть бы мне пишущей дамой, перед которой она бы позировала голая при голом свете. Но ведь я всего лишь Гумберт Гумберт, долговязый, костистый, с шерстью на груди, с густыми черными бровями и странным акцентом, и целой выгребной ямой, полной гниющих

чудовищ, под прикрытием медленной мальчишеской улыбки[23].

“Пишущая дама” смогла бы изучить нимфетку с клинической точки зрения, то есть куда тщательнее, но именно под жадным воспаленным взглядом Гумберта Гумберта она оживает:

> Она была в клетчатой рубашке, синих ковбойских панталонах и полотняных тапочках… Немного погодя села около меня на нижнюю ступень заднего крыльца и принялась подбирать мелкие камешки, лежавшие на земле между ее ступнями… и кидать ими в валявшуюся поблизости жестянку. Дзинк. Второй раз не можешь, не можешь – что за дикая пытка – не можешь попасть второй раз. Дзинк. Чудесная кожа, и нежная, и загорелая, ни малейшего изъяна. Мороженое с сиропом вызывает сыпь: слишком обильное выделение из сальных желез, питающих фолликулы кожи, ведет к раздражению, а последнее открывает путь заразе. Но у нимфеток, хоть они и наедаются до отвала всякой жирной пищей, прыщиков не бывает[24].

Вдруг я ясно понял, что могу поцеловать ее в шею или в уголок рта с полной безнаказанностью – понял, что она мне это позволит и даже прикроет при этом глаза по всем правилам Холливуда… Дитя нашего времени, жадное до киножурналов, знающее толк в снятых крупным планом, млеющих, медлящих кадрах, она, наверное, не нашла бы ничего странного в том…[25]

И далее Гумберт Гумберт – насиловавший малолетнюю пленницу по три раза в день – не прекращает изучать Лолиту. Гнездящиеся в душе “гниющие монстры” не слепят героя – напротив, зрение его становится лишь острее, нежнее:

> На ней было первое ее пальто с меховым воротничком; коричневая шапочка венчала любимую мою прическу – ровная челка спереди, завитушки с боков, и природные локоны сзади – и ее потемневшие от сырости мокасины и белые носки казались еще более неаккуратными, чем всегда. Она, как обычно, прижимала к груди свои книжки, говоря или слушая собеседника, а ножки ее все время жестикулировали: она то наступала левой на подъем правой, то отодвигала пятку назад или же скрещивала лодыжки, покачивалась слегка, начерно намечала несколько шажков, – и начинала всю серию

снова… Но больше всего мне нравилось смотреть на нее – раз мы уже заговорили о жестах и юности, – когда она, бывало, колесила взад и вперед по Тэеровской улице на своем новом велосипеде, тоже казавшемся прелестным и юным. Она поднималась на педалях, чтобы работать ими побойчее, потом опускалась в томной позе, пока скорость изнашивалась. Остановившись у почтового ящика, относившегося к нам, она (все еще сидя верхом) быстро листала журнал, извлеченный оттуда, совала его обратно, прижимала кончик языка к уголку верхней губы, отталкивалась ногой и опять неслась сквозь бледные узоры тени и света[26].

Источник пульсирующей, пугающей энергетики романа – пристальный взгляд на запретное. Плененная нимфетка для Гумберта Гумберта – неистощимый предмет для описания: но Лолита, как ни странно, всего лишь девочка.

С первых же страниц становится ясно, что роман о сексе. Доктор философии Джон Рэй, автор предисловия, рекомендуется читателю специалистом по “патологическим состояниям и извращениям”[27], обещает, что “пошлые иносказания” не обесцветят ситуации и эмоции, описанные в романе, и предуготовляет читателя к “соблазнительным”[28] сценам. Предисловие, которое большинство критиков считают насмешкой Набокова, пародией на тексты такого рода (слово самодовольного и ограниченного редактора, вообразившего, будто понимает роман, о котором решился написать), имеет давнюю традицию: многие известные американские писатели – те же Уитмен и По – сочиняли под псевдонимами рецензии на собственные произведения. Набоков устами Рэя заявляет высшую ценность своего романа: это “трагическая повесть, неуклонно движущаяся к тому, что только и можно назвать моральным апофеозом”. И хотя у нас есть все основания заподозрить, что Набоков в данном случае лукавит, однако его поборники (главным образом жена и сын) в следующие пятьдесят лет будут приводить тот же аргумент:

> Великое произведение искусства всегда оригинально; оно само по своей сущности должно потрясать и изумлять, т. е. “шокировать”. У меня нет никакого желания прославлять г-на “Г. Г.”. Нет сомнения в том, что он отвратителен, что он низок, что он служит ярким примером нравственной проказы, что в нем соединены свирепость и игривость… Отчаянная честность, которой трепещет его исповедь, отнюдь не

> освобождает его от ответственности за дьявольскую изощренность. Он ненормален. Он не джентльмен. Но с каким волшебством певучая его скрипка возбуждает в нас нежное сострадание к Лолите, заставляя нас зачитываться книгой, несмотря на испытываемое нами отвращение к автору![29]

Еще один американский (точнее, принявший американское гражданство иностранец) писатель, нахальный выскочка, чье имя встречается на этих первых страницах – Фрэнк Харрис, автор самых скандальных мемуаров о сексе, которые были опубликованы во времена Набокова. Гумберт Гумберт, также как и Харрис в "Моя жизнь и любови" (*My Life and Loves*, 1922), в три года остался без матери; у него рано пробудилась сексуальность (у Харриса в пять, у Гумберта чуть позже, когда он впервые отметил "довольно интересный отклик со стороны моего организма на жемчужно-матовые снимки с бесконечно нежными теневыми выемками в пышном альбоме Пишона *La Beauté Humaine*"[30].

Набоков пародирует Харриса и прочие эротические мемуары, но вместе с тем создает еще один образец такого жанра[31]. Секс в романе – не лейтмотив истории: он сам история, все остальное – лишь декорации. В отличие от Харриса, мнившего себя защитником потаенных традиций в англоязычной литературе, "абсолютной свободы, как у Чосера и Шекспира, совершенной прямоты, любви к сладострастным подробностям и остроумным непристойностям, к живой речи"[32], Набоков не может или не хочет преодолеть отвращения к сквернословию. "Лолита", как и "Волшебник", пестрит эвфемизмами, но здесь они не в силах прикрыть (в большинстве случаев, наоборот, подчеркивают) шокирующую прямоту, небывалую откровенность, с которой писатель говорит о физиологии:

> В следующий миг, делая вид, что пытается им снова овладеть, она вся навалилась на меня. Поймал ее за худенькую кисть. Журнал спрыгнул на пол, как спугнутая курица. Лолита вывернулась, отпрянула и оказалась в углу дивана справа от меня. Затем, совершенно запросто, дерзкий ребенок вытянул ноги через мои колени[33].

Гумберт и Лолита в доме одни: миссис Гейз ушла в церковь. На Гумберте шелковый халат. "К этому времени я уже был в состоянии возбуждения, граничащего с безумием", и ему удалось "при помощи целой серии осторожнейших движений пригнать

мою замаскированную похоть к ее наивным ногам”[34].

Сказанного оказалось бы достаточно, чтобы героя “Волшебника” охватило мучительное, даже, пожалуй, смертельное чувство вины. Гумберту же все нипочем. Он не станет насиловать девочку, но свое все же получит:

> Быстро говоря, отставая от собственного дыхания, нагоняя его, выдумывая внезапную зубную боль, дабы объяснить перерыв в лепете – и неустанно фиксируя внутренним оком маниака свою дальнюю огненную цель, я украдкой усилил то волшебное трение, которое уничтожало в иллюзорном, если не вещественном, смысле физически неустранимую, но психологически весьма непрочную преграду (ткань пижамы, да полу халата) между тяжестью двух загорелых ног, покоящихся поперек нижней части моего тела, и скрытой опухолью неудобосказуемой страсти[35].

Лолита, похоже, ничего и не замечает – жует себе “эдемски-румяное яблоко”. В последующем описании того, как Гумберт сладострастно трется о ноги Лолиты, время растягивается и замедляется, будто повинуясь размышлениям о нимфетке, вводит читателя в транс, точно сексуальное колдовство: “Я перешел в некую плоскость бытия, где ничто не имело значения, кроме настоя счастья, вскипающего внутри моего тела”[36]. Гумберт продолжает:

> Я терялся в едком, но здоровом зное, который как летнее марево обвивал Доллиньку Гейз. Ах, пусть останется она так, пусть навеки останется… То, что началось со сладостного растяжения моих сокровенных корней, стало горячим зудом, который теперь достиг состояния совершенной надежности, уверенности и безопасности – состояния не существующего в каких-либо других областях жизни. Установившееся глубокое, жгучее наслаждение уже было на пути к предельной судороге, так что можно было замедлить ход, дабы продлить блаженство[37].

И вот уже ему мнятся обитательницы гарема, а себя он чувствует султаном. Гумберт Гумберт описывает состояние, которое по-гречески называется *kavla* – то есть ощущение стремительно надвигающегося оргазма, его извечную неотвратимость:

> В самодельном моем серале я был мощным, сияющим турком, умышленно, свободно, с ясным сознанием свободы, откладывающим то мгновение, когда он изволит совсем овладеть самой молодой, самой хрупкой из своих рабынь. Повисая над краем этой сладострастной бездны… я все повторял за Лолитой случайные, нелепые слова… как человек, говорящий и смеющийся во сне, а между тем моя счастливая рука кралась вверх по ее солнечной ноге до предела дозволенного тенью приличия[38].

Лолита, похоже, тоже на грани. Гумберт касается синяка на ее ноге, и она

> …со внезапно визгливой ноткой в голосе… воскликнула: “Ах, это пустяк!”, и стала корячиться и извиваться, и запрокинула голову, и прикусила влажно блестевшую нижнюю губу, полуотворотившись от меня, и мои стонущие уста, господа присяжные, почти дотронулись до ее голой шеи, покаместь я раздавливал об ее левую ягодицу последнее содрогание самого длительного восторга, когда-либо испытанного существом человеческим или бесовским[39].

Несмотря на “затейливость прозы”, это самый настоящий половой акт, описанный подробно и до самого конца. Раньше в произведениях Набокова ничего подобного не было. Судя по описанию, нимфетка тоже получает удовольствие, сидя на коленях у насильника: Лолита ведет себя как взрослая женщина, испытывающая оргазм (вскрикивает, корчится, извивается, запрокидывает голову, прикусывает губу). Набоков делает возможным то, что прежде для него было невозможно или немыслимо. Джентльмен-европеец из “Волшебника” трансформировался в невиданного, необузданного монстра в обычном американском доме, насытившегося, потного, “купающегося в блаженстве избавления от мук”[40]: ему и в голову не придет сводить счеты с жизнью.

Набоков писал “Лолиту” пять лет[41]. Нагрузка в Корнелле оказалась легче, нежели в Уэлсли (по крайней мере, первое время), платили лучше, главы из “Память, говори” регулярно выходили в *New Yorker* и привлекали внимание читателей, Дмитрий хорошо учился в школе-пансионате, которая нравилась его родителям, так что Набоков смог наконец сесть за новый большой роман.

Книга давалась ему с трудом. “Раза два я чуть было не сжег недописанного черновика”[42], – признается он в послесловии к американскому изданию романа; биографы Набокова сходятся на том, что он действительно пытался уничтожить книгу[43]: первый раз – осенью 1948 года, когда он только-только начал преподавать в Корнелле, а второй – два года спустя. Вера героически спасла рукописи: выхватила карточки или исписанные листы из оцинкованного резервуара, в которой ее муж развел огонь, затоптала пламя и припечатала: “Это надо сохранить!”, с чем Набоков согласился[44].

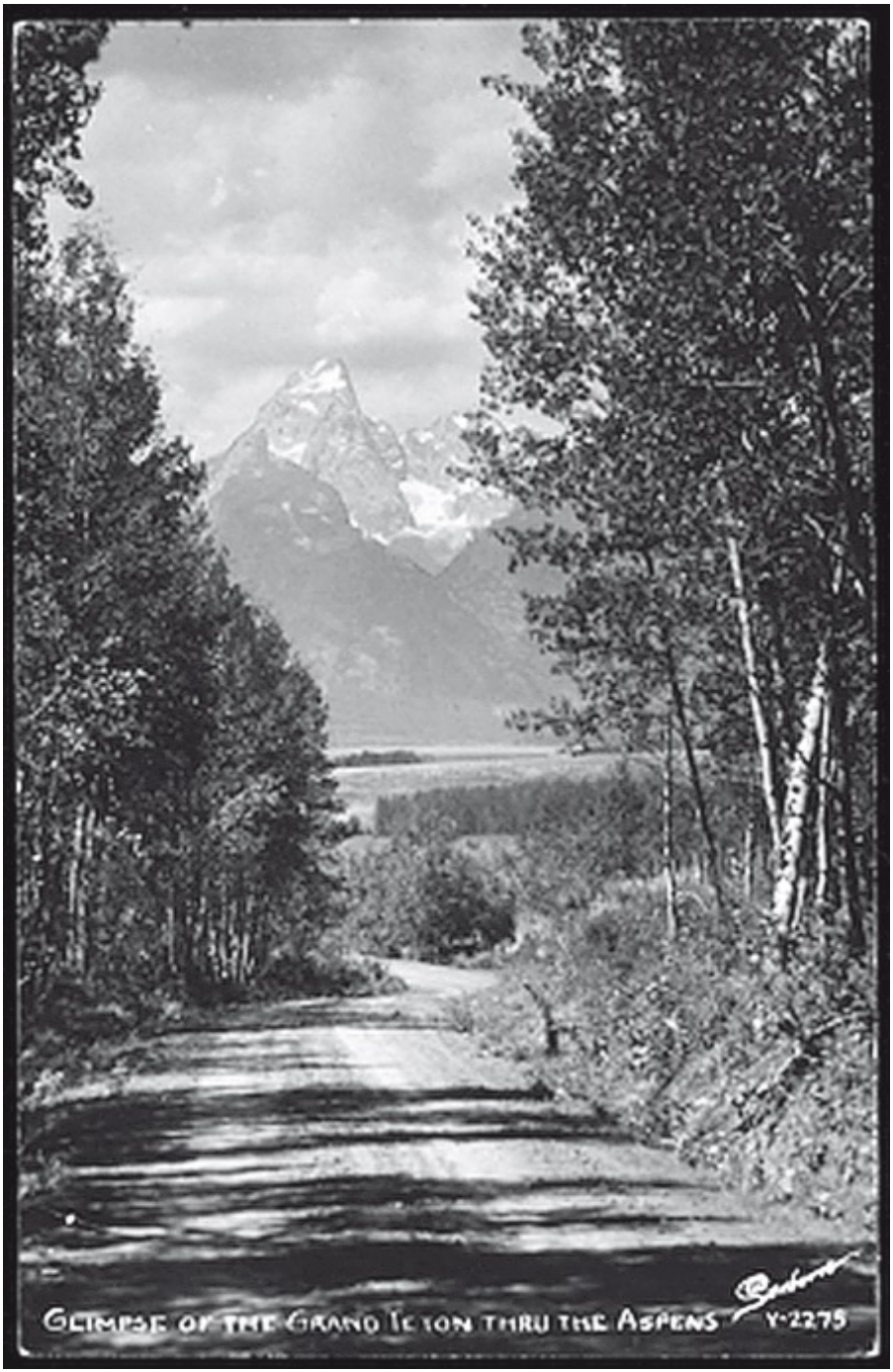
Сжечь рукопись, а не просто выбросить в ведро, Набоков решил, видимо, потому, что материал сам по себе был опасный, взрывной. Часть заметок он уничтожил, так что рукопись “Лолиты” не сохранилась: автор сжег карточки, на которых писал[45], после того как был готов чистовой экземпляр. Попытки уничтожить незаконченное произведение выглядят неестественно и чересчур театрально. Вера каждый раз бросалась спасать бумаги: когда ее не было поблизости, Набоков огня не разводил.

Разумеется, его беспокоило, что ни одно американское издательство не возьмется за публикацию (в особенности после гонений, обрушившихся на “Мемуары округа Геката”), но работу над рукописью Набоков не прерывал. Да, он боялся за роман, но и возлагал на него определенные надежды. Сложно сказать, почему процесс шел с таким трудом: Набоков винил во всем “перебои… и работу над другими книгами”[46] – действительно, в те годы он бывал очень занят, так что времени совершенно не оставалось. Но обычно, если не хватает времени на то, чтобы писать, пересматривают расписание или откладывают рукопись на время, а не сжигают. Еще Набоков винит возраст:

> Когда-то у меня ушло около сорока лет на то, чтобы выдумать Россию и Западную Европу, а теперь мне следовало выдумать Америку. Добывание местных ингредиентов, которые позволили бы мне подлить небольшое количество средней “реальности”… в раствор моей личной фантазии, оказалось в пятьдесят лет значительно более трудным, чем это было в Европе моей юности, когда действовал с наибольшей точностью механизм восприимчивости и запоминания[47].

Дело было вовсе не в том, что Набоков якобы выдохся: наоборот, в те годы он был полон сил, много писал. После перехода в Корнелльский университет он создал массу замечательных произведений: никому из современников Набокова, пишущих по-английски, не удалось добиться такого же

успеха. Так что жалобы на сложности в “добывании местных ингредиентов” и нехватку “восприимчивости и запоминания”, на первый взгляд, не соответствуют действительности, причем за этим не кроется никакой игры: Набоков не лукавил. Он был открыт новым впечатлениям и полностью погружен в американские темы.



Открытка, которую Набоков прислал Уилсону из Вайоминга летом 1949 г.

В те годы, когда Набоков писал “Лолиту”, он как никогда часто и с огромным удовольствием путешествовал по Западной

Америке. Места, в которых побывал писатель, – мотель *Corral Log* в Афтоне, штат Вайоминг, ранчо Тетон-Пасс неподалеку от Джексон-Хоул, "жизнеутверждающий и великолепный *Valley View Court*"[48], единственный мотель в Теллуриде в 1951 году, горы Чирикауа неподалеку от Портала, штат Аризона, "небесный остров" посреди пустыни – вот из чего складывалась местная специфика в "Лолите". Во всех этих городках Набоков работал над романом. Мысль о том, что замыслу новой книги не хватает лишь "местных ингредиентов" (впрочем, канадские или мексиканские тоже подойдут), которые нужно "подлить… в раствор индивидуальной фантазии", для Набокова была не нова. Он утверждал, что для него, как и для Моцарта, главное – воображение: необходимо и достаточно. Но американский колорит играл в данном случае определяющую роль. Он придавал "раствору фантазии" смысл и содержательность. "Старое барахло", которое Набоков привез из Европы[49], в Америке обрело новую жизнь. И попытки сжечь рукопись, скорее всего, были спровоцированы тревогой, которую вызывала у писателя дерзость собственного замысла.

"Лолита" изобилует подробностями американской жизни, и многие читатели с потрясением и восторгом следили за путешествием героев по Америке середины XX века, словно смотрели то цветное, то черно-белое кино. Казалось, именно Америка наделила персонажей романа такой дерзостью, с которой, должно быть, некогда Прометей похитил у богов огонь.

Америку не смущали никакие преграды. Откровенность придумали не в Америке, но именно американские писатели демонстрируют готовность перейти все границы и поговорить о запретном. Уилсон тоже отважился откровенно написать о сексе[50], точь-в-точь как его прославленные предшественники и последователи – Генри Миллер, Уильям Фолкнер в "Святилище", Норман Мейлер в "Нагих и мертвых", Джек Керуак в "Городке и городе" и "В дороге", Уильям Берроуз в "Джанки" и "Голом завтраке". Набоков тоже влился в эти ряды авторов, презревших всякие приличия. Как он признается в послесловии к американскому изданию "Лолиты", "я… стараюсь быть американским писателем и намерен пользоваться правами, которыми пользуются американские писатели"[51]. Набоков имел в виду как право "вдохновляться мещанской вульгарностью", так и право на прямоту, на откровенное высказывание.

Он не был литературным поденщиком, стремившимся угодить публике и заработать денег. Набоков писал то, что считал нужным, и иначе не мог. Пока он работал над "Лолитой", в печати появились его русские мемуары, и несмотря на то, что

публиковали их такие популярные журналы, как *New Yorker* и прочие, “Память, говори” тоже “глухо шлепнулась”: продажи шли туго. Роман принес Набокову славу, но не деньги[52], как он признавался сестре. Казалось, до мифической широкой американской аудитории достучаться невозможно[53].

Но Америка все же откликнулась на призыв. Осенью 1939 года во Франции, когда Набоков написал “Волшебника” и как-то вечером прочел его друзьям, история о педофиле, сбежавшем с ребенком, произвела на слушателей впечатление. В Америке же реакция оказалась иной. Как и автору истории о быках и плащах, который перенес действие романа в Испанию[42], Набокову удалось-таки обратить на себя внимание читателей, и печальное, недолгое блаженство героя “Волшебника”, бежавшего с падчерицей, разворачивается в “Лолите” в целое путешествие. Марк Твен, еще один американский писатель, к которому Набоков относился свысока (24 марта 1951 года он писал Уилсону об Американской академии: “Абсолютно ничего про эту организацию не знаю и сначала спутал ее с какой-то марктвеновской шарашкиной конторой, которая в прошлом чуть было не заполучила мое имя”[54]), слыл мастером этого литературного жанра. Произведения Твена созданы в русле традиции рассказов о беглых рабах и о похищенных индейцами белых жителей приграничных поселений. Чаще всего похищали женщин. Первой популярной книгой на эту тему стали воспоминания “Божья власть и доброта: рассказ о похищении и освобождении госпожи Мэри Роулендсон” Мэри Роулендсон, жительницы Массачусетса, захваченной в плен индейцами племени наррагансет во время войны короля Филиппа (1675–1678). Книга стала первым американским бестселлером[55] и за следующие 150 лет выдержала 30 переизданий[56]. К 1800 году появилось уже 700 различных историй о пленниках индейцев[57]: Сюзанна Роусон и Чарльз Брокден Браун в полной мере раскрыли тему. То, что пленниц насиловали, подразумевалось, хотя открыто об этом не писали. Набоков живо интересовался такими историями (по крайней мере, был знаком с подобным жанром): он читал о них у Пушкина, который в 1836 году опубликовал в “Современнике” пространную восторженную рецензию[58] на французское издание книги под названием “Записки Джона Теннера: тридцать лет среди индейцев”. Пушкин кратко пересказывает содержание истории о маленьком американце, которого в девять лет похитили индейцы племени шони и продали женщине из племени оттава, у которой умер сын. “… Отсутствие всякого искусства и смиренная простота повествования ручаются за истину”[59], – пишет Пушкин. Особенно

ему понравилось описание животного под названием “муз” (то есть лось), которого поэт называет “американским оленем”[60].

Любовь к Пушкину Набоков пронес через всю жизнь. В те же годы, когда писатель работал над “Лолитой”, он вдобавок переводил “Евгения Онегина”[61]. Скорее всего, Набоков, как и Пушкин[62], читал “Последнего из могикан”, лучший роман из цикла о Кожаном Чулке. Купер, как и Майн Рид, который в 1868 году написал роман под названием “Белая скво”, не обошел вниманием тему похищений женщин. Но едва ли решение Набокова взяться за эту тему было вызвано литературным влиянием: вдохновение вообще не поддается объяснению. Он быстро перенимает американский сленг, с любопытством подмечает особенности американского быта, но в выборе темы повествования полагается исключительно на собственное тонкое чутье[63]: тема эта старая как мир, вызывающая, мнимо-незамысловатая, устремленная вдаль, на бескрайние просторы Америки.

Летом 1949 года Набоков отправился в Солт-Лейк-Сити на писательскую конференцию. Вместе с ним там должны были выступать Уоллес Стегнер, западный писатель, самым известным произведением которого считается полуавтобиографическая книга *Big Rock Candy Mountain* (“Большие славные скалистые горы”, 1943), и доктор Сьюз (Тед Гейзель), автор “Подумать только, что я увидел на Тутовой улице” (1937) и “Бартоломью и Ублек” (1949). Был там и Джон Кроу Рэнсом, редактор литературного журнала *Kenyon Review*. Рэнсом показался Набокову умным и приятным, доктор Сьюз тоже ему понравился[64]. Остановились Набоковы в женском общежитии университета штата Юта. Они приехали на собственном автомобиле, “олдсмобиле” 1946 года выпуска: после поездки в Стэнфорд это было их первое путешествие через всю страну. Вера в Итаке брала уроки вождения, но пока что боялась ехать одна, так что Набоковы пригласили с собой студента из Корнелла, 19-летнего Ричарда Баксбаума, который сменял Веру за рулем.

Романы из цикла о Кожаном Чулке, иллюстрация на обложке К. Оффтердингера

Баксбаума позвали еще и для того, чтобы Дмитрий не скучал[65]. Они с Ричардом болтали о девушках. На конференции каждый решил “найти себе подружку” на время пребывания в Солт-Лейк-Сити. Баксбаум проводил за рулем больше времени, чем Вера. Рядом с ним на переднем сиденье обычно устраивались Вера или Дмитрий, Набоков же с записной книжкой всегда сидел сзади. Они ехали прямой дорогой, почти как Гумберт Гумберт во время второго своего долгого путешествия с Лолитой[66], через

северо-восток, через весь штат Огайо, затем через “три штата, начинающиеся на И”, потом через Небраску – “ах, это первое дуновение Запада!”[67] – восклицает Гумберт: конечная цель его пути – Калифорния, где он надеется нелегально перебраться с Лолитой в Мексику. Реальные же путешественники останавливались в мотелях[68], как и герои романа; мальчики жили в одном номере, Владимир с Верой в другой, причем, как отметил Баксбаум, предпочитали комнаты с отдельными кроватями.

Пик Разочарования, хребет Титон, Вайоминг

“Мы ехали не спеша”, сказано в романе: Набоков и его спутники добирались до Солт-Лейк-Сити одиннадцать дней – даже для того времени это считалось небыстро. Лолите “страстно хотелось посмотреть на Обрядовые Пляски индейцев в день ежегодного открытия Магической Пещеры”; на самом же деле втайне от Гумберта Лолита замыслила бежать с Куильти, другим педофилом. В мотелях их встречают вывески, на которых написано:

> Мы хотим, чтобы вы себя чувствовали у нас как дома. Перед вашим прибытием был сделан полный

(подчеркнуто) инвентарь. Номер вашего автомобиля у нас записан. Пользуйтесь горячей водой в меру. Мы сохраняем за собой право выселить без предуведомления всякое нежелательное лицо. Не кладите никакого (подчеркнуто) нежелательного материала в унитаз. Благодарствуйте… Мы считаем наших клиентов Лучшими Людьми на Свете[69].

Гумберт вспоминает, что “две постели стоили нам десять долларов за ночь”, что “мухи становились в очередь на наружной стороне двери и успешно пробирались внутрь, как только дверь открывалась”, что “прах наших предшественников дотлевал в пепельницах, женский волос лежал на подушке”[70]. Вымышленный 1949 год похож на настоящий, и наоборот – Гумберт подмечает, как изменились строения вдоль дороги:

> Я заметил, между прочим, перемену в коммерческой моде. Намечалась тенденция у коттеджей соединяться и образовывать постепенно цельный караван-сарай, а там нарастал и второй этажик, между тем как внизу выдалбливался холл, и ваш автомобиль уже не стоял у двери вашего номера, а отправлялся в коммунальный гараж[71].

Баксбаум восхищался Верой. Она была грациозна, с “прекрасной осанкой – очаровательна, просто очаровательна”[72]. Набоков напоминал Баксбауму другого знакомого из Восточной Европы, который также знал несколько языков и отличался безукоризненными манерами. (Родители Баксбаума были немецкие евреи, которым в 1939 году посчастливилось бежать в Америку. Отец Баксбаума работал врачом в городе Канандайгуа, штат Нью-Йорк, в резервации племени могавков на границе с канадской провинцией Квебек.)

После завершения конференции путешественники направились в горы Титон, где Набокову давно хотелось половить бабочек. Он заранее посоветовался с Александром Б. Клотсом[73], лепидоптерологом из Американского музея естественной истории. Клотс попытался успокоить Веру, которая боялась гризли, и предупредил, что лоси тоже бывают агрессивными: “Я бы предпочел встретить десять медведиц с медвежатами”[74]. К югу от хребта Титон[75], где река Хобак сливается со Снейк, они двинулись на юг и остановились на ранчо Бэтл-Маунтин, где Набоков увлеченно охотился за бабочками. На ранчо Титон-Пасс, что в городке Уилсон, штат Вайоминг, в 11 километрах к западу от Джексон-Хоул и к югу от подножия Титонской гряды, они

пробыли дольше, почти месяц. Оттуда Баксбаум отправился автостопом обратно в Корнелл, но прежде они с Дмитрием попытались подняться на пик Разочарования рядом с восточным отрогом Гранд-Титон. Забраться на гору не удалось, зато молодые люди пережили целое приключение[76]. Специального снаряжения у них с собой не было, и они в простых теннисных туфлях полезли на крутой двухкилометровый откос. До вершины (высотой почти в 3600 метров) оставалось совсем чуть-чуть, но Дмитрий с Ричардом не решились лезть дальше. Чтобы спуститься, нужно было перепрыгнуть с одного уступа на другой, пониже: оступишься – упадешь и разобьешься. Два часа они собирались с духом, наконец прыгнули – сперва один, а за ним и другой.

Когда спустя несколько часов они вышли из леса, Баксбаум понял, что Набоков злится, однако тот не сказал ни слова упрека. Разумеется, родители не находили себе места от волнения.

18 августа Набоков писал Уилсону: “Мы пережили замечательные приключения… и на следующей неделе возвращаемся. Я потерял много фунтов и поймал много бабочек”[77]. На обратном пути они завернули в Канаду и проехали севернее Великих озер. За год до этого, весной, после путешествия на машине с Верой, Набоков описывал Уилсону “прекрасные сокровенные пейзажи”[78], которые они видели между Итакой и Манхэттеном. Жена, по словам Набокова, “отлично” его прокатила. Они теперь были американцами: могли в любой момент отправиться на машине куда хотели[79]. Их автомобили: плохонький “плимут” 1940 года, в котором то и дело что-то ломалось, “олдсмобиль”, новый зеленый “бьюик спешиал”, купленный в 1954 году, “восхитительная белая [шевроле] импала”[80], которую Набоковы брали напрокат во время краткосрочного пребывания в Лос-Анджелесе, – стали вехами определенных периодов жизни и свидетельством скромного достатка. Герои “Лолиты” ездили в “олдсмобиле” – том самом, который Вера останавливала в тени придорожных деревьев, когда Владимиру требовалось тихое уютное место, чтобы писать. Знаменитая фотография 1958 года, снятая фотографом журнала *Life* Карлом Мидансом, на которой Набоков пишет в машине, впрочем, постановочная[81]: в кадре не легендарный набоковский “олдс”, а двухдверный бьюик, и стоит он на обочине дороги неподалеку от Итаки.

Глава 12

Во время следующего путешествия на Запад, в 1951 году, Набоков продолжал наблюдать и делать заметки. В Америке его интересовало абсолютно все[1]. Записи Набокова свидетельствуют о желании во всем разобраться, об интересе к предмету: например, он записывал информацию о характере и физиологии американских девочек-подростков: в каком возрасте у них в среднем начинается менструация, как меняется поведение, как правильно ставить клизму[2]. Он собирал девчачий сленг[3] из подростковых журналов, и то, что родной язык у него был все-таки русский (хотя правильный английский Набоков прекрасно знал), помогло ему обратить внимание на такие разговорные фразы, как *"It's a sketch"* ("Вот умора") или *"She was loads of fun"* ("С ней не соскучишься").

Для вдохновения Набокову нужны были подробности, реальные факты. Ни один другой писатель его времени так трепетно не относился к реальности, в объективности которой можно убедиться на личном опыте, и одновременно не подвергал таким сомнениям, если принимать всерьез предупреждение Набокова о том, что все преходяще. Он специально ездил в автобусах, чтобы подслушать, как говорят подростки, а для сцены с любопытной мисс Пратт[4], начальницей Бердслейской школы, встретился с настоящей директрисой под предлогом, что его дочь якобы хочет у них учиться.

В конце марта 1950 года Набоков прочел в газетах о сенсационном преступлении. Безработный автомеханик по имени Фрэнк Ласалль похитил 11-летнюю девочку Салли Хорнер и два года держал ее в наложницах: он и его маленькая рабыня отправились из Нью-Джерси в Калифорнию через Техас, но в мотеле в Сан-Хосе похитителя арестовали. Ласалля описывали в газетах как "насильника с хищным лицом", с "длинным списком преступлений против морали", а Салли – как "пухлую девочку", "симпатичную девушку со светло-каштановыми волосами и сине-зелеными глазами"[5]. Набокову будто подарили вторую часть "Лолиты", ее композицию. Салли провела в плену двадцать один месяц, при этом ходила в школу и в конце концов поделилась секретом с одноклассницей: та и сказала Салли, что это преступление. Лолита и Гумберт Гумберт тоже путешествовали в течение двадцати одного месяца, прежде чем нимфетка пошла учиться в Бердслейскую школу. Гумберт боялся, что она проболтается обо всем подружкам, которые подучат ее бежать. Ласалль манипулировал Салли, внушив девочке, будто он агент

ФБР, который отправит ее “туда, где таким девчонкам, как ты, самое место”, если она не будет его слушаться. Гумберт также втолковывает Лолите, что, если его посадят в тюрьму, ее, как круглую сироту, отправят в “дисциплинарную школу, исправительное заведение, приют для беспризорных подростков, или одно из тех превосходных убежищ для несовершеннолетних правонарушителей, где девочки вяжут всякие вещи и распевают гимны”[6].

Ласалль случайно увидел, как Салли совершила кражу в магазине, поэтому, похитив ее, угрожал, что пошлет “туда, где таким, как ты, самое место”. Пожалуй, это главное, что позаимствовал Набоков из этой истории: Гумберт также внушает Лолите, что она преступила закон, совратила “взрослого под кровом добропорядочной гостиницы”[7], позволила “познать ее телесно” той ночью в “Зачарованных Охотниках”. Не по годам развитая и во многом очень сообразительная, Лолита все-таки еще ребенок, и ее легко одурачить. Также из дела Ласалля Набоков позаимствовал описание героини (“симпатичная… светло-каштановые волосы и сине-зеленые глаза”) и судьбу Лолиты, предсказанную короткой жизнью Салли: через два года после освобождения из плена она погибла в автокатастрофе (Лолита умерла в родах). Для обеих девочек поруганное детство и ранняя сексуальная жизнь обернулись гибелью: несмотря на все надежды и попытки начать все сначала, обе оказались обречены.

Дневник за 1951 год[8], заметки, которые писатель делал во время путешествия, свидетельствуют о любопытстве и внимании, с какими Набоков наблюдал за окружающей действительностью. “Воскресенье, 24 июня… выехали в 7.30 вечера. Пробег 50,675, цветет клевер, низкое солнце в платиновой дымке, тепло, персиковый верхний край одномерного бледно-серого облака сливается с далеким туманом”. Пейзажи севера штата Нью-Йорк напоминали Набокову “раскрашенные клеенки… которые вешались на стене над умывальниками… с зелеными деревенскими видами… с амбаром, стадом, ручьем” из детства в России. Он с удовольствием осознавал, что первые впечатления об Америке были “привезены отсюда” – из сельской местности северной части штата Нью-Йорк или похожих мест.

Эти впечатления нашли отражение в “Лолите”. “Лолита не только была равнодушна к природе, – пишет Гумберт Гумберт о первом их путешествии длиною в год через всю страну, – но возмущенно сопротивлялась моим попыткам обратить ее внимание на ту или другую прелестную подробность ландшафта”. И далее:

> Благодаря забавному сочетанию художественных представлений, виды североамериканской низменности казались мне сначала похожими в общих чертах на нечто из прошлого, узнаваемое мной с улыбкой удивления, а именно на те раскрашенные клеенки, некогда ввозившиеся из Америки, которые вешались над умывальниками в среднеевропейских детских и по вечерам чаровали сонного ребенка зелеными деревенскими видами, запечатленными на них – матово-кудрявой рощей, амбаром, стадом, ручьем, мутной белизной каких-то неясно цветущих плодовых садов и, пожалуй, еще изгородью, сложенной из камней, или гуашевыми холмами[9].

"Бледно-серое облако" попадает в знаменитое описание "плоского сизого облака", которое в лучах заходящего солнца кажется персиковым. В реальном штате Миссури, у ресторана, где "счет официантка скромно засунула между рулетов", Набоков заметил уже другое небо – на этот раз на нем "облака Клода Лоррэна… сливались с туманной лазурью… часть их… выступала на неопределенном фоне". В "Лолите" мы читаем:

> Иногда рисовалась на горизонте череда широко расставленных деревьев, или знойный безветренный полдень мрел над засаженной клевером пустыней, и облака Клода Лоррэна были вписаны в отдаленнейшую, туманнейшую лазурь, причем одна только их кучевая часть ясно вылеплялась на неопределенном и как бы обморочном фоне. А не то нависал вдали суровый небосвод кисти Эль Греко, чреватый чернильными ливнями[10].

Записи из набоковского дневника снова и снова встречаются в тексте романа. Пожалуй, дело не в том, что писатель вдохновлялся увиденным и писал об этом заметки, которые впоследствии мы видим в "Лолите", – скорее, Набокову нужны были подробности, чтобы решать творческие задачи. Он каждый день смотрит на небо (или каждый раз, как ему это нужно, чтобы решить какой-то вопрос) и видит в нем что-то, что можно использовать: сказать, что Набоков вдохновлялся пейзажем, значит сильно романтизировать процесс.

Он создает то, что ему нужно, из того, что находит, он "выдумывает Америку", глядя на нее глазами творца, готовый выстроить в нужном порядке те слова, что неотделимы от объекта восприятия. Он воплощает в описании[11] небо в определенный

день, как дерево философа, которое то ли падает, то ли нет, в лесу. С точки зрения биографии он фиксирует то, как учился читать Америку. Этот процесс (или его подобие) Набоков приписывает Гумберту Гумберту. Сперва такие сцены в книге кажутся довольно банальными, точно картинки на клеенке, и повествователь описывает пейзажи эдак снисходительно, без особого интереса, но "поволока никому ненужной красоты" все-таки пленяет Гумберта, и хотя Лолита остается равнодушной, он научился ценить ландшафт "только после продолжительного общения с красотой, всегда присутствовавшей, всегда дышавшей по обе стороны нашего недостойного пути"[12].

Разумеется, пейзажи, которые видел Набоков (безусловно, живописные), – не главное в романе. Однако повествователь подмечает причуды и делает выводы. Год сумасбродных скитаний по мотелям (с августа 1947-го по август 1948-го) начался

> с разных извилин и завитков в Новой Англии; затем зазмеился в южном направлении, так и сяк, к океану и от океана; глубоко окунулся в *ce qu'on appele "Dixieland"*; не дошел до Флориды… повернул на запад; зигзагами прошел через хлопковые и кукурузные зоны… пересек по двум разным перевалам Скалистые Горы; закрутился по южным пустыням, где мы зимовали; докатился до Тихого Океана; поворотил на север сквозь бледный сиреневый пух калифорнийского мирта, цветущего по лесным обочинам; почти дошел до канадской границы; и затем потянулся опять на восток, через солончаки[13].

Они побывали практически "всюду", но "в общем ничего не видали", признается Гумберт: он имеет в виду, что все затмили похоть и стыд от того, что он сделал с ребенком. Их длинное путешествие "всего лишь осквернило извилистой полосой слизи" мечтательную огромную страну: поездка свелась "к коллекции потрепанных карт, разваливающихся путеводителей и к ее всхлипыванию ночью – каждой, каждой ночью, – как только я притворялся, что сплю"[14].

Во время путешествия Гумберт Гумберт и Лолита словно утрачивают ощущение реальности происходящего. Даже

> …в лучшие наши мгновения, когда мы читали в дождливый денек… или хорошо и сытно обедали в битком набитом "дайнере" (оседлом подобии вагона-ресторана), или играли в дурачки, или ходили по магазинам, или безмолвно глазели с другими автомобилистами и их детьми на разбившуюся, кровью

> обрызганную машину и на женский башмачок в канаве… во все эти случайные мгновения я себе казался столь же неправдоподобным отцом, как она – дочерью[15].

Разумеется, никакими отцом и дочерью они и не были: перед нами педофил и его жертва. Оба притворяются – у каждого на то свои причины, – и от этого в одном из них просыпается чутье на похожие явления, на подоплеку тайны. “И порою, в чудовищно жаркой и влажной ночи, кричали поезда, – вспоминает Гумберт Гумберт в духе Аллена Гинзберга, – с душераздирательной и зловещей протяжностью, сливая мощь и надрыв в одном отчаянном вопле”[16]. Он увозит Лолиту на “таинственную, томно-сумеречную, боковую дорогу”, где нимфетка ласкает его, и далее:

> По ночам высокие грузовики, усыпанные разноцветными огнями, как страшные и гигантские рождественские елки, поднимались из мрака и громыхали мимо нашего запоздалого седанчика. И снова, на другой день над нами таяла выцветшая от жары лазурь малонаселенного неба, и Лолита требовала прохладительного напитка… и когда мы возвращались в машину, температура там была адская; перед нами дорога переливчато блестела; далеко впереди встречный автомобиль менял, как мираж, очерк в посверке отражающем его и как будто повисал на мгновение, по-старинному квадратный и лобастый, в мерцании зноя[17].

Автомобиль, похожий на мираж, служит предвестником того, который Гумберт заметит позже: за рулем преследовавшей их машины – тень и альтер эго Гумберта Гумберта, тоже педофил, сценарист Клэр Куильти. Вдалеке вырастают миражи. По мере того как путешественники продвигаются все дальше на запад, Гумберт отмечает “загадочные очертания столообразных холмов, за которыми следовали красные курганы в кляксах можжевельника, и затем настоящая горная гряда, бланжевого оттенка, переходящего в голубой, а из голубого в неизъяснимый”[18].

Мошенник и самозванец, он путешествует среди двусмысленных пейзажей. Свобода ехать куда угодно, преодолевать в день сотни миль, останавливаться под вымышленными именами (как делает и Куильти) в мотелях, похожих один на другой: вот рукотворный анонимный мир, наложившийся на таинственный ландшафт. Чем пристальнее Гумберт всматривается в Америку, тем более незнакомой и странной она ему кажется. Здесь зреют иллюзии, рождаются

сновидцы и аферисты. Чем больше Гумберт колесит по дорогам Америки, тем сильнее его паранойя. Сперва путешествие сулит радость:

> Никогда не видал я таких гладких, покладистых дорог, как те, что теперь лучами расходились впереди нас по лоскутному одеялу сорока восьми штатов. Мы алчно поглощали эти бесконечные шоссе; в упоенном молчании мы скользили по их черному, бальному лоску[19]. Впрочем, иногда после целого дня пути они оказывались незнамо где, и вот пустыня встретила нас ровным и мощным ветром, да летящим песком, да серым терновником, да гнусными клочками бумаги, имитирующими бледные цветы среди шипов на мучимых ветром блеклых стеблях вдоль всего шоссе, посреди которого иногда стояли простодушные коровы, оцепеневшие в странном положении… противоречившем всем человеческим правилам дорожного движения[20].

Куильти, который действительно преследует их и который оказывается чертовски хитроумным мучителем, среди блеклых стеблей и клочков туалетной бумаги смотрится на удивление естественно. Он порочен, как и Гумберт, и так же ловко играет словами, но в том, что касается нравственности, они несхожи. Гумберта мучит чувство вины за то, что он сделал с Лолитой, у него болит душа (или то, что заменяет ему душу); Куильти же испорчен до мозга костей, и мучит его лишь скука. При этом он невероятно активен – ни дать ни взять, мошенник наподобие главного героя мелвилловского “Искусителя” (1857), искусный манипулятор, виртуозный лжец[21]. Куильти чем-то напоминает Чичикова, героя “Мертвых душ”, но Чичиков все же мошенник рангом пониже: он не столько коварен, сколько смешон. Куильти же в некотором роде художник, чародей.

Набоков высмеивает комментаторов, пытавшихся отыскать в “Лолите” скрытый смысл.

> Несмотря на то, что давно известна моя ненависть ко всяким символам и аллегориям… один во всех других смыслах умный читатель, перелистав первую часть “Лолиты”, определил ее тему так: “Старая Европа развращает молодую Америку”, – между тем как другой чтец увидел в книге “Молодую Америку, развращающую старую Европу”[22].

Читатели, разумеется, вольны видеть в тексте все, что им

угодно: романы становятся мифами, потому что так воспринимают их читатели. “Лолита” так и манит истолкователей. В романе описано путешествие по “лоскутному одеялу сорока восьми штатов”, которое, совершенно в духе Уитмена, охватывает всю Америку и обращает внимание на относительно новое, развивающееся явление, как его представляют журналы и телепередачи того времени: пригороды. Повествователь пускается в псевдоаналитические размышления (предмет неизменных насмешек Набокова), старается разложить все по полочкам:

> Мы узнали – *nous connûmes*, если воспользоваться флоберовской интонацией – коттеджи, под громадными шатобриановскими[23] деревьями, каменные, кирпичные, саманные, штукатурные… Были домики избяного типа, из узловатой сосны… Мы научились презирать простые кабинки из беленых досок, пропитанные слабым запахом нечистот…[24] *Nous connûmes* – (эта игра чертовски забавна) – их претендующие на заманчивость примелькавшиеся названия – все эти “Закаты”, “Перекаты”, “Чудодворы”, “Красноборы”, “Красногоры”, “Просторы”, “Зеленые Десятины”, “Мотели-Мотыльки”… Ванные в этих кабинках бывали чаще всего представлены кафельными душами, снабженными бесконечным разнообразием прыщущих струй[25].

Людей повествователь также распределяет на группы:

> *Nous connûmes* разнородных мотельщиков – исправившегося преступника или неудачника-дельца, среди директоров, а среди директрис – полублагородную даму или бывшую бандершу… Нам стал знаком странный человеческий придорожник, “Гитчгайкер”… и его многие подвиды и разновидности: скромный солдатик, одетый с иголочки, спокойно стоящий, спокойно сознающий прогонную выгоду защитного цвета формы; школьник, желающий проехать два квартала; убийца, желающий проехать две тысячи миль; таинственный, нервный, пожилой господин, с новеньким чемоданом и подстриженными усиками; тройка оптимистических мексиканцев; студент, выставляющий на показ следы каникульной черной работы столь же гордо, как имя знаменитого университета… бескровные, чеканно очерченные лица, глянцевитые волосы и бегающие глаза молодых негодяев в крикливых одеждах,

> энергично, чуть ли не приапически выставляющих напряженный большой палец, чтобы соблазнить одинокую женщину или сумрачного коммивояжера, страдающего прихотливым извращением[26].

И если “Лолита” – роман не об Америке середины XX века, то о чем же еще? Ответу на этот вопрос посвящен целый корпус исследований, начиная с *Escape into Aesthetics: The Art of Vladimir Nabokov* (“Уход в эстетику: творчество Владимира Набокова”, 1966) Пейджа Стегнера и заканчивая сотнями книг и тысячами научных статей. Несмотря на это, читатели продолжают воспринимать роман буквально. Обнаружив список типов американцев, полагают, будто кого-то или что-то узнали. Набоков на удивление точно использует сленговые словечки (ср. в приведенном выше абзаце выражения вроде *“business flop”*, которое Набоков переводит на русский как “делец-неудачник”, *“spic and span”* – “одетый с иголочки”, *“brandnew”* – “новенький”, *“sadsack”* – “сумрачный” и т. п.). Набоков так подробно описывает быт середины прошлого века, что американскому читателю кажется, будто он видел все это своими глазами, даже если родился гораздо позже:

> Это к ней [Лолите] обращались рекламы, это она была идеальным потребителем, субъектом и объектом каждого подлого плаката. Она пыталась… обедать только там, где святой дух некоего Дункана Гайса, автора гастрономического гида, сошел на фасонисто разрисованные бумажные салфеточки и на салаты, увенчанные творогом[27].

> Я, признаться, не совсем был готов к ее припадкам безалаберной хандры или того нарочитого нытья, когда вся расслабленная, расхристанная, с мутными глазами, она предавалась бессмысленному и беспредметному кривлянию, видя в этом какое-то самоутверждение в мальчишеском, цинично-озорном духе[28].

Независимо от встречающихся в романе аллюзий[29] – ссылок или пародий на По, Данте, Достоевского, Льюиса Кэрролла, Фрейда, Бодлера, Флобера, Т. С. Элиота, Честера Гулда с его комиксами “Дик Трейси”, на “Тристрама Шенди”, “Доктора Джекила и мистера Хайда”, “Дон Кихота” и Джона Китса, на Ганса Христиана Андерсена, Пруста, братьев Гримм, Шекспира, Мериме, Мелвилла, Бэкона, Пьера Ронсара, лепидоптерологию и литературу, созданную под псевдонимами; на Обри Бердслея,

Шерлока Холмса, Катулла, лорда Байрона, Гете, Рембо, Браунинга, самого Набокова, – основная фабула похищения и побега, сексуального насилия над ребенком логически развивается на фоне изображенной во всех подробностях американской действительности. Сам по себе этот роман – пародия. Гумберт Гумберт пародирует сентиментальный роман-исповедь начала века[30], повествующий о несчастной любви, которая становится для героя наваждением. Талантливый исследователь Альфред Аппель-младший писал, что пародия у Набокова оказывается столь же трагичной, сколь и смешной: “Лолита” – пародия… в которой заключено истинное страдание”[31], – пишет Аппель. В романе есть и то и другое, он “погружает читателя в глубоко трогательную, но при этом невероятно смешную историю, исключительно правдоподобную, – но при этом и в игру, возможную благодаря переплетениям вербальных аллегорий, на которых держится реалистичная канва романа и которые увлекают читателя в глубь повествования, прочь от пестрой обертки”[32].

Однако многие читатели не чувствуют этой дистанции. Американцы или нет, они узнают в тексте Америку, которую знают – или думают, что знают. Смутно понимая намеки повествователя, пропуская редко встречающиеся французские выражения (*frétillement*[43], *grues*[44], *pose un lapin*[45], *arrière-pensée*[46] и пр.), чуя авторский солипсизм – история об извращенце, который интересуется исключительно самим собой, но все равно вызывает симпатию, в некотором смысле помогает Набокову ответить на какие-то свои, глубоко личные вопросы, – публика тем не менее читает роман до конца. Гумберт Гумберт слишком забавен, чтобы быть невыносимым[33]. То, что он проделывает с девочкой, омерзительно, но его влечение к нимфеткам описано на удивление убедительно, по крайней мере в первых главах. Кроме того, сам по себе роман увлекателен. Любителями детективов и триллеров в духе Альфреда Хичкока[34], который примерно в те же годы снял “Ребекку” (1940), “Подозрение” (1941) и “Дурную славу” (1946), движет то же, что и читателями “Лолиты”, – неуемное желание докопаться до сути, выяснить все до конца. “Вербальные аллегории, на которых держится реалистичная канва романа”, для ученого, склонного рассматривать явления с точки зрения онтологии, значит одно, для читателя же, который вместе с Гумбертом чует, что здесь что-то не так, что кто-то дурачит несчастного педофила, это значит совсем другое.

Разумеется, это книга о Европе – в образе сноба-извращенца, который насилует ребенка, символизирующего Америку. Набоков

стремился изобразить обыденность как можно интереснее: он хотел продемонстрировать, что реальность на первый взгляд настолько упорядоченна35, условна, консервативна и чопорна, что, если проникнуть в нее сквозь черный ход в темном переулке, расположенный под жуткой табличкой с надписью “ИЗНАСИЛОВАНИЕ МАЛОЛЕТНИХ”, эффект получится поразительный. После того как “Лолита” вышла в США (через три года после публикации в Европе), ее попытались запретить; пытаются и по сей день. Кампании против педофилии в Америке 1980–1990-х годов – это нечто вроде современной охоты на ведьм, они свидетельствуют о том, что тема эта по сей день вызывает бурный отклик. Набоков почувствовал, что тема задевает за живое, или же выбрал ее наугад – и попал точно в цель. Нужно искренне верить в то (чего, пожалуй, в наши дни практически не бывает), что один-единственный роман способен так сильно повлиять на культуру, поведать о ее потаенных страхах и желаниях, самых порочных ее фантазиях, чтобы утверждать, что “Лолита” помогла переосмыслить тему сексуального насилия: именно благодаря этому произведению оно воспринимается как убийство, как жестокое преступление. Разумеется, американцы и без “Лолиты” решили бы, как следует относиться к насилию над детьми, однако именно “Лолита” перевела проблему из абстрактной плоскости в конкретную: детства лишили не кого-то, а именно эту девочку, Долорес Гейз, и каждый день ее насиловал не какой-то абстрактный злодей, а вот этот вот умный и красивый иностранец по имени Гумберт Гумберт.

Глава 13

Незадолго до того, как Лолита наконец сбегает, придумав вместе с Куильти (повествователь называет его “зверем”) хитроумный план, Гумберта Гумберта охватывает паранойя – “мания преследования”1, по словам героя. Однако перед тем как сбываются самые дурные его предчувствия, мания чуть ослабевает:

> В конце концов, господа, становилось достаточно ясно, что все эти идентичные детективы в призматически-меняющихся автомобилях были порождением моей мании преследования, повторными видениями, основанными на совпадениях и случайном сходстве. *Soyons logiques*, кукарекала и петушилась галльская часть моего рассудка, прогоняя всякую мысль, что какой-нибудь очарованный Лолитой коммивояжер или гангстер из кинокомедии и его приспешники травят меня, надувают меня и разными другими уморительными способами пользуются моим странным положением перед законом2.

Лолита и Гумберт Гумберт приезжают в Эльфинстон, городок в горах в одном из западных штатов. Предыдущие дни были сущим кошмаром. Гумберт, помимо прочих неприятностей, перенес сердечный приступ: он чувствовал, что это путешествие обернется крахом всех его надежд. Он вот-вот постигнет нечто важное для себя. Это осознание сопровождает провал его замысла удерживать нимфетку в рабстве, продолжать ее насиловать. Пожалуй, мало что в романе вызывает такое отвращение, как эти рассуждения Гумберта Гумберта:

> …признаюсь… я переходил в течение того же дня от одного полюса сумасшествия к другому – от мысли, что около 1950-го года мне придется тем или иным способом отделаться от трудного подростка, чье волшебное нимфетство к тому времени испарится, – к мысли, что при некотором прилежании и везении мне, может быть, удастся в недалеком будущем произвести изящнейшую нимфетку с моей кровью в жилах, Лолиту Вторую, которой было бы восемь или девять лет в 1960-м году, когда я еще был бы *dans la force de l’âge*; больше скажу – у подзорной трубы моего ума или безумия, хватало силы

> различить в отдалении… слюнявого д-ра Гумберта, упражняющегося на бесконечно прелестной Лолите Третьей в “искусстве быть дедом”3.

Гумберт Гумберт вроде бы шутит, не так ли? Но в каждой шутке есть доля правды, и в определенном настроении мечты его чудовищны. “Сонная” обширная Америка пробуждает в его душе желание абсолютного контроля: возомнив себя богом, Гумберт Гумберт даже грезит о том, как зачнет новых рабынь. Простор земель рождает прометеевские замыслы. История рабства в Америке печальна: одно из самых талантливых и убедительных произведений о расизме и мономании – девятый роман Фолкнера “Авессалом, Авессалом!” (1936). Некоторые считают, что это самый сильный его роман. Набоков нигде не упоминает о книге Фолкнера, однако история сумасшедшего деспота, лелеющего на фоне исторической катастрофы мечты о кровосмешении, очень похожа на мечты Гумберта Гумберта. (Высокая южная готика, несомненно, вызвала бы у Набокова насмешку: как известно, Фолкнера он в грош не ставил.)

В 1951 году Гумберт Гумберт оказывается в Теллуриде, что в нескольких милях от вымышленного Эльфинстона. Именно там после побега Лолиты на героя снисходит откровение:

> Как-то раз, вскоре после ее исчезновения, приступ отвратительной тошноты заставил меня оставить машину на старой, полузаросшей горной дороге, которая то сопровождала, то пересекала новенькое шоссе… После судорог рвоты, вывернувшей меня наизнанку, я сел отдохнуть на валун, а затем, думая, что свежий горный воздух мне пойдет впрок, прошел несколько шагов по направлению к низкому каменному парапету на стремнинной стороне шоссе4.

В письме к Уилсону Набоков описывает, как это место выглядело на самом деле:

> Я поехал в Теллурид (дороги отвратительные, но совершенно очаровательный старомодный горнопромышленный городок, ни одного туриста, люди очень приветливы, и когда отсюда, с высоты в 9000–10000 футов, поднимаешься на гору, городок с его жестяными крышами и стыдливыми тополями лежит, словно игрушечный, на дне ровной глухой долины, простирающейся до высоких гранитных гор, и слышны лишь голоса играющей внизу детворы…)5.

Некогда Дон Столлингс, друг-энтомолог Набокова, удачно поохотился на бабочек в окрестностях Теллурида, и Набокову тоже повезло:

> Моя героическая жена… отвезла меня сквозь все наводнения и бури Канзаса, чтобы я добыл еще несколько экземпляров того вида, которого описал восемь самцов, и поймал наконец самку. В этом я преуспел и нашел искомое на крутогоре высоко над Теллуридом – какой-то заколдованный склон, где в высоких зеленых стеблях горечавки, растущих среди групп лиловых люпинов, *Lupinus parviflorus*, снуют колибри и жужжат мотыльки[6].

Гумберт, опершись на парапет, смотрит в пропасть:

> Мелкие кузнечики прыскали из сухого придорожного бурьяна. Легчайшее облако как бы раскрывало объятия[7], постепенно близясь к более основательной туче, принадлежавшей к другой, косной, лазурью полузатопленной системе. Когда я подошел к ласковой пропасти, до меня донеслось оттуда мелодическое сочетание звуков, поднимавшееся, как пар, над горнопромышленным городком, который лежал у моих ног в складке долины. Можно было разглядеть геометрию улиц между квадратами красных и серых крыш, и зеленые дымки деревьев, и змеистую речку… а за всем этим – лесистые громады гор[8].

Здесь на Гумберта Гумберта снисходит откровение: именно голоса играющих внизу детей вносят гармонию в этот вид. У героя болит сердце (причем как в прямом, так и в переносном смысле), но сейчас он жалеет не о себе: Гумберт Гумберт сокрушается не о том, что потерял рабыню, а о том, что с нею сделал. Голоса детей кажутся ему “дивно загадочными”[9], и от того чудовища, которое мечтало зачать с помощью пленницы новых рабов, не остается и следа – конечно, если в это можно поверить.

“Крутогор высоко над Теллуридом”, вид на шахтерский городок

Упоминание о божественной гармонии, несвойственное произведениям Набокова, заставляют вспомнить о другой традиции. Писатель едва ли согласился бы с утверждением Эмерсона о том, что “каждое явление природы есть символ проявления духа”10, однако Гумберт оплакивает бегство Лолиты, он страдает, сердце его разбито, и здесь, над этим земным раем, утопающим в музыке детских голосов, он смягчается, переживает по-настоящему трансцендентные мгновения истинной любви к миру и ближнему – трансцендентные в том смысле, что через временное, изменчивое, мирское повествователь постигает идеи, принадлежащие к сфере вечных ценностей, к сфере совершенства. Гумберту Гумберту удается ненадолго соприкоснуться с этой сферой, после чего он покидает зачарованный холм и повествование устремляется к трагической развязке.

Путешествия Набокова в 1951 и 1952 годах (и в меньшей степени в 1953-м), когда он неделями мог заниматься любимым делом – ловить бабочек, воистину золотое время для писателя. Он был женат на женщине, которую любил и которая любила его, сын радовал родителей успехами, демонстрировал незаурядные таланты11 (как певца, так и полемиста), а “олдсмобиль” готов был в любую минуту умчать их в путешествие по дорогам Америки. Это блаженное время, когда Набокову жилось счастливо и

спокойно, – тоже часть истории создания “Лолиты”. Он не рождал шедевр в муках где-нибудь на чердаке: перед нами семейный человек, такой же, как вы да я, который с удовольствием обедает где-нибудь в закусочной.

Однако оставим пока за скобками это спорное утверждение. Путешествие, описанное в “Лолите”, по типичной Америке – которая зачастую показана с пошлой, вульгарной стороны, с ее дешевым уютом (на фоне загадочных лугов и гор), – преображает эти места. Однако эта трансформация лишь углубляет их самобытность. Реальность, образ которой Набоков представляет читателю, полна глубокого смысла и тайн, как лес вокруг городка в первом гениальном американском рассказе, новелле “Молодой Браун” Натаниэля Готорна, лес коварный, кишащий демонами, мрачная чаща которого рождает греховные помыслы и черные подозрения (хотя, быть может, все это иллюзия и герою новеллы происходившее только снится). Истории о зле и поруганной невинности12 не так уж редки в американской литературе, впрочем, как и о вере, которая искажает действительность. То мрачное, загадочное нечто, которое Набокову удалось описать, ощущали и другие писатели.

К удовольствию от летнего отдыха, о котором Набоков пишет друзьям, примешивались и заботы. Дмитрию вскоре предстояло поступать в колледж. Набоков писал Гарри Левину, преподавателю из Гарварда:

> Хочу спросить вашего совета. Дмитрий мечтает о вашем университете. Сейчас он учится в предпоследнем классе, так что вскоре будет поступать… весной 1951 года. Кажется, отцы начинают делать *démarches*[47] с конца этого учебного года. Буду очень благодарен вам за совет, как лучше к этому подступиться13.

Левину просьба Набокова (сама по себе *démarche)* не показалась странной. Он ответил:

> Всегда рад читать ваше ежегодное письмо. И рад, если Дмитрий – который нам очень понравился, когда мы прошлой осенью видели его, уже такого взрослого, – вскоре будет учиться в Гарварде. Его двоюродный брат Иван, тоже умный и милый мальчик, учится у меня в одной из групп на первом курсе… По поводу поступления Мити лучше обратиться к доктору Ричарду М. Гаммеру, председателю приемной комиссии… Если понадобятся какие-либо рекомендации, я с удовольствием их предоставлю14.

Вот так в Америке делались дела! Дмитрия приняли в Гарвард, хотя и без стипендии. Набоков писал Роману Гринбергу, который часто одалживал ему крупные суммы, о своих тревогах:

> Скажу тебе совершенно откровенно. Меня прямо-таки изнуряет мысль, что в нужный срок не добуду стоимости его гарвардского обучения. Я сейчас послал рассказ Нью-Йоркеру, и если они возьмут… то как раз хватит заплатить десятого декабря около пятисот <долларов> за его учение, и нам самим выгрести из ила, в котором застряли. Но если не продам, то хотя бы за частью этой суммы обращусь к тебе[15].

В журнале рассказ взяли (это был “Ланс”, последний и один из лучших рассказов Набокова)[16]: там среди прочего говорится о том, как родители боятся за сына, отважного молодого человека, который лазит по горам и путешествует на другие планеты. Гарольд Росс, главный редактор *New Yorker,* сетовал, что не понимает, о чем это вообще[17], но Кэтрин Уайт рассказ отстояла, и тот все-таки вышел, хотя и после скоропостижной смерти Росса.

Путешествия на запад помогали Набокову восстановить силы, но и требовали немалых затрат[18]. Да, он мог заниматься любимым делом, которое, однако, почти не приносило денег, и с годами писатель стал замечать, что летом испытывает особое беспокойство по поводу финансового состояния[19]. Ему нравилось в Корнелле, но постепенно у Набокова сложилось ощущение, что ему недоплачивают. Он просил аванс в счет жалованья и начал искать другую работу[20] – в Гарварде, университете Джонса Хопкинса и Стэнфорде. “Память, говори”, которая продавалась не очень хорошо, “уже принесла мне 13–14 тысяч” за счет журнальных публикаций отрывков из романа, писал Набоков Гринбергу, однако признавался, что не рассчитывает на публикации фрагментов из нового романа: слишком уж он скандальный. Да и все равно деньги за публикации “давным-давно потрачены”[21].

В пятидесятых годах XX века Набокову было пятьдесят. На верхней и нижней челюсти у него уже стояли зубные протезы. В мае 1950 года он писал Уилсону:

> В Бостон должен ехать, чтобы вырвать шесть нижних зубов. План у меня следующий: в Бостон еду в воскресенье 28-го, в понедельник, вторник и, возможно, в четверг (31-го) хриплю у дантиста… затем, беззубый, тащусь обратно в Итаку[22].

Обычно, возвращаясь после отпуска, Набоков светился здоровьем, но не в этот год. Вернувшись с Запада, в сентябре 1951 года он пишет Уилсону:

> Я болен. Врачи говорят, что у меня нечто вроде солнечного удара. Ситуация идиотская: два месяца изо дня в день карабкаться по горам в Роки-маунтинз, без рубашки, в одних шортах – и рухнуть под вялыми лучами нью-йоркского солнца на подстриженном газоне. Высокая температура, боль в висках, бессонница и нескончаемый, великолепный и совершенно образцовый беспорядок в мыслях и фантазиях[23].

Он часто жаловался на плохой сон[24], так что у них с Верой были отдельные спальни, к тому же Набоков мог среди ночи проснуться и писать или просто ходить по комнате. Он существовал в условиях постоянного сильного стресса, причем во многом стресс этот был спровоцирован им самим, мыслями о том, что нужно непременно писать, сейчас же, сию минуту. У него сложилась своя читательская аудитория, в основном благодаря журналу *New Yorker*. Набоков признавался Уилсону: “Безумный энтузиазм, коим преисполнены письма ко мне частных лиц, до смешного несопоставим с полным отсутствием интереса, который проявляют к моим книгам мои глупые и неумелые издатели”[25]. А ведь можно было опубликовать великое произведение и добиться оглушительного успеха. В 1951 году Набоков стал свидетелем головокружительного взлета другого автора журнала *New Yorker*, Дж. Д. Сэлинджера[26], который в 1946 году опубликовал рассказ “Легкий бунт на Мэдисон-авеню”, где впервые появился персонаж по имени Холден Колфилд. Сэлинджер – один из немногих писателей-современников Набокова, о ком тот не отзывался с презрением. Рассказы Сэлинджера, выходившие во многих журналах, обнаруживают интерес писателя к теме юности и юношеских увлечений, внимание к молодым людям, очарованным девушками, которые моложе их[27]. Помимо прочих особенностей стиля Сэлинджера, Набокову могли импонировать банальные фабулы с неожиданной концовкой и оригинальные рассуждения. Сэлинджер, как и Набоков, сознательно использует сленг[28]. Оба автора берутся за скользкую тему секса и подростковой сексуальности[29].

Американские произведения Набокова выходили в печати в те же годы, что и рассказы Сэлинджера. Одиннадцать глав книги “Память, говори” были опубликованы в журнале *New Yorker* в 1948–1950 годах, тогда же, когда и “Хорошо ловится рыбка-бананка”, “Лапа-растяпа”, “Перед самой войной с эскимосами” и

“Дорогой Эсме – с любовью и всякой мерзостью” – рассказы, принесшие славу Сэлинджеру. В 1948 году журнал предложил Сэлинджеру, как Набокову в 1944 году, контракт на право преимущественного приобретения произведений[30]. Сэлинджер писал “Над пропастью во ржи” несколько лет, как и Набоков “Лолиту”[31]. Создается ощущение, будто обе книги смутно перекликаются. И там и там создан образ Америки, в которой рассказ о юных чаровницах представляется совершенно необходимым: ведь это ключ к пониманию действительности.

Холден обожает свою младшую сестренку Фиби и всячески заботится о ней:

> Ушки у нее маленькие, красивые. А зимой ей отпускают волосы. Иногда мама их заплетает, иногда нет, и все равно красиво. Ей всего десять лет. Она худая вроде меня, но очень складная. Худенькая, как раз для коньков. Один раз я смотрел в окно, как она переходила через улицу в парк, и подумал – как раз для коньков, тоненькая, легкая. Вам бы она понравилась. Понимаете, ей что-нибудь скажешь, и она сразу соображает, про что ты говоришь[32].

Интонации Колфилда задают стиль и определяют суть произведения, как и в случае с Гумбертом в “Лолите”. Последний, кроме всего прочего, привлекателен еще и тем, что описывает людей, не стесняя себя правилами приличия или какими бы то ни было ограничениями. Холден тоже довольно-таки жестко, хотя и забавно, отзывается о других людях, в основном о взрослых. Исследователям так и не удалось отыскать в тексте “Лолиты” пародии на “Над пропастью во ржи”, но то и дело запинающийся, полный самокопания и нравственных колебаний рассказ Холдена – кажется, будто герой пытается уговорить самого себя, утишить страх перед сексом, – похож на перевернутую с ног на дурную голову сексуальную ненасытность Гумберта:

> Правда, она немножко слишком привязчива. Чересчур все переживает, не по-детски. Это правда. А потом она все время пишет книжки. Только она их никогда не подписывает. Там все про девочку по имени Гизела Уэзерфилд, только наша Фиби пишет “Кисела”. Эта самая Кисела Уэзерфилд – девушка-сыщик. Она как будто сирота, но откуда-то появляется ее отец. А отец у нее “высокий привлекательный джентльмен лет двадцати”. Обалдеть можно! Да, наша Фиби. Честное слово, она бы вам понравилась[33].

Холден раньше времени возвращается из школы и тайком пробирается в комнату Фиби. Оказывается, Фиби играет в школьной пьесе, совсем как Лолита Гейз. Не правда ли, фамилия “Гейз” так похожа на “Гизелу”, альтер эго Фиби, девочку-сироту, у которой есть отец, “высокий привлекательный джентльмен”. В целом же эта невинная сцена в детской представляет собой инверсию отнюдь не невинной сцены в номере “Зачарованных Охотников” и свидетельствует о том, что Набоков читал Сэлинджера или каким-то образом попал под влияние его романа.

Вот Холден любуется спящей сестренкой:

> Она крепко спала, подвернув уголок подушки. И рот приоткрыла. Странная штука: если взрослые спят открыв рот, у них вид противный, а у ребятишек – нисколько. С ребятишками все по-другому. Даже если у них слюнки текут во сне – и то на них смотреть не противно[34].

А вот Гумберт Гумберт пожирает глазами нимфетку:

> Одетая в одну из своих старых ночных сорочек, моя Лолита лежала на боку, спиной ко мне, посредине двуспальной постели. Ее сквозящее через легкую ткань тело и голые члены образовали короткий зигзаг. Она положила под голову обе подушки – и свою и мою; кудри были растрепаны; полоса бледного света пересекала ее верхние позвонки[35].

Он дал ей снотворное, но оно оказалось недостаточно сильным:

> Вся затея с пилюлькой-люлькой (подловатое дело, *entre nous soit dit*) имела целью навеять сон, столь крепкий, что его целый полк не мог бы прошибить, а вот, подите же, она вперилась в меня, и с трудом ворочая языком, называла меня Варварой! Мнимая Варвара, одетая в пижаму, чересчур для нее тесную, замерла, повисая над бормочущей девочкой. Медленно, с каким-то безнадежным вздохом, Долли отвернулась, приняв свое первоначальное положение[36].

Вскоре после этого Гумберт Гумберт проделывает с Долли такое, о чем ранимому и чуткому Холдену было бы даже противно услышать или подумать. И для одного, и для другого определенный период детства – нимфетство для Гумберта, а для

Холдена те годы, когда ребенок “выдает такое, что просто умора”, – залит ослепительным светом. Если говорить о духе времени, то Сэлинджер и Набоков уловили и воплотили его в своих произведениях – разумеется, каждый на свой лад.

Сэлинджер саркастически описывает Пэнси, закрытую среднюю школу, в которой учится Холден. Набоков, который даже во время работы над “Лолитой” придумывал идеи для новых книг, взял на заметку, что в задуманном им втором томе автобиографии надо будет упомянуть о школе святого Марка[37], где когда-то учился Дмитрий. “Лолита” потихоньку продвигалась, и Набоков подал в фонд Гуггенхайма заявку на грант, чтобы перевести “Евгения Онегина”. Перевод с научными комментариями[38] займет чуть больше года: так он сказал сотруднику фонда Генри Мо.

Друг Набокова Михаил Карпович, который жил на ферме в Вермонте, где в изобилии водились лишь скунсы да мошкара, собирался ненадолго уехать и попросил Набокова весной 1952 года подменить его в Гарварде. В Кембридже Набоковы снимали дом у мемуаристки Мэй Сартон[39], которая впоследствии вспоминала, что они заботились о ее старом больном коте, а еще перебили массу посуды. Вера посещала лекции, на которые Дмитрий тоже был записан, и расстраивалась, видя, что он частенько опаздывает, а то и вовсе прогуливает занятия[40].

Набоков впервые прочитал “Онегина” лет в девять или десять[41]. Вся современная русская литература “вышла из шинели Гоголя”, однако бытует мнение, что все же из дула дуэльного пистолета Пушкина. Набоков не сомневался в том, что необходимо перевести бессмертный роман в стихах[42] на английский: так американский читатель сможет лучше узнать русскую литературу, проникнуться русским духом. Уже в Гарварде Набоков узнал, что фонд Гуггенхайма одобрил заявку на грант. Следовательно, он мог пропустить второй семестр в Корнелле (весной 1953 года) и посвятить себя углубленным исследованиям социального и литературного контекста произведения Пушкина.

“В душе педант”[43], как называл себя Набоков, он старался, чтобы исследование было максимально глубоким. “Два месяца в Кембридже я только и делал (с девяти утра до двух часов дня), что писал комментарии к «Е. О.», – пишет он Уилсону. – Гарвардские библиотеки превосходны”[44]. История Онегина, пресыщенного русского дворянина 1820-х годов, который уезжает в деревню, где заводит дружбу с юным поэтом (впрочем, весьма среднего дарования) Ленским и впоследствии убивает его на

дуэли, для Набокова, как для любого русского человека, была новым словом в литературе с точки зрения поэтического мастерства, остроумия и оригинальности. И до Онегина в литературе встречались персонажи, державшие себя “небрежно и лениво”[45] (так впервые названо это поведение у Шекспира в “Короле Лире”), однако Онегин доводит эту манеру до совершенства. Набоков полагал, что и эта манера, и сам образ Онегина взят из книг, которые читал герой (того же Байрона).

Героиня романа Татьяна влюбляется в Онегина и пишет ему искреннее и страстное письмо. Вот как Набоков переводит это на английский:

> *’Tis now, I know, within your will*
> *to punish me with scorn.*
> *But you, for my unhappy lot*
> *keeping at least one drop of pity,*
> *you’ll not abandon me.*
> *At first, I wanted to be silent;*
> *believe me: of my shame*
> *you never would have known*
> *if I had had the hope,*
> *even seldom, even once a week,*
> *to see you at our country place,*
> *only to hear your speeches,*
> *to say a word to you, and then*
> *to think and think about one thing,*
> *both day and night, till a new meeting*[46].

В оригинале у Пушкина:

> Теперь, я знаю, в вашей воле
> Меня презреньем наказать.
> Но вы, к моей несчастной доле
> Хоть каплю жалости храня,
> Вы не оставите меня.
> Сначала я молчать хотела;
> Поверьте: моего стыда
> Вы не узнали б никогда,
> Когда б надежду я имела
> Хоть редко, хоть в неделю раз
> В деревне нашей видеть вас,
> Чтоб только слышать ваши речи,
> Вам слово молвить, а потом
> Все думать, думать об одном

И день и ночь до новой встречи.

Пресыщенный светский лев Онегин отказывает Татьяне – не грубо, но все-таки отказывает. Как муж он был бы “нахмурен, молчалив, сердит и холодно-ревнив”. Пушкин, который называет Онегина добрым своим приятелем, объясняет, что тот “не создан для блаженства” – он рано охладел ко всему.

У Набокова:

him does the snake of memories
him does repentance bite.
All this often imparts
great chart to conversation.
At first, Onegin's language
would trouble me; but I grew used
to his sarcastic argument
and banter bent halfwise with bile
and virulence of gloomy epigrams[47].

В оригинале у Пушкина:

Кто жил и мыслил, тот не может
В душе не презирать людей.
Кто чувствовал, того тревожит
Призрак невозвратимых дней:
Тому уж нет очарований,
Того змия воспоминаний,
Того раскаянье грызет.
Все это часто придает
Большую прелесть разговору.
Сперва Онегина язык
Меня смущал; но я привык
К его язвительному спору,
И к шутке, с желчью пополам,
И к злости мрачных эпиграмм.

Онегин так разочарован во всем, что, несмотря на молодость, бросает чтение. И если раньше его можно было назвать педантом, который знал Ювенала, Вергилия, читал “Паломничество Чайлд-Гарольда” и Руссо и мог ввернуть в разговор цитаты из этих авторов, то теперь, в глуши сельского уединения, он покупает книги, но

without avail:
here there was dullness; there, deceit and raving;
this lacked conscience, that lacked sense;
on all of them were different fetters;
and the old had become old-fashioned,
and the new raved about the old.
As he'd left women, he left books[48].

У Пушкина:

Отрядом книг уставил полку,
Читал, читал, а все без толку:
Там скука, там обман иль бред;
В том совести, в том смысла нет;
На всех различные вериги;
И устарела старина,
И старым бредит новизна.
Как женщин, он оставил книги…

Пушкин и сам был страстным книгочеем. Научный труд, проделанный Набоковым, – более тысячи страниц комментариев ко всему, от первого слова французского эпиграфа к роману в стихах (*Pétri*, что значит "состоящий из чего-либо", "погрязший в чем-либо") до подробного рассуждения, какого именно оттенка был берет Татьяны[49] ("малиновый" у Пушкина), – демонстрирует упоение словами, упоение исследованием, упоение задачей докопаться до сути каждой пушкинской мысли или фразы. В ту пору русской поэзии было менее века[50], объясняет Набоков, и новая литература выросла на заимствованиях – в основном из французской литературы, но также и из английской, немецкой, итальянской и классической античной.

Слово *"Pétri"* встречается в эпиграфе, который Пушкин придумал, как многие другие[51]. Набоков пишет:

> Мысль снабдить легковесное повествование философским эпиграфом заимствована, очевидно, у Байрона. Для двух первых песен книги "Паломничество Чайльд-Гарольда"… Байрон послал [издателю] эпиграф, начинающийся: "Мир подобен книге, в которой прочитана лишь первая страница" и т. д. из "Космополита" Луи Шарля Фужере де Монброна.
>
> Туманный эпиграф был в большой чести у английских писателей; он имел целью вызвать

сокровенные ассоциации; и, конечно, Вальтер Скотт памятен как наиболее искусный сочинитель таких эпиграфов[52].

Язык Пушкина, как и язык многих других поэтов, которых он пародирует, хвалит, так или иначе упоминает, изобилует галлицизмами. Французский язык был настолько широко распространен в дворянской среде, что даже Татьяна, дочь захолустного помещика, сочиняет любовное письмо именно по-французски. Язык признаний нежных она усвоила не из жизни, а из книг. Так что когда Татьяна (в переводе Набокова) пишет Онегину:

Why did you visit us?
In the backwoods of a forgotten village,
I would have never known you
Nor have known bitter torment.
The tumult of an inexperienced soul
Having subdued with time (who knows?),
I would have found a friend after my heart,
Have been a faithful wife
And a virtuous mother[53].

У Пушкина:

Зачем вы посетили нас?
В глуши забытого селенья
Я б никогда не знала вас,
Не знала горького мученья.
Души неопытной волненья
Смирив со временем (как знать?),
По сердцу я нашла бы друга,
Была бы верная супруга
И добродетельная мать.

– она, сама того не сознавая, следует литературным шаблонам того времени, где фраза “души неопытной волненья” – избитый оборот. Она могла бы встретить другого, но не полюбить. “Другой!” – восклицает Татьяна:

No, to nobody [else] on earth
would I have given my heart away!
That has been destined in a higher council,

that is the will of heaven: I am thine;
my entire life has been the gage of a sure tryst with you;
I know, you're sent to me by God[54].

У Пушкина:

Другой!.. Нет, никому на свете
Не отдала бы сердца я!
То в вышнем суждено совете…
То воля неба: я твоя;
Вся жизнь моя была залогом
Свиданья верного с тобой;
Я знаю, ты мне послан богом…

Татьяна – или Пушкин – повторяет распространенную формулировку романтических сочинений того времени[55]: взять, к примеру, элегию "Любовь" Шенье (строка "Другой! Но нет, я не могу…") или "Абидосскую невесту" Байрона ("И в дом тебя к другому шлю. /Другому!")[48].

Через год после письма Татьяны, после того как Онегин убил Ленского на дуэли и уехал странствовать, Татьяна однажды оказывается дома у Онегина, где ныне уже никто не живет. В пустынных комнатах она находит книги, которые он некогда читал, с пометками ("черты его карандаша"[56]):

And by degrees begins
my Tatiana to understand
more clearly now – thank God —
the one for whom to sigh
she's sentenced by imperious fate.
A sad and dangerous eccentric,
creature of hell or heaven,
this angel, this arrogant fiend,
who's he then? Can it be – an imitation,
an insignificant phantasm, or else
a Muscovite in Harold's mantle,
a glossary of other people's megrims,
a complete lexicon of words in vogue?…
Might he not be, in fact, a parody?[57]

У Пушкина:

И начинает понемногу
Моя Татьяна понимать
Теперь яснее – слава богу —
Того, по ком она вздыхать
Осуждена судьбою властной:
Чудак печальный и опасный,
Созданье ада иль небес,
Сей ангел, сей надменный бес,
Что ж он? Ужели подражанье,
Ничтожный призрак, иль еще
Москвич в Гарольдовом плаще,
Чужих причуд истолкованье,
Слов модных полный лексикон?..
Уж не пародия ли он?

В прелестном пространном комментарии Набоков поясняет:

> В этом месте напомним читателю о том чарующем впечатлении, которое произвел в 1820-е годы Байрон на континентальные умы. Его образ был романтическим двойником Наполеона, “человека судьбы”, которого неведомая сила вознесла на недостижимый предел мирового господства. Образ Байрона воспринимался как образ мятущегося духа, блуждающего в постоянных поисках прибежища по ту сторону заоблачных далей[58].

Получается, возлюбленный Татьяны – не более чем пародия. Однако это не способно заставить ее разлюбить:

Tatiana with soft-melting gaze
around her looks at all,
and all to her seems priceless,
all vivifies her dolent soul
with a half-painful joyance[59].

У Пушкина:

Татьяна взором умиленным
Вокруг себя на все глядит,
И все ей кажется бесценным,
Все душу томную живит
Полумучительной отрадой…

В комнате Онегина есть портрет Байрона, и даже “кукла чугунная” – статуэтка человека “под шляпой с пасмурным челом, с руками, сжатыми крестом” (скорее всего, вдохновленная портретом кисти Томаса Филлипса 1813 года[60], на которой Байрон изображен в албанском народном костюме).

Перевод и комментарии к “Онегину” заняли у Набокова не один год, а целых семь. Он отдался работе с той же страстью, с какой коллекционировал и описывал бабочек, призвал на помощь все свои познания в филологии, вступил в полемику с поколениями пушкинистов, точно так же, как во время работы в музее он поддерживал или осуждал коллег-энтомологов, соглашался с их предположениями или отвергал их. Комментарий его представляет пародию на самого себя: он написан одновременно и в стилистике Набокова, и других ученых-эмигрантов того времени, в частности Лео Спитцера и Эриха Ауэрбаха[61]. Набоков неутомимо пытается докопаться до самой сути, прочесть все, что читал или мог читать Пушкин и его персонажи, в оригинале или переводах того времени.

Комментарий, как и роман, во многом перекликается с “Лолитой”. “Онегин”, как и роман Набокова, история о безответной любви и судьбе, которая чинит препятствия на ее пути. Онегин бережнее отнесся к признанию Татьяны, которое она сделала в шаблонном, однако искреннем письме, нежели постоялец Шарлотты Гейз в Рамздэле, которому она так искренне и безыскусно объясняется в любви:

Это – признание: я люблю вас… На днях, в воскресенье, во время службы… когда я спросила Господа Бога, что мне делать, мне было сказано поступить так, как поступаю теперь. Другого исхода нет. Я люблю вас с первой минуты, как увидела вас. Я страстная и одинокая женщина, и вы любовь моей жизни. А теперь, мой дорогой, мой самый дорогой, *mon cher, cher Monsieur*, вы это прочли; вы теперь знаете. Посему, попрошу вас, пожалуйста, немедленно уложить вещи и отбыть. Это вам приказывает квартирная хозяйка. Уезжайте! Вон! *Départez*! Я вернусь к вечеру, если буду делать восемьдесят миль в час туда и обратно – без крушения (впрочем, кому какое дело?)[62].

Сюжет “Лолиты” вырос из этого письма, как сюжет “Онегина” – из письма Татьяны. Гумберт чем-то похож на Онегина. Разумеется, между ними имеются существенные различия – взять хотя бы то, что Онегин не был педофилом, – однако они все же одной породы: Набоков-ученый усматривает байронические черты (как до, так и после создания “Паломничества Чайльд-Гарольда”)

в произведениях эпохи романтизма[63] – “Рене” Шатобриана (1802), который называет “гениальным произведением”, и “Адольфе” Бенжамена Констана (1816), “натянутом, сухом, бесцветном, но поистине очаровательном”. В герое Констана, как в Гумберте, сочетаются “эгоизм и чувствительность”:

> Натура переменчивая, то рыцарь, то мужлан. От восторженных слез переходит к ребяческой жестокости, после чего снова заливается лицемерными слезами. Все таланты, которые имел, растратил или извратил, стремясь исполнить ту или иную прихоть, покорный переменам собственного несдержанного нрава[64].

Оказавшись в самой чаще своего романа, Набоков с наслаждением припадает к диковинным источникам. Ему необходимы напоминания о его кумире Пушкине, ему необходимо помнить о Шатобриане, “величайшем французском писателе своего времени”, первом иностранном авторе, который посетил Америку и, как сумел, описал ее первозданную природу. Набоков, как обычно, подстраивается под читателя: ведь книга должна продаваться. Однаких при этом он с головой уходит в комментарии к роману Пушкина, на время оставив “Лолиту”, чтобы роман “созрел”[65]. В 1951–1953 годах он часто и с удовольствием бывал в библиотеках, готовился к работе над научными статьями да время от времени писал на темы, равно далекие как от “Онегина”, так и от “Лолиты”. Иногда месяцами не писал ничего[66]. Похоже, ему все-таки удалось наконец так распределить силы и время, чтобы продолжить работу над романом, который тем не менее Набоков периодически порывался сжечь.

“В детстве я обожал читать, – рассказывал Набоков в 1960-е годы в интервью. – Годам к четырнадцати-пятнадцати прочел или перечитал по-русски всего Толстого, по-английски всего Шекспира и по-французски всего Флобера – это помимо сотен прочих книг. Сейчас я сразу замечаю, если предложение, которое пишу, вдруг напоминает по покрою и интонации стиль тех писателей, кого я любил или ненавидел полвека назад”[67].

Набоков ничуть не похож на американцев. И не потому, что много читает, причем на трех языках: в собственных произведениях он узнает источники, из которых заимствует[49]. И не скрывает этого от читателя. Осознаваемое сходство превращается в оммаж – или пародию. “Я пишу, заимствуя, притворяясь кем-то другим в том обилии сочиненных мною строк – и ловлю себя на этом притворстве”, – мог бы сказать Набоков.

Романы такого рода редко появлялись на американской почве и зачастую не привлекали внимания читателей. Модернисты Элиот и Паунд, которых Набоков не жаловал (впрочем, они и не писали романов), руководствовались в творчестве теми же принципами, однако, пожалуй, из всех американских писателей только о Мелвилле, книги которого Набоков прекрасно знал, можно сказать, что его произведения строятся на заимствованиях из других литературных источников – причем не только с точки зрения содержания или преемственности, но и целых фрагментов текста.

Роман “Моби Дик” (1851), который Набоков, возможно, так и не дочитал, обнаруживает знакомство автора с многочисленными памятниками литературы, философии и культуры – здесь и “весь Шекспир по-английски”, и Библия короля Иакова, и греческая и римская мифология, Сенека и прочие стоики, Байрон, Берк, Спиноза, Платон, Кант, Данте, Паскаль, Руссо, Колридж и прочая, прочая, прочая. Многие из этих памятников культуры Мелвилл узнал в относительно зрелом возрасте, уже будучи автором нескольких приключенческих романов, написанных по мотивам юношеских морских странствий: с годами Мелвилл осознал важность глубокого философского смысла в романе, его способности затрагивать тонкие струны души. Готорн, близкий друг Мелвилла, писал о романе “Марди и путешествие туда” (1849), который стал своего рода пробой пера перед “Моби Диком”[68], что в нем встречаются глубины, которые “манят нырнуть в них с головой”[69]. Попурри из разных стилей, благодаря которому современные критики с удивлением заново открыли забытого было “Моби Дика”, встречается уже в “Марди”.

Набоков украдкой лукаво подмигивает Мелвиллу. В письме редактору от 1971 года он сравнил охоту за описаниями секса в “Лолите” с “поиском аллюзий на водных животных в «Моби Дике»”[70], а в интервью пошутил о “Мелвилле, который за завтраком скармливает коту сардинку”[71]. Гумберт Гумберт в “Лолите” ездил в экспедицию “в приполярную область Канады”: “Одна из групп основала с помощью канадцев метеорологическую станцию на Пьеровой Стрелке в Мельвильском Зунде”[72]. “Пьер, или Двусмысленности” – последний опубликованный роман Мелвилла.

В Гарварде Набокову предстояло рассказывать студентам в том числе и о “Моби Дике”, поскольку роман входил в список литературы для курса, который вел Карпович[73], но писатель решил обойтись без Мелвилла и остановиться на тех произведениях, о которых читал лекции в Корнелле[74]. “Моби Дик”, как и другие произведения американского Ренессанса –

“Алая буква” Готорна, последнее стихотворение Эдгара По “Аннабель Ли” и его же “Повесть о приключениях Артура Гордона Пима”, явно вдохновившая то путешествие Гумберта Гумберта в Арктику (хотя Пим путешествовал к Южному полюсу, а не к Северному), – источник слишком призрачный, слишком далекий, так что, пожалуй, обнаруженные примеры заимствований лишь проиллюстрировали бы высказывание Борхеса: “Великий писатель создает своих предшественников”[75]. Борхес имел в виду, что истинный шедевр проливает свет на то, что было и что будет, так что, можно сказать, в некотором смысле прототипом романа о девочке, которая в 1947 году путешествует со своим похитителем-насильником по дорогам Америки, стала история, приключившаяся в пуританском XVII веке, жемчужиной которой был совсем другой капризный и прекрасный ребенок. “Лолита” заимствует у “Моби Дика” (вне зависимости от того, внимательно ли Набоков читал этот роман или пролистывал страницы: в последнем случае он тоже следовал примеру Мелвилла, то бишь бегло просматривал книгу, дабы схватить “идею”) тревогу о судьбах мира[76]. Капитан Ахав пытается гарпуном упорядочить мир. Как размышляет Стабб, второй помощник капитана на “Пекоде”, дождливой ночью на вахте, “интересно, Фласк, на якоре ли наш мир? Если и на якоре, то цепь у него необыкновенной длины”[77].

Мелвилл использует великое множество стилистических приемов. В его романе есть и риторика пуританской проповеди, и язык научного трактата, и юридическое обоснование, и высокий штиль в духе произведений Джона Милтона, не говоря уже о стилистике комедии, драмы и классической дискуссии. Иногда диалоги его персонажей отдаленно напоминают реплики героев из пьес Шекспира, и читатель понимает – несмотря на то, что это пародия, автор все же серьезен:

> – Сэр, этот линь, по-моему, ненадежен. Я бы не стал доверяться ему. Жара и сырость привели его, наверное, за долгое время в полную негодность.
>
> – Ничего, он выдержит, старик. Вот ведь тебя жара и сырость не привели за долгое время в негодность? Ты еще держишься. Или, вернее, жизнь тебя держит, а не ты ее.
>
> – Я держу вертушку, сэр. Но как прикажет капитан. Не при моих сединах спорить, особливо с начальством, которое все равно ни за что не признает, что ошиблось.
>
> – Это еще что такое? Послушайте-ка вы этого оборванца профессора из беломраморного Колледжа

Королевы Природы; да только, сдается мне, он слишком большой подхалим. Откуда ты родом, старик?

– С маленького скалистого острова Мэн, сэр.

– Превосходно! Этим ты утер нос миру[78].

Пародии Набокова куда более язвительны[79]. Однако оба романа доказали, что с помощью слов мир не укротить. Мир и слова несопоставимы, как робкие благочестивые молитвы Иова и глас из бурного вихря – или же сам вихрь.

Дмитрий на первом из двух автомобилей *MG TC. С*ередина 1950-х годов

Набоков не подражает Шекспиру, но в “Лолите” присутствуют аллюзии на него, и одна из ключевых сюжетных схем перекликается с “Гамлетом” и “Сном в летнюю ночь”: пьеса в пьесе. Бойд доказывает, что пьеса Куильти, соперника Гумберта, в которой играет Лолита, неубедительна[80]: Куильти описывает

события, о которых вряд ли мог знать, как не мог он знать и того, что Гумберт привезет свою пленницу в Бердслей и запишет в ту самую школу, где поставят пьесу Куильти. Впрочем, какая разница. История одержимого манией героя, который подчиняет своей страсти других и тем самым обрекает на гибель, – точь-в-точь рассказ о капитане Ахаве. Фолкнер, чья сага о Сатпене выросла из того же корня, отзывался о “Моби Дике”:

> Простота в духе греческих трагедий: человек с сильным характером, движимый хмурой натурой и темным прошлым, сам себя обрекает на гибель и увлекает за собой весь свой мир, в деспотизме и презрении к ближнему не задумываясь о благе другого… нечто вроде Голгофы сердца, которое становится тверже бронзы на грани неминуемого краха, и все это перед лицом могилы и трагического вращения земли в самом вечном из своих проявлений: то есть моря[81].

Единственное, чего нет в “Моби Дике”, так это зачарованного ребенка. Однако ребенок там все же есть, и даже, пожалуй, зачарованный[82]. Жестокость Ахава смягчается слабостью, которую он питает к юнге Пипу: маленький негритенок, брошенный в океане, сходит с ума от страха. Как шут короля Лира, Пип изрекает истину, и Ахав усыновляет его: “Ты задеваешь самую сердцевину моего существа, малыш; ты связан со мною путами, свитыми из волокон моей души”[83].

Один из трех чернокожих[84] (один африканец, двое афроамериканцев) на борту корабля, Пип изумленно гладит руку капитана:

> – Что это? Бархатная акулья кожа? – воскликнул мальчик, глядя на ладонь Ахава и щупая ее пальцами. – Ах, если бы бедный Пип ощутил такое доброе прикосновение, быть может, он бы не пропал! По-моему, сэр, это похоже на леер, за который могут держаться слабые души. О сэр, пусть придет старый Перт и склепает вместе эти две ладони – черную и белую, потому что я эту руку не отпущу[85].

Однако отеческая любовь к Пипу не спасает Ахава, и он разделяет общую участь (которая минует только Измаила). Однако благодаря этим светлым чувствам капитана роман оказывается не таким жестоким. Ахав проложил курс и намерен следовать ему, но все же сатанинское его высокомерие отчасти смягчается. Леденящая душу история насилия над девочкой

(методично, три раза в день) далась Набокову нелегко, однако ему блестяще удалось облечь в слова эту жуть. Но даже его гений не в силах скрыть правды. Как и Мелвилл, чья трагедия, похожая на античные, оказалась слишком мрачной и простой, Набоков искренне сопереживает герою, так что история, в особенности ее финал, вызывает у читателя подлинное сочувствие. Мы видим, как любовь преображает чудовище, как нежно Гумберт Гумберт, приехав в Коулмонт, смотрит на семнадцатилетнюю Лолиту "с уже не детскими вспухшими жилами на узких руках", и мы поневоле верим его сомнительным словам, жалеем его от всего сердца:

> Поскольку не доказано мне… что поведение маньяка, лишившего детства североамериканскую малолетнюю девочку, Долорес Гейз, не имеет ни цены ни веса в разрезе вечности – поскольку мне не доказано это (а если можно это доказать, то жизнь – пошлый фарс), я ничего другого не нахожу для смягчения своих страданий, как унылый и очень местный паллиатив словесного искусства[86].

Глава 14

Одним из излюбленных мест отдыха Набокова был маленький мормонский городок Афтон в штате Вайоминг на извилистой реке Солт. В 1952 и 1956 годах Владимир и Вера провели здесь несколько недель в недорогом мотеле под названием *Corral Log*, расположенном на окраине города. К востоку от Афтона возвышается горный хребет Солт-Ривер, часть национального лесного заповедника. В непринужденной по стилю энтомологической статье под названием “Охота на бабочек в Вайоминге, 1952 год”1 Набоков вспоминал, что “почти весь август ловил бабочек в окрестностях очаровательного городка под названием Афтон”, куда вела мощеная дорога, проходившая возле границы со штатом Айдахо.

У Набоковых был отдельный домик с ванной. Домики, расставленные вокруг центральной площадки, точно крытые конные фургоны первых поселенцев2, представляли собой тесаные срубы с угловыми шиповыми соединениями типа “ласточкин хвост” (при котором конец каждого бревна выходит за стык стен). С бревен сдирали кору и покрывали лаком, щели заделывали известковым раствором и обшивали вагонкой.

Corral Log Motel, Афтон, штат Вайоминг

В горах неподалеку от Афтона берут начало несколько ручьев и текут на запад. Набоков шел вверх по течению ручья и ловил бабочек в прибрежных кустах. “В начале августа, – писал он в статье, – лужи на тропинках в лесном заповеднике Бриджер облепляют миллионы *N. californica Boisd.*, садятся стайками по четыре и более сотни и пьют воду, а по каньону ровным потоком

носится бесчисленное количество бабочек”[3].

В ту пору Набоков уже три года работал над “Лолитой”. В основном это были приготовления, то, что он сам называл “пальпировать в уме”[4], разнообразные заметки. Во время весеннего семестра в Гарварде в 1952 году он, вероятно, принялся за черновик[5], но летом практически ничего не писал[6].

Летом Набоков обычно чувствовал себя хорошо и наслаждался жизнью. Вообще же годы, отданные работе над книгой, отрицательно сказались на его здоровье: печальная эпопея с зубами, межреберная невралгия, которая снова начала его мучить в 1950 году. Набоков рассказывал Уилсону:

> Почти две недели я пролежал в больнице. Вою и корчусь в муках с конца марта, когда грипп, который я подцепил на довольно скандальной, хотя и организованной из самых лучших побуждений вечеринке [журнала *New Yorker*], вызвал чудовищную межреберную невралгию, вследствие чего, страдая от непереносимой, непрекращающейся боли и столь же непереносимого страха, вызванного мнимыми болями в сердце и почках, я очутился в руках докторов… Я и сейчас еще не совсем здоров, сегодня у меня случился небольшой рецидив; я пока в постели, дома[7].

Дома он, по крайней мере, мог спокойно писать и ему никто не мешал. Вера подменяла его на лекциях, а прочие досадные обязанности на время отпадали[8].

Учеба Дмитрия в Гарварде продвигалась нелучшим образом: первый семестр “начался бурно”[9], по словам Набокова, – однако вскоре дела пошли на лад. Он был рассеян, но умел “сосредоточиться на странице и запомнить ее с фотографической точностью”[10], как впоследствии писал он сам, так что, к радости родителей, в конце концов получил диплом с отличием. Набоков писал сестре, что Дмитрий “больше всего интересуется, в следующем порядке: альпинизмом, барышнями, музыкой, бегом, теннисом и науками”[11]. В Гарварде Набоков не только занимался исследованиями, но и присматривал за сыном: Владимир и Вера установили правило, по которому Дмитрий должен был сам зарабатывать себе на карманные расходы, и он выгуливал собак, разносил почту в районе Гарвард-Ярд, “играл в теннис и беседовал по-французски со странным краснолицым холостяком из Бостона”, который забирал его на “ягуаре”[12].

Дмитрий вступил в Гарвардский клуб альпинистов. С самого основания в 1924 году члены клуба совершали восхождения на наиболее высокие и трудные горы[13]. В те годы, когда Дмитрий

занимался в клубе, тот переживал расцвет. Альпинисты из Гарварда ездили на Аляску, в Перу, Антарктику, Гималаи, в Канадские Скалистые горы и в Западный Китай[14]. Самые опытные и прославленные американские альпинисты 1950-х годов были из Гарвардского клуба, в том числе Чарльз Хьюстон, руководитель экспедиции 1953 года на Чогори (во время которой погиб Арт Гилки), Эд Картер, редактор *American Alpine Journal*, самого авторитетного в мире журнала об альпинизме, и Брэд Уошберн: благодаря его аэрофотографиям горы Маккинли (ныне Денали) и прочих пиков удалось составить точные карты местности. Дмитрий в тех восхождениях не участвовал[15], но общался с этими людьми и прошел путь от новичка до руководителя группы первопроходцев по определенному маршруту. В 1954 году опубликовал в *Alpine Journal* статью "Восточные склоны горы Робсон"[16], где описал восхождение по восточному склону на наивысшую точку гряды Канадских Скалистых гор, которое заняло два дня, так что ночевали альпинисты в расселине в леднике. Во время той же экспедиции Дмитрий возглавил группу, которая первой поднялась на гору Гибралтар хребта Селкерк[17]. Группа Дмитрия приехала в Канаду "на стареньком катафалке-«паккарде», у которого мы заботливо перебрали мотор… устроили в салоне спальные места" и поставили шины от колес бомбардировщика "Норт Американ В-25 Митчелл", еще из военных запасов[18].

"Вера и я… в постоянной тревоге из-за него – верно, никогда не привыкнем"[19], – писал Набоков своей сестре Елене об опасных хобби сына. Несколько альпинистов из Гарвардского клуба погибли[20]. Не меньше восхождений Дмитрий любил скорость, и к сентябрю 1953 года, по словам отца, "заездил третий автомобиль и собирается купить подержанный аэроплан"[21]. Летом 1953 года Дмитрий "строил дорогу в Орегоне, орудуя гигантским грузовиком", а отец с матерью волновались за сына[22] и то и дело приезжали навестить.

Некоторое время Набоковы провели в Ашленде, штат Орегон[23]. Как и Афтон, и Эстес-Парк, и Теллурид, Ашленд лежит в долине меж высоких гор, в данном случае Сискию. Вокруг городка много рек, озер и заболоченных лугов. ("Нет в жизни большего удовольствия, чем исследовать… какое-нибудь болото в горах", – писал Набоков Уилсону[24].) В Ашленде был торговый район и скромные деревянные домики, которые сдавали в аренду[25]. Летом Ашленд утопает в розах. Здесь Набоков продиктовал большую часть "Лолиты" в ее окончательном варианте.

Вернувшись в сентябре того года в Итаку, Набоков сообщил

Кэтрин Уайт, что “более-менее завершил… грандиозный, мистический, надрывающий сердце роман”, который “стоил пяти лет мучительных сомнений и адских усилий”. Роман наложил на него “невыносимое заклятье”: это “великое и запутанное произведение, не имеющее аналога в литературе. Ни одна из частей романа совершенно не подходит” для публикации в журнале *New Yorker*[26].

Вместо “Лолиты” Набоков послал Уайт другой роман, “Пнин”, историю о профессоре из России, которая вполне подходила для журнальной публикации. Работа над этим романом да еще над мемуарами “Память, говори” давала писателю “солнечные мгновенья отлучки” от той, другой книги, которая так мучила Набокова. Ему очень хотелось показать Уайт “Лолиту”, но что-то его удерживало. Контракт с журналом обязывал его это сделать, и Набоков надеялся, что Уайт сочтет произведение гениальным, несмотря на изображенный в нем разврат, усмотрит в книге такие достоинства, по сравнению с которыми меркнут все страхи относительно того, что публика “Лолиту” отвергнет или ополчится против романа. Однако неподписанная рукопись, которую Вера лично привезла в Нью-Йорк несколько месяцев спустя, не произвела на Уайт впечатления[27]. Вера настаивала, чтобы роман ни в коем случае не показывали Уильяму Шону, главному редактору *New Yorker*: шокировать Шона было куда проще, чем Уайт[28].

Набоков завершил работу над “Лолитой” и сопроводил роман несколькими комментариями для редактора (“грандиозный”, “надрывающий сердце”) и парой намеков для Уилсона (“совсем скоро, быть может, покажу вам чудовище”)[29]. Уайт, скорее всего, и прежде доводилось слышать подобное: все писатели полагают, будто последнее из созданного ими – самое гениальное их произведение. Осенью Набоков продолжал диктовать роман и лишь 6 декабря[30] отметил, что тот наконец завершен. “Тема и ситуация откровенно чувственные, – писал он Уилсону, – но эстетика его невинна и сам роман уморительный”. Набоков считал, что “Лолита” – лучшее, что он написал по-английски. Но один из первых редакторов, прочитав рукопись, предупредил его, что “если бы это опубликовали, нас бы всех посадили в тюрьму. Мне очень жаль, что ничего не вышло”[31].

Интерьер мотеля *Corral Log*

Процесс издания “Лолиты”, как и сама работа над романом, оказался достаточно долгим и мучительным[32]. Временами казалось, что ничего не получится. Набоков выступал в качестве собственного литературного агента[33], как его научил Уилсон. Издательство *Viking* сперва отказалось публиковать роман, предупредив, что, если издать книгу под псевдонимом, как изначально собирался сделать Набоков, неминуемо начнется судебное преследование, поскольку нежелание раскрыть настоящее имя автора указывает на то, что это порнографическое произведение. Следом Набокову отказали *Simon & Schuster*: редактор Уоллес Брокуэй свалил ответственность за такое решение на коллег-ханжей. В октябре 1954 года Джеймс Лафлин, авангардист, не боявшийся бросить вызов законам об ответственности за непристойное поведение, отказал Набокову от имени издательства *New Directions. Farrar, Straus & Young* отказали, испугавшись судебного процесса, который не смогут выиграть. Джейсону Эпштейну из издательства *Doubleday* “Лолиту” посоветовал Уилсон, который и передал ему рукопись в конце 1954 года. Эпштейн, как и Паскаль Ковичи, редактор *Viking*, и Брокуэй, и Роджер Штраус из *Farrar, Straus & Young*, высоко оценил роман Набокова[34], но не сумел уговорить коллег его опубликовать. В служебной записке он сделал кое-какие литературные замечания, однако заметил, что “Лолита”,

безусловно, произведение неординарное.

Лафлин и Ковичи полагали, что за границей у романа может оказаться больше шансов на публикацию[35]. Набоков отправил "Лолиту" Дусе Эргаз, своему агенту в Париже, и начал искать агента в Америке, который сумел бы сделать то, что не вышло у писателя. Набоков признался Брокуэю, что даже готов отдать за это четверть гонорара[36].

Этот сложный процесс в конце концов увенчался публикацией в Европе (*Olympia Press*), а потом и в Америке (издательство *Putnam's*): сейчас кажется, что иначе и быть не могло. Несмотря на сексуальную тематику, роман довольно скромен: в нем нет неприличных слов. Он легко читается. Момент был выбран удачно: книга вышла тогда, когда действия ревнителей общественной морали уже казались абсурдным рудиментом. Блюстители нравов ополчились против "Улисса" Джойса, легендарного романа, который по праву считается величайшим произведением XX века, когда он еще даже не сложился в книгу. (За первый же эпизод, опубликованный в 1918 году, двое редакторов журнала *The Little Review* подверглись нападкам за непристойность[37].) Целый ряд других книг, осужденных, изъятых из печати и сожженных, в том числе "Влюбленные женщины" Лоуренса, "Колодец одиночества" Рэдклиффа Холла, "Тропик Рака", "Тропик Козерога", "Голый завтрак", "Вопль" Гинзберга, "Американская трагедия" Драйзера, "Божья делянка" Эрскина Колдуэлла и "Мемуары округа Геката" Уилсона, подготовили почву, на которой расцвел розовый сад романа Набокова[38]. В те четыре года, которые прошли между первым отказом из американского издательства (1954) и первой публикацией "Лолиты" (1958), цензура, и без того слабая, практически прекратила существование, так что к 1959 году издательство *Grove Press* выпустило в мягкой обложке "Любовника леди Чаттерлей" (ни один роман в XX веке не запрещали так упорно, как это произведение Лоуренса)[39], а в 1961 году – "Тропик Рака".

Впрочем, роман и без того не мог не быть опубликован. Хоть Набоков и писал Кэтрин Уайт, что "Лолита" – "великое и запутанное произведение, не имеющее аналога в литературе", формально книга Набокова не совершила в литературе переворота, как некогда "Улисс", "Шум и ярость" или "Когда я умирала" (или, если на то пошло, "Моби Дик"). Стилистически он не настолько сложен для восприятия, как "Ночной лес" Джуны Барнс, или "Петербург" Андрея Белого, или, если взять произведения, появившиеся в одно десятилетие с "Лолитой", "Моллой" Беккета, "Соглядатай" Роб-Грийе, "Признания" Уильяма Гэддиса или "Изменение" Мишеля Бютора. "Лолита"

проще, чем тот же “Дар” или “Под знаком незаконнорожденных”. Если под “не имеющим аналогов в литературе” Набоков имел в виду откровенное высказывание на тему секса с детьми[40], то и в этом случае он несколько преувеличил оригинальность своего романа: шокирующие описания появлялись и ранее, у маркиза де Сада (“120 дней Содома”, “Инцест”) и прочих. Все же под “не имеющим аналогов” Набоков имел в виду нечто иное – пожалуй, запутанную, сложную систему совпадений, незаметных невооруженным глазом, намеков, с помощью которых Гумберт Гумберт догадывается о Куильти, чьи уловки, точно зеркальное отражение, повторяют его собственные, но на некоем новом витке спирали, где плетутся дьявольские интриги и слышится насмешка богов, и где-то там, наверху, Небесный Клоун планирует этот грандиозный номер и подставляет героям подножку.

Что бы ни имел в виду Набоков, он написал роман для читателей[41] – рядовых читателей. Цветистый, очаровательный, забавный и озорной, он вызывал возмущение, но понять его было легко. Алтаграции де Жаннелли наверняка бы понравилось. Ей ведь так хотелось, чтобы Набоков создал что-нибудь во вкусе американцев. Подмечая и складывая в копилку типичные американские черты и мелкие особенности, Набоков все же не проглядел главного: любви американцев к простоте и искренности чувств. Тираж романа, который выпустило издательство *Olympia*, расходился бойко, несмотря на проблемы с законодательством во Франции и Великобритании, а у *Putnam* и прочих результаты и вовсе превзошли самые смелые ожидания[42]: в первый же год продажи исчислялись сотнями тысяч экземпляров, а в последующие десятилетия – миллионами.

Книга давалась Набокову с таким трудом отчасти из опасения, что роман не увидит свет, его запретят, не пустят к читателю. Писатели по-разному к этому относятся: одних читательское внимание заботит, другие к нему безразличны, но даже самые безразличные все же мысленно обращаются хотя бы к какому-то одному читателю, стремятся произвести на него впечатление, увлечь, покорить. Посвятить “Лолите” пять самых плодотворных лет творчества, создать свое лучшее (как полагал Набоков)[43] произведение на английском языке, жить этим романом и знать, что его могут запретить, – сами мысли об этом, бесспорно, мучительны.

Высокомерие Набокова, его презрение к популярной, массовой культуре было, безусловно, искренним, однако отчасти писатель все же лукавил. Роман “Пнин” состоялся как произведение искусства, поскольку “то, что я вам предлагаю, –

как писал Набоков одному издателю, заинтересовавшемуся романом, – совершенно новый для литературы герой… а новые герои в литературе рождаются не каждый день”[44]. “Лолита”, по мнению Набокова, тоже отличалась новизной: недаром же он писал Уайт, что роман “не имеет аналогов в литературе”. К счастью, уверенность в том, что ты создаешь нечто совершенно оригинальное, необходимая автору для того, чтобы писать, не требовала текста в духе “Когда я умирала”, необычного по структуре и недоступного рядовому читателю. Хотя ему случалось создавать произведения, понятные мало кому, – взять хотя бы “Под знаком незаконнорожденных”, лебединую песнь модернизма в творчестве Набокова: этот роман явно не оправдывает читательские ожидания, как, впрочем, и кое-какие из русских его произведений, то же “Приглашение на казнь” с его разрывами в повествовании и изменением действительности.

Вообще реальность (“странное слово, которое ничего не значит без кавычек”, как ее описывал Набоков) знаменовала нечто новое в Новом Свете. Реальность здесь была витальна и вульгарна. Она подбрасывала Набокову “головокружительные”[45] примеры для фарса, для развернутых экстравагантных пародий, так что книги, созданные им в лучшие американские годы, невероятно увлекательны, хоть и не всегда легки. И если у читателей вызывал недоумение или даже отвращение безмятежный и веселый тон “Лолиты”[46], которую сам Набоков считал трагедией, то это не значит, что они что-то недопоняли: энергия открытия – удовольствие от притязания на новую литературную территорию – искажает изображаемое. Однако реальность эта на удивление неизменна. В “Пнине” кавычки вокруг этого слова практически стираются, а читатель “Лолиты”, в особенности тех ее фрагментов, где описаны путешествия, вполне может пользоваться романом как путеводителем по Америке. В “Аде”, написанной уже в Швейцарии, реальность стран и континентов опять ставится под вопрос. Так что к “Аде” как к путеводителю можно обращаться исключительно на свой страх и риск.

Поездка на запад летом 1954 года выдалась на редкость неудачной: домик, который снимали Набоковы, оказался сущей берлогой – в шестнадцати километрах севернее Таоса, штат Нью-Мексико, “безобразного и унылого городишки”, как писал Набоков Уайт, где “торговая палата расставила на всех стратегических точках нищих индейцев, чтобы заманивать туристов из Оклахомы и Техаса”[47]. Потом Вера нащупала у себя в груди опухоль. Местный доктор сказал, что это рак, и Вера спешно поехала на поезде в Нью-Йорк, где ей удалили опухоль,

которая оказалась доброкачественной. На том путешествие в Нью-Мексико и кончилось. До этого же Набоков попросил одного таосца познакомить его с Фридой Лоуренс, скандально известной вдовой писателя Д. Г. Лоуренса[48], которая жила на ранчо неподалеку от города. Вера ехать с Набоковым отказалась: она не имела ни малейшего желания встречаться с этой особой и мужа отговорила от поездки[49]. Ранчо Лоуренса, куда после смерти писателя, скончавшегося на юге Франции, привезли его прах, подарила Фриде светская львица и меценатка Мэйбл Додж Лухан, и со временем оно стало местом паломничества поклонников, которые относились к нему как к святыне. Трудно сказать, интересовался ли Набоков могилами и вдовами писателей: во всяком случае, в Америке это был единственный случай такого рода.

В год, когда американские издательства отказались публиковать "Лолиту", он много работал, в том числе и над переводом "Память, говори" на русский язык – "мука мученическая", как он признавался Уайт.

> По-моему, я вам не раз говорил, до чего мучительно мне дался… переход с русского на английский… я поклялся никогда не возвращаться, но не прошло и пятнадцати лет, как я… погряз в горькой роскоши русского языка[50].

Он продолжал работу над "Евгением Онегиным", которого, в отличие от "Память, говори", переводил с русского на английский. Написал вторую главу "Пнина", которую *New Yorker* объявил "неприятной" и отверг. Издательство *Viking* приобрело права на книгу, однако, прочитав первые главы, редакторы засомневались: им не понравился замысел Набокова, намеревавшегося умертвить "беднягу Пнина… он так и не успел уладить и закончить дела, в том числе книгу, которую писал всю жизнь"[51]. Редактор Паскаль Ковичи, точь-в-точь как некогда Жаннелли[52], убеждал Набокова: чтобы книга хорошо продавалась, нужен менее мрачный финал. Набоков внял совету и переписал концовку.

"Пнин" демонстрирует исключительную наблюдательность писателя: Набоков рассказывает о русском в Америке в период после смерти Сталина, в разгар охоты на советских тайных агентов, организованной Джозефом Маккарти, – время небывалого внимания ко всему русскому[53]. Книга о начале 1950-х годов, как "Лолита" – о конце 1940-х и чуть позже. Немецкий исследователь Михаэль Маар отмечает, что "грибовидное облако над Хиросимой" просочилось в текст: профессор Пнин

вспоминает о нем, когда видит в комиксе облачко с мыслями[54], и в целом “ни один другой роман Набокова не вобрал в себя столько событий современности”[55]. Это социальная комедия возвышенного рода. “Рощи Академии” Мэри Маккарти вышли в 1952 году, Набоков роман прочел и назвал “очень забавным, местами блестящим”[56]. “Пнин” – тоже роман об альма-матер[57], однако Набоков, хотя и выставляет некоторых персонажей на посмешище и целится в замкнутый социальный мирок, отстоит от полюса социальной сатиры дальше, нежели Маккарти: радикальная и всесторонняя критика мало его волнует. Пнин – добряк и уважаемый человек. Он “из чистого сострадания к неудачникам”[58] захаживает в ресторан “Яйцо и мы”, и его девиз – доброта. Он тоже побывал в мясорубке истории, теперь же оказался в стране отличных стиральных машин:

> И несмотря на запрещение к ней подходить, его снова и снова ловили на нарушенье запрета. Позабыв о приличиях и осторожности, он скармливал ей все, что попадалось под руку: свой носовой платок, кухонные полотенца, груды трусов и рубашек, контрабандой притаскиваемых им из своей комнаты, – все это единственно ради счастья следить сквозь иллюминатор за тем, что походило на бесконечную чехарду заболевших вертячкой дельфинов[59].

Пнин, как и автор романа, в свое время бежал из Петербурга, но, в отличие от него, выглядит совершенным чудаком и не знает английского:

> И хоть степень по социологии и политической экономии, с определенной помпой полученная Пниным в 1925 году в Пражском университете, к середине века уже ничего не значила, роль преподавателя русского языка вовсе не была для него непосильной. Его любили не за какие-то особые дарования, но за незабываемые отступления, когда он снимал очки, чтобы улыбнуться прошлому, массируя тем временем линзы настоящего[60].

Набоков, как профессионал, обрывает повествование отдельных фрагментов на самом интересном месте (глава 2, часть 4; глава 6, часть 4). Речь Пнина сама по себе забавна. Набоков не мастер диалогов, однако старается, чтобы слова Пнина звучали комично: когда профессор обозревает комнату, которую хочет снять, то нам запоминаются и эта комната, и мгновения зимнего дня:

> Ну, совсем коротко говоря, с 25-го жил в Париже, покинул Францию в начале Гитлеровской войны. Теперь здесь. Американский гражданин. Преподаю русский и тому подобные вещи в Вандаловском университете. У Гагена, главы кафедры германистики, доступны любые справки… Пнин разглядывал розовостенную, в белых воланах комнату Изабель. Внезапно пошел снег, хоть небо и отливало чистой платиной. Медленное, мерцающее нисхождение отражалось в безмолвном зеркале… Пнин… подержал руку в некотором удалении от окна[61].

Прообразом Пнина отчасти послужил другой преподаватель Корнелла, историк-эмигрант Марк Шефтель[62], однако Набоков снабдил персонажа и подробностями собственной биографии – теми, что не вошли в американские его романы. Например, у профессора плохие зубы. Прежде чем посмотреть комнату, Пнин сообщает потенциальной квартирной хозяйке: “Я должен предупредить, – мне вырвут все зубы. Это отвратительная операция”[63]. Как и Набоков, после операции Пнин испытывает радость освобождения:

> Несколько дней затем он пребывал в трауре по интимной части своего естества… И когда ему, наконец, установили протезы, получилось что-то вроде черепа невезучего ископаемого, оснащенного осклабленными челюстями совершенно чуждого ему существа… Прошло десять дней, и неожиданно новая игрушка начала доставлять ему радость… Ночами он держал свое сокровище в особом стакане с особой жидкостью, там оно улыбалось само себе, розовое и жемчужное, совершенное, словно некий прелестный представитель глубоководной флоры. Большая работа, посвященная старой России… которую он так любовно обдумывал последние десять, примерно, лет, теперь… наконец-то казалась осуществимой[64].

После “Пнина” стало ясно, что вторая часть мемуаров, “Память, говори еще”, может и не появиться. Рассказ о школе-пансионате наподобие школы святого Марка[65] Набоков вставил в “Пнина”: там в подобном заведении учится Виктор Винд, сын-подросток бывшей жены Пнина. Планы Набокова рассказать в мемуарах о поездке в университеты южных штатов превратились в комическое описание такой же поездки Пнина. В начале романа он едет на поезде в далекий городок, чтобы выступить перед

женским клубом, однако “пора поделиться секретом”: “Профессор Пнин ошибся поездом”[66]. Как в некоторых других произведениях Набокова, в романе “Пнин” сквозит скрытая ирония, причем доведенная до экстремума, и герой самым нелепым образом даже не подозревает о том, что читатель давным-давно понял. Набокова часто упрекали в жестокости за любовь к ситуациям, в которых герои слона не приметят; эти упреки были бы оправданны, если бы не искренняя симпатия автора к персонажу: можно без преувеличения сказать, что Набоков любит своего героя[67], – так друзья осознают, что каждый из них – человек добрый, великодушный и со своими странностями.

Рассказчик, которого Набоков называет “ВН”, отнюдь не равен писателю. ВН знавал Пнина в Петербурге[68] и делится воспоминаниями из их детства. Набоков, который, по его собственному признанию, в юности был задирой, стремился всегда и во всем одерживать верх и презирал слабость, приписывает эту черту своего характера ВН: с женщинами тот ведет себя как коварный соблазнитель и походя очаровывает будущую жену Пнина, так что та, словно пушкинская Татьяна, влюбляется в него без памяти, но в конце концов назло ему выходит замуж за Пнина, рассказав тому “всю правду” о романе с ВН[69].

12 ноября 1955 года эпизод с новосельем был опубликован в качестве рассказа в журнале *New Yorker*. Набоков на тот момент уже сотрудничал с журналом десять лет, так что к редактуре ему было не привыкать. Он сопротивлялся любым попыткам улучшить его текст и не далее как за год до того даже взял паузу, прежде чем ответить Кэтрин Уайт, которая отклонила вторую главу “Пнина”: “Я хотел было ответить на вашу критику – и опровергнуть ее – пункт за пунктом, но за пять месяцев желание утихло”[70]. Правки, которые Уайт внесла в рассказ “Пнин устраивает вечеринку”, отражали редакционную политику журнала *New Yorker*: она расставила запятые, которые призваны были ограничить (подобно тому, как учитель одергивает ерзающего ученика) страсть к ничем не стесненному движению. Так что предложение Набокова “*All of a sudden he experienced an odd feeling of dissatisfaction as he checked the little list of his guests”*[71] (“Просматривая короткий список гостей, он вдруг ощутил странную неудовлетворенность”) превратилось в *“All of a sudden, he experienced an odd feeling of dissatisfaction as he checked, mentally, the little list of his guests”*. Фраза *“The good doctor had perceptibly aged since last year but was as sturdy and square-shaped as ever”* (“Добрый доктор заметно постарел за последний год, но оставался таким же крепким и квадратным, как и всегда”) в редакции Уайт

выглядела как *“The good Doctor, a square-shouldered, aging man…”*[72]. Набоков научился не ссориться из-за каждой фразы[73]. Публикации в журнале были важны для него, к тому же за них хорошо платили. И все же рассказ “Пнин устраивает вечеринку” оказался куда короче, нежели глава из романа. Описание доктора, немецкого профессора, который симпатизирует Пнину и защищает его, когда коллеги хотят его уволить (правда, вскоре доктор тоже перейдет из Вайнделла в местечко получше), в романе куда пространнее: “…накладные плечи, квадратный подбородок, квадратные ноздри, львиное надпереносье и прямоугольная щетка седых волос, чем-то похожая на фигурно постриженный куст”[74]. Уайт вынужденно сократила главу до размеров журнальной статьи. При этом потерялось необъяснимое предчувствие беды, и фрагмент приобрел юмористическую окраску: эпизод действительно забавный, но в романе он звучит еще и как предсмертный вопль, как плач.

Пнин, не подозревая о грядущем увольнении, надеется купить дом, который снимает. Набоков поясняет:

> Ощущение жизни в отдельном доме и притом совершенно самостоятельной было для Пнина чем-то необычайно упоительным и поразительно утоляющим старую, усталую потребность его сокровенного “я”, забитую и оглушенную почти тридцатью пятью годами бездомья. Одной из самых сладостных особенностей жилища была тишина – ангельская, деревенская, совершенно безмятежная, являющая, стало быть, благодатный контраст непрестанной какофонии, с шести сторон окружавшей его в наемных комнатах прежних пристанищ[75].

Дом “из вишнево-красного кирпича, с белыми ставнями и драночной кровлей” – типичный дом того времени. Рядом кукурузное поле, на другой стороне Тодд-роуд, где и находится дом, растут ели и старые ильмы, а до ближайших соседей почти полмили (чем и объясняется тишина)[76]. Пнину кажется, что это “домик в предместье”[77], вероятно, потому что дома стоят посреди “зеленых лужков”, как впоследствии в американских пригородах. Позади дома рудименты дикой природы: “отвесный мшистый утес, увенчанный изжелта-бурой порослью”. Позже, на вечеринке, Пнин ведет двух своих друзей наверх, и из окна его спальни они видят “темную каменную стену, круто вздымающуюся в пятидесяти футах от зрителя”[78]. “Наконец-то вам по-настоящему удобно”, – замечает один из друзей, выражая набоковскую любовь к утесам[79].

Мы знаем, что Пнин лишится дома, не успев его приобрести. Мы знаем, что потеряет он и товарищей по Вайнделлу – как приятелей, так и близких друзей. Нет ничего смешного в том, чтобы сесть не в тот поезд: герой Набокова опять страдает из-за нелепых недоразумений, и страдания его отнюдь не вызывают улыбки. Но вечеринка все равно получилась чудесная и очень удачная. Преподаватели и их жены – одновременно и типажи, и индивидуальности, выведенные с любовью, – так рассуждают, что читателю хочется сказать: “Да, именно так они и должны говорить”, но вместе с тем и “Постойте-ка, да я же его (ее) знаю!”. Все как бы в тени, и жизнеподобие их мимолетно. Один из гостей, преподаватель английской литературы по фамилии Тейер, задает тон вечера:

> Внешне Рой представлял фигуру вполне заурядную. Нарисуйте пару ношеных коричневых мокасин, две бежевые заплатки на локтях, черную трубку, глаза под густыми бровями, а под глазами мешочки, и все остальное заполнить будет нетрудно. Где-то посередке висело невнятное заболевание печени, а на заднем плане помещалась поэзия восемнадцатого столетия, частное поле исследований Роя, – выбитый выгон с тощим ручьем и кучкой изрезанных инициалами деревьев[80].

У преподавателя есть секрет. Он ведет подробный дневник в духе Сэмюела Пипса, “заполняя его шифрованными стихами, которые потомки, как он надеялся, когда-нибудь разберут, и смерив прошлое трезвым взглядом, объявят величайшим литературным достижением нашего времени”[81]. Посланный женой за ее сумочкой, Тейер

> слонялся от кресла к кресла и вдруг обнаружил, что держит в руке белую сумку, так, впрочем, и не поняв, где он ее подцепил, – голова его была занята составлением строк, которые он запишет сегодня ночью: “Мы сидели и пили, каждый с отдельным прошлым, скрытым внутри, с будильниками судьбы, поставленными на разобщенные сроки”[82].

Одна из предшествующих глав, а именно третья, начинается так:

> За те восемь лет, что Пнин провел в Вайнделлском колледже, он менял жилища – по тем или иным причинам (главным образом, акустического характера) –

> едва ли не каждый семестр. Скопление последовательных комнат у него в памяти напоминало теперь те составленные для показа кучки кресел, кроватей и ламп, и уютные уголки у камина, которые, не обинуясь пространственно-временными различиями, соединяются в мягком свете мебельного магазина, а снаружи падает снег, густеют сумерки, и в сущности, никто никого не любит[83].

Стиль романа прост, гораздо безыскуснее выстроенной на аллюзиях "Лолиты". В некоторой степени это "анти-Лолита", рассчитанная на то, чтобы понравиться издателям, а не отпугнуть их[84]. Пнин – анти-Гумберт, чистая душа, а не растлитель малолетних.

Пнин тоже практически отчим. Он искренне привязан к четырнадцатилетнему сыну бывшей жены Виктору, который навещает его в Вайнделле. Этот удивительный мальчик, высокий и магнетически невозмутимый, как Дмитрий, ценит доброту, внимание и искренность Пнина, и очень жаль, что Набоков не дал им провести больше времени вместе, отправив мальчика в Калифорнию, а Пнина – в поместье к русским знакомым, похожее на ферму Карповичей. Гумберт дарит Лолите подарки, чтобы получить от нее ласки. Пнин тоже дарит Виктору подарки, но каждый раз промахивается: то футбольный мяч, притом что мальчик не интересуется спортом, то книгу рассказов Джека Лондона, которая ему уже не по возрасту. Но самым примечательным подарком, который Виктор делает Пнину, оказывается "большая чаша сверкающего аквамаринового стекла с узором из завитых восходящих линий и листьев лилии"[85]: ее приносят в тот самый день, когда Пнин начинает планировать вечеринку. Гостья по имени Джоан восклицает: "Господи, Тимофей, откуда у вас эта совершенно божественная чаша?"[86] Пнин подает в чаше пунш.

Разумеется, чаша поневоле становится символом: она олицетворяет хрупкость дружбы и веселья, привязанность Виктора к Пнину и многое, что необязательно объяснять. Чаша притягивает взгляд своей сверхъестественной красотой: другой такой нет. Сборище подвыпивших друзей вокруг голубой чаши – коктейльной разновидности золотой чаши Генри Джеймса, наделенной глубоким философским смыслом, – "каждый с отдельным прошлым, с будильниками судьбы, поставленными на разобщенные сроки", обретает пронзительное ощущение мимолетности и конечности бытия, необходимости наслаждаться настоящим моментом, и кажется, будто сам роман существует

лишь в кавычках к странице-другой, причем кавычках не в смысле иронической дистанции, а в самом прямом смысле: в обычных кавычках, которыми выделяют прямую речь, живое слово о сущем[87].

Впоследствии чаша трескается, как хрустальная чаша с изъяном у Джеймса. Пнин получил дурные вести от своего университетского покровителя, узнал, что благополучие его – дом на песке, и в отчаянии роняет чашу в раковину с мыльной водой. Однако Набоков решает, что на этом хватит: видимо, вспомнив, как редактор раскритиковал его за тягу к печальным концовкам, он вместо чаши разбивает всего лишь бокал. “Прекрасная чаша была невредима. Взяв свежее кухонное полотенце, Пнин продолжил хозяйственные труды”[88].

Вскоре после этого история Пнина стремительно завершается. Его не просто увольняют, но на его место в Вайнделле “английское отделение пригласило одного из ваших наиболее блестящих соотечественников”[89]. Это не кто иной, как ВН, повествователь, некогда соблазнивший возлюбленную Пнина. Так что тот может остаться, но лишь с согласия своего соперника. Разумеется, Пнин отказывается.

29 августа 1955 года Набоков отправил рукопись в издательство *Viking*, однако оно не сразу решилось на публикацию. Во-первых, роман показался им слишком коротким. Были у него и другие недостатки, главным из которых издательство сочло то, что роман как роман, собственно, и не получился: он распадается на отдельные очерки. Набоков приложил немало усилий, чтобы выстроить эпизоды в связное повествование, и это замечание его оскорбило[90]. История начинается с поездки в гости к женскому клубу и заканчивается на том, что факультетский остряк собирается рассказать этот самый случай. Михаэль Маар утверждает, что у романа идеальная зеркальная композиция: семь глав строятся вокруг “центральной оси симметрии”[91], то есть главы 4, о Викторе и Пнине. В каждой главе попадаются упоминания о белках: в Америке они встречаются настолько часто, что лишь иностранец станет обращать на них внимание. Белки напоминают Пнину добрую и пылкую девушку, которую он любил в Петербурге, еврейку, бежавшую из России и погибшую в Бухенвальде. Ее звали Мира Белочкина[92].

Viking отказалось публиковать “Пнина”, и это была одна из самых прискорбных ошибок издательства. И дело не только в литературных достоинствах романа: тем самым они оттолкнули автора, который вскоре прославился на весь мир. Известность Набокову принес не “Пнин”, однако многие издательства были

счастливы получить права на публикацию. Роман вышел в *Doubleday* в марте 1957 года и с самого начала продавался великолепно, гораздо лучше, чем все остальные книги Набокова[93]. “Лолита” тогда уже была у всех на устах, и дешевое издание, выпущенное французским издательством *Olympia*, было невозможно достать.

Читать “Пнина” сущее удовольствие. Так, когда он привинчивает к краю стола точилку для карандашей, Набоков описывает ее как “весьма утешительное и весьма философское устройство, напевавшее, поедая желтый кончик и сладкую древесину, «тикондерога-тикондерога» и завершавшее пение беззвучным кружением в эфирной пустоте, – что и нам всем предстоит”[94].

О колледже, который не известен никому и вполне этим доволен, ВН говорит:

> Пнин спустился унылой лестницей и прошел через Музей Ваяния. Дом Гуманитарных Наук, в котором, впрочем, гнездились также Орнитология с Антропологией, соединялся ажурной, рококошной галереей с другим кирпичным строением – Фриз-Холлом, вмещающим столовые и преподавательский клуб; галерея отлого шла вверх, затем круто сворачивала и спускалась, теряясь в устоявшемся запахе картофельных хлопьев, в печали сбалансированного питания.

Президент колледжа

> года два назад начал терять зрение и теперь ослеп почти полностью. Однако каждый день он с постоянством небесного светила приходил в Фриз-Холл, ведомый племянницей и секретаршей; являя фигуру почти античного величия, он шел в своем личном мраке к невидимому лэнчу… и странно было видеть на стене прямо за ним его стилизованное подобие в сиреневом двубортном костюме и в туфлях цвета красного дерева, уставившее сияющие фуксиновые глаза на свитки, которые вручали ему Рихард Вагнер, Достоевский и Конфуций[95].

Тон повествования дышит иронией и лукавством: чувствуется, что автору интереснее всего он сам. Стандартные темы Набокова для застольных бесед – насмешки над психоанализом, другими, не такими талантливыми, писателями,

современными учеными, похвалы истинным гениям (прежде всего самому себе), издевки над Советским Союзом и всем, что с ним связано, – формируют подоплеку романа. Это в высшей степени антибольшевистское произведение, отвечающее антикоммунистическим настроениям тех лет. Сенатор Маккарти упоминается в тексте, но походя и без осуждения. Набоков оплакивает русскую интеллигенцию, которую угнетали при царизме и окончательно уничтожили при СССР. Единственное, чего роману не хватает, так это сюжета. Когда в повествовании появляется Виктор, инстинктивно тянущийся к Пнину как к отцу, которого у него нет, нам кажется: вот оно, наконец-то. Вот, оказывается, к чему клонил автор. Однако Набоков отказался развивать эту сюжетную линию, о чем сожалел Ковичи. Он словно бы и намеревался это сделать, но не смог. “Нам незачем знать больше о Викторе, – отвечает Набоков в письме редактору. – За годы работы над романом я отказался от многих открывавшихся передо мной перспектив, от массы заманчивых, но совершенно ненужных второстепенных сюжетных линий… уничтожил все, что с художественной точки зрения неоправданно”[96]. Он отказался от фабулы в целом: Набоков полагал, что увлекательный сюжет необходим лишь бесталанной книге. Он не очень хорошо умел придумывать сюжеты, хотя мастерски выстраивал композицию[97], виртуозно жонглировал случайными предпосылками тех или иных событий, так что история не выглядела надуманной. Та фабула, которой ждал от него Ковичи, обычно свойственна повествованию, которое развивается неожиданно, но финал его вполне предсказуем. Герои такого рода историй переживают все так бурно и выражают чувства так открыто, как в обычной, некнижной жизни просто не бывает. Многие читатели, причем не только те, на кого ориентировался Набоков, ждали от романов, что те “разобьют застывшее море внутри нас”, как писал Кафка школьному другу[98]. Набоков это понимал, быть может, даже готов был угодить такого рода читателям (не зря же он упомянул о том, что “отказался от многих перспектив”), но не сумел.

Уилсон “Пнина” сдержанно похвалил. О первом фрагменте, который ему довелось прочесть, написал: “Елене [новая, четвертая и последняя его жена] твой рассказ ужасно понравился… Мне тоже, но я в конце ждал чего-то более неожиданного”[99]. Когда книга вышла, Уилсон отозвался о романе теплее:

> Книга, по-моему, очень хороша, к тому же ты, наконец-то, установил связь с великим американским читателем. Думаю я так потому, что в рецензиях,

которые попались мне на глаза, говорится одно и то же: никто не озадачен, все знают, как реагировать[100].

Уилсон предложил кое-какие незначительные исправления. Ему было важно похвалить “Пнина”, поскольку “Лолиту” он категорически не принял. Он писал Набокову тремя годами ранее, прочитав “Лолиту” в рукописи:

> А теперь о твоем романе. Мне он нравится меньше, чем все, что я у тебя читал. Рассказ, из которого вырос роман, был любопытен, однако на роман эта тема “не тянет”. Из грязных идей порой рождаются прекрасные книги – но, по-моему, тебе с этой идеей справиться не удалось. Мало того, что герои, да и сама ситуация, вызывают отвращение, но они к тому же изображены в таком ракурсе, что выглядят совершенно нереальными. Различные перипетии сюжета и кульминация в финале… слишком абсурдны, чтобы вызывать ужас и стать трагедией, и вместе с тем слишком отвратительны, чтобы вызвать смех… Согласен я и с Мэри, что твое мастерство становится порой утомительным[101].

Удивительно, что Набоков и Уилсон не раздружились после такой отповеди. Набокова это, несомненно, задело, однако он, пусть и через несколько месяцев, все же похвалил статью Уилсона в журнале *New Yorker*: “Кролик, мне очень понравилось твое палестинское эссе. Оно – одно из самых твоих удачных”[102]. Уилсон был слишком близким другом – слишком дорогим, слишком похожим, – чтобы терять его из-за такого. Потом Набокову ошибочно показалось, будто Уилсон не дочитал рукопись до конца (ему хотелось как можно скорее передать ее в издательство, да еще одновременно с ним ее читали Елена и Мэри Маккарти, так что читать приходилось быстро), и его это снова задело[103]. Он написал: “Я продал «Лолиту» [во Францию]… Надеюсь, ты ее когда-нибудь прочитаешь”[104], а когда американские издательства отказались печатать книгу:

> Меня удручает, что этот чистый и строгий роман какой-нибудь небрежный критик сочтет порнографическим трюком. И эта опасность представляется мне тем реальнее, чем яснее я осознаю, что даже ты не понял и не пожелал понять структуру этого запутанного и необычного произведения[105].

Уилсон попытался объяснить, что именно ему не

понравилось. “Думаю, близится время, – писал он Вере в 1952 году, – когда я прочту все его работы и напишу о них эссе, которое наверняка вызовет его раздражение”[106]. Два года спустя он по-прежнему обещал написать *étude approfondie*[50], обзор всех имевшихся на тот момент произведений Набокова[107], но из этого так ничего и не вышло. Скорее всего, дружба помешала бы беспристрастной оценке. В 1952 и даже в 1957 году Набоков по-прежнему оставался малоизвестным писателем-эмигрантом, существовавшим на преподавательское жалованье, и Уилсон, возможно, опасался ему навредить, так что высказался без обиняков только через десять лет, причем исключительно по поводу перевода “Евгения Онегина”, который ему не понравился со стилистической и научной точки зрения. Но тогда, к 1965 году, Набоков уже стал знаменитым писателем, который обессмертил свое имя в литературе, так что критика его работ могла навредить скорее репутации Уилсона, нежели самого Набокова.

И лишь в конце жизни, измученный перенесенными инсультами и прочими болезнями, Уилсон дал нечто вроде общей оценки творчеству Набокова. В книге под названием “Окно в Россию”, опубликованной в год его смерти (1972), он на семи страницах разбирает его произведения. Уилсон признается, что перечитал ранние романы Набокова и они, в общем, не задели его за живое. “Герои этих историй, – пишет он, – почти всегда окружены… какими-то нелепыми второстепенными персонажами, при этом не лишены оригинальности, и временами кажется, будто они общаются с высшим миром”[108].

> Набоков не раз признавался… что роман для него – своего рода игра с читателем. Обманывая ожидания последнего, писатель выигрывает. Художественный прием, который используется в этих романах, состоит в том, чтобы не рассказывать о каких-то событиях из ряда вон и вообще свести действие на нет… В “Короле, даме, валете” любовник с любовницей решают все же не убивать ее мужа. В “Приглашении на казнь” героя не казнят: выразив несогласие с обвинением, он запросто встает и уходит. (Любопытно сравнить подобную развязку с описанием лагерей у Солженицына, из которых вырваться было невозможно.)[109]

Уилсон, вероятно, забыл о собственных прежних истолкованиях, о том, как высоко он ценил независимые, обособленные творческие миры, и теперь его раздражают сюжеты, которым не хватает развития, и действия, которые заканчиваются ничем. Ему видится в этом “садомазохизм”[110], а Набоков, по его

мнению, из тех, “кто любит злые шутки и жестокие розыгрыши”, но при этом “обижается и возмущается”[111], если ему платят той же монетой.

В “Пнине”, делает вывод Уилсон, Набоков изображает самого себя, и вызвано это отчасти садомазохизмом. Так ему проще “унижать… бедного русского преподавателя, который трепещет перед талантом и высокомерием Набокова”, то есть повествователя, ВН. Писатель “в известной степени идеализирует Пнина, – продолжает Уилсон. – Садисты вообще в душе очень сентиментальны”[112]. И тут Уилсон жестоко заблуждается: ВН появляется в романе вовсе не для того, чтобы унизить Пнина, а чтобы показать чистоту и утонченность его души. Читатель прекрасно видит разницу между Пниным и ВН (сам ВН, как правило, ее не замечает). Вот для чего нужен такой рассказчик[113].

В случае с сентиментальностью Уилсон почти угадал. Действительно, образ персонажа, которого можно назвать главным мерилом нравственности в романе, оказывается незавершенным. Это Мира, девушка, погибшая в Бухенвальде, та самая, в которую Пнин был влюблен давным-давно: он грезит о ней, когда у него внезапно прихватывает сердце, причем образ былой возлюбленной передан теми словами, которые читателю знакомы по другим набоковским описаниям прелестных юных дев (“тепло шелковой красной, как роза, изнанки ее каракулевой муфты”, “нежность кистей и щиколок”)[114]. Здесь Набоков едва ли не в первый и единственный раз открыто пишет о Холокосте и называет конкретный лагерь смерти. Обычно действие его произведений происходит в вымышленных местах, словно упомянуть об ужасах века для него значило признать, что они и правда были. Лучше писать о них завуалированно, в откровенно нереальных контекстах, не касаясь всей этой мерзости[115].

Такой подход вполне понятен. Опасность в том, что такие персонажи, как Круг в “Под знаком незаконнорожденных”, Кинбот в “Бледном пламени” и даже Гумберт Гумберт порой рядятся в тогу страдания, о котором нельзя говорить, и оправдывают себя ужасами своего времени. Даже благородный Пнин поддается этому соблазну (ведь Набоков не все нам рассказал о его романе с Мирой). Она – ангел неземной, вот и все: Пнин вспоминает ее “нежное сердце”, ее “грациозную, хрупкую” женственность, но, как и в случае с пасынком Пнина Виктором, развитие сюжета в планы автора не входило. После воспоминаний о милом прошлом Пнин представляет себе, как Мира “умирала множеством смертей”: “ей прививали какую-то пакость, столбнячную сыворотку, и травили синильной кислотой под фальшивым душем, и сжигали заживо в яме, на политых

бензином буковых дровах”[116]. Набоков словно торопится столкнуть ее со сцены и превращает Миру в идеал, в героиню наподобие Анны Франк[117]. Набоков не развивает образ Миры, не раскрывает ее характер в сложных ситуациях, хоть отдаленно похожих на реальную жизнь со всеми ее ловушками: он сакрализирует героиню, переселяет в горний мир.

Глава 15

Некоторые исследователи жизни и творчества Набокова полагают, что Уилсон критиковал “Пнина” и другие работы писателя из зависти, в которой, возможно, не признавался самому себе. Эмигрант, выскочка, толком не знавший языка, приехал и снял сливки, и тогда тот, кому непременно хотелось быть первым – Уилсон, не Набоков, – обернулся против бывшего протеже, взлетевшего слишком высоко[1]. Пожалуй, без зависти тут действительно не обошлось. Однако критические суждения Уилсона вполне профессиональны: все-таки он относился к своему делу очень щепетильно. Возможно, в чем-то он был слеп, или рассуждал по-обывательски, или же к концу жизни настолько ослабел от болезней, что не способен был оценивать здраво, но все-таки тут дело не в одной зависти. Что-то в романе Набокова его не убедило. Уилсон и прежде высказывал другу возражения. Даже в книгах, которые ему понравились, как “Николай Гоголь”[2], находились моменты, вызывавшие у него досаду, и в единственном романе, который привел Уилсона в восторг, “Подлинной жизни Себастьяна Найта”, тоже, по его мнению, имелись серьезные недостатки.

Независимость суждений и неподкупность Уилсон возвел в культ. Иногда это его подводило: к примеру, он не заметил восторженного описания их дружбы в романе “Под знаком незаконнорожденных”. Уилсон читал все, что присылал ему Набоков, но не как профессиональный критик. Он не делал заметок (скорее всего, ему это и в голову не приходило) по поводу значимых моментов произведений[3]. В 1953 году он писал Набокову:

> Получится ли у тебя издать книгу до следующей осени? Очень на это рассчитываю, ибо тогда у меня будет предлог написать о тебе длинную статью в “Нью-Йоркер” и включить ее в сборник, который должен выйти в 1954 году[4].

Уилсон на самом деле хотел прочесть роман Набокова, прощупывал почву для профессиональной оценки. “Ты будешь моей следующей – после Тургенева – русской темой”, – добавляет он[5].

Главное различие между ними, которое не сгладилось с годами, было политическим. Близко знавшие Набокова ученые признавали, что он куда лучше разбирался в истории, так как не

только был свидетелем определенных исторических событий, но и много размышлял о них. В “Даре”, по мнению Семена Карлинского, вдумчивого и знающего набоковеда, тоже эмигранта, писатель “отыскал корни тоталитаризма в якобы либертарианских, на деле же фанатических и догматичных взглядах”[6] русских реформаторов – предшественников большевиков. Уилсон, к сожалению, “Дар” так и не прочел, поскольку недостаточно хорошо знал русский язык, а на английском роман вышел только в 1963 году. Поэтому так бездумно, но от этого не менее обидно и выговаривал Набокову после публикации “Под знаком незаконнорожденных”: “политика, социальные преобразования – это не твои темы”, поскольку “ты никогда не брал на себя труд понять их”[7].

Прочитай Уилсон “Дар”, он бы, скорее всего, поверил, что все эти сторонники реформ породили дьявольски изобретательных убийц-большевиков и что произведения на злобу дня, даже самые талантливые, таят в себе опасность. А может, все равно решил бы, что Набоков ничего в этом не смыслит. Николай Чернышевский, чья биография описана в “Даре”, не самый талантливый из русских писателей, был сторонником прагматизма и материализма и считал, что литература должна заниматься насущными вопросами, а Пушкин слишком много внимания уделяет эстетике и прочим пустякам[8]. Однако Чернышевский, в общей сложности проведший в тюрьме и ссылке двадцать лет, был, как и герой Набокова Федор и сам Набоков, сторонником идеализма, несмотря на весь свой вульгарный материализм. (Не существует ничего, кроме объективной реальности, но будущее все-таки за идеей: именно носитель идеи способен изменить мир.) Уилсон не настолько идеалист. В ситуации социального конфликта его волновали совсем другие вопросы: “Кто от этого пострадает? Кто обладает реальной властью? Кому сломают жизнь?” Прочитай он “Дар”, он, быть может, согласился бы с Набоковым, который считал, что этот роман – лучшее из всего, что он написал по-русски. Хотя не исключено, что Уилсон бы роман не принял. Юного Федора, героя произведения, восхищает процесс творчества, завораживает красота собственного ума. Он в восторге от собственных фантазий – именно они составляют суть его жизни в унылом Берлине 1930-х годов:

> Когда я по утрам приходил в этот лесной мир, образ которого я собственными средствами как бы приподнял над уровнем тех нехитрых воскресных впечатлений (бумажная дрянь, толпа пикникующих), из которых состояло для берлинцев понятие “Груневальд”; когда в

эти жаркие, летние будни я направлялся в его южную сторону, в глушь, в дикие, тайные места, я испытывал не меньшее наслаждение, чем если бы в этих трех верстах от моей Агамемнонштрассе находился первобытный рай9.

Федор Константинович взобрался, кондуктор, замешкав на империале, сверху бахнул ладонью по железу борта, тем давая знать шоферу, что можно трогаться дальше. По этому борту, по рекламе зубной пасты на нем, зашуршали концы мягких ветвей кленов, – и было бы приятно смотреть с высоты на скользящую, перспективой облагороженную улицу, если бы не всегдашняя холодненькая мысль: вот он, особенный, редкий, еще не писанный и не названный вариант человека, занимается Бог знает чем, мчится с урока на урок, тратит юность на скучное и пустое дело10.

В увлекательных описаниях – талантливых рассказах о прогулках по городу – Федор создает Берлин, и пусть времена стоят страшные, не сулящие миру ничего хорошего, о фашизме в этих фрагментах ни слова. Лишь ближе к концу читаем: “Проехал грузовик с возвращавшимися после каких-то гражданских оргий, чем-то махавшими, что-то выкрикивавшими молодыми людьми”11. Можно предположить, что Уилсон уделил бы этой сцене куда больше внимания. Автор привычно рассуждает о воображаемых мирах, где обитает художник. Фоном для его жизни и страданий служат определенные исторические события, однако он все же временами оказывается выше них, – но отчего же описанный Набоковым Берлин в романе совершенно не задевает читателя за живое? Действительно ли социальные реформы в России 1860-х годов породили большевизм? А как же крепостное право, которое отменили так неумело, что это привело к дальнейшему обнищанию крестьян? Как же бунты против помещиков, вспыхивавшие на протяжении сотен лет, или перипетии примитивной индустриализации, или детская смертность? Набоков не затрагивает эти вопросы в самом автобиографичном из своих романов, не описывает в традиционном ключе движущие силы истории, лишь к слову упоминает о большевизме, да и то не очень убедительно12. “Ты совершенно себе не представляешь, почему и каким образом Жабе удалось взять власть и что такое его революция”, – замечает Уилсон в письме Набокову по поводу романа “Под знаком незаконнорожденных”13. В этом суть их разногласий. Набоков считает, что диктатор не стоит внимания, даже если он тебя

убивает. Для Уилсона же главное – показать страдания классов, понять, почему они мирятся с гнетом деспотизма. Едва ли стоило искать в “Даре” ответы на эти вопросы, однако Уилсону было довольно и того, что автор обошел их стороной. Слишком часто замечал он в произведениях друга насмешку над страданиями. Возможно, дело в том, что в романах Набокова с их продуманной, строгой и безупречно выдержанной композицией Уилсону не хватало легкости, спонтанности, ощущения живой и понятной жизни, свойственного произведениям других авторов, которых Набоков презирал: Мальро, Фолкнера, Пастернака (впрочем, и уважаемых им Гоголя и Толстого). Самолюбование, возведенное в искусство, торжество эго[14]: пожалуй, именно так Уилсон (сторонник совершенно иного подхода к искусству) описал бы творчество Набокова.

В декабре 1955 года произошло сенсационное событие: писатель Грэм Грин в статье лондонской газеты *Sunday Times* назвал “Лолиту”, которую по-прежнему можно было купить только в издании *Olympia Press*, “одной из трех лучших книг года”[15]. Вскоре после этого обозреватель лондонской *Sunday Express* Джон Гордон объявил роман Набокова “самой непристойной книгой, которую мне доводилось читать. Самая бесстыдная порнография… Весь роман… просто омерзителен… Опубликован во Франции”[16]. О двух разных оценках, которые дали роману Набокова в лондонских газетах, упомянул в книжном приложении к газете *New York Times* обозреватель Харви Брейт: до него американская пресса о “Лолите” и словом не обмолвилась[17].

Издательство только что отказалось печатать “Пнина”. Набоков не сразу осознал, как ему повезло: “Я сильно раздосадован тем, как складывается судьба моей нимфетки, – писал он Уилсону по поводу отзывов о «Лолите» в лондонских газетах, – и хотя я предвидел такой поворот, я совершенно не представляю себе, что тут можно предпринять”[18]. Впрочем, ему незачем было что-то предпринимать. Пришел в движение идеально отлаженный механизм продвижения авторов в духе машины Руба Голдберга[51]: после отзыва Грин в шутку предложил основать “Общество Джона Гордона”, чтобы составить список “всех оскорбляющих чувства книг, пьес, картин, скульптур и керамических изделий”[19]. Заседание Общества действительно состоялось[20] и вызвало шквал публикаций. Набоков опасался за “Лолиту”, однако сложившаяся за 15 лет упорной работы репутация мастера английской прозы работала на него. Его американские коллеги: редакторы журналов и издательств,

обозреватели, литературоведы и писатели, которые читали его с интересом и радостью, – ни за что не допустили бы, чтобы Набокова обозвали “бульварным писакой” (или, того хуже, порнографом). В очередной колонке Брейт процитировал мнение профессионального сообщества:

> “Лолита” шокирует, поскольку это величайшее произведение искусства, которое рассказывает ужасную историю совершенно оригинальным образом… Истинная тема книги, долгое время привлекавшая наших лучших писателей, – развращение невинности, показанное глазами интеллигента-европейца, стремящегося открыть собственную Америку… Читатели могут усмотреть здесь что-то от Натанаела Уэста. Больше всего на роман похожи “Записки из подполья” и “Бесы”… Роман потрясает, как “Дейзи Миллер” и “Бесы” вместе взятые – или, к примеру, “Ночь нежна” и “Пленница”[21].

То, что Набоков назвал “мерзкой мышиной возней”[22] по поводу “Лолиты” в лондонских газетах, на самом деле обеспечило роману будущее. Знаменитое французское издательство *Gallimard* приобрело права на издание “Лолиты” на французском языке, а литературный журнал *Nouvelle Revue Française* опубликовал отрывок из романа[23]. К Набокову обратились несколько американских издательств[24]: в конце концов ни одно так и не сумело выпустить книгу, но по крайней мере появилась надежда, что когда-нибудь “Лолита” выйдет в Америке.

Весной 1956 года Набоков взял отпуск в Корнелле и провел три месяца в Гарварде, в течение которых, помимо прочего, работал над переводом “Онегина”. Дмитрий учился в Кембридже и занимался музыкой в Лонги, консерватории при Гарварде[25]. В мемуарах он вспоминает:

> Первый мой *MG* развалился, и я ездил на втором. Купил подержанный и довел до ума, чтобы бегал пошустрее. У него не было ни крыши, ни дворников. Он часто стоял, припаркованный, возле Гарвард-сквер. Обычно в нем, среди спортивных вещей и снега, валялась открытая книга, которую я впервые собирался переводить: “Герой нашего времени” Лермонтова. Отец… подходил к машине, проверял, на какой странице она открыта, чтобы посмотреть, насколько я продвинулся с переводом, а вечером с упреком сообщал мне об этом[26].

Родители хоть и переживали за сына, однако поддержали его

в намерении сделать карьеру оперного певца, но на всякий случай придумали запасной план действий[27]. Владимир предложил издательству *Viking* новый перевод романа Лермонтова, который выполнит "блестящий молодой переводчик"[28]. Разумеется, отец блестящего молодого переводчика все проконтролирует[29]. Сам Дмитрий едва ли был в курсе дела, что подтверждает записка Веры:

> У меня для тебя очень хорошие новости: можно сказать почти наверняка, что тебе доверят перевод "Героя нашего времени"… В прошлый понедельник у нас обедал один из редакторов *Doubleday* и после долгого разговора с отцом загорелся этой идеей. Сегодня написал и предложил заключить контракт[30].

Несмотря на то, что Дмитрий на тот момент уже закончил Гарвард и поступил в Гарвардскую школу права (учиться в которой не имел ни малейшего желания), Вере казалось, что он еще не встал на ноги – по крайней мере, ее письмо, если вдуматься, оставляет именно такое ощущение:

> Контракт с *Doubleday* (если удастся его заключить) будет на твое имя. В книге около 200 страниц… А значит, работать придется усердно, добросовестно, хорошо, переводить по странице в полтора часа, а в день минимум три-четыре страницы… До начала занятий в Лонги ты должен успеть перевести как минимум половину книги. Потом можешь сбавить темп, но все равно придется работать каждый день (без выходных) столько часов, сколько сможешь найти… Работа очень приятная, но и очень трудная, к тому же требует предельного упорства[31].

Есть в сыне-американце что-то, что настораживает Веру, – пожалуй, даже несколько черт его характера. "Твой отец, который никогда никому не отказывает[32], – как описывает Вера Владимира, – ждет от тебя"[33] хорошей работы. Похоже, возможность отказа вообще не рассматривалась. Когда Дмитрий не успел сделать перевод к оговоренному сроку, его родители доделали работу сами. Год спустя, летом 1956 года, Вера его предупреждала:

> Даже думать не смей о гонках и прочем. Вспомни сам, как ты в том году распоряжался деньгами: ты получил (и спустил в трубу) весьма круглую сумму (1000

долларов) от *Doubleday*, причем заработал из нее в лучшем случае треть, а то и меньше; вдобавок ты “взял взаймы” у отца солидную сумму и до сих пор не вернул; ты брал кредиты в банке; все, что заработал, ты потратил до последнего цента; ты вечно сидел без денег… Вместо того чтобы хорошенько отдохнуть, мы с твоим отцом все лето переводили “Героя” и будем биться над ним до конца отпуска. Разве это справедливо? Подумай об этом, сынок, подумай хорошенько, пора уже повзрослеть![34]

Дмитрий чем-то напоминал Жабу – не диктатора из “Под знаком незаконнорожденных”, а героя “Ветра в ивах”. У него тоже была “страсть к движущимся предметам”[35], причем “намного сильнее”, чем у других детей, как писала Вера. Он вел себя так, словно ему жить надоело. Во многих произведениях Набокова, написанных в Америке, повторяется мотив смерти ребенка – не только в “Лолите” и “Под знаком незаконнорожденных”, но и в рассказах (“Ланс”, “Знаки и символы”). Поэма “Бледное пламя” в одноименном романе также посвящена в основном смерти дочери.

Сильвия Беркман, приятельница Набокова по Уэлсли, навестила их той весной, когда Набоков читал курс в Гарварде[52]. Она была одной из ближайших подруг Веры по переписке и автором исследования, посвященного творчеству Кэтрин Мэнсфилд. В Уэлсли Беркман и Набоков не всегда ладили[36]: ее утомляла его веселость. Но к середине 1950-х годов Беркман стала ярой его поклонницей и в некотором смысле протеже. “Сильвия – одна из самых разумных и утонченных американских писательниц[37], – так написал в Университет штата Айова Владимир (или Вера), когда Беркман подала заявку на курс писательского мастерства в 1955 году. – Я думаю, что у нее большое будущее. Ее творческий метод отличается вниманием к стилю и живописным деталям и требует досуга”, то есть оплачиваемого отпуска в Уэлсли.

Набоков предложил кандидатуру Беркман в качестве потенциальной стипендиатки фонда Гуггенхайма[38]. Когда вышла книга ее рассказов, он уговорил издателя, который выпускал и набоковские романы, поддержать писательницу[39]. Беркман перечитала все, что когда-либо выходило у Набокова, и хотя ее восторги можно списать на соображения личной выгоды, она действительно непритворно им восхищалась[40].

Так, о “Пнине” Беркман писала: “Я думаю, отдельные эпизоды превосходны – все проникнуто таким мягким и мудрым юмором и терпким остроумием, что картина получается как

живая… с неповторимым привкусом грусти”[41]. В особенности ей понравилось то, что “Пнин” – роман об университетской среде. “Удивительно совершенное изображение колледжа («Рощи Академии» меркнут по сравнению с ним), не только беспощадное в своей точности, но и гениальное: оно заставляет задуматься о том, что у зануд, быть может, самые благие намерения”.

Беркман по возможности следовала примеру мастера. Провела лето в Стэнфорде, общаясь с теми же людьми, с которыми Набоковы подружились в 1940-х[42]. Путешествовала по Америке, как Набоков, но не на машине, а на междугородном автобусе, побывала на Диком Западе, превратив эту поездку в настоящее приключение: “Сперва на юг и юго-запад, потом на северо-запад тихоокеанского побережья и на юг через всю страну в Колорадо”[43]. Останавливалась в основном в дешевых мотелях. В то время “Лолита” как раз вышла и в Америке. В конце 1940-х и в 1950-е годы был популярен жанр “романа дороги”. Вне зависимости от того, читала ли Беркман подобные произведения, путешествовала по стране и открывала ее для себя в духе “Аэрокондиционированного кошмара” Генри Миллера (1947), “Америки день за днем” Симоны де Бовуар (1948), “В дороге” (1957) и “Бродяг дхармы” (1958) Джека Керуака, не говоря уже об эпопее Гумберта Гумберта. Однако, разумеется, Беркман не могла перенять у Набокова все. “Чему я лучше всего научилась у него, – писала Сильвия Вере, – так это ясной, концентрированной скрупулезности, умению подобрать не простое нейтральное слово, а такое, которое задевает за живое”[44]. Она и сама могла писать с удивительной точностью, раскрывая смутные ощущения, но, как и прочие талантливые последователи психологического реализма, едва ли могла брать Набокова за образец[45]. Его пример вел к отчаянию:

> Я с удовольствием прочла тонкие замечания о “Пнине” в английских газетах и рецензиях… “Лолиту” я считаю самым талантливым и оригинальным романом века. Насколько я знаю, ее часто комментировали в периодике и ежеквартальных журналах: ко всему сказанному могу присовокупить лишь собственное изумленное восхищение и невероятное наслаждение. Как и зачем после такого вообще браться за перо? Этот роман хочется перечитывать снова и снова, что для меня – основное мерило гениального произведения[46].

Набоков был гений, и его смелость писать, то есть – в его случае – отважно заниматься самоанализом вопреки большевикам, нацистам и прочим стремящимся подчинить

искусство собственным целям, побуждала следовать его примеру. Однако скрупулезность и *le mot juste*[53] в его случае только полдела. В знаменитом письме Уилсону, в котором Набоков говорит об “особых деталях, уникальных образах, без которых… нет искусства”47, он объясняет не собственные эстетические принципы, а лишь формулирует непременное условие талантливого произведения. Одной точности мало: кроме нее, есть еще много всего. Реальность в его описаниях вибрирует, точно сосулька, по которой ударили тростью. Взять хотя бы “Смех в темноте”:

> Оно было действительно очень голубое: пурпурно-синее издалека, переливчато-синее, если подойдешь к нему ближе, алмазно-синее на блестящей крутизне волны. Она поднималась, пенясь, стремительно неслась к берегу, вдруг приостанавливалась и, отступая, оставляла за собой гладкое зеркало на мокром песке, на которое тут же набегала уже следующая волна. Волосатый мужчина в оранжевых трусах стоял у самой воды и протирал очки.

Или, к примеру (оттуда же): “Откуда ни возьмись прилетел большой, разноцветный мяч и со звоном заскакал по песку”.

Или: “Вода мокрая, мокрая! – крикнула она и побежала вперед, навстречу прибою, вихляя бедрами и раскинув руки, проталкиваясь сквозь едва доходящую до колен воду”.

В “Лолите”:

> Под каким-то крайне прозрачным предлогом… мы удалились из кафе на пляж, где нашли наконец уединенное место, и там, в лиловой тени розовых скал, образовавших нечто вроде пещеры, мы наскоро обменялись жадными ласками, единственными свидетелями коих были оброненные кем-то темные очки. Я стоял на коленях и уже готовился овладеть моей душенькой, как внезапно двое бородатых купальщиков – морской дед и его братец – вышли из воды с возгласами непристойного одобрения, а четыре месяца спустя она умерла от тифа на острове Корфу.

Собственно, эта вибрация происходит исключительно в сознании восприимчивого к подобным явлениям читателя. Автор подходит слишком близко и произносит ровно те слова, которые будут поняты. Они могут быть приятными или смешными, но совершенно необязательно “эстетически прекрасными”: зачастую

они очень просты. Они заставляют задуматься, причем мысль сопровождается ощущением, будто читатель уже знал это, видел нечто подобное ранее, просто не удосужился оформить чувства в слова.

Такой писатель, как Беркман – или Джон Апдайк, с которым Дмитрий учился чуть ли не в одной группе в Гарварде и который стал самым горячим поклонником творчества Набокова из представителей молодого поколения, – добивается четкости и точности определений, совершенствует их, но это вовсе не означает некоего прорыва, проникновения в ту сферу, в которой гиперреалистическое перестает существовать. Мэри Маккарти, еще одна писательница-реалистка, оспаривала этот следующий шаг. В письме к Уилсону, когда они оба читали рукопись "Лолиты", она хвалит "все описания мотелей и прочих характерных особенностей нашей действительности", но при этом ей кажется, что роман "бежал от реальности в сферу свободных аллегорий или ряда символов… Такое ощущение, будто над каждым персонажем вьется воздушный змей смыслов"[48]. В результате произведение получилось "ужасно небрежным", "полным того, что учителя называют «туманом», и обычных для Владимира пустых шуток и каламбуров. Мне даже показалось, что так и было задумано".

Она оказалась права: так и было задумано. Реальность в романе полна двусмысленности и зачастую противоречит сама себе, она примеряет кавычки и тем самым становится интереснее для Набокова, открывает перед читателем сферу волшебного, первопричину бытия, сознание автора. В "Бледном пламени" (1962) читатель узнает, что "так или этак, а Разум участвовал в сотворении мира и был главной движущей силой", и этот Вселенский Разум, который, пожалуй, можно отождествить с сознанием Господа, не кто иной, если верить все тому же "Бледному пламени", как некий верховный плут, одержимый игрой слов, всевозможными уловками и удвоениями, заблуждениями и перекличками между литературными произведениями. "Бледное пламя", подобно "Пнину" (и в отличие от "Лолиты"), – роман эзотерический и спиритуалистический, понятный лишь посвященным; о нем можно сказать многое, но главное – это попытка постичь высшие сферы. На то, что такое измерение существует, намекают аномалии мира земного, в котором мы обитаем: Высший Разум, создавший мир двойников, загадочных совпадений и тайных соответствий, по забавному совпадению, не что иное, как модель сознания, которое способно все это постичь.

Американской литературе известны произведения такого

рода. Эмерсон, Готорн, Уитмен, Дикинсон и множество других, малоизвестных, авторов тоже принадлежали к когорте духоискателей: были таковые до них, были и после, однако к концу XIX века метафизические спекуляции[49] в некотором смысле вышли из моды, так что Твен, Джеймс, Хоуэллс и прочие изображают мир без размышлений о божественном. Возможно, нелюбовь Набокова к Джеймсу объясняется тем, что гносеология последнего казалась писателю чересчур заурядной. Окружающий мир, в особенности социальная сфера, сложен и обманчив, однако, по Джеймсу, вполне познаваем[50], и это знание заключается в восприятии, которое проверяется опытом других людей. Набоков, хотя и пишет о комизме ужасных, нелепых недоразумений (к примеру, некто мнит себя королем чужих земель, на деле же – никому не известный беженец, преподаватель, как главный рассказчик “Бледного пламени”), утверждает за собой право на такую прозорливость, что ему совершенно не нужно поверять свои знания другими умами. Достаточно и того, что это его метафизические прозрения и загадки: это и есть главное подтверждение их правильности. Разум, который творит миры, – вот наивысшее волшебство.

Как и другие лучшие романы Набокова, “Бледное пламя” – вторая попытка раскрыть тему, новая версия. Какие-то значимые его мотивы присутствовали уже в “Пнине” (кстати, сам Пнин снова появляется в “Бледном пламени”: те читатели, кто переживал из-за того, что бедолагу уволили из университета, могут успокоиться – он благополучно устроился на новую работу). Зимой 1939–1940 годов, закончив “Волшебника”, предшественника “Лолиты”, Набоков написал две главы романа, который так никогда и не был завершен[51]: впоследствии из него выросло “Бледное пламя”. Это фантазия на тему утраченного царства: в нем есть художник, который оплакивает потерю и надеется, что за гробом встретится с ней. Набоков почувствовал, как шевелится в душе замысел нового романа, нового, но при этом старого, в те самые чудесные годы, когда завершил “Лолиту”, но никак не мог опубликовать так, как ему хотелось, когда написал “Пнина” и погрузился с головой в изучение “Евгения Онегина”, перевел его несколько раз, чтобы снова и снова с мукой в сердце браковать результаты своих трудов и в конце концов создать тот вариант, который наверняка понравился бы Пушкину. Тогда он взялся за новую вещь: в октябре 1956 года Вера написала Сильвии Беркман, что преподавание “мешает Владимиру писать: помимо книги о Пушкине, он пытается работать над новым романом”[52].

Замысел “Бледного пламени” созревал долго. Между тем, как Набокову впервые пришла идея романа, и тем, когда он наконец-то начал его писать (в начале 1960-х годов, уже вернувшись в Европу), пронесся “ураган Лолита”[53], как его называл писатель, невероятный подъем во всех сферах жизни. В марте 1957 года Набоков послал редактору издательства *Doubleday* Джейсону Эпштейну предварительный синопсис романа, который запланировал после “Лолиты”: предполагалось, что новому произведению будет свойственен “весьма изощренный спиритуализм”[54]. “Мое творение посвящено былому и грядущему; мне кажется, я нашел весьма изящный ответ на эти вопросы”.

“Бледное пламя” метафизично, однако не имеет никакого отношения ни к религии, ни к вере. В нем изображено “островное королевство”[55], где в результате “бессмысленной и жестокой революции” свергли короля, и он бежал в Америку. Набоков, похоже, собирался поиграть с географией, как уже делал не раз в ранних книгах. Река Гудзон у него течет “в Колорадо”[56], а граница между севером штата Нью-Йорк и “Монтарио” окажется “чуть размытой и непостоянной”, но в целом “местоположение и обстановку риэлтор назвал бы «реалистичной»”.

Центральная тема романа[57] – то, что человек по имени Чарльз Кинбот рецензирует поэму, которую написал некто Джон Шейд, – в письме Эпштейну не упоминается. Брайан Бойд, считавший “Бледное пламя” “самым совершенным из существующих в мире романов”[58], гениально описывает читателя, который впервые открывает эту книгу:

> На второй странице предисловия Кинбот сообщает нам, что в последний день своей жизни его друг Шейд объявил ему, что труд его завершен. К этому Кинбот добавляет: “смотри мое примечание к стиху 991”. С этого места мы можем либо читать дальше предисловие и ознакомиться с примечанием, либо поверить автору на слово и сразу обратиться к примечанию. Пойдя по второму пути, мы сразу же убедимся в странноватой привязанности Кинбота к Шейду. Вернувшись домой, он… обнаруживает Шейда “на напоминавшем беседку крыльце или веранде, о которой я упоминал в моем примечании к строкам 47–48”. Что нам тут делать – читать дальше примечание к строке 991, которое уже представляет отношения между поэтом и комментатором в каком-то странном свете, или обратиться к более раннему примечанию? Если мы это сделаем, нас почти сразу же отошлют к примечанию к строке 691, и хотя

> нам уже не хватает пальцев на закладки и мы начинаем тайно задаваться вопросом, удастся ли нам когда-нибудь вернуться к предисловию, мы все-таки предпринимаем последнюю попытку[59].

Набоков не жалеет сил, чтобы позабавить читателя. Это даже немного унизительно. Между 1956 годом, когда в душе его впервые шевельнулся замысел романа, и началом 1960-х годов появились произведения, о которых Набоков знал[60] (а некоторые даже хвалил), – например, творения Алена Роб-Грийе и Раймона Кено, представлявшие соответственно французский "новый роман" и литературное течение УЛИПО. Эти романы предвосхитили, а в чем-то даже затмили самые революционные набоковские работы. Возможно, они вдохновили его на дальнейшие эксперименты. Унизительно же все это было для обычного читателя[61]. После блестящего бестселлера Набоков замыслил роман, который вообще непонятно как читать. Кинбот по-своему пытается помочь:

> И хоть эти заметки следуют – в силу обычая – за поэмой, я посоветовал бы читателю сначала ознакомиться с ними, а уж потом с их помощью изучать поэму, перечитывая их по мере перемещенья по тексту и, может быть, покончив с поэмой, проконсультироваться с ними третично, дабы иметь законченную картину[62].

Вполне понятно, что комментатор надеется на то, что читатель предпочтет именно его часть. Вероятно, в попытке увеличить продажи книги вдвое (наподобие сообразительного копирайтера, придумавшего написать на бутылке шампуня "Смыть и повторить") Кинбот признается:

> В случаях вроде этого мне представляется разумным обойтись без хлопотного перелистывания взад-вперед, для чего следует либо разрезать книгу и скрепить вместе соответственные листы произведения, либо, что много проще, купить сразу два экземпляра настоящего труда, которые можно будет затем разложить бок о бок на удобном столе.

Ключевой текст книги, длинная поэма Шейда "Бледное пламя", старомодна как в плане рифмы, так и метра. Бойд признает, что с поэтической точки зрения она "блистательна сама по себе": "Немногое в английской поэзии может сравниться с «Бледным пламенем»"[63]. Он полагает, что поэма выросла из

творчества Александра Поупа, хотя перекликается и с произведениями других авторов[64], в том числе Мильтона, Гете, Вордсворта, Хаусмана и Йейтса. Джон Шейд, университетский поэт-затворник, – малоизвестный северо-восточный автор, или, как он сам говорит о себе в “Бледном пламени”, “…дважды // Я назван был, за Фростом, как всегда // (Один, но скользкий шаг)”[65]. Его поэма длиной в 999 строк написана классическим английским вольным неравносложным стихом (так называемым “доггерелем”), пусть и нестрогим, но от этого не менее нудным и монотонным. Героические дистихи XVIII века – рифмованные двустишия, написанные пятистопным ямбом, – кажется, кичатся собственным мастерством и аккуратностью:

> Мод Шейд сравнялось восемьдесят в год,
> Когда удар случился. Твердый рот
> Искривился, черты побагровели.
> В известный пансион, в Долину Елей
> Ее свезли мы. Там она сидела
> Под застекленным солнцем, то и дело
> В ничто впиваясь непослушным глазом.
> Туман густел. Она теряла разум…[66]

Здесь рифма и метр словно управляют смыслом (качество, от которого Набоков старался отмежеваться при переводе “Евгения Онегина”), и все приносится в жертву буквальной точности. Ранее Шейд описывает странный случай из детства:

> Однажды, лет в одиннадцать, лежал
> Я на полу, следя, как огибала
> Игрушка (заводной жестяный малый
> С тележкой) стул, вихляя на бегу.
> Вдруг солнце взорвалось в моем мозгу!
> И сразу ночь в роскошном тьмы убранстве
> Спустилась, разметав меня в пространстве
> И времени, – нога средь вечных льдов,
> Ладонь под галькой зыбких берегов,
> В Афинах ухо, глаз – где плещет Нил,
> В пещерах кровь и мозг среди светил.
> Унылые толчки в триасе, тени
> И пятна света в верхнем плейстоцене,
> Внизу палеолит, он дышит льдом,
> Грядущее – в отростке локтевом.
> Так до весны нырял я по утрам
> В мгновенное беспамятство. А там —

Все кончилось, и память стала таять[67].

Этот фрагмент перекликается с эпизодом, в котором у героя “Пнина” прихватывает сердце и ему мерещится Мира Белочкина. Поэма, как “Прелюдия” Вордсворта[68], “о росте моего ума”: история ментального кризиса, имеющего духовное измерение, в русле прочих произведений канона (“Исповеди” Августина, “Божественной комедии” Данте, “Из колыбели, вечно баюкавшей” Уитмена и отдельных частей его же “Песни о себе”). В “Бледном пламени” отразились многие убеждения Набокова. Как он признавался в 1960-е годы в интервью: “Я действительно приписал… некоторым моим более-менее заслуживающим доверия персонажам кое-какие из моих собственных взглядов. Вот, например, Джон Шейд… позаимствовал некоторые мои мнения”[69].

Среди этих убеждений попадаются и старомодные капризы: “Ненавижу такие вещи, как джаз” и бои быков, “когда болваны в белых чулках издеваются над животными”. Как и его создателю, Шейду “мерзки”

> …джаз,
> Весь в белом псих, что черного казнит
> Быка в багровых брызгах, пошлый вид
> Искусств абстрактных, лживый примитив,
> В универмагах музыка в разлив,
> Фрейд, Маркс, их бред, идейный пень с кастетом,
> Убогий ум и дутые поэты[70].

В метафизике Шейда нет места богу: отголоски этого мы находим и в других книгах Набокова. Так, в “Пнине” герой не верит “во всевластного Бога. Он верил, довольно смутно, в демократию духов. Может быть, души умерших собираются в комитеты и, неустанно в них заседая, решают участь живых”[71] – как сгинувшая в концлагере Мира, которая посылает белочек в мир живых, чтобы приободрить Пнина.

“Память, говори” – в некотором смысле контакт с умершими: изображая собственную жизнь, объясняя, как развивалось сознание художника, Набоков раскрывает собственное восприятие подобных явлений. “Колыбель качается над бездной. Заглушая шепот вдохновенных суеверий, здравый смысл говорит нам, что жизнь – только щель слабого света между двумя идеально черными вечностями”[72]. “Сколько раз я чуть не вывихивал разума, стараясь высмотреть малейший луч личного среди

безличной тьмы по оба предела жизни?”[73] – признается писатель, и хотя “отчеты о медиумистических переживаниях” не дали ответа на его вопросы, как и самые ранние сны, в которых он рылся “в поисках ключей и разгадок”, но и против “меры” он “решительно восстает” – здравый смысл раздражает его своей заурядностью. Он убежден, что вечность существует и проникнуть в нее можно с помощью фантазии: воображению художника свойственна способность чувствовать, “все происходящее в определенной точке времени”[74]. Поэт, погруженный в творческие раздумья,

> постукивает себя по колену карандашом, смахивающим на волшебную палочку, и в этот же самый миг автомобиль (с нью-йоркским номером) пролетает дорогой, ребенок стучится в сетчатую дверь соседской веранды, старик в Туркестане зевает посреди мглистого сада, венерианский ветер катит крупицу пепельного песка, доктор Жак Хирш в Гренобле надевает очки для чтения, и происходят еще триллионы подобных же пустяков, – создающих, все вместе, мгновенный, просвечивающий организм событий, сердцевиной которого служит поэт (сидящий в садовом кресле, в Итаке, штат Нью-Йорк)[75].

Джон Шейд, пишущий “Бледное пламя” в вымышленной Итаке (“Нью-Вай”), наделен истинной властью. Об этом свидетельствуют некоторые строки его поэмы, и Набоков, хотя и посмеивается над своим героем (ставит Шейда “за Фростом”, а ведь Фрост – и сам не Пушкин и не Шекспир), отчасти все же олицетворяет себя с ним[76]. “Бледное пламя” – пример “избытка витиеватости”[77], который Шейд (столько же от своего имени, сколько от имени Набокова) наделяет глубоким смыслом, поскольку за способностью художника управлять временем, объединять воспоминания детства со стариком из Туркестана и событиями, которые происходят в эту самую минуту, а также с возможным будущим (тем будущим, в котором непременно выйдет книга этих самых стихов), таится сила и красота, во много раз превосходящая щель слабого света. Шейду кажется, что ему “посильно”

> Постигнуть бытие (не все, но часть
> Мельчайшую, мою) лишь через связь
> С моим искусством, с таинством сближений,
> С восторгом прихотливых сопряжений;
> Подозреваю, мир светил, – как мой

Весь сочинен ямбической строкой.
Я верую разумно: смерти нам
Не следует бояться, – где-то там
Она нас ждет, как верую, что снова
Я встану завтра в шесть, двадцать второго
Июля, в пятьдесят девятый год,
И верю, день нетягостно пройдет[78].

Однако проснуться ему не суждено. Накануне вечером его убьют.

Шейд обожает свою покойную дочь Гэзель. Смерть перевернула и подчинила себе всю жизнь поэта:

Был час в безумной юности моей,
Когда я думал: каждый из людей
Загробной жизни таинству причастен,
Лишь я один – в неведеньи злосчастном:
Великий заговор людей и книг
Скрыл истину, чтоб я в нее не вник.
Был день сомнений в разуме людском:
Как можно жить, не зная впрок о том,
Какая смерть и мрак, и рок какой
Сознанье ждут за гробовой доской?
В конце ж была мучительная ночь,
Когда постановил я превозмочь
Той мерзкой бездны тьму, сему занятью
Пустую жизнь отдавши без изъятья[79].

Гэзель умирает молодой: девушку очень жаль. Шейд вспоминает, что она была некрасива: толстушка со смешными глазами и т. п. “Пусть некрасива, но зато умна”[80], – говорили друг другу родители, впрочем опасаясь, что и это неправда.

“Все бестолку”[81], – сокрушается поэт. “Я, помню, как дурак рыдал в уборной”, – вспоминает Шейд: прослезиться его заставила роль дочери в школьной пантомиме (до того бедняжка была неуклюжа). Внешность очень важна – пожалуй, это вообще самое главное. В поэме, которая затрагивает самые насущные вопросы, едва ли уместно считать трагедией заурядную внешность. “Увы, но лебедь гадкая не стала древесной уткой”, – пишет Шейд, и девушка впадает в уныние: ничто не может ее утешить.

…Но с каждого пригорка

Кивал нам Пан, и жалость ныла горько:
Не будет губ, чтобы с окурка тон
Ее помады снять, и телефон,
Что перед балом всякий миг поет
В Сороза-холл, ее не позовет;
Не явится за ней поклонник в белом;
В ночную тьму ввинтившись скользким телом,
Не тормознет перед крыльцом машина,
И в облаке шифона и жасмина
Не увезет на бал ее никто…[82]

Гэзель отправляется на свидание вслепую. Молодой человек, увидев ее, вспоминает о неотложном деле, и это становится для бедной дурнушки последней каплей. Она идет прямиком к полузамерзшему озеру и бросается в воду. Ничего не подозревающие родители в это время дома сидят перед телевизором и переключают каналы, поскольку ничего интересного не передают. Судьба уже подмигивает им, подает знаки, которых они еще не понимают:

“А может, ей не стоило идти?
Ведь все-таки заглазное свиданье…
Попробуем премьеру «Покаянья»?”
Все так же безмятежно, мы с тобой
Смотрели дивный фильм. И лик пустой
Знакомый всем, качаясь, плыл на нас[83].

…Телетеней судьбу
Рубин в твоем кольце вершил, искрясь;
“Ну, выключай!..” Порвалась жизни связь,
Крупица света съежилась во мраке
И умерла[84].

Этот контрапункт[85] – дочь топится, пока родители смотрят телевизор, – отражается эхом в нескольких частях романа. Несопоставимые истории перекликаются друг с другом. Особняком стоит главный источник комического в романе – комментарии Кинбота к поэме и то, как мы их воспринимаем: суждения Кинбота на удивление примитивны – классический пример того, как читатель искажает смысл текста в своих целях. Такое ощущение, что перед нами очередной нелепый набоковский солипсист наподобие Германа из раннего романа “Отчаяние” (герой убивает человека, которого считает своим двойником, хотя

они совершенно не похожи), или Гумберта Гумберта, или коварных любовников из “Короля, дамы, валета”, или Альбинуса из “Смеха в темноте” (тот настолько слеп, что в конце концов слепнет на самом деле).

Кинбот верит, что он вовсе не несчастный преподаватель языков в университете, смутно похожем на Корнелл, но Карл-Ксаверий-Всеслав, прозванный Возлюбленным, последний король Земблиⁱ⁸⁶, “страны далеко на севере”ⁱ⁸⁷ по соседству с Россией. В Америку он бежал от революционеров, которые его свергли и хотели убить. Поклонник поэзии Шейда, которого он даже пытался переводить, он подружился с поэтом в последние месяцы его жизни. Они болтают о вечере в Нью-Вае, районе наподобие преподавательского гетто Итаки, Каюга-Хайтс. Кинбот рассказывает поэту о Карле II и надеется, что Шейд вставит эти фрагменты в поэму.

“Бледное пламя” могло бы завершиться описанием “разрозненной американы”, но победила Земблия:

> О нет, я не думал, что он посвятит себя полностью этой теме… но я был уверен, что в поэму войдут удивительные события, которые я ему описал… ничего этого не было! Взамен чудесной, буйной романтики – что получил я? Автобиографическое, отчетливо аппалаческое, довольно старомодное повествование в ново-поповском просодическом стиле… лишенное всей моей магии, той особенной складки волшебного безумия, которое, как верилось мне, пронижет поэму, позволив ей пережить свое времяⁱ⁸⁸.

Роман, как и поэма, совершенно американский: он изобилует образами в духе “Лолиты” и “Пнина”, сценками из тогдашней университетской жизни и любовно-точными описаниями природы. И поэма, и роман выросли из образа птицы, которая круглый год гнездится во дворах Итаки:

> Я тень, я свиристель, убитый влет
> Подложной синью, взятой в переплет
> Окна; комочек пепла, легкий прах,
> Порхнувший в отраженных небесахⁱ⁸⁹.

Птицы разбиваются о панорамные окна: грустно, но факт. Родители Шейда были орнитологами. Как Набоков и Федор, герой “Дара”, Шейд унаследовал полунаучный взгляд на мир:

Был люб мне, взоры грея, всякий цвет.
Я мог сфотографировать предмет
В своем зрачке. Довольно было мне
Глазам дать волю или, в тишине,
Шепнуть приказ, – и все, что видит взор, —
Паркет, гикори лиственный убор,
Застрех, капели стылые стилеты
На дне глазницы оседало где-то
И сохранялось час, и два[90].

Свободный жив без бога. Но в природе
Увязнувший, я так ли был свободен,
Всем детским нёбом зная наизусть
Златой смолы медвяный рыбий вкус?[91]

Свиристель сообщает о том, что существуют миры-двойники, что оба мира взаимно проницаемы, проецируются друг на друга:

Так и снутри удвоены во мне
Я сам, тарелка, яблоко на ней;
Раздвинув ночью шторы, за стеклом
Я открываю кресло со столом,
Висящие над темной гладью сада,
Но лучше, если после снегопада
Они, как на ковре, стоят вовне —
Там, на снегу, в хрустальнейшей стране![92]

“Я не желаю мять и корежить недвусмысленный *apparatus criticus*, придавая ему кошмарное сходство с романом”, – заявляет Кинбот[93]. Однако он не в силах справиться с неукротимой тягой комментировать. Кинбот, словно чревовещатель, рассказывает свою историю устами мертвого поэта и создает именно такой независимый критический аппарат. В конце концов вопрос, кто же все-таки Кинбот – король Карл II или сумасшедший с манией величия, остается без ответа. В пользу того, чтобы поверить в его слова, помимо увлекательных, подробных и логичных описаний, говорит и его царственность, величественно-снисходительная манера и открытый, даже активный гомосексуализм:

Я поворотился, чтобы уйти… Я объяснил, что не смогу задержаться надолго, ибо вот-вот должен начаться своего рода маленький семинар, за которым мы немного поиграем в настольный теннис с двумя очаровательными

близнецами и еще с одним, да, еще с одним молодым человеком[94].

Тут нам придется вернуться из августа 1958-го года лет на тридцать назад, во вторую половину одного майского дня… У него было несколько близких друзей, но ни один не шел в сравнение с Олегом, герцогом Ральским. В те дни отроки высокородных фамилий облачались по праздникам… в вязаные безрукавки, беленькие носочки при черных на пряжках туфлях и в очень тесные, очень короткие шорты… Мягкие светлые локоны со времени последнего визита во Дворец остригли, и юный принц подумал: Да, я знал, что он станет другим[95].

Как поступил бы лишенный трона король, к тому же гомосексуалист, вынужденный бежать, чтобы укрыться в далекой стране? Карл Возлюбленный держится с идеально выверенной смесью страха и превосходства, отвечая на издевки, подчас жестокие, продиктованные гомофобией, с привычным хладнокровием искусного бойца, потерявшего форму:

Что ж, мне известно, что среди некоторых молодых преподавателей, которых авансы были мною отвергнуты, имелся по малости один озлобленный штукарь, я знал об этом с тех самых пор, как, воротившись домой после очень приятной и успешной встречи со студенчеством и профессурой (где я, воодушевясь, сбросил пиджак и показал нескольким увлеченным ученикам кое-какие затейливые захваты, бывшие в ходу у земблянских борцов), обнаружил в пиджачном кармане грубую анонимную записку: *“You have hal……s real bad, chum”*, что, очевидно, означало *“hallucinations”*[96].

Как-то… мне случилось зайти на кафедру английской литературы и услышать, как молодой преподаватель в зеленой вельветовой куртке, которого я из милосердия назову здесь “Геральд Эмеральд”, небрежно ответил на какой-то вопрос секретарши: “По-моему, мистер Шейд уже уехал вместе с Великим Бобром”. Верно, я очень высок, а моя каштановая борода довольно богата оттенками и текстурой, дурацкая кличка относилась, очевидно, ко мне, но не стоила внимания, и я… отправился восвояси и лишь мимоходом распустил ловким движением пальцев галстук-бабочку

на шее Геральда Эмеральда[97].

Лукавые и многословные излияния Кинбота очень образны. Читать его одно удовольствие: его стиль напоминает заумные, шокирующие-откровенные пассажи Гумберта Гумберта, только у Кинбота он не настолько интеллектуальный. Спустя несколько дней после приезда в город Кинбот знакомится с Шейдом в преподавательском клубе:

> Его лаконическое предложение “отведать свинины” меня позабавило. Я – неукоснительный вегетарьянец и предпочитаю сам готовить себе еду… Шейд сказал, что у него все наоборот: ему требуется сделать определенное усилие, чтобы отведать овощей… В то время я еще не привык к довольно утомительному подшучиванию и перекорам, распространенным среди американских интеллектуалов узкородственной университетской группы, и потому не стал говорить Джону Шейду перед этими ухмыляющимися пожилыми самцами о том, как восхищают меня его творения, – дабы серьезный разговор о литературе не выродился в обычный обмен остротами[98].

Кинбот, несмотря на все самообладание, испытывает стресс. У него вырываются слова отчаяния: “Господе Иисусе, сделай же что-нибудь”[99], – восклицает он в конце лирического описания университетского городка. Он откровенен, это главное: ему хочется внимания слушателей, читателей, хочется задеть за живое. “Тут перед моим нынешним домом расположен гремучий увеселительный парк”[100], – сообщает он и затем признается: “– Как докучает мне эта музыка!” Кинбот едва не рвет на себе волосы от досады. Он король, но вынужден со многим мириться. Сочетание церемонности Старого Света и непонимания особенностей света Нового, страх, несбыточные мечты и грусть придают ему очарования несмотря на то, что он едва ли заслуживает доверия. Шейд, если верить рассказам Кинбота, относится к нему с неподдельной добротой. Они часто прогуливались вдвоем. Шейд, безусловно, поэт университетский, но не вполне академический: его заключительный труд, поэма, которую он пишет в последние недели жизни, задумана как прорыв, как попытка заговорить в полный голос и назвать вещи своими именами. При этом он выбирает просодию в духе Александра Поупа[101], жанр ученой, интеллектуальной поэзии, но с сердечными излияниями в стилистике Вордсворта. Ведь, в конце концов, даже вооружившись научной точностью, невозможно

подчинить себе небеса. Мудрость поэмы в ее недостатках[102]: гром с небес не грянет, поскольку с миром иным нет и не может быть общения, однако творение поэта с его запутанными аналогиями копирует устройство мироздания.

Кинбот, разумеется, не Поуп. “В иных из моих заметок я примечаю свифтовский присвист”, – признается он, однако его стиль ближе к романтизму, нежели к классицизму. И пусть по природе своей он “склонен к унынию”[103], с “мерзлой грязью и ужасом в сердце”, но и у него бывают “минуты ветрености и *fou rire*”[104]. В восторге от знакомства с Шейдом, он признается:

> Преклонение перед ним было для меня своего рода альпийским целением. При каждом взгляде на него я испытывал грандиозное ощущение чуда, особенно в присутствии прочих людей, людей низшего ряда. Особое очарование придавало этому чуду понимание мною того, что они не чувствуют, как я, не видят, как я, что они принимают Шейда за должное вместо того, чтобы, так сказать, всеми жилками впитывать романтическое приключение – близость к нему[105].

Шейд – художник: вот он стоит и жует кусок сельдерея, но при этом впитывает происходящее и переосмысливает впечатления, чтобы впоследствии сотворить “органичное чудо – стихотворную строчку – совокупление звука и образа”[106]. Благоговейный трепет Кинбота не утихает и после убийства Шейда:

> Трень-брень, играли подковы в Тайном Жилье. Я нес крупный конверт и ощупывал жесткие уголки стянутых круглой резинкой карточных стопочек. Сколь несуразно привычно для нас волшебство, в силу которого несколько писанных знаков вмещают бессмертные вымыслы, замысловатые похожденья ума, новые миры, населенные живыми людьми, беседующими, плачущими, смеющимися. Мы с таким простодушием принимаем это диво за должное, что в каком-то смысле самый акт восприятия отменяет вековые труды, историю постепенного совершенствования поэтического описания и построения, идущую от древесного человека к Браунингу, от пещерного – к Китсу[107].

Кинбот продолжает, с глубоким почтением к предшественникам:

> Набожно взвесил я на ладони то, что нес теперь слева подмышкой, минутами ощущая немалое изумление, как если б услышал, что светляки передают сигналы от имени потерпевших крушение призраков, и эти сигналы можно расшифровать, или что летучая мышь пишет разборчивым почерком в обожженном и ободранном небе повесть об ужасных мучениях[108].

Кинбот похож на самого автора, тоже восприимчивого к чуду. Впервые приехав в Америку (Кинбот приземлился с парашютом на поле неподалеку от Балтимора), он оглядывается “с восторгом и умилением”[109]. Комментарии проникнуты набоковской любовью к горам. Зембля – страна гористая, расположена на полуострове, через который проходит горный хребет, так что сбежать королю удается, только взобравшись на хребет и спустившись с другой его стороны. “На сверхъестественной высоте, в пьянящей сини” он оказывается в пространстве, “где альпинист замечает рядом с собой призрачного попутчика”[110] – друга, воображаемого союзника, который поможет ему выбраться отсюда целым и невредимым[54].

Таким же другом для Кинбота стал Шейд[111]. Его поэма, частично основанная на земблийских воспоминаниях, полна упоминаний о горах, в основном известных (Монблан, Маттерхорн), но при этом автор путает гору с родником. Кинбот с восторгом описывает горы, которые “в один безоблачный вечер… плавали в мареве заходящего солнца”, вспоминает, как “на заре, при первом звоне коровьего колокольца” король-беглец проснулся в горной хижине и как “оскользнулся той ночью на влажном, заросшем папоротником склоне”, вспоминает об опасных полях, заваленных валунами (“мистер Кэмпбелл подвернул однажды лодыжку и двум здоровенным прислужникам пришлось тащить его, дымящего трубкой, вниз”), и о горных хижинах, где утомленных путников приютили и накормили радушные крестьяне (“кружка горного меду”), а их чумазые дочери провели их опасными тропами и потом разделись, пытаясь отдаться[112].

Многие мотивы поэмы, видоизменяясь, повторяются снова и снова: свет телевизора в гостиной у поэта и свет далекой хижины в горах. Бабочка, образ которой проходит через всю поэму (Шейд называет ее “темной ванессой”[113]: она напоминает ему о жене, Сибил), встречается королю на рассвете в горах. Его путешествие навстречу свободе напоминает “Тинтернское аббатство” Вордсворта (“Хоть я не тот, каким я был, когда, // Попав сюда впервые, словно лань, // Скитался по горам”)[114] и прекрасный отрывок из “Бледного пламени”[115], позаимствованный из

“Лесного царя” Гете, – фрагмент, в котором Шейд оплакивает смерть дочери: Карл, замыслив побег, повторяет те же строки[116].

Возможно, Шейд действительно писал о Зембле. Или же Кинбот, который после смерти поэта (Шейд, как отец Набокова, погиб от рук убийцы, целившего в другого) стал единственным владельцем рукописи, решился на основе поэмы написать комментарий[117]: тот начинается с обманчивого утверждения, будто это критик вдохновил поэта, а не наоборот. Кинбот отзывается о себе так:

> Сам я, немало поплававший в синей магии, хоть и способен изобразить какую угодно прозу (но не поэзию, как ни странно, – рифмач из меня убогий), не отношу себя к истинным художникам, впрочем, с одной оговоркой: я обладаю способностью, присущей одним только истинным художникам: случайно наткнувшись на забытую бабочку откровения, вдруг воспарить над обыденным и увидеть ткань этого мира, ее уток и основу[118].

Набоков вполне мог бы сказать то же самое о себе. Его художественная манера заключалась в том, чтобы суметь взглянуть на вещи по-новому и свободно их сочетать. Произведения его полны метафор и сравнений. “Бледное пламя”, образ Земблы в котором позаимствован из классической метафизической поэзии[119], сама по себе метафора, где одно подменяет другое, – совпадение, на первый взгляд, абсурдное, но увлекательное, если знать, как нужно его читать. Об этом же говорит и Кинбот:

> Постепенно всегдашнее самообладание возвращалось ко мне. Я с пущим тщанием перечел “Бледное пламя”. Я ожидал теперь меньшего, и поэма мне понравилась больше. И что это? Откуда взялась эта далекая, смутная музыка, это роение красок в воздухе? Там и сям находил я в поэме и особенно, особенно в бесценных вариантах, блестки и отголоски моего духа, длинную струйную зыбь – след моей славы. Теперь я испытывал к поэме новую, щемящую нежность[120].

В книге отражаются и другие, более личные, черты Набокова. Автор всегда поневоле изображает самого себя, будь то в образе Шейда или кого-то другого:

> Мужчина крупный, неповоротливый и напрочь

> лишенный страстей, помимо страсти к поэзии, он редко покидал свой хорошо протопленный замок с пятьюдесятью тысячами коронованных книг, – известно, что однажды он два года провалялся в постели: читал, писал, а после, хорошо отдохнувший, навестил Лондон в первый и единственный раз, но погода там стояла туманная, языка он понять не сумел и потому еще на год вернулся в постель[121].

Комментарий в буквальном смысле слова превосходит поэму – 75 тысяч слов против 750, – а романтический порыв побеждает стремление к трансцендентному. Разработанная Шейдом метафизика (его космология строится на личности художника, который единственный из всех понимает внутренний механизм творения и в этом равен Творцу) кажется сущей чепухой. Пламенные верующие все же обычно ощущают свое ничтожество перед лицом Господа, но никак не равенство с Ним. В страхе или унынии они ищут милости, а не познания; ими движет не талант, а жалость, легенды о мучениях святых. Иногда кажется, что и Кинбот принадлежит к той же многочисленной когорте. Он не согласен со скептическим отношением Шейда к понятиям греха и Бога[122]. Он ходит в церковь (можно сказать, что он рьяный прихожанин) и однажды в воскресенье, помолившись не в одном, а сразу в двух храмах, возвращается домой “в возвышенном расположении духа” (“я каждой жилочкой ощущаю, что и для меня еще не закрыто Царствие Небесное”)[123]. И тут в летнем воздухе ему слышится бесплотный голос, похожий на голос Шейда, который говорит ему нечто, что очень трогает Кинбота: “Придите вечером, Чарли” (то есть “приходите вечером, мы пообщаемся, погуляем”). Позже, во время телефонного разговора с Шейдом, Кинбот “беспричинно разрыдался”[124] (он вообще эмоционален): он нуждается в своем друге и его искренней доброте. В конце концов, они связаны.

Глава 16

В последние годы в Америке Набоковы продолжали регулярно ездить на Запад, словно хотели побывать во всех уголках страны, отметиться во всех красивых местах (разумеется, тех, где можно хорошо поохотиться на бабочек). У Владимира скопилась целая библиотека карт и путеводителей с его собственными пометками. Он был уверен, что однажды ему захочется их перечитать и вспомнить былое.

После того как в конце 1960-х годов Набоковы перебрались в Швейцарию, "тамошняя горничная в один из первых же вечеров из лучших побуждений безвозвратно опорожнила дареное, украшенное бабочкой ведерко для сора", – вспоминал Дмитрий. Среди хранившихся в корзине сокровищ была "толстая пачка дорожных карт Америки, где отец тщательно помечал дороги и веси, которые он проехал с моей матерью. Там были записаны и разные его наблюдения, и названия бабочек и мест их обитания"1.

"Память, говори еще", продолжение мемуаров "Память, говори", Набоков так и не закончил. Хотя, конечно, едва ли только из-за утерянных безвозвратно карт. Первому своему биографу, Эндрю Филду, он рассказывал, что вынашивал замысел в течение двадцати лет, но когда сел писать, книга превратилась в сборник анекдотов, нечто, что обещало "не… скрипки, но тромбоны"2. Единственными воспоминаниями, по-прежнему не лишенными для него вдохновенных вибраций, были годы, проведенные в Музее сравнительной зоологии, и охота на бабочек в Скалистых горах.

В 1956 году Набоковы отправились в долгое счастливое путешествие: началось оно поздней весной и продлилось до августа. Вера сняла в Юте летний бревенчато-каменный дом, построенный художником Мейнардом Диксоном близ деревни Маунт-Кармел вдоль рукава реки Вирджин. В тридцати километрах к западу находился национальный парк "Зайон", в пятидесяти километрах к северо-востоку – национальный парк "Брайс-Каньон", а на северо-западе, тоже километрах в пятидесяти от Маунт-Кармел, раскинулся альпийский пояс хвойных деревьев и каньонов, заповедник "Сидар-Брейкс".

Необычайное разнообразие ландшафта, холмисто-овражистый рельеф местности обещали хорошую охоту. Кажется, никто из Набоковых не знал, кто такой Мейнард Диксон. Некогда представитель сан-францисской богемы, иллюстратор романов Кларенса Э. Малфорда о ковбое по имени Хопалонг Кэссиди, со временем Диксон стал живописцем-станковистом и мастером

фресковой живописи, он был художник-самоучка, умевший виртуозно воссоздать атмосферу залитой светом пустыни, показать бескрайние просторы и мглу. В его живописи прослеживаются, ностальгические мотивы Дикого Запада – а-ля Фредерик Ремингтон, при этом кажется, будто по пейзажам Диксона скачут в ковбойских шляпах Сезанн и Брак. Набоковым коттедж сдала вдова Диксона, сама бывшая художница-монументалистка Управления общественных работ, Эдит Хэмлин Дейл4. Как и другие дома, которые снимали Набоковы во время путешествий, этот находился неподалеку от города, но не слишком близко. В пойме реки Вирджин тянулся луг длиной в несколько километров, а рядом с ним – поросшие полынью пески. В двух часах езды на автомобиле5 располагался северный край Большого Каньона, и там Набоков тоже охотился за бабочками.

Из Юты они отправились на север и приехали в Афтон как раз к появлению новых бабочек, которых обнаружили там за четыре года до того. Набоковы уже пятнадцать лет путешествовали по западным штатам. Они не стали встречаться с теми, кого знали или с кем когда-то Владимир охотился на бабочек, и остановились в мотеле *Corral Log* по тем же причинам, по которым и ранее: удобство и низкие цены. Весь год им приходилось общаться с сотнями людей, причем не всегда по собственному желанию, чаще по делу, так что на пустынном Западе они отдыхали душой. В 1950 году, когда Набоковы прожили в Америке десять лет (это была ровно половина срока, проведенного ими в США), лишь в Колорадо, единственном из всех штатов, где находились отроги Скалистых гор, обитало более миллиона человек. В Вайоминге, любимом штате Набоковых, жителей было примерно столько же, сколько в Неваде6 (из расчета количества человек на квадратную милю): можно сказать, что штат был практически необитаем[55].

Домик Мейнарда Диксона, Маунт-Кармел, Юта

Последние годы жизни, которые Набоков провел в европейской полуизоляции, в номере люкс гостиницы на берегах Женевского озера, напоминали его отпуска в Америке. Владимиру нужно было время, чтобы писать, читать, думать, восстанавливать силы, и чтобы его при этом никто не трогал. Вера, как и ее муж, тоже общительностью не отличалась: впрочем, назвать Набоковых отшельниками нельзя. Им нравилось проводить время с близкими друзьями – если, конечно, удавалось контролировать продолжительность и время дружеских визитов. В этом смысле супруги идеально подходили друг другу, в отличие, скажем, от Пушкина и его очаровательной жены, чье кокетство с красавцем-кавалергардом в конечном счете привело к гибели поэта на дуэли7. С женой Набокову повезло, тем более что женился он по любви. Так же как внимательное изучение Гоголя подсказало ему, как не следует себя вести в случае, если какое-то из его произведений добьется оглушительного успеха, судьба Пушкина, вероятно, научила его, что жениться надо на верной и преданной женщине, которая к тому же станет помощницей в делах[56]. Ему невероятно повезло еще и в том смысле, что Вера Евсеевна была очень умна и обладала тонким литературным вкусом8.

Интерьер домика Диксона

Одиночество Запада с его пустынными пространствами, для многих олицетворявшее космическую пустоту, – то, чего нет в прозе Набокова. На Гумберта Гумберта и Пнина давит гнет одиночества и забот, но страдают они вовсе не из-за необъятных просторов Нового Света. В конце романа Пнин уезжает в неизвестное на машине с пожитками и маленькой белой собачкой. Его жизнь в Америке разлетелась на куски, но он вовсе не пал духом и не утратил надежду:

> Воздух был резким, небо – ясным и оттертым до блеска. Крошка-“Седан” храбро обогнул передний грузовик и, наконец-то свободный, рванул по сияющей дороге, сужавшейся в едва различимую золотистую нить в мягком тумане, где холм за холмом творят прекрасную даль, и где просто трудно сказать, какое чудо еще может случиться[9].

Гумберту Гумберту тоже приходится пройти через многие испытания, однако при этом он раскатывает по Западу как ни в чем не бывало. Больше всего он боится ловушек социальных: соседей-соглядатаев, прогрессивных школ с любопытными директрисами, полиции.

В 1957 году Набоковы на запад не ездили. А вот в 1958 году за семь недель преодолели на машине без малого 13 тысяч километров[10], на следующий же год, их последний год

путешествий по Америке, проехали еще больше, через всю страну и обратно, по извилистым маршрутам. Вера описала поездки последних американских лет: взяла дневник, в который Владимир начиная с 1951 года писал по странице в день, и на пустых страницах оставила заметки за 1958–1959 годы. Дневник начинается с краткого описания всего, что с ними происходило[11]: все, что им довелось пережить в Америке с самого первого дня. “Мы приплыли… на «Шамплене»”, школы Дмитрия, первые писательские контракты Владимира, летние лагеря, Уэлсли, Стэнфорд, вечеринки, на которых Вере “трудно было следить за разговорами по-английски сразу на несколько тем”·, лето в Алта с Лафлином, друзья-энтомологи Владимира: ничто не забыто. Адреса съемных квартир (только в Итаке их было одиннадцать). То, что в Колорадо “туда и обратно ездили на поезде, попали в наводнение, пришлось менять маршрут”·. Книги, которые написал ее муж, когда Набоковы жили в Крейги-серкл в Кембридже. Где Дмитрий жил на первом курсе Гарварда.

Как истинные американцы, Набоковы определяли периоды жизни по автомобилям, которыми владели[12]: сперва “олдсмобиль”, потом “бьюик” 1954 года. У Дмитрия была своя история: сначала он ездил на том, что Вера называла “форд-кейсер”[13] (темно-синий “форд” с индексом А, выпуска 1931 года), потом на “бьюике” 1938 года (на нем Дмитрий возил отца в горы Титон). К 21 августа 1958 года, когда Вера сделала большую часть записей, Дмитрий из сорванца превратился в выпускника Гарварда[14], подающего надежды оперного певца, молодого человека “с прекрасной работой и великолепным учителем вокала”, с “уютной отдельной квартирой, в которой он поддерживал идеальный порядок”·. В 1957 году его призвали в армию. После шести месяцев обучения Дмитрий поступил в резервную часть, которая раз в неделю собиралась на Манхэттене[15], а летом на две недели выезжала за город на сборы. “Сегодня Дмитрий уехал в лагерь Драм”·, – писала Вера 7 августа 1958 года, отметив, что по телефону он разговаривал с ней “весело, разумно, нежно и с искренним интересом”·.

Приближалось событие, которое, словно небесное явление – например, как гигантская комета, пролетающая совсем близко к Земле, провоцирует взрывы и смещение орбиты, – должно было изменить всю жизнь. Набоковы прочно стояли на ногах и были как нельзя лучше подготовлены к переменам: они любили друг друга, вместе делали одно дело (то есть продвигали творчество Владимира, причем Вера, кажется, никогда не завидовала успехам мужа), не пили и (уже) не заводили романы на стороне, и уверенность в собственной гениальности, о которой Набоков

часто говорил, лишь окрепла, притом что раньше он не раз высказывал сомнения, от которых не свободны лучшие художники независимо от их таланта, и утверждал, что всех ждет забвение.

В окрестностях Итаки, штат Нью-Йорк. Сентябрь 1958 года (фото Карла Миданса, журнал *Life*)

Набоков не исписался: когда разразился “ураган Лолита”, то есть роман вышел в Америке, Владимир как раз работал над новыми произведениями. Он обдумывал замысел “Бледного пламени”, последнего своего великого романа, практически закончил перевод и комментарии к “Евгению Онегину” и, в качестве заключительной прививки против “звездной болезни”, доделывал еще один перевод – “Слова о полку Игореве”[16]. Так что, когда наконец он прославился в тех масштабах, о которых давно мечтал, привычки, сложившиеся за долгие годы, в том числе к ежегодным бюджетным поездкам по западным штатам, надежно защищали его от того, что другому могло бы вскружить голову.

При этом публикация “Лолиты” стала в Америке сенсацией: Вера в записках постаралась передать впечатление, которое произвело это событие. “Ужин у Бишопов, – пишет она 20 мая 1958 года, и тут же ее муж, как будто заглядывая ей через плечо, приписывает карандашом, – расправлял бабочек из Вайоминга, пойманных в 1952 году… в Западном Вайоминге”. Некоторое время они ведут записи по очереди: публикация в издательстве

Putnam запланирована на август, и они ждут ее с нетерпением. “Звонил Дмитрий. В восторге… Пел (прослушивание) перед коллективом Оперы, очень хвалили. Обожает свою квартирку”·. Пожалуй, больше всего и Владимир, и Вера переживали из-за Дмитрия. Что бы им ни предстояло, эти события непременно должны были повлиять и на беспечного и неуверенного писательского сына, к тому же склонного к восторженности. Дмитрий рассказывал соседу по казарме, парню из Нью-Йорка, с которым подружился на сборах, что “в этом году он прославится”17, то есть что его отца в 1958 году ждет успех. Пожалуй, чувствовать себя сыном знаменитости нелегко, но в этот момент, который Вера изо всех сил старалась представить как поворотный, да к тому же учитывая увлечение Дмитрия гонками и альпинизмом, требовалась особая деликатность.

“Спокойный день”, – пишет Владимир 22 мая, в четверг. Он провел его, разбирая насекомых. Они были его драгоценными воспоминаниями: время, место, погода – все запечатлелось тут. До того как разразился “ураган Лолита”, до того как Вера стала единственной в семье, кто вел дневник, мы встречаем на его страницах дивную интерполяцию: не предисловие к полевым заметкам и не наброски новых художественных произведений, но несколько старых записей за неделю (с 24 июня по 1 июля 1951 года), сделанных в то время, когда Набоков усердно работал над “Лолитой”. Они очень пестры и интересны, заметки того счастливого времени: тут и цены на бензин, и русские слова, и рисунки карандашом, и английские фразы, практически без изменений вошедшие в роман. Из одного выросло другое. Тон заметок дружелюбный, сардонический: Набоков замечает и “зловонную речушку” за мотелем, и фермера “с затылком мумии”·, и мальчишку, “лягушкой скачущего”· на велосипеде. Даже странно, что пустой дневник, в который Владимир положил записывать по странице в день, оказался не вполне пустым, что в нем обнаружились эти ранние наброски: эти страницы могли вырвать, но поскольку не вырвали, мы по ним можем составить впечатление о днях, которые теперь кажутся легендарными. Перевернешь страницу – и вот уже едешь с Набоковыми в Теллурид на “олдсе”, за рулем которого сидит Вера, а расположившийся рядом с ней Владимир делает эту самую запись. Бури и потопы Канзаса остались позади, Набоковы уже на бескрайних живописных просторах настоящего Дикого Запада, и солнце восходит над горизонтом с особой силой, как бывает лишь после дождя18.

Примерно 15 июля 1958 года сигнальный экземпляр

“Лолиты”[19] нагнал их в национальном парке “Уотертон-Лейкс” в Альберте. Они уже видели опубликованную в *New Republic* рецензию, в которой Набокова очень хвалили: называли его “истинным гением”[20]. До публикации “Лолиты” оставались считаные недели. Спешить нужды не было, однако Набоковы с удовольствием повернули на восток и остановились у памятника природы Девилз-Тауэр (Башня Дьявола) на северо-востоке Вайоминга. Домик Набоковых располагался как раз напротив башни, напомнившей Вере огромный пломбир, который “чуть подтаял у основания… лилово-шоколадного цвета” [21]. В теплую погоду Владимир охотился за бабочками.

“В Шеридане [Вайоминг] все увлечены большим родео”[22], – писала Вера. Ее возмущало зрелище того, “как издеваются над бедной скотиной”·, но в городке событие наделало шума: “Нас то и дело едва не выталкивали с дороги, приходилось постоянно останавливаться, чтобы пропустить машины, которые объезжали другие машины и снова возвращались в свой ряд, и у каждой… был прицеп с лошадьми”·. Они видели, “как столкнулись два грузовика – никто не пострадал, только машины; на обочине стоял ковбой, весь разодетый… и угрюмо менял колесо”·.

В начале августа Набоковы приехали в Нью-Йорк. Уолтер Минтон, президент издательства *G. P. Putnam’s Sons*, в котором должна была выйти “Лолита”, устраивал в гарвардском клубе прием для журналистов, а автор должен был выступать в качестве приглашенной знаменитости. Минтон был “превосходным издателем”[23], писала Вера, он не жалел денег на “красивую рекламу”· и вообще книгу выпустил качественно и со вкусом: Набоковым очень понравилась обложка (потому что на ней не была нарисована девочка). 18 августа Минтон прислал им телеграмму:

> ДЕНЬ ВЫХОДА ВСЕ ГОВОРЯТ ЛОЛИТЕ ВЧЕРАШНИЕ РЕЦЕНЗИИ ОТЛИЧНЫЕ СЕГОДНЯШНИЙ РАЗНОС NEW YORK TIMES ПОДЛИЛ МАСЛА ОГОНЬ 300 ПОВТОРНЫХ ЗАКАЗОВ СЕГОДНЯ УТРОМ КНИЖНЫЕ МАГАЗИНЫ СООБЩАЮТ ПРОДАЖИ ИДУТ ОТЛИЧНО ПОЗДРАВЛЯЮ[24].

Продажи действительно шли как нельзя лучше. Только за первые четыре дня поступило 6777 повторных заказов от магазинов[25], в которых закончились экземпляры “Лолиты”, а к концу сентября роман занимал первое место в списке бестселлеров *New York Times*[26] и удерживал его семь недель.

На приеме у Минтона Владимир “пользовался бешеным успехом… остроумный, блестящий собеседник и – слава богу – не

стал говорить, что он думает о некоторых современных знаменитостях", – записала Вера в дневнике. Этот прием стал первым в череде чествований в Париже, Лондоне, а через год и в Риме: автор романа и его роскошная жена, с изящной длинной шеей, белыми, как снег, волосами, в вечернем наряде (в Париже Вера была в черном муаровом платье и в норковом палантине)[27], блистали на этих торжествах. Продажи и *succès d'estime* "Лолиты" прославили Набокова на весь мир. Ему удалось невозможное: написать скандальный, но при этом серьезный роман на сексуальные темы, который на момент публикации "Лолиты" в США по-прежнему оставался под запретом во Франции и Великобритании[28]. Ф. У. Дьюпи, преподаватель Колумбийского университета и внештатный литературный критик, назвал "Лолиту" "великолепно возмутительным романом", "маленьким шедевром" и "важным дополнением к популярной мифологии"[29]. Под мифологией Дьюпи имел в виду истории, наслоившиеся на ту, что рассказана в романе. Главной стала история публикации романа: как почтенные нью-йоркские издательства в ужасе отказались его печатать и гениальному автору пришлось послать рукопись в Париж, где за нее взялось какое-то издательство с сомнительной репутацией, чуть ли не порнографическое, теперь же набоковский шедевр оказался "бизнес-чудом", "не просто романом, но феноменом"[30].

Теперь "Лолите" "дружно пели осанну" все: "великие, средние и маленькие умы", то есть категории читателей, вкусы которых обычно не сходятся, писал Дьюпи[31]. Роману повезло: "он вышел в Америке в нужное время. За последний год восприятие литературы… существенно изменилось", так что "Лолита" "помогла совершиться этой перемене и сама от нее выиграла"[32].

Дьюпи, пожалуй, лучше, чем прочим первым рецензентам, удалось сформулировать, в чем гениальность этого маленького шедевра. Едва ли у автора получится изменить американские нравы, полагал Дьюпи: во-первых, потому что Набоков – иностранец и не имеет совершенно никакого отношения к послевоенным переменам[33], которые Дьюпи, в общем, не одобрял, – движению "к корням", возвращению к местным традициям, стремлению поставить в центр американской литературной жизни вопросы морали. "В эту ситуацию Набоков не вписывается совершенно"[34]. Да и репутация его до публикации "Лолиты" не предвещала появления "восхитительного, но довольно-таки беспорядочного" романа, который "принадлежит к отживающей категории авангардных произведений".

Дьюпи, человеку саркастическому[35], любителю посмеяться, роман показался новым и свежим. "Благодаря ему испаряющаяся

улыбка эпохи Эйзенхауэра сменилась зловещей ухмылкой”[36], – писал он, и эти жуткие образы, пожалуй, лучше всего описывают двойственное ощущение, которое книга оставляет у читателя: “ужас и отвращение” переплетаются со странной, мучительной радостью, почти неосознанной, губительно-изощренной. (“Строго говоря, книгу нельзя назвать порнографической, поскольку в ней нет нецензурных слов. Гумберта Гумберта это рассмешило бы”[37].) Дьюпи долго пытался нащупать новую интонацию. “Лолита” “слишком скандальна, чтобы хоть одна из великих литератур согласилась считать ее своей”[38], но Дьюпи роман, безусловно, был близок, отвечал на какие-то насущные вопросы.

13 сентября Набоковым позвонил друг и поздравил их с новостью, о которой только что прочитал в *New York Times*[39]: Стэнли Кубрик за 150 тысяч долларов приобрел права на экранизацию романа. В 1958 году это была неслыханная сумма[40]. Вместе с авторскими отчислениями с продаж книги, которые тоже вскоре начали поступать, это было куда больше, чем Набоков заработал за всю предыдущую писательскую карьеру. Вера записала в дневнике: “В. отнесся к этому совершенно безразлично: он занят новым рассказом, а еще ему нужно расправить около 2000 бабочек”. Впрочем, едва ли Набокову была безразлична общая сумма гонораров. В дневниках сохранились воспоминания о настроении тех дней: Владимир считал, что Верин дневник “еще важнее”[41] – своего рода научные полевые заметки. Но это был его (и ее) грандиозный успех, заработанный тяжелым трудом, и разумеется, Набокову это не могло быть безразлично. Продолжали поступать “запросы от кинокомпаний и агентов, письма от поклонников и т. п.”[42], а также просьбы об интервью. Все это “должно было бы случиться тридцать лет тому назад”, писал Набоков сестре, прибавляя: “Думаю, что мне не нужно будет больше преподавать”[43].

В Итаку приехала группа из журнала *Life* во главе со штатным корреспондентом Полом О’Нилом и фотографом Карлом Мидансом[44]. Вера описывала это событие с интересом и воодушевлением: Набоковы прекрасно понимали, что значит публикация в *Life*. “Подумать только, три года назад, – писала Вера, – Ковичи, Лафлин и… Бишопы настоятельно советовали В. никогда не публиковать «Лолиту», потому что… «на вас обрушатся все церкви и женские клубы»”. Теперь же некая миссис Хаген из городской пресвитерианской церкви звонит и просит Владимира выступить перед женской общиной. Какая прелестная насмешка судьбы! Однако советчики не ошибались: выйди “Лолита” четырьмя годами ранее, ее, скорее всего, постигла бы участь уилсоновских “Мемуаров округа Геката”. Публикация

романа во Франции[45], где одиозное издательство вступило в первую битву с цензурой, способствовала перемене, которую приветствовал Ф. У. Дьюпи.

Они “не поверили своим ушам”[46], записала Вера в воскресенье, 7 декабря, когда увидели в “Шоу Стива Аллена” скетч о новых “научных” игрушках. Последней из них была куколка, которая может делать “все, о, совершенно все”. “Надо будет ее послать мистеру Набокову”. Мы оба это ясно слышали”.

А в шоу Дина Мартина[47] певец рассказывал, как приехал в Вегас, но делать ему там было совершенно нечего, поскольку “в азартные игры он не играет. Так что сидел в фойе и читал… детские книжки – «Поллианну», «Близнецов Бобси», «Лолиту»”.

Более того, первое шоу в этом году Милтон Берл открыл фразой: “Во-первых, я хочу поздравить «Лолиту»: ей исполнилось 13 лет”[48]. А Граучо Маркс пошутил: “Я пока «Лолиту» отложил, прочитаю через шесть лет, когда ей будет восемнадцать”.

Набокова тоже – впервые в жизни – показали по телевизору[49]: он специально приехал на Манхэттен, чтобы принять участие в канадском шоу, которое вел Пьер Бертон с канала *CBC*. В передаче также участвовал литературный критик Лайонел Триллинг, поклонник “Лолиты”. Вера с Дмитрием были в студии. Дмитрий гордился отцом, а Вера нашла, что муж “прекрасно выступил”. “Загорелась табличка: приготовиться!.. три минуты до эфира… две… одна…”. Декорации напоминают кабинет писателя (или то, как его показывают в фильмах с Винсентом Прайсом): стол с канделябром, диван, скульптура, полки с книгами. У приглашенного известного писателя помятый вид. Ему пятьдесят девять лет, у него крепкая широкая шея, он почти лыс, но морщин нет. Триллинг хоть и моложе и худее, но выглядит старше. Он погружен в мрачные раздумья и всю передачу курит.

“Наконец начали”, – пишет Вера. Ее муж оказался “идеальным гостем” (так сказали продюсеры). Он снисходителен к тем, кто хочет прочесть его книгу, но не дает спуску “филистерам и мракобесам”. Он излагает свои основные идеи. Ему неинтересно вызывать у читателей какие бы то ни было чувства и мысли. “Оставим идейную сферу доктору Швейцеру с доктором Живаго”, – говорит он. “Доктор Живаго”, которого недавно опубликовали в Америке, раздражал Набокова: писатель считал, что это дрянь, макулатура, а публикация на Западе – происки советских агентов[50]. (Ну и что, что “Доктор Живаго” – произведение якобы антикоммунистическое: Набоковы считали, что эта тема в нем заявлена недостаточно убедительно.) Набоков признается: он хочет, чтобы вместо чувств читатель испытал от “Лолиты” “легкую дрожь в позвоночнике”, пережил миг

эстетического блаженства, и ведущий не может оставить такое заявление без ответа: он спрашивает Триллинга[51], испытывал ли тот какие-то чувства, когда читал роман, и Триллинг отвечает: “Книга тронула меня до глубины души… Возможно, мистер Набоков и не ставил себе задачи тронуть чье-то сердце, но мое ему тронуть удалось”.

Набоков утверждает, что в романе его нет сатиры. Он не критикует Америку, “выставляя на посмешище социальные язвы”. Триллинг отвечает: “Но в подоплеке романа именно сатира”[52], к тому же “нельзя верить словам писателя о его произведении: он может рассказать лишь о том, что намеревался сделать, и даже тогда мы не обязаны ему верить”.

Оба гостя студии говорят несколько нравоучительно. Это единственное, первое и последнее, интервью, перед которым Набоков не настаивал, чтобы ему показали все вопросы заранее, так что по этой записи можно составить себе живое впечатление о писателе. И все равно у Набокова на коленях лежала стопка карточек с отрывками из романа: он старался по возможности цитировать свои произведения[53].

Набоков усмехается – незаметно для Триллинга. Он усмехается, когда критик говорит о том, что нельзя верить писателю на слово, – возможно, потому что знает: этим его роман обязан социальной критике, глубокой и резкой, критике, которая заставила усмехнуться многих американцев. В случае с “Лолитой” сыграл свою роль культурный скептицизм. А насколько велика была эта роль, выяснится в следующие полтора десятка лет. Появится множество стилистических перекличек с романом, в частности в фильмах – “Психо” Хичкока (1961) и “Докторе Стрейнджлаве” Кубрика (1964), а также в литературе и прочих сферах культуры, где шло бурное развитие, воплощением которого ныне считаются “шестидесятые”. Внимательные читатели что-то почувствовали. Провинциальные мирки Рамздэля и Бердслея, безвкусно оформленный дом Шарлотты Гейз, дорожная романтика сороковых годов с мотелями и беспечными путешествиями – все это появилось в изобилии уже после “Лолиты”: Набоков сделал свое дело, но его утверждения, что созданный в его творчестве образ Америки, “такой же фантастический, как у любого автора”, не основывался на реальных фактах, казались натяжкой и капризом.

Он осмотрелся вокруг и заметил забавных полусонных людей – разбитных обывателей с их мрачными секретами, населявших великолепный ландшафт, который они умудрялись изгадить. Это общество жило по строгим правилам, рассказать о которых убедительнее всего можно было лишь с помощью едкой сатиры. В

последнем акте непременно должна была быть перестрелка, как во многих других американских фильмах и книгах. И, разумеется, в подоплеке всего должен быть секс: нетрадиционный, с извращениями, поскольку страна хоть излучает молодую свежесть и сексуальность, но скована запретами. Автор клянется, что не ставил себе целью изменить действительность, не собирался никого “будить”, и в этом ему можно верить: Америка для такого писателя, как Набоков, прекрасна в первозданном виде.

Триллинг хранит величественное спокойствие. Набокову не сидится на месте: он то подастся вперед, то откинется на спинку дивана, вертит головой[54]. Усмехается, когда Триллинг, пытаясь объяснить, что же в романе так его “шокировало” (“маленькая девочка, которая… обычно защищена от сексуального внимания взрослых мужчин, очень юная, лет двенадцати, насколько я помню”)[55], сам с трудом удерживается, чтобы не усмехнуться, и Набоков бросает взгляд на ведущего: “Он, кажется, облизывает губы? Боюсь, ваш почтенный критик неправильно истолковал мой роман, буквально самую малость!”

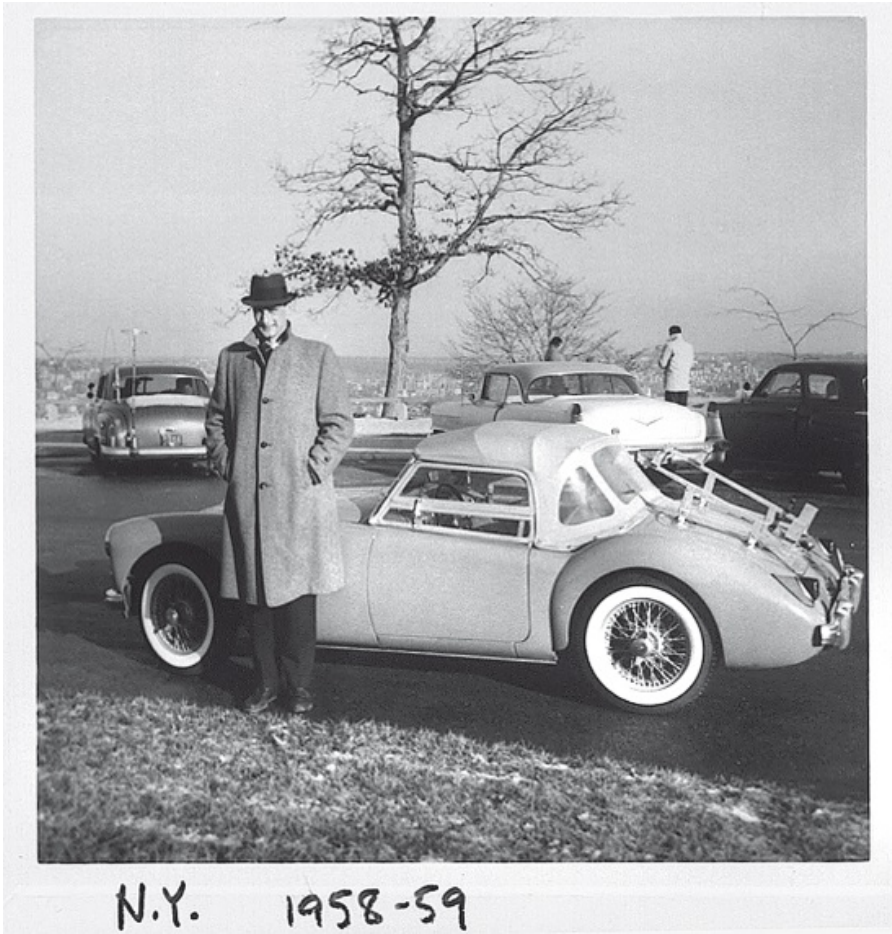
Питер Селлерс внимательно изучил эту документальную запись, готовясь к роли Клэра Куильти в фильме Кубрика, и использовал полученные находки в трех последующих ролях, сыгранных им в “Докторе Стрейнджлаве”: его догадки ни в чем не противоречат нашим выводам[56]. Доктор Земпф, школьный психолог (на самом деле это был Куильти), позаимствовал у Триллинга манеру прикусывать губу на определенных словах (“секс”, “сексуальный”) и манеру держать сигарету (примерно так же ее держал Эдвард Р. Марроу) – как между указательным и средним пальцами, так и между большим и указательным (что для Америки необычно). Селлерс блестяще это обыгрывает в сцене, когда доктор Стрейнджлав объясняет устройство Машины Судного дня[57]. Этот пафосный разговор, похоже, вдохновил Селлерса и Кубрика: два ученых мужа рассуждают о сексе с миловидной девочкой, еле сдерживаясь, чтобы не рассмеяться; Набоков скромно признается, что разбирается в клинических аспектах педофилии и в бабочках – это помимо того, что он великий писатель; Триллинг же с его пустым взглядом похож на человека, которому его гастроэнтеролог только что сообщил плохие новости.

И Триллинг, и Набоков по-своему обаятельны. Триллинг, рассуждая о романе, сбрасывает привычную угрюмость: “Лолита” действительно задела его за живое, его тронул горестный жребий девочки, ее трагический жизненный путь и печальная нежность, с которой Набоков все это описал. А некоторые фрагменты наверняка его рассмешили. И Набоков находит с ним общий язык,

несмотря на все свои ужимки. Даже в таких комических обстоятельствах, в роли высокомерного эстета, он то и дело выглядывает из-под маски, чтобы взглянуть на тех, кто на него смотрит. Он беззастенчиво играет великого человека, но то и дело очаровательная мальчишеская улыбка пробегает по его большому лицу – беззащитная, искренняя58, улыбка человека, всегда готового разразиться беспомощным смехом.

Глава 17

Произошел случай, который всех немало шокировал (Веру-то уж точно – возможно, потому, что в деле оказался замешан ее сын). 25 ноября, во вторник, Набоковы ужинали в Нью-Йорке с издателем Уолтером Минтоном в любимом заведении театральной богемы – ресторане *Café Chambord*[1] на Третьей авеню, На ужине присутствовала и жена Минтона, Полли[2]. Супруги были в ссоре. Издатель увлекся "субреткой-профурсеткой из ночного клуба *Latin Quarter*"[3], а миссис Минтон узнала о романе всего лишь неделю назад из статьи в журнале *Time*. Полли была убита горем. "Она очень красивая девушка, – писала Вера в дневнике, – испуганная, растерянная", добрая и хорошая мать троих детей. До выхода "Лолиты" супруги жили дружно и счастливо: по словам Полли, "после этого Уолтер завел множество новых знакомств и сбился с пути"[4] из-за бури, разразившейся вокруг романа. История напоминала водевиль[5]: именно любовница Минтона впервые рассказала ему о "Лолите" (он ничего не знал о романе до 1957 года, несмотря на публикацию в Париже), так что, по законам издательства, ей полагалось вознаграждение за то, что она нашла интересную книгу.



Дмитрий и *MGA* 1957 года

Веру неприятно поразило, что Полли так откровенно рассказывает о своей беде “чужому человеку” (сама Вера была куда более сдержанна). Тут появился Дмитрий. Он был на еженедельном собрании резервистов; Набоковы, Минтоны и Толлеры завернули за угол, чтобы посмотреть на его новую машину, *MG* 1957 года[6], которую даже его мать называла “красавицей”. Полли Минтон попросила ее прокатить. Дмитрий уехал с Полли, а Минтон и Набоковы взяли такси и отправились в гостиницу, где, как записала Вера в дневнике (впоследствии она вычеркнула эту запись), “втроем сидели и ждали, ждали, ждали”. Минтон, тоже человек откровенный, в такси признался им, что, кроме танцовщицы, у него есть еще одна любовница, а именно автор той самой разоблачительной статьи в журнале *Time*, которая таким образом решила разделаться с соперницей: назвала ее “престарелой… нимфеткой [с] глупой улыбкой”[7]. “Вот из-за этих двух потаскушек, – припечатала Вера, – М[интон]

разрушил свой брак”·. Причем рассказывал он об этом достаточно громко, так что и водитель такси наверняка все слышал. “Удивительные люди эти американцы!”· – заключила Вера.

В общем, они сидели и ждали. Вдруг Дмитрий с Полли попали в аварию? “Наконец они приехали”. Минтоны ушли, и “Дмитрий, смущенно улыбаясь, сообщил нам, что из ресторана они поехали прямо к нему домой, поставили машину в гараж, потом – ему нужно было что-то забрать в квартире, Полли захотелось увидеть его квартиру (раз машину она уже видела), ну и так далее”·.

“А на следующий день, – писала Вера, – Минтон сказал В.: «Я слышал, Дмитрий вчера неплохо развлек Полли». И, сконфуженная, завершила: – Неужели такое поведение нынче в Америке в порядке вещей? Как будто в плохом романе какого-нибудь О’Хара или Козенса”·8.

Да уж, вихрь славы кружит головы. Когда твои книги занимают первое место в списке бестселлеров, а придуманные тобой слова входят в язык (например, “нимфетка”)9, последствия могут оказаться самыми непредсказуемыми. Эдмунд Уилсон упоминал о невиданном “разгуле”10 “Лолиты”, которая “явно задела потаенные струны широкой американской души”. Читателей привлекло ее скандальное содержание, которое многим могло показаться настоящим откровением. Америка в некотором смысле строилась на скандалах: ее литература на протяжении долгого времени служила источником сенсаций, в частности сенсаций сексуальных. Бестселлер в Америке 1950-х, “Пейтон-Плейс”11 Грейс Металиус, вышедший в 1956 году, – Набоков, как ни странно, утверждал, будто слыхом не слыхивал об этом романе, – порнографический двойник “Лолиты”. И в том и в другом произведении сексуальные тайны прячутся за видимостью приличия, и в том и в другом отец насилует приемную дочь, а городки, в которых развиваются события обоих романов, находятся в штате Нью-Гэмпшир12. В обеих книгах описаны убийства и животная похоть. Комизм “Лолиты” отчасти в том, что утонченный европеец Гумберт Гумберт попадает в сюжет, характерный, скорее, для какого-нибудь бульварного романа. Не все обратили внимание, что книга Набокова на самом деле пародия.

Интервью, регулярные поездки в Нью-Йорк, новые заботы – о зарубежных изданиях, о том, как лучше распорядиться внезапно свалившимся на семью богатством, – привели Набокова к мысли сложить с себя груз преподавания. Он попросил в Корнелле отпуск на год и получил его на условии, что найдет себе замену13. 16 ноября первое место в списке бестселлеров *Times*

занял “Доктор Живаго”. В октябре Пастернаку вручили Нобелевскую премию[14], что подстегнуло продажи, так что следующие несколько месяцев “Лолита” занимала второе место после “Доктора Живаго”. В середине ноября Набокову выплатили очередную круглую сумму – еще 100 тысяч долларов[15] за права на публикацию “Лолиты” в мягкой обложке, и Вера обратилась к преподавателям юриспруденции из Корнелла[16] и к специалистам по контрактам издательства *Putnam’s* за советом, как лучше поступить с правами на экранизацию “Лолиты” (там был какой-то головоломный контракт) и разобраться с налогами. В начале 1959 года она обратилась за консультацией в находившуюся на Манхэттене адвокатскую контору *Paul, Weiss, Rifkind, Wharton&Garrison*[17]. Набоковых беспокоил не только предстоящий переход в другой налоговый класс. Они пережили две инфляции, во время которых потеряли все сбережения, – первый раз сразу после революции, а второй – в Берлине периода Веймарской республики, поэтому вскоре после продажи прав на экранизацию Набоков потребовал, чтобы его издатель выплатил ему половину причитавшихся денег “в государственных облигациях или других надежных ценных бумагах”[18] в качестве страховки от инфляции.

Даже в вихре деятельности Набоковы не забывали о Дмитрии. Работа над переводом “Героя нашего времени” пошла вовсе не так, как они рассчитывали, и все равно Набоков, улучив минутку пообщаться с издателем в суматошные дни перед публикацией “Лолиты” и последовавшей за этим шумихой, заговорил о переводе “Приглашения на казнь”. Писатель настаивал, что “переводчик должен быть: 1) мужчина 2) коренной американец или англичанин. Также он должен хорошо владеть русским языком и профессионально в нем разбираться. Не знаю никого, кто бы отвечал этим требованиям, кроме моего сына, – но он, к сожалению, слишком занят”[19].

К январю 1959 года Дмитрий освободился, его отец подписал договор с издательством[20], а Дмитрий тут же получил аванс. “Я тебе передать не могу, как я счастлива”[21], – писала Вера своей подруге Елене Левиной в Кембридж. Дмитрий все время чем-то болел. У него постоянно “какие-то хвори, – писала Вера в дневнике, – он большой и сильный, и до того как его призвали в армию, был совершенно здоров. Потом схватил не то простуду, не то грипп, не то какой-то вирус, и никак не может от него избавиться”[22]. В общей сложности Дмитрий проболел год. В 1962 году у него обнаружили синдром Рейтера, аллергическое реактивное состояние, которое часто возникает у молодых людей после перенесенной венерической инфекции[23]. Вера считала, что у Дмитрия слишком большая нагрузка, и была рада, когда он

бросил работу в офисе – единственную за всю его жизнь[24].

19 января 1959 года Набоков провел последнее занятие в Корнелле[25], “которому прибавил шарма, – писал он Минтону, – фоторепортер”, непрестанно снимавший писателя. Мировая пресса ни на минуту не оставляла его вниманием[26]. В конце февраля на Манхэттене Набоковы отвечали на звонки *Time, New York Times*, лондонской *Daily Mail* и *Daily Express* и других журналов, а еще Набоков отказал трем телепередачам. Вере приходилось писать до пятнадцати деловых писем[27] в день[57]. Встречи и приступы недомоганий задержали Набоковых в Нью-Йорке до 18 апреля, и все это время с ними носились как со знаменитостями – впоследствии Вера вспоминала те “золотые деньки” и записала в дневнике, что сотни людей пожелали засвидетельствовать им свое почтение[28].

Перед тем как снова отправиться на Запад, Набоков уладил важное для него дело: отдал исследование о “Евгении Онегине”, главный научный труд всей своей жизни, в принстонское издательство *Bollingen Press*. Сопутствовали ему и прочие признаки писательской славы, о которых обычно писатели могут лишь мечтать. Британский издатель “Лолиты”, Джордж Уэйденфелд, встретился с Набоковыми, когда они были в Нью-Йорке, и пообещал (причем в конце концов сдержал почти все свои обещания)[29] издать или переиздать в Великобритании “Под знаком незаконнорожденных”, “Приглашение на казнь”, “Николая Гоголя”, “Память, говори”, “Смех в темноте”, “Подлинную жизнь Себастьяна Найта”, а также или “Дар”, или “Защиту Лужина”. В Англии положение с цензурой пока что оставалось неясным, так что издание приличных, без мотивов педофилии, произведений Набокова могло пойти на пользу “Лолите”, однако чутье подсказывало Уэйденфелду, что каждое слово такого автора, как Набоков, – тем более теперь, после выхода революционного романа, – будет долгие годы привлекать читателей, и он решил рискнуть.

Превосходный французский перевод “Лолиты”, выполненный издательством *Gallimard*, был завершен: в Нью-Йорке Набоков прочел корректуру[30]. Перевод “Приглашения на казнь”, который сделал Дмитрий, тоже оказался удачным. Больше Набоковым не пришлось с досадой доделывать за сыном его работу, по крайней мере, так, как это было с “Героем нашего времени”, так что несбыточная мечта приспособить Дмитрия к семейному делу, то есть перевести на английский язык все русские произведения Набокова, начиная с “Машеньки” (1926), теперь казалась осуществимой[31]. Как и долгое путешествие по западным штатам. Из Нью-Йорка Набоковы поехали на юг, поближе к теплу. Первую

остановку сделали в Гетлинберге, штат Теннесси, – воротах в национальный парк “Грейт-Смоки-Маунтинс”, в котором впервые побывали в 1941 году, в первое эпохальное путешествие на запад. “Мы ехали медленно”, – описывала Вера эту часть их поездки. В высокогорьях Теннесси “буйно цвел кизил и многочисленные… деревья и кустарники, которыми пестрели склоны гор”32.

Набоковы надолго попрощались с Америкой. Они не знали, что это прощание, и не признавались в этом сами себе: им виделась определенная бестактность в том, чтобы, получив большой куш, развернуться спиной к стране, которая их приютила и благодаря которой, как утверждают некоторые, Набоков стал всемирно известным писателем[58]. Безукоризненная восприимчивость Набокова, его интерес к экзотической, пестрой американской действительности породили великие произведения. “Бледное пламя” стал последним, наполовину американским романом (задуман в Соединенных Штатах, написан по большей части за границей; события разворачиваются в Америке, если не считать воспоминания Кинбота о волшебной стране); после “Бледного пламени” появилась “Ада”, труд всей жизни, умное, жесткое, высокомерное произведение, полное описаний механистических совокуплений в духе Хью Хефнера, на фоне фантастических пейзажей, полное гротескных каламбуров, напоминающих стиль “Поминок по Финнегану”: Набоков некогда сказал, что этот роман – “холодный пудинг, а не книга, надоедливый храп в соседней комнате”33.

“Удивительные люди эти американцы!” – восклицает Вера, и в этих словах отразилось их с Владимиром отношение к Америке. Однако были у них и причины для досады. Из проекта под названием “Дмитрий” долгие годы ничего не выходило. В Америке родители, которым, разумеется, хотелось видеть сына благополучным, постоянно боялись за него из-за склонности Дмитрия к опасным увлечениям. Набоковы хотели, чтобы он занимался чем-то полезным и разумным. А уж когда Владимир прославился, объяснять Дмитрию, что не стоит покупать ту или иную машину или спускать родительские деньги на ветер, стало еще труднее: действительно, почему бы не жить весело и на широкую ногу?

Беспокоили Веру и беспорядки в Америке. В мае 1958 года она записала в дневнике: “Вчера ночью ревущая толпа студентов Корнелла заявилась к дому президента Мэлотта. Когда он вышел с ними поговорить, они забросали его яйцами и камнями”. Причиной протестов оказался “предполагаемый запрет на так называемые «вечеринки в общагах», – может, и несправедливый,

но это не оправдание для уличных беспорядков, – отрезала Вера. – Кирка, младшего сына профессора Сейла, – речь о Киркпатрике Сейле, редакторе студенческой газеты и будущем «левом» журналисте, – который в июне должен был закончить университет, временно исключили как официального заводилу студенческой толпы”[34].

Жесткая реакция Веры объясняется памятью об уличных беспорядках, которые устраивали большевики. А может, молодежный протест пугал ее сам по себе. В доме президента Корнелла разбили окна[35]. Иногда ярый Верин антикоммунизм рождал странные идеи – к примеру, уверенность (которую разделял и Владимир) в том, что Пастернак охотно служит советским хозяевам и что рукопись “Доктора Живаго” передали итальянскому издателю-коммунисту Джанджакомо Фельтринеллиз[36] не просто так; что критика Советского Союза в романе насквозь фальшива и рассчитана исключительно на то, чтобы “поднять продажи на Западе” и в Советский Союз “потекла иностранная валюта, которую власти прикарманят и в конце концов потратят на зарубежную пропаганду”, как объяснял Владимир в интервью. “Любой русский интеллигент понимает… что на самом деле книга большевистская и исторически лживая – хотя бы потому, что в ней нет ни слова о февральской революции 1917 года”[37], о попытке переворота, устроенного политической партией, в которой состоял отец Набокова.

К концу 1960-х годов, уже в Монтре, антипатия Веры к студентам-бунтарям только укрепилась. Она считала их фанатиками, а в 1972 году с гордостью заявляла: “Мы все за Никсона и особенно против Макговерна: мы считаем его безответственным демагогом, который намеренно сбивает своих избирателей с толку и причинит вред Америке… Нам омерзительна позиция журнала *The New York Review of Books* (орган тех, кто «щеголяет радикализмом») по вопросу войны во Вьетнаме” (это мнение разделял и Владимир)[38].

Они уехали из Америки, и теперь Америка их пугала. Набоковы приняли за чистую монету браваду юных радикалов, их уверенность в том, что им, к примеру, по силам устроить революцию. В 1970-х годах Набоковы подружились с Уильямом Ф. Бакли, который подписал их на консервативный журнал *National Review*, и Набоковы регулярно его читали[39]. Из этих и других источников Вера заключила, что Америка на грани расовой войны[40], что в Нью-Йорке опасно выходить на улицу, что общество сошло с ума. При этом Набоковы не переносили, когда при них критиковали Америку, и изо всех сил защищали ее внешнюю политику. В 1966 году, когда де Голль вывел Францию

из НАТО[41], тем самым бросив вызов США, Набоковы отменили запланированный было отпуск у Монблана. Их приводили в ярость оскорбления американского флага (например, если флаг сжигали или изображали карикатурно)[42].

Набоковы часто обещали вернуться, чтобы повидаться с американскими друзьями, но вместо этого те сами ездили к ним в гости в Монтре, соблюдая все правила поведения, чтобы не создавать хозяевам неудобств. Набоковы приезжали в Америку в 1962 году на премьеру фильма Кубрика, а в 1964-м – для рекламы "Евгения Онегина", который вышел в издательстве *Bollingen*. Обе поездки получились приятными, хотя во время них Набокову приходилось немало работать. 5 апреля 1964 года он громовым голосом читал стихи и прозу в культурном центре еврейской молодежной ассоциации 92nd *Street Y* в Нью-Йорке. Манера чтения Набокова с его шутливо-поучительными интонациями и старомодным британским произношением тех или иных слов (*a-gane* вместо *again, re-wawd* вместо *reward*) напоминала стиль актера Джона Хаусмана (родом из Румынии)[43], в особенности в рекламе инвестиционного банка *Smith Barney*. Рафинированный разговорный английский Набокова (он словно посмеивался над другими, утверждая собственное превосходство), однако, всегда был четок и понятен. Ему несколько мешал пробивавшийся иногда русский акцент[44] да, пожалуй, вставные зубы, но и это писатель ухитрился обратить себе на пользу: он взял манеру изъясняться так назидательно и высокопарно, как носители языка позволяют себе разве что в шутку.

Через восемь лет Набоков снова собирался приехать в Америку. Издательство *McGraw-Hill* как раз должно было выпустить *Strong Opinions* ("Твердые убеждения", 1973) – сборник его интервью, рецензий и писем к редакторам. "У меня уже скопилось немало дневников, заметок, писем и т. п., – писал он в издательство, – но чтобы адекватно описать годы, проведенные в Америке, мне понадобятся деньги, чтобы снова посетить несколько мест", в том числе Большой Каньон и "прочие западные края"[45]. Последнее путешествие через всю страну, за счет издательства. В заметки вошла часть предисловия, и Набоков с самого начала заявляет, что его раздражает, когда в его произведениях ошибочно усматривают сатиру на американскую действительность: то, что он написал, никакая не сатира, хотя, что уж тут скрывать, у американцев есть свои странности.

> Среднестатистический русский эмигрант… не позаимствует вашу расческу, не станет расхаживать босиком по ковру в гостинице или затыкать пробкой

умывальник, чтобы набрать воды, как, не задумываясь, поступит его американский собрат[46].

Набокова “очень беспокоило”, что в Америке его понимают превратно, – настолько беспокоило, что второй том мемуаров он писать не стал.

Требование Набокова не считать его сатириком имело под собой формальные основания. Он прекрасно понимал, что пишет с иронией, однако ирония – еще не сатира, которая требует нравственной оценки происходящего и нацелена на то, чтобы что-то изменить. И действительно, российские реформаторы XIX столетия намеревались изменить жизнь общества и потому в грош не ставили произведения, которые не служат реформам. Но Набоков и другие европейские писатели-модернисты (и даже некоторые американцы, начиная по меньшей мере с По)[47] не ставили перед собой таких сверхзадач и строго разделяли социальную действительность и литературу. Эдмунд Уилсон, навещавший Набокова в Монтре, понял бы позицию друга и даже, пожалуй, согласился бы с ним. Уилсон не раз замечал, что литературное произведение полноценно само по себе и несопоставимо с реальностью. А вот в вопросе о том, что же главное в литературе, Набоков с Уилсоном расходились. Уилсону очень понравился “Доктор Живаго”, который Набоков считал “макулатурой” и сомнительным в политическом отношении произведением[48]. Уилсон опубликовал две большие статьи – одну в журнале *New Yorker*, а другую в *Encounter*, в которых отстаивал мысль о том, что роман Пастернака – “одно из величайших событий в истории литературы и морали”[49]. Пастернак обладает “смелостью гения”, утверждал Уилсон. Поэт, которого некогда Набоков уважал и который надолго замолчал в годы советского террора, написал роман-эпопею, обличавший ужасы режима[50].

Тем более что это был современный роман. “Некоторые критики… совершенно не поняли дух и форму книги”, – писал Уилсон. Их сбили с толку

> британский и американский перевод, в которых… начисто отсутствует поэзия и сместились важные акценты. “Доктор Живаго” вовсе не старомоден: несмотря на то, что в некоторых военных фрагментах слышится интонация Толстого, сравнивать роман с “Войной и миром” не имеет смысла. Это современное поэтическое произведение, написанное автором, который читал Пруста, Джойса и Фолкнера и который, подобно Вирджинии Вульф… далеко ушел от своих предшественников и сказал новое слово в этом жанре[51].

Текст романа сложен, изобилует символами и аллюзиями, писал Уилсон. В нем есть искусные аллегории и местами он “очень похож на произведения Джойса… На Пастернака оказали влияние «Поминки по Финнегану»”, – утверждал Уилсон[52].

Разумеется, Уилсон прекрасно понимал, что его мнение о Пастернаке раздражает Набокова. Заканчивая работу над статьей для журнала *New Yorker*, Уилсон признавался в письме приятелю, что общался по телефону с Владимиром и тот “отзывался о Пастернаке очень дурно. Я говорил с ним… трижды за последнее время на другие темы, и каждый раз он распинался о бездарности «Доктора Живаго». Ему хочется быть единственным современным русским писателем”[53]. Уилсону, видимо, хотелось осадить Набокова: он знал за ним привычку высмеивать других писателей и не выносил ее. Тот “только что обнаружил, что Стендаль – обманщик, – писал он другому другу, – и собирается сообщить об этом студентам. Еще он впервые прочел «Дон Кихота» и заявил, что это полная дрянь”[54].

Набоков извращал смысл произведений. Так, толстовская “Смерть Ивана Ильича” в его пересказе превратилась в “вереницу жестоких насмешек”[55] – так, как могло получиться у самого Набокова. Уилсон и Набоков расходились в оценке содержания и потенциального будущего “Доктора Живаго”. Уилсону хотелось объявить “этот жанр” (он полагал, что роман Пастернака создан в русле модернизма) литературной традицией, в рамках которой появляются произведения настоящего нравственного величия, которые несут читателям истину и при этом безупречны в эстетическом отношении. Набоков, разумеется, ни о чем таком и не помышлял: собственно, вся его писательская карьера доказывает, что это невозможно. Он как мог старался избегать довлеющего “русского вопроса” и снова и снова заявлял решительное *non serviam*[59]: никаких личных страданий, никаких излияний из темных глубин души[56]. Он не собирался становиться ни Пастернаком, ни Мандельштамом, ни Солженицыным (если взять пример из младшего поколения писателей). Как бы он ни чтил великую русскую литературу и ни служил ей, он никогда не написал бы роман в духе Пастернака, религиозно-историческую сагу, опять же о “вечном вопросе”, – гуманистическую, общечеловеческую, “вдохновляющую”.

Он яростно реагировал на “символико-социальную критику и ложную эрудицию”, которые видел в статьях Уилсона о “Докторе Живаго”. Чтобы впредь не смели обращаться к мистеру Уилсону за статьями в поддержку его, Набокова, произведений: так велел он Уолтеру Минтону по поводу перевода “Приглашения на казнь”. Он заставил Веру написать Уилсону:

> Как вам уже, должно быть, известно, в издательстве *New Directions* выходит новое издание “Подлинной жизни Себастьяна Найта”. Вы тепло отзывались об этом романе в 1941 году, когда его впервые опубликовали, и поэтому редакция *New Directions* решила попросить вас снова высказаться о нем… Владимир не одобряет, что издательства докучают знаменитостям… и просит вас отказаться. Он написал в *New Directions*, что возражает против подобных требований[57].

На случай, если вдруг Уилсон не заметил ледяного тона письма, Вера прибавляет:

> Это письмо написала *я*, а не Владимир, по той лишь причине, что он хотел отправить его как можно скорее, но поскольку последние четыре дня писал, совершенно выбился из сил.

Письмо застало Уилсона в его доме на севере штата Нью-Йорк. Стоял июль 1959 года, и Уилсон, действительно, был знаменитостью и грелся в лучах запоздалой славы. “Свитки с Мертвого моря” (*The Scrolls from the Dead Sea*, 1955) пользовались оглушительным успехом: на протяжении 33 недель удерживали место в списке бестселлеров *New York Times*[58]. К работе над книгой Уилсон подошел со свойственной ему обстоятельностью: сперва выучил новый язык (иврит), потом написал серию глубоких репортажей для *New Yorker*, потом – две статьи, пользовавшиеся невероятной популярностью[59], и, наконец, книгу, – с удачно выстроенной композицией, затрагивающую острые политические и сложные научные вопросы, стилистически безупречную. Стиль Уилсона, безусловно, добавлял теме увлекательности. Уильям Шон, главный редактор *New Yorker*, считал Уилсона с его описаниями одним из шести лучших стилистов за всю историю существования английского языка[60]. Вскоре Уилсон выпустил еще один труд на сложную и спорную историческую тему, “Извинения перед ирокезами” (*Apologies to the Iroquois*, 1960)[61], основанный на скрупулезном репортаже в духе “Американской дрожи” (*The American Jitters*), а спустя два года выпустил классическое исследование по литературе периода гражданской войны, “Патриотическое кровопролитие” (*Patriotic Gore*, 1962), великую книгу по американской истории. Говоря словами Набокова, Уилсон тоже творил миры. Нельзя сказать, что он не реализовался как писатель и поэтому страдал от зависти. Роджер Строс, издатель, который стал близким другом Уилсона, как-то признался: “Я никем так не восхищался, как Уилсоном, и

ни с кем так не любил общаться”[62] – в основном потому, что “меня восхищало то, с каким интересом и теплом он относился к писателям прошлого и настоящего”. Если считать, что неприятие “Лолиты” объяснялось завистью, то нужно заметить, что другие за Уилсоном подобного не замечали.

Переписка Набокова с Уилсоном, продолжавшаяся двадцать лет, служила источником и доказательством их прекрасной дружбы – и вот теперь почти сошла на нет. Они уже не писали друг другу пространных писем[63], и хотя в кратких записках по-прежнему уверяли друг друга в самых теплых чувствах, но все же после того, как Уилсон с восторгом встретил “Доктора Живаго”, что-то между ними завершилось. Скандал, разразившийся шесть лет спустя, летом 1965 года, когда Уилсон опубликовал в *New York Review of Books* резкую, насмешливую, небрежную статью о набоковском переводе “Евгения Онегина”, зрел еще со времен истории с “Доктором Живаго”. Возможно, Уилсона вывела из себя жестокость Набокова по отношению к другим писателям, так что в статье он бесцеремонно нападает не столько на перевод, сколько на его автора:

> Этот труд, в некоторых отношениях, безусловно, ценный, все же вызывает разочарование, так что, хотя критик – близкий друг мистера Набокова и питает к нему искреннюю и теплую привязанность, которую лишь изредка остужает раздражение, а также поклонник большей части его произведений, – даже не будет пытаться это разочарование скрыть. Поскольку в правилах мистера Набокова предварять каждый труд такого рода… утверждением, что он гений, не знающий себе равных, а остальные – невежды, тупицы и шуты… то едва ли он вправе обижаться, если рецензент… укажет на его недостатки[64].

Годом ранее, расчищая место для своего “Онегина”, Набоков разнес в пух и прах предыдущий перевод, выполненный литературоведом из университета Северной Каролины. Теперь настал черед Уилсона выступить с резкой критикой:

> Мистер Набоков… выступал на этих страницах с пространной критикой [той книги]. В [своей] статье, похожей на мелочные придирки и упреки Маркса всякому, кто осмеливался писать об экономике и при этом держаться отличных от него взглядов, он подробно разбирал то, что назвал “германизмами” и прочими погрешностями профессора Арндта… Арндт предпринял

> титаническую попытку перевести “Онегина” оригинальным размером, то есть четырехстопным ямбом… Набоков решил, что перевести “Онегина” таким образом, сохранив верность оригиналу, невозможно… Перевод Набокова гораздо хуже, чем у Арндта. Он выполнен неуклюжим и убогим языком, который не имеет ничего общего с пушкинским языком и стилем[65].

Уилсон сравнил Набокова с Марксом: такого Владимир стерпеть не мог. Ответ Набокова, ответ Уилсона на его ответ, реакция третьих лиц, – история растянулась на три года. Набоков ехидно возразил, что “некоторые честные простофили считают мистера Уилсона авторитетом в моей сфере… Едва ли необходимость защищать мой труд… стала бы для меня достаточной причиной, чтобы обсуждать его статью”[66], но кошмарные ошибки Уилсона – “сбывшаяся мечта полемиста, и надо уж совсем не иметь спортивного азарта, чтобы оставить подобное без ответа”.

Набоков остроумно критикует ошибки Уилсона и тем самым ставит его на место: стиль оппонента отличает “смесь высокопарного апломба и брюзгливого невежества”, а его английский “вопиюще неточен и ущербен”. А вот что Набоков думает о том, как Уилсон владеет русским языком:

> Терпеливый свидетель его длительной и безнадежной любви к русскому языку и литературе, я неизменно пытался объяснить Уилсону его чудовищные ошибки в произношении, грамматике и значении слов. Не далее как в 1957 году… мы оба были неприятно поражены тем, что, несмотря на мои регулярные замечания о русской просодии, Уилсон по-прежнему ничего не смыслит в русских стихотворных метрах. Я попросил его прочесть “Евгения Онегина” вслух, и он принялся с жаром декламировать, искажая каждое второе слово… то кривя рот и бормоча, то трогательно взлаивая… так что вскоре мы оба покатились со смеху[67].

Набоков высказывает “крайнее отвращение”[68], которое вызвала у него “безнравственная” и “мещанская” критика его “Онегина”. Эти выпады направлены против главного врага, Уилсона (впрочем, других оппонентов Набоков тоже обсуждает с ядовитым пренебрежением). Уилсон проигрывает по всем пунктам. И хуже всего то, что он придерживается “старомодного, наивного, банального критического метода оценивать произведения с точки зрения общественных интересов… который

переносит персонажей из созданного автором мира" и анализирует "этих перенесенных персонажей, как если бы они были «реальными людьми»"[69].

Статья написана весело и задорно. Читаешь слова Набокова про "огрызок карандаша"[70] и сразу представляешь себе невысокого Уилсона. Но в целом тон статьи агрессивен и натянут. Набоков не справился с главной задачей эссеиста (даже того, кто отстаивает собственный труд): зажечь в читателе интерес и не дать ему погаснуть. Вместо этого Набоков в язвительной и нудной статье на восемь тысяч слов поносит Уилсона на чем свет стоит, о Пушкине же упоминает мельком, так что складывается впечатление, будто "Онегин" – произведение для педантов. Гибкий и образный перевод Набокова, во многих отношениях – самый точный и невероятно красивый, несмотря на вольное обращение с рифмой и метром, остается за кадром. Похоже, писателя все же смутили замечания некоторых критиков, так что он рассказывает о "довольно-таки сухой и скучной"[71] работе над романом в стихах, называет свой перевод "не таким уж безобразным" и обещает "в переизданиях избавиться от излишней образности… превратить его целиком в утилитарное произведение с еще более неровным английским… чтобы уничтожить последние остатки буржуазной поэзии". И даже если это самоуничижение – не более чем притворство, обычно Набокову было несвойственно критиковать собственные работы. Статья пронизана горечью, несмотря на внешне шутливый слог, это акт разрушения, убийства дружбы – пожалуй, неизбежного, учитывая критику, с которой на него обрушился Уилсон, но от этого не менее прискорбного, гибельного и дикого[72].

В Европе Набоковы в теплое время года часто выбирались на природу, в горы – охотиться на бабочек. В гористой опрятной Швейцарии им жилось хорошо, хотя иногда они скучали "по нашему родному Западу"[73], как выразился Набоков в письме. Дмитрий жил неподалеку, в Италии, за время обучения оперному вокалу выучился бегло говорить по-итальянски и перевел на этот язык кое-какие произведения отца. Дмитрию принадлежала коллекция баснословно дорогих и редких спортивных автомобилей, на которых он участвовал в гонках[74]. Он обладал разносторонними талантами, которые отчасти повторяли таланты его знаменитого отца: не "поэт, писатель, энтомолог, ученый, переводчик", но "переводчик, музыкант, альпинист, гонщик, моряк, донжуан и эссеист", а также, помимо прочего, горнолыжник и любитель пинг-понга[75].

В 1980 году, через три года после смерти отца, Дмитрий

разбил “феррари” 308 *GTB* на дороге между Монтре и Лозанной, сломал позвоночник в районе второго шейного позвонка и получил ожоги третьей степени почти на всем теле. Он был уверен, что кто-то намеренно вывел его машину из строя. Через двадцать лет он признался в интервью, что все это время работал на ЦРУ[76]: “У меня было два воинских звания… Меня просили стать агентом, и с идеологической точки зрения это вполне объяснимо. Все было организовано на высшем дипломатическом уровне”. В 1960-е годы в Италии “наметился опасный перекос влево”[77], и “мне поручили найти поддержку для правых партий и понять их цели. Непростая задача, сродни шахматной партии”. Американка, с которой Дмитрий дружил больше сорока лет[78], знавшая все о его занятиях и житейских ситуациях, подтвердила, что Дмитрий работал “на ЦРУ или какую-то службу безопасности. Он был частью организации, которая принимала беглецов и эмигрантов из Восточной Европы”: Дмитрий встречал их в Италии и объяснял, что делать дальше. В 1980-е годы она познакомилась с куратором Дмитрия из разведки. Встречалась она и с итальянцами, которые держали конспиративную квартиру, где Дмитрий общался с беженцами.

Отцу об этой своей деятельности Дмитрий никогда не рассказывал[79]. После аварии, лечения в ожоговом центре и восстановления (на все вместе ушло больше года) у Дмитрия “поменялись приоритеты”[80], и он решил посвятить себя “литературе – как произведениям отца, так и собственным”. Гонки, однако, не бросил. Купил новый “феррари” – “побыстрее и чуть более темного оттенка голубого”[81]. Он обожал гоночные катера, участвовал в многодневных гонках в Средиземном и Карибском море[82], вместе с такими же богатыми любителями гонок, – это было сборище космополитов, в котором Дмитрий был своим благодаря харизме, самоуверенности, знанию языков, громкому имени и обаянию.

Его отец поменял отношение ко многим вещам – в частности, Америке с ее нормами и принципами, – благодаря своему юному сыну. Так Гумберт Гумберт через Лолиту познает Америку. Оба без памяти любят своих детей. В конце последней своей поездки в Америку, в 1964 году, выступив в Гарварде и в еврейском молодежном культурном центре 92nd *Street Y*, Набоков написал тому преподавателю, который, представляя его публике в Гарварде, “упомянул, что сын писателя взбирался на те самые стены, в которых его отец ныне читает лекцию” (речь шла о трюке, распространенном среди членов Гарвардского клуба альпинистов).

С отъездом Набокова в американской литературе что-то необратимо переменилось. Появились новые писатели (некоторых даже можно назвать последователями Набокова, наследниками его стиля), модернисты и постмодернисты, любители черного юмора, хотя о вере в силу искусства прозаика, чей титанический труд преодолевает все препятствия, уже открыто не упоминали – слишком самонадеянное убеждение, чтобы в нем признаваться. Количество ценителей литературы, близкой по стилистике творчеству Набокова, не растет так стремительно, как, скажем, количество любителей видеоигр, а то и вовсе уменьшается. В то же время средства компьютерного поиска позволяют с невероятной легкостью отыскивать в текстах литературные заимствования. Некогда писатели, подобно Набокову, полагались исключительно на собственные познания и интуицию и часами просиживали в библиотеках. Творческий метод Набокова, в значительной степени заключавшийся в дополнении или пародии на произведения предшественников, может пережить второе рождение с помощью уже имеющихся новых средств или тех, что появятся в ближайшем будущем: нет никакого сомнения, что найдется немало желающих поучаствовать в этом маскараде.

Набоков в своем творчестве затрагивает глубоко личные, сокровенные темы. Его сдержанность, мнимая отчужденность, отрицание интереса к реальности любого рода, кроме той, которая существует в текстах, – все это надо оценивать, исходя из тональности его произведений. Максимальная близость: не близость показного сопереживания, но близость разума, который апеллирует к другому разуму самым трогательным образом. Он шепчет на ухо, пусть иногда и ядовито. Ему удается заставить читателя отождествить себя с героем или повествователем, но и этого мало: сам автор за спиной рассказчика тайком пожимает читателю руку83. Кинбот в “Бледном пламени” – ярчайший пример такого рода. Исповедальная поэзия Шейда уступает место куда более откровенным признаниям безумного многословного комментатора, а Набоков с читателем знай себе переглядываются за спиной Кинбота: ну надо же, как жаль беднягу, но до чего же он смешон! Врет и не краснеет!

Голос Кинбота обретает беззаботность, надменность и нескрываемое самодовольство Набокова, который пишет “собственным” голосом – голосом, к примеру, комментатора “Евгения Онегина”:

> Проницательность критика курьезно изменяет Пушкину, когда он в опубликованной статье… одаряет чрезмерной похвалой Сент-Бева за его вторичную и

посредственную “Жизнь, стихотворения и мысли Жозефа Делорма” (1829). Он нашел там необыкновенный талант и счел, что “никогда ни на каком языке голый сплин не изъяснялся с такою сухою точностию”, – эпитет, который исключительно неуместен по отношению к напыщенной банальности Сент-Бева[84].

Или, к примеру, более типичное примечание, посвященное одному-единственному слову:

> …томной. Излюбленное слово, характеризующее Пушкина и его школу… в общем и целом эквивалент близких слов, которыми изобилует французская и английская чувствительная литература; однако, в силу фонетической близости слову “темный” и благодаря его итальянскому полнозвучию, русский эпитет своею мрачной выразительностью превосходит соответствующий английский и лишен несколько иронического оттенка последнего[85].

Кинбот пишет, словно прочитав боллингеновское издание “Онегина”:

> Добрая, старая Сильвия! Она разделяла с Флер де Файлер нерешительность манер, томность повадки, частью врожденную, частью напускную – в качестве удобного алиби на случай опьянения, – и каким-то чудесным образом ухитрялась сочетать эту томность с говорливостью, напоминая мямлю-чревовещателя, которого вечно перебивает его болтливая кукла[86].

И, наконец, Кинбот, как Набоков, так отчаянно жаждет близости, что трансформируется сама сущность правды. Научная истина – позитивистская, основанная на доказательствах, истина, что подобна приколотому насекомому на лабораторном столе, – уступает истине страстной просьбы, истине отчаянной задушевной мольбы, перед которой все бессильны и которая не знает преград. Он непременно должен существовать, этот сумасшедший король, и он наверняка существует, поскольку его слова превращают безумие в действительность.

Критика реальности – которая, по словам Набокова, ничуть его не интересовала, а значит, не должна занимать и нас, его читателей, – все-таки непоследовательна. В книгах американского периода правит реальность: узнаваемая американская реальность[87]. И она куда правдивее, нежели признает Набоков:

она передана так верно и свободно, что даже немного пугает. Читатель “Лолиты” чувствует, что “накал страстей в книге высок, от него несвободен даже рассудок, даже чувство юмора”, так что смех в романе звучит “жутко”. Книга производит такое впечатление, поскольку в ней убедительно изображена Америка. Сперва читатель испытывает шок, даже, пожалуй, отвращение, но потом у него возникает желание “посмеяться над теми, кто не сумел увидеть, сколько правды таится за этой фантасмагорической игрой теней”. Вскоре после выхода романа Ф. У. Дьюпи написал, что от “Лолиты” остается ощущение, будто “жизнь – мистификация, игра”. Образы, выведенные в романе, “призрачны и страшны, но узнаваемы”, и “жуткие перипетии, в которые попадает Гумберт, – это наши перипетии”. Союз Шарлотты Гейз и Гумберта Гумберта, безусловно, аномален, но это отражение “мучительной комедии семейной жизни в целом”[88]. Не будь “Лолита” настолько убедительна, едва ли она произвела бы такое впечатление: скорее всего, сейчас о ней бы уже никто не помнил.

В середине 1960-х годов в своем швейцарском пристанище Набоков предпринял эксперимент со временем[89], идею которого позаимствовал у писателя Дж. У. Данна, опубликовавшего в 1927 году трактат о снах. Основная мысль Данна заключалась в том, что человеку кажется, будто время движется только в одном направлении: вперед. На самом же деле время вовсе не река, а океан – прошлое, настоящее и будущее в нем сливаются воедино и всегда доступны, если, конечно, научиться их различать. Данн признавался, что ему, бывало, снились сны “не в ту ночь” – не после какого-то сенсационного события, о котором он читал в газетах, а до него. Самым страшным примером[90] стал сон о взрыве на острове, при котором погибли четыре тысячи человек: через несколько дней сообщили об извержении вулкана Монтань-Пеле на острове Мартиника (8 мая 1902 года), которое, по первым оценкам, унесло жизни сорока тысяч человек.

Набоков привлек к проекту Веру и в течение трех месяцев, начиная с октября 1964 года, записывал их сны. Первое, о чем хочется упомянуть в связи с этими записками, – они противоречат его жалобам на бессонницу. Он спит каждую ночь – может, и меньше, чем хотелось бы, и не так глубоко, но все же спит. И ему снятся сны, копятся рассказы о них, и набирается их такое множество, что Набоков даже делает какие-то общие выводы – например, о том, что

> для всех моих снов характерны следующие

признаки[91]:

1. Четкое ощущение точного времени, но при этом смутное чувство того, как оно проходит
2. Множество совершенно незнакомых людей, некоторые почти в каждом сне
3. Вербальные особенности
4. Довольно последовательное, довольно ясное, довольно логичное (в определенных рамках) мышление
5. Очень трудно вспомнить сон целиком, даже в общих чертах
6. Повторяющиеся темы и мотивы.

Он уже некоторое время работал над романом “Ада”, часть которого основывается на этих и других наблюдениях. (В частности, Ван Вин – психиатр, который специализируется на снах.) Другая часть – это трактат, над которым работает Ван Вин, под названием “Текстура времени”. Набоков записал жутковатый сон про Уилсона, которого в последний раз видел в ноябре 1964 года, когда тот ненадолго приезжал в Монтрё:

> Спускаюсь по лестнице на вокзале, похожем на лозаннский, и встречаю Эдмунда… Он ждет поезда. Я говорю ему, что пойду “наверх”, чтобы его проводить. Он оживленно ходит по платформе, и я отмечаю, каким подтянутым и бодрым он выглядит в темно-сером костюме. Мы теряем друг друга из виду в толпе, и поезд ускользает[92].

В другом сне Набоков расплакался, как когда-то, пятилетним ребенком[93]. Причину расстройства он не объяснил.

Рассказы о снах дружелюбны. Как большинству взрослых, Набокову снится, что ему нужно сделать какое-то срочное и важное дело, причем как можно скорее и в стрессовой ситуации. В отличие от большинства сновидцев, ему обычно это удается. Он редактирует рассказы, чтобы не обременять читателя подробностями своих кошмаров. (За все время он записал только один кошмар: он оказался в местности, полной прекрасных бабочек, а сачка у него с собой нет.) Кто же тот “читатель”, для которого Набоков так тщательно выбирает, о чем рассказывать, а о чем нет? Во-первых, он писал для самого себя или для исследователей, которые однажды могут обнаружить в архивах его дневники с описаниями снов: для них он признается, что у него бывают повторяющиеся зловещие сны, “пророческие” сны, сны, предвещающие ужасные катастрофы, после которых наступит конец света, но в целом Набоков склонен приуменьшать

важность дурных снов. Он крайне рационален и рассудочен, если верить его записям, и даже в курьезной стране сновидений ему усилием воли удается сохранять хладнокровие94.

Читать эти рассказы – одно удовольствие. Они полны странностей и движения: автор явно наслаждается несоответствиями. Иногда во сне Набоков думает о том, что надо бы это все записать, тут же просыпается и записывает. Для тех читателей, кто будет вечно по нему скучать, для кого литературный пейзаж без него пуст, а голоса слабы, кому он подарил незабываемые, богатые впечатления от литературы XX века, Набоков будто оживает снова и шутливо шепчет на ухо:

> 8 часов утра, 16 октября 1964 года, пятница. Танцевал с Ве. Ее открытое платье, почему-то в крапинку, летнее. Проходивший мимо мужчина ее поцеловал. Я схватил его за голову и ударил его лицом об стену с такой яростной силой, что едва не насадил его, как кусок мяса, на какую-то арматуру… С трудом отлепил окровавленное лицо от стены и, пошатываясь, ушел прочь.

> 17 октября, 8:30 утра. Сижу за круглым столом в кабинете директора маленького провинциального музея. Он (…безликий администратор, незапоминающиеся черты лица, короткая стрижка) объясняет что-то про коллекции. Вдруг я понимаю, что все то время, пока он говорил, я рассеянно ел экспонаты на столе – какие-то крошащиеся кирпичики, которые я, видимо, принял за пыльные и безвкусные пирожные и которые на самом деле оказались редкими образцами почв… И теперь меня больше заботит не то, как я перенесу подобное угощение… но как их вернуть и что же это на самом деле было: вдруг они очень ценные… Директора позвали к телефону, и я разговариваю с его заместителем.

Один из снов с пышностью, достойной бодрствующего писателя, демонстрирует – в духе Дж. У. Данна – видение прошлого, настоящего и будущего, совмещенных в одном событии:

> Проснулся рано и решил это записать, хотя еще очень сонный… Я лежу на диване и диктую Ве. Видимо, сначала диктовал я с карточек, которые держал в руках, потом диктую в процессе сочинения… Речь идет о новом, дописанном “Даре”. Мой молодой человек Ф[едор]

> рассказывает о своей судьбе, которая уже состоялась, и о собственном постоянном смутном ощущении, что она должна была стать великой. Я медленно говорю это [по-русски]… Я декламирую все это, взвешивая каждое слово и сомневаюсь, брать ли [это русское слово], не увеличит ли оно и без того длинную внутреннюю тень… Вместе с тем я не без самодовольства думаю о том, что никому еще не удавалось передать ностальгию лучше меня и что я искусно изобразил… некую тайную черту: до того, как все на самом деле покинули навсегда эти авеню и поля, ощущение невозможности вернуться… было в них запечатлено.

Есть множество других снов. Последняя коллекция, написанная не для публикации, но – потому что таков был его непобедимый инстинкт – для того чтобы те, кому она попадется на глаза, с интересом прочитали эти рассказы, полюбили его – и получили удовольствие.

Благодарности

Как всякий, кто берется писать книгу, я очень волновался, принимаясь за этот труд. Великие писатели пугают столько же, сколько привлекают, а Набоков особенно: вся западная литература так или иначе взаимодействует с ним, выражает себя через него. Он – великий Пифон искусства, поглотивший русскую литературу, французскую литературу, английскую начиная с Шекспира и далее, вобравший в себя собственный XX век – от поэтов Серебряного века и до постмодернизма, который во многом начался именно с него, – он, можно сказать, самый длинный змий за всю историю литературы. Я полюбил его книги еще в далекой юности. Удовольствие, которое я получал от его произведений, во многом связано со временем: не с осмыслением понятия времени у Набокова, но с тем, как я ощущал его, читая. Темп его прозы доставлял мне истинную радость, опьянял: я чувствовал, что у меня “достаточно времени”, чтобы прочитать тот или иной его абзац, в кои-то веки не заботясь о том, сколько страниц осталось в книге. Для меня Набоков уникален: его романы “зачаровывают” – словом, производят на меня ровно то впечатление, на которое и рассчитывал писатель (по его собственному признанию).

Набокову посвящено множество исследований – как профессиональных ученых, так и дилетантов – поклонников его творчества. Любовь к писателю выливается в конференции, сайты, посвященные Набокову, информационные и новостные рассылки, общества его имени, бесчисленные статьи и книги и так далее. Я сам набоковед и с гордостью в этом признаюсь, хотя и отдаю себе отчет, что мои старания больше похожи на потуги фанатов. При этом меня как набоковеда немного смущает общая тональность поклонения писателю. К примеру, беспорядочное употребление слова “гений”. Великого писателя называют гением романа, поэзии, энтомологии, рассказа, чтения лекций перед студенческой аудиторией в 300–400 человек, шахматных задач типа *solus rex*, драматических произведений и эссе. Хорошо, согласен, он был действительно очень талантлив – несказанно талантлив[60].

Все это напоминает мне теорию, о которой я впервые услышал от историка Джудит Волковиц: эта теория называлась “мальчик в возрасте бар-мицвы”. Такой мальчик обладает самыми разными талантами, лезет из кожи вон, чтобы понравиться, а если вы не считаете его самым умным и замечательным, так спросите его маму, она вам все быстренько разъяснит. Дело-то не в том,

действительно ли Набоков гений в той или иной сфере: куда интереснее ответить на вопрос, почему спустя 115 лет после его рождения знаменитые ученые по-прежнему посвящают ему исследования и ломают копья из-за его статуса разностороннего гения. Зачем Набокову понадобилось, чтобы о нем так думали? Мы-то полагали, что он уже давно вырос.

Я заметил, что поклонение непременно влечет за собой стремление обладать, так что, принимаясь за книгу, больше всего боялся реакции ученого сообщества, в котором все друг друга знают, разбираются в творчестве Набокова (в особенности в его произведениях, написанных по-русски) во сто крат лучше меня и воспримут меня как самозванца. Однако каждый раз, как мне случалось обращаться к тому или иному авторитетному набоковеду, он или она относились ко мне по-доброму. На каком-то этапе я решил, что мне совершенно необходимо прочитать все, что писали о Набокове до меня. Я на два года уселся в удобное кресло и погрузился в изучение биографий и критических исследований. К счастью, по большей части они оказались остроумными, основательными и содержали массу новой для меня информации. Да и просто было приятно их читать: такими и должны быть труды по литературоведению. Лучшие из них перенесли меня в беззаботные университетские годы, когда я знакомился с искусно написанными работами таких ученых, как Джон Кроу Рэнсом, А. А. Ричардс, Ф. Р. Ливис, Лайонел Триллинг, Аллен Тейт, Роберт Пенн Уоррен, Эдмунд Уилсон: всех их я представлял себе джентльменами в твидовых костюмах, которые курят трубку у камина в комнате, полной книг, а за венецианским окном медленно падает снег. Я учился в маленьком университете, где читал лекции Монро Бердсли, соавтор манифеста “новой критики” “Заблуждение в отношении намерения”, и хотя я ни разу не был ни на одном его занятии, его подход так или иначе оказал влияние на всех молодых университетских преподавателей английской литературы. Меня учили избегать биографического подхода, искать “структуру” и “систему образов” в текстах, суть которых не должна была меня заботить. Критические исследования, которые нам задавали читать, сами по себе были увлекательными.

Среди тех, кто любезно отвечал на мои расспросы о Набокове, хочется упомянуть профессора Брайана Бойда из Оклендского университета, профессора Эрика Наймана из Калифорнийского университета в Беркли и почетного профессора Стивена Дж. Паркера из Канзасского университета. Хотелось бы поблагодарить профессора Джона Берта Фостера-младшего из университета Джорджа Мейсона за приятный ланч и обсуждение вопросов,

которые долгое время не давали мне покоя, а для него были прописными истинами. Его работа “Искусство памяти и европейский модернизм в творчестве Набокова” (*Nabokov’s Art of Memory and European Modernism*) – единственное известное мне исследование по культурным корням Набокова. Профессор Фостер прочел эту книгу в рукописи и указал мне на ряд досадных ошибок. Также рукопись любезно прочитала и прокомментировала (чем немало воодушевила ее автора) профессор Галя Димент из Вашингтонского университета, чью книгу о Набокове отличает мягкий юмор и глубокое понимание творчества писателя. Также хочу поблагодарить писателя и врача-эпидемиолога Эндрю Мосса из Сан-Франциско и прозаика и мемуариста Роба Куто из Нью-Пальтца, штат Нью-Йорк, за то, что они прочитали мою книгу.

Херб Голд, который когда-то играл в теннис с Дмитрием Набоковым и вел после Владимира Набокова его занятия в Корнелле, поделился со мной очень интересными и смешными историями об отце и сыне. Ричард Баксбаум, которого Набоковы однажды летом взяли с собой в Юту в качестве второго водителя, рассказал, как это было – провести несколько недель в машине с таким семейством (если одним словом, то потрясающе).

Сотрудники коллекции Берга Нью-Йоркской публичной библиотеки, самого богатого в мире архива материалов, связанных с Набоковым, были неизменно доброжелательны ко мне: благодаря их любезности и профессионализму каждый визит в библиотеку приносил мне удовольствие, даже несмотря на то, что в главном читальном зале иногда стоял нестерпимый холод. Мне все-таки удалось найти то, что я искал, благодаря куратору Айзеку Гевиртцу и библиотекарям Бекки Файнер, Энн Гарнер и Линдси Барнс. Куратор отдела беспозвоночных Американского музея естественной истории Дэвид Гримальди помог мне понять, какую именно литературу по лепидоптерологии Набоков, скорее всего, читал в 1940-е годы. (Скорее таксономическую, а не теоретическую: теория Набокова не интересовала – во всяком случае, он не слышал о революционных идеях в популяционной генетике, которые появились в 1920-е годы и во многом сформировали современное отношение к теории эволюции.) Сьюзен Рэб Грин, также сотрудница Американского музея естественной истории, в красках рассказала мне об открытии, которое они сделали с доктором Гримальди: речь шла о коллекции насекомых, собранной Набоковым в 1941 году и переданной в музей, где она и пролежала в хранилище семьдесят лет. Эндрю Джонстон, научный сотрудник отдела чешуекрылых, помог мне выяснить, что еще Набоков передал в дар музею.

Роб Иствуд из гарвардского Музея сравнительной зоологии любезно уделил мне время несмотря на то, что я был далеко не первым в длинной веренице поклонников, интересовавшихся, где же работал Набоков, как выглядели его насекомые, у какого окна стоял его стол и тому подобное. Питер Маккарти, студент Гарварда и президент Гарвардского клуба альпинистов, ответил на мои вопросы о традициях клуба и сводил в конференц-зал в Клеверли-холле, где хранилось старое альпинистское снаряжение, лежали потрепанные журналы восхождений и царил дух братства.

Восстанавливая историю бегства Набоковых из Франции в Америку в 1940 году, я провел несколько дней в Исследовательском институте идиша в Нью-Йорке. Его главный архивариус Фрума Морер и сотрудники архива Гуннар Берг, Лео Гринбаум и Роберта Эллиотт помогли мне в исследованиях. Валерий Базаров, директор отдела семейной истории и определения местоположения ХИАС, рассказал о деятельности организации в начале Второй мировой войны и о том, какую роль она сыграла в бегстве Набоковых из Франции в США. Таня Чеботарева из Бахметьевского архива Колумбийского университета помогала мне с чтением русской переписки Набокова. Семен Белоковский перевел с русского на английский все необходимые мне документы, хотя я отредактировал английские варианты. Ольга Андреева-Карлайл, автор мемуаров и участница некоторых масштабных литературно-политических драм XX века, с присущей ей проницательностью и остроумием побеседовала со мной о неприязни Набокова к СССР в частности и к истории вообще. Сара Функе Батлер из нью-йоркского книжного магазина *Glenn Horowitz Bookseller* помогла мне найти принадлежавший Набокову экземпляр “Окна в Россию” Эдмунда Уилсона с недоуменными комментариями Набокова к замечаниям Уилсона о его, Набокова, карьере. Эйвери Роум, один из лучших редакторов, с кем мне доводилось работать, выслушала мои рассуждения и дала глубокие советы как по исследованию, так и по книге в целом. Мишель Дуаз, литературовед из Руана, узнал, сколько стоили Набоковым в 1940 году билеты на “Шамплен”. Для характеристики Дмитрия Набокова мне посчастливилось пообщаться с самыми близкими друзьями-американцами его юности – Барбарой Виктор, Сэнди Левином и Бреттом Шлезингером (все они живут в Нью-Йорке). Иван и Петр Набоковы, двоюродные братья Дмитрия, старшие сыновья Николая Набокова, помогли мне понять кое-какие аспекты разностороннего знакомства их семьи с Америкой. Их воспоминания о жизни и карьере стали для меня настоящим откровением.

Внимательные и квалифицированные сотрудники Хаутонской библиотеки Гарварда, библиотеки Бейнеке в Йеле и Библиотеки Конгресса любезно предоставили меня самому себе, и я в который раз почувствовал то же, что всегда чувствую в первый визит в подобные учреждения: какое все-таки счастье – быть гражданином открытого общества, в котором созданы все условия для сохранения письменной истории.

Моя мудрая жена, историк Мэри Райан, держала меня за руку, выслушивала мои жалобы, спорила со мной и, несмотря ни на что, верила, что у меня непременно получится написать о Набокове в Америке. Хочу поблагодарить и обнять ее. Мой уважаемый агент Майкл Карлайл, несокрушимый оптимист, неизменно меня ободрял и поддерживал. Антон Мюллер, мой редактор из *Bloomsbury*, и его коллега Рейчел Маннхаймер не раз успокаивали меня и помогали советом. Также хочу поблагодарить моих друзей, благодаря беседам с которыми даже такие проекты, как этот, со множеством тонкостей и сложностей, кажутся выполнимыми. Роберт Спертус и Пол Грубер, внимательные читатели и ученые мужи, которые при всей своей учености держатся на удивление скромно, очень мне помогли, равно как и Питер Джелавич, большой специалист по истории и культуре Германии. На мой взгляд, лучшие друзья – те, с кем можно говорить обо всем без утайки.

Источники иллюстраций

13 Каньон Литл-Коттонвуд, штат Юта. Фото автора.

39 Лайнер “Шамплен”. Фотограф неизвестен. С разрешения *Heritage-Ships*.

52 Эдмунд Уилсон. Фотограф неизвестен. С разрешения *The Edmund Wilson Papers. Yale Collection of American Literature, Beinecke Rare Book and Manuscript Library, Yale University.*

58 *El Rey Court*. Фото автора.

73 Долина Иосемити. Фотограф неизвестен.

89 Дом № 8 по Крейги-серкл. Фото автора.

91 Голубянки. Фото автора.

102 Алта-Лодж. Фотограф неизвестен. С разрешения *Alan Engen* и *David Davenport*.

105 Тропа на гору Лоун. Фото автора.

126 Письмо на бланке Колумбайн-Лодж. С разрешения *Columbine Lodge stationery: Courtesy of the Bakhmeteff Archive of Russian & Eastern European Culture, Columbia University. Copyright The Estate of Vladimir Nabokov*. Использовано с разрешения *The Wylie Agency, L. L. C.*

128 Пик Лонгс. С разрешения *Allen Matheson*.

131 Колумбайн-Лодж. Фото автора.

158 Открытка из Вайоминга. Фотограф неизвестен. С разрешения *The Edmund Wilson Papers. Yale Collection of American Literature, Beinecke Rare Book and Manuscript Library, Yale University.*

161 Роман из цикла о Кожаном Чулке, иллюстрация на обложке *Carl Offterdinger.*

162 Пик Разочарования. Фото автора.

176 Теллурид. Фото автора.

193 Дмитрий. Фотограф неизвестен. С разрешения *Roger Boylan, Autosavant Magazine* и *Ariane Csonka.*

197 *Corral Log Motel.* Фото автора.

200 Интерьер мотеля *Corral Log*. Фото автора.

242 Домик Мейнарда Диксона, Маунт-Кармел. Фото автора.

243 Интерьер домика Диксона. Фото автора.

245 В окрестностях Итаки. *Carl Mydans* для журнала *Life*. © *Getty images*.

254 Дмитрий. Фотограф неизвестен. С разрешения *Roger Boylan, Autosavant Magazine* и *Ariane Csonka.*

Библиография

Abrams, M. H., ed. *The Norton Anthology of English Literature*, vol. 2, 4th ed. New York: W. W. Norton and Co., 1979.

Adkins, Lynn. *"Jesse L. Nusbaum and the Painted Desert in San Diego."* Journal of San Diego History 29, no. 2 (Spring 1983).

Agee, James. *"The Great American Roadside."* Fortune 10 (September 1934): 53–63, 172, 174, 177.

Ahuja, Nitin. *"Nabokov's Case Against Natural Selection."* Tract, 2012. *http://www.hcs.harvard.edu/tract/nabokov.html.*

Alden, Peter D. *"H. M. C. Climbing Camp,* 1953*."* Harvard Mountaineering, no. 12 (May 1955).

Alexander, Victoria N. *"Nabokov, Teleology, and Insect Mimicry."* Nabokov Studies 7 (2002–2003): 177–213.

Alexandrov, Vladimir E. *"Nabokov and Bely."* In Alexandrov. Garland Companion.

Alexandrov, Vladimir E. Nabokov's Otherworld. Princeton, N. J.: Princeton University Press, 1991.

Alexandrov, Vladimir E., ed. *The Garland Companion to Vladimir Nabokov*. New York: Garland, 1995.

Altschuler, Glenn, Kramnick, Isaac. *"«Red Cornell»: Cornell in the Cold War,"* part 1. Cornell Alumni Magazine, July 2010.

Amis, Martin. *"Divine Levity: The Reputation of Vladimir Nabokov Is High and Growing Higher and There Is Much More Work Still to Come."* Times Literary Supplement, December 23 and 30, 2011, 3–5.

Amis, Martin. *"The Sublime and the Ridiculous: Nabokov's Black Farces".* In Quennell. *Vladimir Nabokov, His Life.*

Amis, Martin. *Visiting Mrs. Nabokov and Other Excursions*. New York: Vintage International, 1995.

Appel, Alfred, Jr. *"The Road to Lolita, or the Americanization of an Émigré."* Journal of Modern Literature 4 (1974): 3–31.

Appel, Alfred, Jr. *Nabokov's Dark Cinema*. New York: Oxford University Press, 1974.

Appel, Alfred, Jr., ed. The Annotated Lolita. New York: McGraw-Hill, 1970.

Appel, Alfred, Jr., Newman, Charles, eds. *Nabokov: Criticism, Reminiscences, Translations, and Tributes.* London: Weidenfeld and Nicolson, 1971.

Bahr, Ehrhard. *Weimar on the Pacific: German Exile Culture in Los Angeles and the Crisis of Modernism.* Berkeley: University of California Press, 2007.

Baker, Nicholson. *U and I: A True Story.* New York: Vintage, 1992.

Banta, Martha. *"Benjamin, Edgar, Humbert, and Jay."* Yale Review

60 (Summer 1971): 532–49.

Barabtarlo, Gennady. *"Nabokov in the Wilson Archive."* Cycnos 10, no. 1 (1993): 27–32.

Barth, Werner, M. D., Segal, Kinim, M. D. *"Reactive Arthritis (Reiter's Syndrome)."* American Family Physician 60, no. 2 (August 1, 1999): 499–503.

Belasco, Warren James. *Americans on the Road: From Autocamp to Motel,* 1910–1945. Cambridge, Mass.: MIT Press, 1979.

Benfey, Christopher. *"Malcolm Cowley Was One of the Best Literary Tastemakers of the Twentieth Century. Why Were His Politics So Awful?"* The New Republic, March 3, 2014.

Bentley, Eric. *The Brecht Memoir.* New York: PAJ Publications, 1985.

Berger, John. *The Success and Failure of Picasso.* New York: Pantheon, 1989.

Berkman, Sylvia. *"Smothered Voices."* New York Times, September 21, 1958.

Bishop, Morris. *"Nabokov at Cornell."* In Appel and Newman. *Nabokov: Criticism*. Bloom, Harold, ed. *Herman Melville's "Moby-Dick."* New York: Chelsea House, 1986.

Bishop, Morris. *Vladimir Nabokov*. New York: Chelsea House, 1987.

Booth, Wayne C. *The Rhetoric of Fiction*. Chicago: University of Chicago Press, 1983.

Borges, Jorge Luis. *Labyrinths.* New York: New Directions, 1964.

Boyd, Brian. *"MSS."* In Alexandrov. *Garland Companion*.

Boyd, Brian. *"Nabokov Lives On."* The American Scholar, Spring 2010.

Boyd, Brian. *"The Psychologist."* The American Scholar, Autumn 2011.

Boyd, Brian. *Stalking Nabokov: Selected Essays.* New York: Columbia University Press, 2011.

Boyd, Brian. *Vladimir Nabokov: The American Years*. Princeton, N. J.: Princeton University Press, 1991.

Boyd, Brian. *Vladimir Nabokov: The Russian Years.* Princeton, N. J.: Princeton University Press, 1990.

Boyd, Brian, Pyle, Robert Michael, eds. *Nabokov's Butterflies: Unpublished and Uncollected Writings.* Boston: Beacon Press, 2000.

Boyd, Brian, Edmunds, Jeff, Malikova, Maria, Toker, Leona. *"Nabokov Studies: Strategic Development of the Field and Scholarly Cooperation."* In Leving. *Goalkeeper*.

Brodhead, Richard. *"Trying All Things: An Introduction to Moby-Dick."* In *New Essays on Moby-Dick*, edited by Richard Brodhead. New York: Cambridge University Press, 1986.

Bruss, Elizabeth. *"Illusions of Reality and the Reality of Illusions."* In Bloom. *Vladimir Nabokov.*

Buehrens, John. *"Famous Consultant and Forgotten Minister."* UUWorld. *http://www.uuworld.org/*2004/01*/lookingback.html.*

Carlisle, Olga Andreyev. *Under a New Sky: A Reunion with Russia.* New York: Ticknor & Fields, 1993.

Castiglia, Christopher. *Bound and Determined: Captivity, Culture-Crossing, and White Womanhood from Mary Rowlandson to Patty Hearst.* Chicago: University of Chicago Press, 1996.

Chiasson, Dan. *"Go Poets."* New York Review of Books, April 3, 2014.

Clinger, Mic, Pickering, James H., Stevanus, Carey. *Estes Park and Rocky Mountain National Park Then and Now*. Englewood, Colo.: Westcliffe, 2006.

Clippinger, David. *"Lolita and* 1950*s American Culture."* In Kuzmanovich and Diment. *Approaches to Teaching*.

Cohen, Michael P. *The Pathless Way: John Muir and American Wilderness*. Madison: University of Wisconsin Press, 1984.

Connolly, Julian W. *A Reader's Guide to Nabokov's "Lolita."* Boston: Academic Studies Press, 2009.

Connolly, Julian W., ed. *Nabokov and His Fiction: New Perspectives*. Cambridge, UK: University of Cambridge Press, 1999.

Connolly, Julian W. *The Cambridge Companion to Vladimir Nabokov*. New York: Cambridge University Press, 2005.

Corliss, Richard. *Lolita*. London: British Film Institute, 1994.

Corrsin, Stephen D. *"Nabokov in America."* Columbia Literary Columns 33, no. 2, (February 1984): 22–31.

Couteau, Rob. *"Abandoning Hope to Discover Life: Commemorating the* 51*st Anniversary of the Grove Press Edition of Henry Miller's Tropic of Cancer, with a Special Tribute to Barney Rosset."* Rain Taxi Review, August 2012. *http://www.raintaxi.com/abandoning-hope-to-discover-life.*

Couteau, Rob. *Review of Kerouac Ascending: Memorabilia of the Decade of "On the Road," by Elbert Lenrow.* Evergreen Review, Summer 2013.

Dabney, Lewis M. *Edmund Wilson: A Life in Literature.* Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2007.

Davidson, James A. *"Hitchcock/Nabokov: Some Thoughts on Alfred Hitchcock and Vladimir Nabokov."* Images. *http://www.imagesjournal.com/issue*03*/features/ hitchnab*1*.htm* and *http://www.imagesjournal.com/issue*03*/features/hitchnab*4*.htm.*

Davie, Donald. *The Poems of Dr. Zhivago*. New York: Barnes & Noble, 1965.

De Grazia, Edward. *Girls Lean Back Everywhere: The Law of Obscenity and the Assault on Genius*. New York: Random House, 1992.

Delbanco, Andrew. *"American Literature: A Vanishing Subject?"* Daedalus 135, no. 2 (Spring 2006): 22–37.

Davis, Dick. *"Obituary: Janet Lewis."* The Independent, December 15, 1998.

Diment, Galya. "A Tale of Two Lolitas: Mrs. Parker and the Butterfly Effect." New York, December 2, 2013.

Diment, Galya. *"Two* 1955 *Lolitas: Vladimir Nabokov's and Dorothy Parker's."* Modernism/ Modernity 21, no. 2 (April 2014): 487–505.

Diment, Galya. *A Russian Jew of Bloomsbury: The Life and Times of Samuel Koteliansky*. Montreal: McGill – Queen's University Press, 2011.

Diment, Galya. *Pniniad: Vladimir Nabokov and Marc Szeftel.* Seattle: University of Washington Press, 1997.

Dirig, Robert. *"Karner Blue, Sing Your Purple Song."* American Butterflies, Spring 1997.

Dirig, Robert. *"Theme in Blue: Vladimir Nabokov's Endangered Butterfly."* In Shapiro. *Nabokov at Cornell*.

Dolinin, Alexander. *"What Happened to Sally Horner? A Real-Life Source of Nabokov's Lolita."* Times Literary Supplement, September 9, 2005, 11–12.

Douglas, Ann. *"Day into Noir."* Vanity Fair, March 2007.

Douglas, Ann. *Introduction to The Dharma Bums.* New York: Viking, 2008.

Dragunoiu, Dana. *Vladimir Nabokov and the Poetics of Liberalism.* Evanston, Ill.: Northwestern University Press, 2011.

Dunn, Susan. 1940*: FDR, Wilkie, Lindbergh, Hitler – the Election amid the Storm*. New Haven, Conn.: Yale University Press, 2013.

Dupee, F. W. *"«Lolita» in America."* Encounter XII, no. 2 (February 1959).

Dupee, F. *"Introduction to Selections from Lolita."* Anchor Review 2 (1957): 1–3, 5–13.

Emerson, Ralph Waldo. *The Spiritual Emerson*. Edited by David M. Robinson. Boston: Beacon Press, 2003.

Epstein, Joseph. *"Never Wise – But Oh, How Smart,"* New York Times, August 31, 1986, section 7, p. 3.

Espey, John. *"Classics on Cassette: «Speak, Memory.»"* Los Angeles Times Book Review, October 20, 1991, 8.

Faulkner, William. *Big Woods: The Hunting Stories.* New York: Vintage International, 1994.

Federal Writers' Project. *The WPA Guide to New York City: The Federal Writers' Project Guide to* 1930*s New York.* Introduction by William H. Whyte. New York: The New Press, 1992. First published 1939 by Random House.

Fermi, Laura. *Illustrious Immigrants: The Intellectual Migration from Europe,* 1930—41. Chicago: University of Chicago Press, 1968.

Field, Andrew. *Nabokov: His Life in Part.* New York: Viking Press, 1977.

Field, Andrew. *VN: The Life and Art of Vladimir Nabokov.* New York: Crown, 1986.

Flanner, Janet. *"Goethe in Hollywood, Parts I and II."* New Yorker, December 13 and 20, 1941.

Fleming, Donald, Bailyn, Bernard, eds. *The Intellectual Migration: Europe and America,* 1930–1960. Cambridge, Mass.: Belknap Press, 1969.

Fluck, Winfried. *"Power Relations in the Novels of James: The «Liberal» and the «Radical» Version."* In *Enacting History in Henry James: Narrative, Power, and Ethics*, edited by Gert Buelens. New York: Cambridge University Press, 1997.

Foster, John Burt, Jr. *"Bend Sinister."* In Alexandrov. *Garland Companion.*

Foster, John Burt, Jr. *"Nabokov and Modernism."* In Connolly. *Cambridge Companion*.

Foster, John Burt, Jr. *Nabokov's Art of Memory and European Modernism*. Princeton, N. J.: Princeton University Press, 1993.

Freeman, Elizabeth. *"Honeymoon with a Stranger: Pedophiliac Picaresques from Poe to Nabokov."* American Literature 70, no. 4 (December 1998).

Frosch, Thomas R. *"Parody and Authenticity in Lolita."* In Bloom, *Vladimir Nabokov*. Gerke, Sarah Bohl. *"Bright Angel Cabins."* Arizona State University/Grand Canyon Association. *http://grandcanyonhistory.clas.asu.edu/sites_southrim_brightangelcabins.html.*

Gerschenkron, Alex. *"A Manufactured Monument?"* Modern Philology 63, no. 4 (May 1966): 336–347.

Gezari, Janet. *"Chess and Chess Problems."* In Alexandrov. *Garland Companion*.

Gibian, George, and Stephen Jan Parker, eds. *The Achievements of Vladimir Nabokov.*

Ithaca, N. Y.: Cornell Center for International Studies, 1984.

Gilmore, Michael T. *Twentieth Century Interpretations of "Moby-Dick."* Englewood Cliffs, N. J.: Prentice-Hall, 1977.

Gogol, Nikolai. *Dead Souls*, trans. Constance Garnett. New York: Modern Library, 1926.

Goldberg, J. J. *"Kishinev* 1903*: The Birth of a Century."* The Jewish Daily Forward, April 4, 2003.

Goldman, Shalom. *"Nabokov's Minyan: A Study in Philo-Semitism."* Modern Judaism 25, no. 1 (2005): 1–22.

Goldstein, Richard. *Helluva Town: The Story of New York City During World War II.* New York: Free Press, 2010.

Green, Hannah. *"Mister Nabokov."* The New Yorker, February 4,

1977.

Grimaldi, David, Engel, Michael S. Evolution of the Insects. New York: Cambridge University Press, 2005.

Grossman, Lev. *"The Gay Nabokov."* Salon, May 17, 2000.

Guerney, Bernard Guilbert. *"Great Grotesque."* New Republic, September 25, 1944. Haegert, John. *"Artist in Exile: The Americanization of Humbert Humbert."* ELH 52, no. 3 (Fall 1985): 777–94.

Hagerty, Donald J. *The Life of Maynard Dixon.* Layton, Utah: Gibbs Smith, 2010.

Hall, Donald. *"Ezra Pound Said Be a Publisher."* New York Times Book Review, August 23, 1981, 13, 22–23.

Hamsun, Knut. *Pan*. New York: Penguin, 1998.

Hardwick, Elizabeth. *"Master Class."* New York Times Book Review, October 19, 1980, 1, 28.

Harris, Frank. *My Life*. New York: Frank Harris, 1925.

Haven, Cynthia. *"The Lolita Question."* Stanford Magazine, May/ June 2006.

Heaney, Thomas M. *"The Call of the Open Road: Automobile Travel and Vacations in American Popular Culture,* 1935–1960.*"* Doctoral dissertation, University of California, Irvine, 2000.

Heilbut, Anthony. *Exiled in Paradise: German Refugee Artists and Intellectuals in America, from the* 1930*s to the Present.* New York: Viking Press, 1983.

Hellman, Geoffrey T. *"Black Tie and Cyanide Jar."* New Yorker, August 21, 1948, 32–47.

Ireland, Corydon. *"Harvard Goes to War."* Harvard Gazette, November 10, 2011.

Isaac, Joel, Bell, Duncan, eds. *Uncertain Empire: American History and the Idea of the Cold War*. New York: Oxford University Press, 2012.

Jahoda, Marie. *"The Migration of Psychoanalysis."* In Fleming and Bailyn. *Intellectual Migration.*

Jakle, John A., Sculle, Keith A., Rogers, Jefferson S. *The Motel in America.* Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1996.

James, Clive. *"The Poetry of Edmund Wilson."* The New Review 4, no. 44 (November 1977), 37–44.

Johnson, D. Barton. *"Nabokov's Golliwoggs: Lodi Reads English,* 1899–1909.*"* Zembla. *www.libraries.psu.edu/nabokov/dbjgo*1.*htm.*

Johnson, D. Barton. *"Nabokov's House in Ashland."* Vladimir Nabokov Forum, Listserv.UCSB.edu, n. d. *https://listserv.ucsb.edu/lsv-cgi-bin/wa?A*2*=ind*9910*&L= NABOKV–L&P=R*348*&*1.

Johnson, D. Barton. *"Strange Bedfellows: Ayn Rand and Vladimir Nabokov."* Journal of Ayn Rand Studies 2, no. 1 (Fall 2000): 47–67.

Johnson, D. Barton. *"Vladimir Nabokov and Captain Mayne Reid."*

Cycnos 10, no. 1 (1992).

Johnson, D. Barton, and Sheila Golburgh Johnson. *"Nabokov in Ashland, Oregon."* Penn State University Libraries, n. d. *http://www.libraries.psu.edu/nabokov/dbjas*1.*htm.*

Johnson, Kurt, Coates, Steve. *Nabokov's Blues: The Scientific Odyssey of a Literary Genius.* Cambridge, Mass.: Zoland Books, 1999.

Jordy, William H. *"The Aftermath of the Bauhaus in America: Gropius, Mies, and Breuer."* In Fleming and Bailyn. *Intellectual Migration.*

Judge, Edward H. *Easter in Kishinev: Anatomy of a Pogrom*. New York: New York University Press, 1992.

Kakutani, Michiko. *"The Lasting Power of Dr. King's Speech."* New York Times, August 28, 2013, A1, A18.

Karl, Frederick R. *Franz Kafka, Representative Man.* New York: Ticknor & Fields, 1991.

Karlinsky, Simon. *"Nabokov's Russian Games."* In Roth. *Critical Essays.*

Karlinsky, Simon, ed. *Dear Bunny, Dear Volodya: The Nabokov-Wilson Letters,* 1940–1971*, annotated and with introductory essay by Karlinsky*. Berkeley: University of California Press, 2001.

Kelly, Aileen. *"Getting Isaiah Berlin Wrong."* New York Review of Books, June 20, 2013.

Kernan, Alvin. *"Reading Zemblan: The Audience Disappears in Pale Fire."* In Bloom. *Vladimir Nabokov*.

Kerouac, Jack. *On the Road.* New York: Penguin, 1976. First published 1957 by Viking Press.

Kerouac, Jack. *The Dharma Bums.* New York: Viking, 2008. First published 1958 by Viking Press. Khrushcheva, Nina L. *Imagining Nabokov: Russia Between Art and Politics.* New Haven, Conn.: Yale University Press, 2007.

Kopper, John M. *"Correspondence."* In Alexandrov. *Garland Companion*.

Kuzmanovich, Zoran. *"Strong Points and Nerve Points: Nabokov's Life and Art."* In Connolly, *Cambridge Companion*.

Kuzmanovich, Zoran, Diment, Galya, eds. *Approaches to Teaching Nabokov's "Lolita."* New York: Modern Language Association of America, 2008.

Larmour, David H. J., ed. *Discourse and Ideology in Nabokov's Prose*. New York: Routledge, 2002.

Laskin, David. *"When Weimar Luminaries Went West Coast."* New York Times, October 3, 2008.

Lawrence, D. H. *À Propos of "Lady Chatterley's Lover" and Other Essays.* London: Penguin, 1961.

Lawrence, D. H. *Studies in Classic American Literature.* Edited by

Ezra Greenspan, Lindeth Vasey, and John Worthen. New York: Cambridge University Press, 2003. First published 1923 by Thomas Seltzer.

Leamer, Laurence. *Ascent: The Spiritual and Physical Quest of Willi Unsoeld.* New York: Simon & Schuster, 1982.

Levin, Harry. *"Two Romanisten in America: Spitzer and Auerbach."* In Fleming and Bailyn. *Intellectual Migration*.

Leving, Yuri. *"«The Book Is Dazzlingly Brilliant… But» – Two Early Internal Reviews of Nabokov's The Gift."* In Leving. *Goalkeeper*.

Leving, Yuri.. *"Selling Nabokov: An Interview with Nikki Smith."* Nabokov Online Journal 7 (2013). *http://www.nabokovonline.com.*

Leving, Yuri, ed. *The Goalkeeper: The Nabokov Almanac*. Boston: Academic Studies Press, 2010.

Lilly, Mark. *"Nabokov: Homo Ludens."* In Quennell. *Vladimir Nabokov, His Life.*

Lock, Charles. *"Transparent Things and Opaque Words."* In *Nabokov's World, Vol.* 1*: The Shape of Nabokov's World,* edited by Jane Grayson, Arnold McMillin, and Priscilla Meyer. London: Palgrave, 2002.

Lodge, David. *"Exiles in a Small World."* The Guardian, May 7, 2004.

Maar, Michael. *Speak, Nabokov*. Translated by Ross Benjamin. New York: Verso, 2009.

Mahaffey, Vicki, Laity, Cassandra. *"Modernist Theory and Criticism." The Johns Hopkins Guide to Literary Theory & Criticism*, 2nd ed., edited by Michael Groden and Martin Kreiswirth. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2005.

Manolescu-Oancea, Monica. *"Inventing and Naming America: Place and Place Names in Vladimir Nabokov's Lolita."* European Journal of American Studies I (2009).

McCarthy, Mary. *"F. W. Dupee,* 1904–1979*."* New York Review of Books, March 8, 1979.

McCarthy, Mary. *"On F. W. Dupee (*1904–1979*)."* New York Review of Books, October 27, 1983.

McCrum, Robert. *"The Final Twist in Nabokov's Untold Story."* The Observer, October 24, 2009.

McGill, Meredith L. *American Literature and the Culture of Reprinting,* 1834–1853. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2003.

McKinney, Jerome B., Howard, Lawrence Cabot. *Public Administration: Balancing Power and Accountability*. Westport, Conn.: Praeger, 1998.

Melville, Herman. *Moby-Dick, or The Whale*. Evanston, Ill.: Northwestern University Press, 2001. First published 1851 by Harper

& Brothers.

Meyer, Priscilla. *"Nabokov's Critics: A Review Article."* Modern Philology 91, no. 3 (1994): 326–38.

Meyers, Jeffrey. *Edmund Wilson: A Biography*. Boston: Houghton Mifflin, 1995.

Miłosz, Czesław. *Emperor of the Earth: Modes of Eccentric Vision.* Berkeley: University of California Press, 1977.

Minchenok, Dmitry. *"Dmitry Nabokov. Life Like Fiction,"* interview. Voice of Russia, February 28, 2012. Recorded in 2005. *http://sputniknews.com/voiceofrus sia/*2012_02_28/67099376.

Mizruchi, Susan. *"Lolita in History."* American Literature 75, no. 3 (September 2003).

Moynahan, Julian. *"Lolita and Related Memories."* In Appel and Newman. *Nabokov: Criticism.*

Mizruchi, Susan. *Vladimir Nabokov*. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1971.

Myers, Steven Lee. *"Time to Come Home, Zhivago,"* New York Times, February 12, 2006.

Nabokov, Dmitri. *"A Few Things That Must Be Said on Behalf of Vladimir Nabokov."* In Rivers and Nicol. *Nabokov's Fifth Arc*.

Nabokov, Dmitri. *"Close Calls and Fulfilled Dreams: Selected Entries from a Private Journal."* In *Our Private Lives*, edited by Daniel Halpern. Hopewell, N. J.: Ecco Press, 1998.

Nabokov, Dmitri. *"On a Book Entitled The Enchanter."* In V. Nabokov, *The Enchanter,* 97–127.

Nabokov, Dmitri. *"On Returning to Ithaca."* In Shapiro, *Nabokov at Cornell*, 277–84.

Nabokov, Dmitri. *"On Revisiting Father's Room,"* Encounter, October 1979, 77–82.

Nabokov, Dmitri. *Russische Lieder. Program notes and English verse translations by Vladimir Nabokov.* MPS Records, Stereo 20 21988–7, 1974, 331/3 rpm.

Nabokov, Dmitri, Bruccoli, Matthew J., eds. *Vladimir Nabokov: Selected Letters,* 1940–1977. New York: Harcourt Brace Jovanovich, 1989.

Nabokov, Nicolas. *Bagazh: Memoirs of a Russian Cosmopolitan.* New York: Atheneum, 1975.

Nabokov, Peter. *A Forest of Time: American Indian Ways of History*. New York: Cambridge University Press, 2002.

Nabokov, Peter, Loendorf, Lawrence L. *Restoring a Presence: American Indians and Yellowstone National Park*. Norman: University of Oklahoma Press, 2004.

Nabokov, V. D. *V. D. Nabokov and the Russian Provisional Government,* 1917. Edited by Virgil D. Medlin and Steven L. Parsons.

Introduction by Robert P. Browder. New Haven, Conn.: Yale University Press, 1976.

Nabokov, Vladimir. *"Inspiration."* The Saturday Review, January 6, 1973, 30–32.

Nabokov, Vladimir. *Introduction to «Bend Sinister».* New York: Time-Life Books, 1964.

Nabokov, Vladimir. *"On a Book Entitled «Lolita.»"* In *Lolita*, 329–35.

Nabokov, Vladimir. *"The Russian Professor."* The New Yorker, June 13 and 20, 2011, 100–4.

Nabokov, Vladimir. *A Russian Beauty and Other Stories.* New York: McGraw-Hill, 1973.

Nabokov, Vladimir. *Ada or Ardor*. New York: Vintage International, 1990.

Nabokov, Vladimir. *Bend Sinister*. Time Reading Program Special Edition. New York: Time Inc., 1964.

Nabokov, Vladimir. *Conclusive Evidence.* New York: Harper & Brothers, 1951.

Nabokov, Vladimir. *Glory*. New York: Penguin, 1974.

Nabokov, Vladimir. *King, Queen, Knave.* New York: Vintage International, 1989.

Nabokov, Vladimir. *Laughter in the Dark.* New York: New Directions, 2006.

Nabokov, Vladimir. *Lectures on Russian Literature.* New York: Harcourt Brace Jovanovich, 1981.

Nabokov, Vladimir. *Letters to Véra.* Translated and edited by Olga Voronina and Brian Boyd. London: Penguin Classics, 2014.

Nabokov, Vladimir. *Lolita.* London: Everyman's Library, 1992.

Nabokov, Vladimir. *Nabokov's Dozen: Thirteen Stories*. New York: Penguin, 1971.

Nabokov, Vladimir. *Nikolai Gogol.* Corrected edition. New York: New Directions Paperbook, 1961.

Nabokov, Vladimir. *Pale Fire*. New York: Vintage International, 1989.

Nabokov, Vladimir. *Pnin*. New York: Vintage International, 1985.

Nabokov, Vladimir. *Poems and Problems*. New York: McGraw-Hill, 1970.

Nabokov, Vladimir. *Speak, Memory: An Autobiography Revisited.* New York: G. P. Putnam's Sons, 1966.

Nabokov, Vladimir. *Strong Opinions.* New York: McGraw-Hill, 1973.

Nabokov, Vladimir. *The Enchanter.* Translated by Dmitri Nabokov. New York: G. P. Putnam's Sons, 1986.

Nabokov, Vladimir. *The Eye.* New York: Phaedra, 1965.

Nabokov, Vladimir. *The Gift.* New York: Vintage International, 1991.

Nabokov, Vladimir. *The Original of Laura (Dying Is Fun)*. Edited by Dmitri Nabokov. New York: Alfred A. Knopf, 2008.

Nabokov, Vladimir. *The Real Life of Sebastian Knight.* New York: Penguin, 1964.

Nabokov, Vladimir. *The Stories of Vladimir Nabokov*. New York: Vintage International, 1997.

Nabokov, Vladimir, selector and translator. *Verses and Versions: Three Centuries of Russian Poetry*. Edited by Brian Boyd and Stanislav Shvabrin. New York: Harcourt, 2008.

Nachbar, Jack, ed. *Focus on the Western.* Englewood Cliffs, N. J.: Prentice-Hall, 1974.

Naiman, Eric. *"Vladimir to Véra,"* Times Literary Supplement, October 29, 2014.

Nicol, Charles. *"Politics."* In Alexandrov. *Garland Companion*.

Norman, Will, White, Duncan, eds. *Transitional Nabokov*. New York: Peter Lang, 2009.

"*Obituary: C. Bertrand Thompson (*1882–1969*).*" Academy of Management Journal 12, no. 1 (March 1969): 66.

O'Brien, Michael. *John F. Kennedy: A Biography*. New York: Thomas Dunne Books/St. Martin's Press, 2005.

O'Connor, Brian. *Adorno*. New York: Routledge, 2013.

Oates, Joyce Carol. *"A Personal View of Nabokov."* The Saturday Review, January 6, 1973, 36–37.

Packer, George. "Don't Look Down: The New Depression Literature." New Yorker, April 29, 2013, 70–75.

Parker, Hershel. *Herman Melville: A Biography*, vol. 1. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1996.

Parker, Stephen Jan. *"Library."* In Alexandrov. *Garland Companion*.

Parker, Stephen Jan. "Nabokov Studies." In Shapiro. *Nabokov at Cornell*.

Parker, Stephen Jan, ed. *The Nabokovian*. Lawrence: University of Kansas Press, 1984–2013.

Pasternak, Boris. *Doctor Zhivago*. New York: Pantheon, 1958.

Pavlik, Robert. *"In Harmony with the Landscape: Yosemite's Built Environment."* California History 69, no. 2 (Summer 1990): 182–95.

Pellerdi, Marta. *"Aesthetics and Sin: The Nymph and the Faun in Hawthorne's The Marble Faun and Nabokov's Lolita."* In Leving. *Goalkeeper*.

Perret, Geoffrey. *Jack: A Life Like No Other*. New York: Random House, 2002.

Peterson, Dale E. *"Nabokov's Invitation: Literature as Execution."* In

Bloom. *Vladimir Nabokov*.

Pickering, James H. *In the Vale of Elkanah: The Tahosa Valley World of Charles Edwin Hewes.* Estes Park, Colo.: Friends Press of the Estes Park Museum, 2007.

Pifer, Ellen. *"Consciousness, Real Life, and Fairy-Tale Freedom: King, Queen, Knave."* In Bloom. *Vladimir Nabokov.*

Pifer, Ellen. *Nabokov and the Novel.* Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1980.

Pifer, Ellen. *"Reinventing Nabokov: Lyne and Kubrick Parse Lolita."* In Shapiro. *Nabokov at Cornell.*

Pifer, Ellen. *"The Lolita Phenomenon from Paris to Tehran."* In Connolly. *Cambridge Companion.*

Pitzer, Andrea. *The Secret History of Vladimir Nabokov.* New York: Pegasus, 2013.

Pomeroy, Earl. *In Search of the Golden West: The Tourist in Western America.* Lincoln: University of Nebraska Press, 1990.

Prieto, José Manuel. *"Reading Mandelstam on Stalin."* New York Review of Books, June 10, 2010.

Proffer, Carl R. *The Widows of Russia and Other Writings.* Ann Arbor, Mich.: Ardis, 1987.

Proffer, Ellendea. *"Nabokov's Russian Readers."* In Appel and Newman. *Nabokov: Criticism.*

Proffer, Ellendea, ed. *Vladimir Nabokov: A Pictorial Biography.* Ann Arbor, Mich.: Ardis, 1991.

Pushkin, Aleksandr. *Eugene Onegin: A Novel in Verse.* Translated with commentary by Vladimir Nabokov. 4 vols. Princeton, N. J.: Princeton University Press, 1975. First published in English 1964 by Bollingen Foundation.

Pushkin, Aleksandr. *Eugene Onegin: A Novel in Verse*. New translation in the Onegin stanza with an introduction and notes by Walter Arndt. New York: E. P. Dutton & Co., 1963.

Pushkin, Aleksandr. *Eugene Onegin: A Novel in Verse.* Translated with an introduction and notes by Stanley Mitchell. New York: Penguin, 2008.

Pushkin, Alexander. *The Queen of Spades and Other Stories.* Translated with an introduction by Rosemary Edmonds. New York: Penguin, 2004.

Pyle, Robert Michael. *"Between Climb and Cloud: Nabokov among the Lepidopterists."* In Boyd and Pyle. *Nabokov's Butterflies*, 32–76.

Quennell, Peter. *The Pursuit of Happiness*. New York: Little, Brown, 1988.

Quennell, Peter, ed. *Vladimir Nabokov, His Life, His Work, His World: A Tribute*. London: Weidenfeld and Nicolson, 1979.

Remington, Charles. *"Lepidoptera Studies."* In Alexandrov, *Garland*

Companion.

Remnick, David, ed., with Susan Choi. *Wonderful Town: New York Stories from "The New Yorker."* New York: Random House, 2000.

Rivers, J. E., Nicol, Charles, eds. *Nabokov's Fifth Arc: Nabokov and Others on His Life's Work*. Austin: University of Texas Press, 1982.

Robbins, Chandler S., Bruun, Bertel, Zim, Herbert S. *Birds of North America.* New York: Golden Press, 1966.

Roberts, David. *"Pioneers of Mountain Exploration: The Harvard Five."* In *Cloud Dancers: Portraits of North American Mountaineers*, edited by Jonathan Waterman. Golden, Colo.: AAC Press, 1993.

Roberts, David. *"The Hearse Traverse."* In *Escape Routes: Further Adventure Writings of David Roberts*, 166–74. Seattle: The Mountaineers, 1997.

Roberts, Neil. *"Greenspan, Vasey and Worthen: D. H. Lawrence: Studies in Classic American Literature."* Erea, February 2, 2004. *http://erea.revues.org/*461.

Ronen, Omry. *"The Triple Anniversary of World Literature: Goethe, Pushkin, Nabokov."* In Shapiro. *Nabokov at Cornell.*

Roper, Robert. *"At Home in the High Country."* Introduction to Galen Rowell's *Sierra Nevada*, by Galen Rowell. San Francisco: Sierra Club Books, 2010.

Roper, Robert. *Fatal Mountaineer: The High-Altitude Life and Death of Willi Unsoeld, American Himalayan Legend.* New York: St. Martin's Press, 2002.

Roper, Robert. *Now the Drum of War: Walt Whitman and His Brothers in the Civil War.* New York: Walker & Co., 2008.

Rorty, Richard. *"The Barber of Kasbeam: Nabokov on Cruelty."* In *Contingency, Irony, and Solidarity*. New York: Cambridge University Press, 1989.

Roth, Phyllis A. *"The Psychology of the Double in Pale Fire."* In Roth. *Critical Essays*.

Roth, Phyllis A., ed. *Critical Essays on Vladimir Nabokov*. Boston: G. K. Hall & Co., 1984.

Rumens, Carol. *"«Mont Blanc» by Percy Bysshe Shelley."* The Guardian, March 11, 2013.

Salinger, J. D. *The Catcher in the Rye.* Boston: Little, Brown, 1951.

Salzberg, Joel, ed. *Critical Essays on Salinger's "The Catcher in the Rye."* Boston: G. K. Hall & Co., 1990.

Sanders, Ronald. *Shores of Refuge: A Hundred Years of Jewish Emigration.* New York: Holt, 1988.

Saunders, Frances Stonor. *The Cultural Cold War: The CIA and the World of Arts and Letters.* New York: New Press, 2013.

Sayre, Gordon M. *"Abridging between Two Worlds: John Tanner as American Indian Autobiographer."* American Literary History 11, no. 3

(Autumn 1999): 480–99.

Scammell, Michael. *"The Servile Path: Translating Nabokov by Epistle."* Harper's Magazine, May 2001, 52–60.

Schiff, Stacy. *"The Genius and Mrs. Genius."* The New Yorker, February 10, 1997.

Schiff, Stacy. *Véra (Mrs. Vladimir Nabokov)*. London: Picador, 1999.

Schlesinger, Brett. *"A Journey Down the Tyrrhenian Sea: My Great Italian Sea Voyage of* 1975*."* Privately printed, 2012.

Schulz, Kathryn. *"Kathryn Schulz on Amity Gaige's Novel Schroder."* New York, February 18, 2013.

Schwartz, Delmore. *"The Writing of Edmund Wilson."* Accent, Spring 1942, 177–86.

Shapiro, Gavriel, ed. *Nabokov at Cornell.* Ithaca, N. Y.: Cornell University Press, 2003.

Shklovsky, Victor. *"Art as Technique."* In *Russian Formalist Criticism: Four Essays*, translated with an introduction by Lee T. Lemon and Marion J. Reis. Lincoln: University of Nebraska Press, 2012.

Shloss, Carol. *"Speak, Memory: The Aristocracy of Art."* In Rivers and Nicol. *Nabokov's Fifth Arc.*

Shrayer, Maxim D. *"Jewish Questions in Nabokov's Art and Life."* In Connolly. *Nabokov and His Fiction,* 73–91.

Shrayer, Maxim D. *"Saving Jewish-Russian Émigrés."* Revising Nabokov Revising: The Proceedings of the International Nabokov Conference. Kyoto: Nabokov Society of Japan, 2010, 123–30.

Skidmore, Max J. *"Restless Americans: The Significance of Movement in American History (With a Nod to F. J. Turner)."* Journal of American Culture 34, no. 2 (June 2011): 161–74.

Slawenski, Kenneth. *J. D. Salinger: A Life.* New York: Random House, 2010.

Sniderman, Alisa. *"Vladimir Nabokov, «Houdini of History»?"* Los Angeles Review of Books, March 17, 2013.

Socher, Abraham P. *"Shades of Frost: A Hidden Source for Nabokov's Pale Fire."* Times Literary Supplement, July 1, 2005.

Stallings, Don B., Turner, J. R. *"Four New Species of Megathymus."* Entomological News LXVIII (1957): 4.

Stallings, Don B., Turner, J. R. *"New American Butterflies."* Canadian Entomologist 7, no. 7–8 (August 1946): 134–37.

Steed, J. P., ed. *"The Catcher in the Rye": New Essays.* New York: Peter Lang, 2002. Stegner, Page, ed. *Nabokov's Congeries.* New York: Viking, 1968.

Stegner, Wallace. *The American West as Living Space.* Ann Arbor, Mich.: University of Michigan Press, 1987.

Steinle, Pamela Hunt. In *Cold Fear: "The Catcher in the Rye,"*

Censorship Controversies and Postwar American Character. Columbus: Ohio State University Press, 2000.

Sternlieb, Lisa. *"Vivian Darkbloom: Floral Border or Moral Order?"* In Kuzmanovich and Diment. *Approaches to Teaching.*

Stone, Bruce. *"Nabokov's Exoneration: The Genesis and Genius of Lolita."* Numero Cinq IV, no. 5 (May 2013).

Stringer-Hye, Suellen. *"An Interview with Dmitri Nabokov."* In Leving. *Goalkeeper*. Sturma, Michael. *"Aliens and Indians: A Comparison of Abduction and Captivity Narratives."* Journal of Popular Culture 36, no. 2 (Fall 2002): 318–34.

Sweeney, Susan Elizabeth. *"'By Some Sleight of Land': How Nabokov Rewrote America."* In Connolly. *Cambridge Companion*.

Sweeney, Susan Elizabeth. *"Sinistral Details: Nabokov, Wilson, and Hamlet in Bend Sinister."* Nabokov Studies 1 (1994): 179–94.

Sweeney, Susan Elizabeth. *"The Lolita Case."* Time, November 17, 1958.

Theroux, Paul. *"Damned Old Graham Greene."* New York Times, October 17, 2004. Tóibín, Colm. *"«Edmund Wilson»: American Critic."* New York Times, September 4, 2005.

Toker, Leona. *"«The Dead Are Good Mixers»: Nabokov's Version of Individualism."* In Quennell. *Vladimir Nabokov, His Life*.

Toker, Leona. *"Nabokov and the Hawthorne Tradition."* Scripta Hierosolymitana 32 (1987): 323–49.

Toker, Leona. *"Nabokov's Worldview."* In Connolly. *Cambridge Companion*.

Updike, John. *"Grandmaster Nabokov."* In *Assorted Prose.* New York: Knopf, 1965.

Updike, John. *Hugging the Shore: Essays and Criticism*. New York: Alfred A. Knopf, 1983.

Updike, John. *More Matter: Essays and Criticism.* New York: Alfred A. Knopf, 1999.

Updike, John. *Picked-up Pieces.* New York: Knopf, 1975.

Vaingurt, Julia. *"Unfair Use: Parody, Plagiarism, and Other Suspicious Practices in and Around Lolita."* Nabokov Online Journal 5 (2001). *http://www.nabokovonline.com.*

Vickers, Graham. *Chasing Lolita: How Popular Culture Corrupted Nabokov's Little Girl All Over Again.* Chicago: Chicago Review Press, 2008.

Watts, Richard, Jr. *"Comic-Strip Dictator."* New Republic, July 7, 1947, 26–27.

Weil, Irwin. *"Odyssey of a Translator."* In Appel and Newman. *Nabokov: Criticism*.

Weiner, Charles. *"A New Site for the Seminar: The Refugees and American Physics in the* 1930*s."* In Fleming and Bailyn. *Intellectual*

Migration.

White, Edmund. *"Nabokov's Passion."* In Bloom. *Vladimir Nabokov*.

White, Edmund. *City Boy: My Life in New York During the* 1960*s and '*70*s.* New York: Bloomsbury, 2009.

Wilford, Hugh. *The Mighty Wurlitzer: How the CIA Played America.* Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 2008.

Wilson, Edmund. *"Doctor Life and His Guardian Angel."* The New Yorker, November 15, 1958.

Wilson, Edmund. *"Legend and Symbol in «Doctor Zhivago.»"* Encounter, June 9, 1959, 5–16.

Wilson, Edmund. *"T. S. Eliot and the Church of England."* New Republic, April 24, 1929, 283–84. Wilson, Edmund. *A Window on Russia.* New York: Farrar, Straus & Giroux, 1972.

Wilson, Edmund. *Axel's Castle: A Study in the Imaginative Literature of* 1870–1930. London: Flamingo, 1979.

Wilson, Edmund. *Letters on Literature and Politics,* 1912–1972. New York: Farrar, Straus & Giroux, 1977.

Wilson, Edmund. *Memoirs of Hecate County.* New York: David R. Godine, 1980. First published in 1946 by Doubleday.

Wilson, Edmund. *Red, Black, Blond, and Olive: Studies in Four Civilizations.* New York: Oxford University Press, 1956.

Wilson, Edmund. *The American Jitters: A Year of the Slump.* New York: Charles Scribner's Sons, 1932.

Wilson, Edmund. *The Shores of Light.* New York: Vintage Books, 1961.

Wilson, Rosalind Baker. *Near the Magician: A Memoir of My Father, Edmund Wilson.* New York: Grove Weidenfeld, 1989.

Winawer, Jonathan, et. al. *"Russian Blues Reveal Effects of Language on Color Discriminations."* Proceedings of the National Academy of Sciences 104, no. 19 (May 2007): 7780–85.

Wolff, Tatiana, ed. and trans. *Pushkin on Literature*. Introductory essay by John Bayley. London: Athlone Press, 1986.

Wood, Michael. *"Lolita in an American Fiction Class."* In Kuzmanovich and Diment. *Approaches to Teaching.*

Wood, Michael. *The Magician's Doubts: Nabokov and the Risks of Fiction.* London: Chatto & Windus, 1994.

Wyllie, Barbara. *"Nabokov and Cinema."* In Connolly. *Cambridge Companion.*

Yochelson, Bonnie. *Berenice Abbott: Changing New York.* New York: The New Press and the Museum of the City of New York, 1997.

Zimmer, Dieter. The website of Dieter E. Zimmer. *http://dezimmer.net/index.htm.*

Zimmer, Dieter, Hartmann, Sabine. *"«The Amazing Music of Truth»: Nabokov's Sources for Godunov's Central Asian Travels in The Gift."*

Nabokov Studies 7 (2002/2003): 33–74.

Zverev, Alexei. *"Nabokov, Updike, and American Literature."* In Alexandrov. *Garland Companion.*

Zweig, Paul. *Walt Whitman: The Making of the Poet*. New York: Basic Books, 1984.

Примечания

Предисловие

1 “Из переписки Владимира Набокова и Эдмонда Уилсона”. Здесь и далее цитируется по тексту, опубликованному в журнале “Иностранная литература”, № 5, 2010 г. Перевод А. Ливерганта и С. Таска. Страницы указываются по оригинальному изданию (DBDV).

2 *Nabokov’s Butterflies*, с. 436–437.

3 Там же, с. 52.

4 “Из переписки Владимира Набокова и Эдмонда Уилсона”. Набоков относился к своим зубам на удивление равнодушно. 25 декабря 1943 г. он писал другу, Роману Гринбергу: “Дантист с треском вырвал у меня все верхние зубы. Я в продолжение месяца ходил с голым ртом, а потом старался привыкнуть к объемистому и хлюпающему *ratelier* (зубной протез – *прим. перев.*). Теперь привык – и только иногда замечаю, что собеседник украдкой вытирает то щеку, то бровь (когда слишком стремительно говорю что-нибудь) и перемигивает”. Здесь и далее письма Гринбергу цитируются по изданию: Рашит Янгиров “Друзья, бабочки и монстры: из переписки Владимира и Веры Набоковых с Романом Гринбергом. 1943–1967” //Диаспора: новые материалы. Альманах. 2001, № 1. Париж, Atheneum – Спб., Феникс.

5 Pitzer, с. 173–174. Первый французский концлагерь для евреев, Дранси, появился в 1941 г. Рейс, которым уехали Набоковы, стал для “Шамплена” последним: по возвращении во Францию пароход подорвался на мине и затонул на рейде.

6 Bakh, письмо Веры Гольденвейзер, 26 июля 1941 г.

7 DBDV, с.52.

8 Даже в романе “Дар”, повествующем о трудной жизни эмигранта во враждебном немецком городе, слышны отголоски восхищения Набокова горами. Всякий раз, как заходит речь о радости, которую испытывает первооткрыватель, герой представляет себе покойного отца, исследователя Средней Азии, в горах, которые, кстати, несильно отличались от гор северной и центральной части штата Юта: тот же гранит и талые воды. Словно предвидя то, что ему только предстояло пережить в Америке, Набоков писал (в 1938 г.; первое американское издание “Дара” вышло в 1963 г.) о “настоящих крымских редкостях”, которые водились “гораздо выше, в горах, между скал”, о днях, проведенных в горах и пустынях, о “постоянном чувстве, что

наши здешние дни только карманные деньги, гроши, звякающие в темноте, а что где-то есть капитал, с коего надо уметь при жизни получать проценты в виде снов, слез счастья, далеких гор”. В. Набоков, “Дар”.

9 NB, с. 52–53.

10 В. Набоков, “Под знаком незаконнорожденных”. Здесь и далее книга цитируется в переводе С. Ильина. Набоков озаглавил вымышленную книгу “Когда стоит сирень” (*When Lilacs Last*) в вымышленной рецензии, написанной для “Убедительного доказательства”, но так и не вошедшей в книгу. SL, с. 105.

11 В. Набоков, “Память, говори”. Здесь и далее книга цитируется в переводе С. Ильина. Набоков вспоминает гувернантку мисс Клэйтон, которая учила его грамматике (ему тогда было 4 года).

Глава 1

1 Schiff, с. 73–78. Здесь и далее цит. по: “Вера (миссис Владимир Набоков)”. М.: Колибри, 2010. Перевод О. Кириченко.

2 Bakh, 24 мая 1936 г.

Произведения Набокова, которые упоминаются в этой книге

Написанные по-русски:

(1926) “Машенька”, в англ. переводе *Mary* (1970)

(1928) “Король, дама, валет”, в англ. переводе *King, Queen, Knave* (1968)

(1930) “Защита Лужина”, в англ. переводе *The Luzhin Dfence* или *The Defence* (1964)

(1930) “Соглядатай”, в англ. переводе *The Eye* (1965)

(1932) “Подвиг”, в англ. переводе *Glory* (1971)

(1933) “Камера обскура”, в англ. переводе *Camera Obscura* (1936), в авторском переводе с переработанным сюжетом *Laughter in the Dark* (1938)

(1934) “Отчаяние”, в англ. переводе *Despair* (1937, 1965)

(1936) “Приглашение на казнь”, в англ. переводе *Invitation to a Beheading* (1959)

(1938, 1952) “Дар”, в англ. переводе *The Gift* (1963)

(1939, опубл. 1991) “Волшебник”, в англ. переводе *The Enchanter* (1986)

Написанные по-английски:

(1941) *The Real Life of Sebastian Knight*, в рус. переводе “Подлинная жизнь Себастьяна Найта”

(1947) *Bend Sinister*, в рус. переводе “Под знаком незаконнорожденных”

(1955) *Lolita*, в рус. переводе В. Набокова “Лолита” (1967)

(1957) *Pnin*, в рус. переводе “Пнин”

(1962) *Pale Fire*, в рус. переводе “Бледный огонь” или “Бледное пламя”

(1969) *Ada or Ardor: A Family Chronicle*, в рус. переводе “Ада”

(1972) *Transparent Things*, в рус. переводе “Просвечивающие предметы” или “Прозрачные вещи”

(1973) *Strong Opinions*

(1974) *Look at the Harlequins!*, в рус. переводе “Смотри на арлекинов!”

(середина 1970-х) *The Original of Laura*, фрагменты, опубликованы посмертно (2009), в рус. переводе “Лаура и ее оригинал”

3 Schiff, 78.

4 SL, с. 22–24.

5 И Бойд, и Шифф утверждают, что роман начался в феврале 1937 г., однако Михаэль Маар в книге “Набоков, говори” (*Speak, Nabokov*) пишет, что еще в начале 1936 г. В доказательство приводит написанный в апреле 1936 г. рассказ “Весна в Фиальте”, героиня которого обладает неотразимой притягательностью для мужчин – образ, встречающийся во многих последующих произведениях Набокова. Подобная героиня есть и в романе “Камера обскура” (печатавшемся в журнале в 1932–1933 гг.), и в повести “Соглядатай” (1930): там у героя роман с обворожительной бесстыдницей, чей муж в итоге избивает незадачливого любовника.

6 Boyd I, с. 577n48. Здесь и далее цит. по: Брайан Бойд. Владимир Набоков: русские годы. СПб.: “Симпозиум”, 2010. Перевод Г. Лапиной.

7 Schiff, с. 92n.

8 Там же, с.76.

9 Там же, с. 139–141.

10 Boyd I, с. 407.

11 SL, с. 13, 15.

12 Boyd I, с. 420. Алтаграция де Жаннелли была агентом Набокова начиная с 1934 г.

13 Espey, *Speak*.

14 Влияние Майн Рида прослеживается в “Аде”, “Лолите”, “Подвиге” и “Даре”: см. Johnson, “*Nabokov and Reid*”. Чеслав Милош говорит, что “влияние Майн Рида на русскую и польскую литературу требует отдельного исследования… Чехов и другие писатели считали само собой разумеющимся, что их читатели знакомы с его романами”. Emperor of the Earth, с. 154–155. В

комментарии к прозаическому переводу стихотворения “Князю С. М. Качурину” (1947), сделанному специально для Эдмунда Уилсона, Набоков пишет: “Я вас спрашиваю, разве не пришла пора вернуться к теме (индейского) лука, к очарованию чаппараля (в котором сидят птицы), о котором мы читаем во «Всаднике без головы»? Разве не пора вернуться в каньон Матагорда (в горах Техаса) и уснуть на обжигающих камнях, так чтобы акварельная краска на лице сушила и колола кожу (в детстве мы ею разрисовывали лица, когда играли в индейцев), а в волосах торчало воронье перо? (другими словами, добро пожаловать прямой дорогой в Америку моего детства и романов о Диком Западе, которые я любил)”.

15 LOC.

16 Там же.

17 Boyd I, с. 409. Примерно в том же духе Хемингуэй, родившийся в один год с Набоковым, пишет в “Прощай, оружие!”: “Было много таких слов, которые уже противно было слушать, и в конце концов только названия мест сохранили достоинство… Абстрактные слова, такие как «слава», «подвиг», «доблесть» или «святыня», были непристойны рядом с конкретными названиями деревень, номерами дорог, названиями рек, номерами полков и датами”. Перевод Е. Калашниковой.

18 Schiff, с. 94. Номер телефона Жаннелли был: Washington Square 1–3131. Catalogue of Copyright Entries, LOC. Согласно некрологу в *New York Times*, она скончалась 11 июня 1945 г. в доме № 17 по Восточной Девятой улице.

19 Набоков читал “Свет в августе”, поддавшись уговорам Уилсона. DBDV, с. 239–240. “Я не люблю, когда на меня дышат перегаром романтизма, в котором чувствуются еще Марлинский и В. Гюго, – писал Набоков Уилсону, – ты, конечно, помнишь у последнего это чудовищное соединение обнаженности с пышными преувеличениями… Книга, которую ты мне прислал, являет собой один из банальнейших и скучнейших примеров банального и скучного жанра. Сюжет и эти затянутые, «с двойным дном» разговоры действуют на меня как плохие фильмы… Я могу себе представить, что подобного рода вещи (белый сброд, лоснящиеся негры, свирепые ищейки из мелодрам типа «Хижины дяди Тома») могут представлять интерес в социальном плане, но это не литература… А этот псевдорелигиозный лад – с души воротит… Уж не пребывает ли *la grace* и на Фолкнере? А может быть, ты просто меня разыгрываешь, настоятельно советуя мне прочесть Фолкнера или беспомощного Генри Джеймса или преподобного Элиота?”

20 Boyd 2, с. 14. Здесь и далее цит. по: Брайан Бойд.

Владимир Набоков: американские годы. Спб.: “Симпозиум”, 2010. Перевод А. Глебовской и С. Ильина.

21 LOC.

22 Там же.

23 Schiff, с. 96–97. Жаннелли послала “Дар” двум русским рецензентам, которых наняло издательство, чтобы те оценили, подходит ли роман для американского рынка. Оба книгу похвалили, однако посоветовали все же не покупать. LOC. Александр И. Назаров, критик, ранее писавший о Сирине, назвал книгу “ослепительно блестящей”, однако заметил: “В целом же «Дар» резко отличается от всего, что до сих пор составляло характерную суть романов Набокова. Вне зависимости от того, насколько ему всегда нравились… игры и трюки с композицией и стилем, [его ранние книги] представляли собой «обычные «романы с продуманным сюжетом и композицией… или строились «биографически» вокруг одного главного героя, который завладевал вниманием читателя… В отличие от них, «Дар» отнюдь не реалистический роман… Это искуснейший пример модернистской интроспекции, практически «несубъективное» произведение… сопоставимое с «Улиссом» Джеймса Джойса”. Такая оценка польстила Набокову, но и вызвала у него раздражение. Он возразил, что в его книге “куда больше всего как для знатока, так и для обычного читателя”, нежели увидел Назаров. SL, с. 27. Смесь похвалы с холодной оценкой выгоды, которую можно извлечь из издания, затронула болезненный для Набокова вопрос. Leving, с. 257. Ему предстояло сделать трудный выбор: писать ли в духе Джойса произведения, которые высоко ценят утонченные критики, или же взяться за нечто новое, непривычное, но сулящее большую выгоду – пожалуй, что-то более “американское” по стилистике. Прошло 12 лет, прежде чем Набоков нашел манеру, которая в композиционном смысле оказалась еще проще его якобы “нормальных” ранних произведений с проработанной фабулой. С “Даром” он совершил прорыв, но вынужденно вернулся далеко назад, к одной из наиболее понятных и простых форм повествования, – рассказу о путешествии, своего рода американской “Одиссее”.

24 SL, с. 28–29.

25 К 1937–1938 гг. и Менкен, и Нейтан уже ушли из журнала, хотя продолжали время от времени там публиковаться.

Глава 2

1 Набоков говорил в интервью: “Первоклассная университетская библиотека и удобный кампус – идеальная обстановка для писателя”. SO, с. 99.

2 Boyd I, 488; NB, с. 637–638. Набоков не открыл новый вид, а поймал гибрид представителей существующих видов. NB, с. 74.

3 Schiff, с. 94.

4 Boyd I, с. 121.

5 Boyd I, с. 489.

6 Saunders, с. 12. В личном деле ФБР, которое насчитывает 120 страниц, некий гражданин, отвечая на вопрос о политических взглядах Николая, ошибочно описывает его как “антисоциалиста”: “До революции 1917 года его отец занимал высокий пост в русском правительстве и был убит большевиками”. Но это был отец Владимира, а не Николая (к тому же В. Д. Набокова убили не большевики, а некий “правый” фанатик). Отец же Николая в 1948 году, когда ФБР проводила это расследование, был еще жив. Информант, преподаватель истории из Корнелльского университета, принял Николая за сына В. Д. Набокова, поскольку сам Николай, вольно или невольно, поддерживал это заблуждение. С ранних лет умевший выделить главную знаменитость в каждой комнате, Николай мальчишкой сиживал у ног В. Д. Набокова и благодаря ему знакомился с историей и культурой. В. Д., выдающийся ученый-правовед, один из руководителей думской партии кадетов, которая во время переломных событий 1917 года выступила с резкой критикой большевиков; В. Д., главный редактор “Речи”, газеты кадетов, противник российского самодержавия во всех его формах, сын высокопоставленного чиновника (Дмитрий Николаевич Набоков был министром юстиции при двух императорах), – этот же самый В. Д. Набоков, как мы узнаем из “Память, говори”, был не только политическим деятелем, но и эстетом, любил современную литературу, прекрасно разбирался в пластических искусствах и, в отличие от Владимира, в музыке.

Николай в “Багаже”, своих увлекательных, хотя и не всегда достоверных мемуарах, пишет, что по утрам в воскресенье в Берлине они садились на метро и ехали на генеральные репетиции Берлинского филармонического оркестра. Было это вскоре после изгнания из России; Владимир Дмитриевич пережил “все ужасы… и мерзости большевистской вакханалии”, крах политической карьеры и утрату состояния. Дядя и племянник “по-настоящему любили музыку, что для Набоковых редкость”: оказавшись в зале, где репетировал оркестр (в соседнем, меньшем зале вечером 28 марта 1922 года состоится политическое собрание, на котором убьют В. Д.), они стояли плечом к плечу в

глубине зала; В. Д. всегда брал с собой карманную партитуру, и они вместе следили за музыкой.

Николай вспоминал, что квартира Набоковых в Берлине была средоточием культурной жизни в эмиграции. У Владимира Дмитриевича Николай познакомился с Константином Станиславским, одним из основателей Московского художественного театра, создателем знаменитой системы актерского мастерства, и Ольгой Леонардовной Книппер-Чеховой, вдовой писателя, актрисой, чья игра при советской власти пользовалась не меньшим успехом, нежели при “старом режиме”. Следует признать, что именно в салоне своих дяди и тети Николай открыл для себя образ жизни в физической и духовной близости к таланту и влиянию и именно здесь довел до совершенства тот свой образ, благодаря которому был принят в плеяде культурных кругов XX века. Посещение концертов и изучение партитур стали для Николая первой по-настоящему полезной и запоминающейся частью его музыкального образования.

7 В. Д. Набоков публиковал в “Руле” как сына, так и племянника, причем последнего называл “музыкальным критиком”. “Багаж”, с. 107.

8 “Набоков о Набокове и прочем”, с. 140. Перевод М. Дадяна.

9 “Багаж”, с. 188.

10 Boyd I, с. 511; Boyd 2, с. 22.

11 Field*, Life in Part*, с. 195.

12 Boyd 2, с. 22.

13 LOC.

14 Bakh.

15 Schiff, с. 103.

16 Там же.

17 В. Д. Набоков. Кишиневская кровавая баня // Право. № 18. 27 апреля 1903 г.

18 Там же.

19 *V. D. Nabokov and the Russian Provisional*, с. 3.

20 Кишиневская кровавая баня // Право. № 18. 27 апреля 1903 г.

21 “Историк Руфус Лирси как-то заметил, что кишиневский погром 1903 года стал генеральной репетицией последовавшей спустя два года, после революции 1905 года, куда более кровавой волны погромов, в результате которых погибли более 3000 евреев. Это кровопролитие стало также и репетицией ужасов геноцида Гражданской войны 1918 года, в ходе которой отряды под руководством Симона Петлюры вырезали по всей Украине более 200 тысяч евреев. А это, в свою очередь, стало генеральной

репетицией Холокоста”. Goldberg, *Kishinev* 1903.

22 В. Д. Н. также выступал в качестве неофициального адвоката подсудимого. Б. Бойд, “Владимир Набоков: русские годы”.

23 Boyd I, с. 206.

24 Там же, с. 521.

25 Boyd II, с. 11.

26 Schiff, с. 105.

27 Там же, с.105.

28 Обычно ХИАС не оплачивал иммигрантам проезд. R. Sanders, *Shores of Refuge*, с. 275.

29 В. В. Набоков, “Другие берега”, гл. 14.

30 Field, *Life and Art*, с. 226. То, что Набоковым выделили каюту классом выше, не подлежит сомнению. Пожалуй, уже неважно, было ли это любезностью агента французского пароходства или давнего друга семьи. В источнике, который цитирует Шифф, – письме, написанном Верой А. Гольденвейзеру в 1958 году, – сказано лишь, что у них была каюта первого класса, но это было чистое везение. Заплатили они за третий класс, но о том, благодаря кому Набоковы получили каюту классом выше, в письме не упоминается. Обычно в день отплытия ХИАС отправлял на борт своего представителя: в последние часы возникало много проблем. Возможно, Фрумкин позаботился о том, чтобы путешествие в Америку запомнилось Набоковым надолго, и решил сделать им сюрприз. Незадолго до отплытия Фрумкин (вместе с Марком Алдановым) представили Набокова нескольким состоятельным евреям: так Набокову удалось набрать денег на оплату половины стоимости проезда. Возможно, Вера по ошибке приняла человека Фрумкина за агента французского пароходства, хотя, конечно, это маловероятно. Во всем, что касалось еврейского происхождения и вопросов выживания, она была не склонна к заблуждениям. Она гордилась тем, что еврейка, даже разорвала отношения со старшей сестрой, когда та перешла в католицизм. И в Берлине, когда к власти пришли фашисты, и впоследствии в Америке, сталкиваясь с проявлениями доморощенного антисемитизма, Вера во всеуслышание заявляла, что она еврейка, – об этом она умалчивать не собиралась.

31 Berg.

32 Boyd 2, с. 365.

33 Там же. Считается, что Набоков написал сценарий к “Лолите” Кубрика, на деле же Кубрик написал другой сценарий и снимал в основном по нему. Набоков от фильма пришел в восторг, назвал его “превосходным”, сказал, что актеры “выше всяких похвал”, а убийство Куильти – “шедевр”.

“Непосредственно к съемкам фильма я не имею никакого отношения”, – признавался Набоков, однако настаивал, что все же сыграл роль, которую нельзя назвать номинальной: “Я всего лишь написал сценарий, которым по большей части пользовался Кубрик”. SO, с. 21. В другой раз он отзывался о своем вкладе уже иначе: см. статью “Сценарий Владимира Набокова к «Лолите» Стэнли Кубрика”, *Open Culture, http://www.openculture.com/*2014/06*/vladimir-nabokovs-script-for-stanley-kubricks-lolita.html.*

34 Boyd I, с. 486.

35 Schiff, с. 104.

36 Набоков умолял организацию, которая помогала эмигрантам, помочь его семье перебраться в Нью-Йорк. Женщина, с которой он общался, запомнила его “панику” и “дикий страх перед возможной войной”, которые произвели на нее неприятное впечатление. Field, *Life and Art*, с. 197, с. 393.

Глава 3

1 Интервью с Иваном Набоковым, 25 апреля 2013 г. По словам Ивана, в эмиграционных документах также упоминалось имя Сергея Кусевицкого. Еще за Набокова поручился Михаил Карпович (Boyd 2, с. 14).

2 Записки Веры, Berg. Наталия помогла устроить Дмитрия в находившуюся неподалеку школу имени Уолта Уитмена. Осенью 1940 г. мальчик пошел в первый класс и вскоре был переведен во второй несмотря на то, что совершенно не знал английского.

3 *New York Times*, 1 мая 1940 г., I.

4 *New York Times*, 28 мая 1940 г., I.

5 *New York Times*, 29 мая 1940 г., I.

6 *New York Times*, 28 мая 1940 г., I. В напечатанном на первой странице прогнозе погоды говорится: “Преимущественно облачно, местами ливни, температура воздуха сегодня и завтра практически не изменится”. В статье, посвященной Нью-Йоркской всемирной выставке 1940 г., отмечалось, что более двух недель “шли дожди и стояла плохая пог.” (там же, с. 25).

7 Goldstein, *Helluva Town*, с. 92. Срок, в течение которого в Америку из Франции прибыло тридцать тысяч беженцев, охватывает период с лета 1940 по весну 1941 г.

8 Там же, с. 97.

9 Там же, с. 100.

10 Boyd 2, с. 11.

11 В. В. Набоков, “Другие берега”, гл. 2.

12 NB, 120; Boyd I, с. 259.

13 Boyd, *“Nabokov, Literature, Lepidoptera”*, в книге NB, с. 24–25.

14 Zimmer, *http://www.d-e-zimmer.de/eGuide/Biographies.htm.*

15 NB, с. 41.

16 Hellman, *New Yorker*, 21 августа 1948 г., с. 32–47; Boyd 2, с. 16. В краткой биографии Авинова в журнале *New Yorker* сказано, что “он получил гражданство Америки через несколько лет после приезда [в 1917 г.] и довольно быстро освоился – отчасти потому, что многие американские бабочки, такие как адмирал, траурница, репейница, а также определенные разновидности капустниц, толстоголовок, желтых парусников и нимфалид, водятся и в России”.

17 Hellman, с. 36.

18 В. В. Набоков, “Другие берега”, гл. 6.

19 SO, с. 46–47.

20 В. В. Набоков, “Лолита”.

21 SO, с. 40.

22 В. В. Набоков, “Другие берега”, гл. 6.

23 Там же.

24 Кнут Гамсун, “Пан”, пер. Е. Суриц.

25 Там же.

26 В. В. Набоков, “Другие берега”, гл. 6.

27 Там же.

28 Boyd I, с. 8.

29 В. В. Набоков, “Другие берега”, гл. 6.

30 У. Фолкнер, “Медведь”, пер. О. Сороки.

31 В. В. Набоков, “Другие берега”, гл. 6.

32 SO, с. 40.

33 Schiff, с. 109. Набоков называл прозу Тургенева “худосочной и бледной”. DBDV, с. 59.

34 Николай Набоков – Эдмунду Уилсону, август 1941 г., Библиотека редких книг и рукописей Бейнеке.

35 DBDV, с. 33.

36 Meyers, с. 248–250.

37 Там же, с. 166.

38 Николай Набоков – Эдмунду Уилсону, 8 февраля 1944 г., Библиотека редких книг и рукописей Бейнеке.

39 Николай Набоков – Эдмунду Уилсону, 7 декабря 1947 г.

40 Николай Набоков – Эдмунду Уилсону, декабрь 1950 г.

41 LOC. Рецензия так и не была опубликована в New Republic. DBDV, с. 46.

42 Pitzer, с. 169.

43 Meyers, с. 223.

44 Wilson, *“An Appeal to Progressives”, New Republic*, 14 января

1931 г.

45 Wilson, *Shores of Light*, с. 496, 498.

46 Packer, *New Yorker*, 29 апреля 1913 г., с. 70.

47 Dabney, с. 173–174.

48 Wilson, *Shores*, с. 499.

49 Там же.

50 Wilson, *Red, Black, Blond and Olive*, с. 167.

51 Dabney, с. 206.

Глава 4

1 SO, с. 5.

2 Boyd 2, с. 25; SO, с. 286–287.

3 DBDV, с. 47; Boyd 2, с. 26.

4 Vera, с. 115.

5 Там же, с. 113.

6 Skidmore, *Restless Americans*, с. 9.

7 *http://www.holocaustresearchproject.org/nazioccupation/frenchjews.html.*

8 DBDV, с. 53.

9 Zimmer, *http://www.d-e-zimmer.de/HTML/whereabouts.htm*. А Дороти Набоковы называли Дашей. См. дневник Веры за 1958–1959 г., Berg.

10 LOC.

11 Boyd 2, с. 140; интервью с Ричардом Буксбаумом, 14 августа 2013 г.

12 Belasco, с. 46.

13 Jakle, с. 45; Belasco, с. 138.

14 Интервью с Дэвидом Гримальди, 5 января 2013 г.; Сьюзен Рэб Грин, электронное письмо автору, 22 мая 2013 г.

15 В “Лолите” описаны два периода длительных автопутешествий: в романе Гумберт Гумберт в 1947–1948 г. пользуется подсказками трехтомника Американской автомобильной ассоциации “Справочник путешественника”, в особенности тем томом, где описаны западные штаты. Гумберт называл справочник “путеводителем, издаваемым американской автомобильной ассоциацией” и пользовался им, чтобы найти ночлег и достопримечательности, которые могут заинтересовать нимфетку. Lolita, с. 153, 162, 163, 164, 166. В конце путешествия у Гумберта остается “до ужаса изуродованный путеводитель… сущий символ моего истерзанного прошлого”. См. также Zimmer, *http://www.d-e-zimmer.de/LolitaUSA/TripI.htm.*

16 DBDV, с. 52.

17 В. В. Набоков, “Лолита”.

18 Dirig, с. 6 из 7.

19 Schiff, с. 120.

20 Berg.

21 Berg.

22 Там же.

23 DBDV, с. 51.

24 Boyd I, с. 84.

25 *“Texas Annual Rainfall”,* Texas Weather, *http://web2.airmail.net/danbI/annualrainfall.htm.*

26 Грин, в электронном письме автору.

27 Berg.

28 Boyd II, с. 29.

29 Из письма Набокова Комстоку, 20 февраля 1942 г., коллекция Берга, Нью-Йоркская публичная библиотека.

30 Прямым заказчиком Колтер была *Fred Harvey Company*.

31 Путешествия Набокова по западу и юго-западу Америки не вызвали в нем особенного интереса к индейцам. В отличие от Д. Г. Лоуренса (если взять пример другого писателя-иностранца, отправившегося в путешествие по Дикому Западу), Набоков не находил в цивилизованном современном человеке “кризиса сознания”, разрыва с природным, первобытным “интуитивным знанием”. Набоков не видел в современном человеке как таковом никаких приобретенных недостатков (помимо тех, которые были в нем всегда) – хотя что можно путного сказать о человеке как таковом? По отдельности люди бывают жестоки, злы, нелюдимы; впрочем, так было всегда. Набоков не отличается исторической иронией.

32 Письмо Набокова Комстоку, 20 февраля 1942 г., коллекция Берга; Boyd 2, с. 28–29.

33 В. В. Набоков, “Другие берега”, гл. 6. Оказалось, что пойманная бабочка не принадлежит к новому виду: это подвид, который ранее не встречался севернее Мексики. Теперь этот подвид носит название *Cyllopsis pertepida dorothea*: NB, с. 9.

34 Набоков, *“On Discovering a Butterfly”*, New Yorker, 15 мая 1943 г., с. 26.

35 Green, электронное письмо автору, 7 января 2013 г.

Глава 5

1 Adkins. Жилища индейцев юго-запада украшали Всемирную ярмарку 1904 г. в Сент-Луисе, Международную выставку Панамского канала и тихоокеанского региона (1915), Всемирную

ярмарку в Чикаго (1933–1934) и международную выставку “Голден Гейт” (1939–1940).

2 Agee, *Roadside*, с. 174.

3 Там же.

4 В. В. Набоков, “Лолита”.

5 Там же.

6 Письмо Набокова Добужинскому, 25 июля 1941 г., архив Бахметьева.

7 DBDV, с. 52.

8 Boyd 2, с. 33.

9 O’Brien, с. 114. Книга Кеннеди основана на дипломной работе, которую он написал в Гарварде. Двое профессиональных писателей (оба – коллеги его отца) помогли переработать диплом в книгу, которую не стыдно было бы выложить на прилавок. Однако глубокомысленные рассуждения о недостатках демократии перед лицом надвигающейся войны присутствовали уже в дипломной работе. Отец Кеннеди, сторонник изоляционизма, был печально известен своими неполитичными и пораженческими высказываниями в беседах с журналистами (“Если у вас получится выяснить, почему британцы решили дать отпор нацистам, значит, вы куда умнее меня”), так что Кеннеди-младший хотел выразить иную точку зрения и при этом выглядеть хорошим сыном. O’Brien, с. 103–109. В то время, когда Набоков приехал в Америку, шли повсеместные споры по поводу вторжения. После Дюнкеркской операции и капитуляции Франции (Париж взяли 14 июля 1940 г.) споры усилились и не стихали почти до самого конца 1941 г.

10 Boyd 2, с. 29.

11 Там же; Field, *Life and Art*, с. 209.

12 Архив Бахметьева. Пушкин называл переводчиков “почтовыми лошадьми просвещения”. Boyd 2, с. 32.

13 Boyd 2, с. 33. Аванс равнялся 150 долларам. Лафлин приобрел права на “Подлинную жизнь Себастьяна Найта” по рекомендации рецензента Делмора Шварца. Шварц также высоко ценил прозу Уилсона: см. *“The Writing of Edmund Wilson”*, Accent 2 (Spring 1942): с. 177–186.

14 Boyd 2, с. 33. Цитата из письма Набокова Алданову от 20 июля 1941 г.

15 DBDV, с. 49.

16 Schiff, с. 116n. Набоков также прочел несколько лекций для всего университета.

17 Boyd 2, с. 30.

18 Там же, с. 32. Один из студентов вспоминал: “Он рассказывал нам о собственном опыте и писательской

деятельности. За все время в университете мне не доводилось слышать более содержательных лекций, но законспектировать их было так же невозможно, как наклепать из «роллс-ройса» консервных банок с помощью молотка”.

19 Schiff, с. 117. Больше всего Набоковы любили общаться с Айвором Уинтерсом и его женой Джанет Льюис: Айвор был известным поэтом и литературным критиком, а Джанет – выдающейся поэтессой и писательницей. Boyd I, с. 33. Джанет Льюис была ровесницей Набокова (1899–1998), автором многих книг, в том числе *The Indians in the Woods* и *The Wife of Martin Guerre*. Последнюю опубликовали в тот год, когда Набоков начал преподавать в Стэнфорде. Блестящий, прозрачный стиль романа и отсутствие морализаторства (качества, обусловленные искусной интригой и лихо закрученным сюжетом) ставят его в один ряд с выдающимися произведениями литературы XX века. Тем не менее это был один из немногих современных американских романов, которые ускользнули от внимания Уилсона и Набокова (как и *Call it Sleep* Генри Рота). См. Dick Davis, *“Obituary: Janet Lewis”*, Independent, 15 декабря 1998 г., *http://www.independent.co.uk/arts-entertainment/obituary-janet-lewis*-1191516*.html*.

20 Haven, *“Lolita Question”*, Stanford magazine.

21 В. В. Набоков, “Дар”.

22 Американская комедия “Отпетые мошенники” Фрэнка Оза с Майклом Кейном и Стивом Мартином – еще один пример (хотя и, пожалуй, не такой выдающийся) того, как творческий замысел обретает более четкие очертания и самобытный стиль, пусть и со второй попытки. Первой был фильм “Сказки на ночь” (1964) режиссера Ральфа Леви с Дэвидом Нивеном и Марлоном Брандо в тех ролях, которые впоследствии играли Кейн и Мартин. Двое из трех писателей в “Отпетых мошенниках” были и в “Сказках на ночь”. Главная женская роль в римейке (ее играла Гленн Хедли) тоже глубже и интереснее, чем в оригинале, но основная находка, конечно же, – уверенная, самозабвенная, на грани абсурда игра Кейна и Мартина, которые буквально живут на экране, а не исполняют роли знаменитостей.

23 Amis, *Levity*, с. 5.

24 Field, *Life and Art*, с. 210–211. Уроженцы Калифорнии, пожалуй, удивятся, услышав, что в годы Великой депрессии на полуострове Сан-Франциско, в сельском захолустье, где работники овощных ферм и ореховых садов выбивались из сил, лишь бы выжить, каждую неделю устраивались садистские оргии.

25 Haven.

26 В. В. Набоков, “Подлинная жизнь Себастьяна Найта”. Здесь и далее роман цитируется в переводе С. Ильина.

27 Pitzer, с. 306, 310.

28 Boyd I, с. 499.

29 Foster, с. IX–XII. Целиком и полностью модернистским произведением было “Приглашение на казнь”, которое вышло за два года до того, как Набоков написал “Себастьяна Найта”. Фостер доказывает (в подробном и содержательном исследовании литературного наследства Набокова), что писателя определенно можно отнести к последователям французского модернизма, в частности Пруста и Бергсона (имеются в виду его представления о времени, памяти, искусстве), а вот англо-американский модернизм в лице Паунда и Элиота, с его обесцениванием характерных признаков и “мифологическим методом”, вызывал у Набокова отторжение, равно как психоанализ и якобы универсальные теории сексуальности и бессознательного. У Набокова был талант проникать в самую суть вещей. У Пруста он позаимствовал (и усовершенствовал) сочетание вымышленных и автобиографических подробностей, равно как и манеру повествования, при которой рассказ начинается с воспоминаний, сохранившихся в непроизвольной памяти, и продолжается целенаправленными экскурсами в прошлое. Типичное течение прустовского нарратива, которое периодически обрушивает на читателя поток неожиданных откровений, характерно и для прозы Набокова. Он постоянно правил собственные тексты (в переводах и переизданиях), и его повторяющиеся переживания сквозь призму памяти об утраченной родине напоминают воспоминания Джойса о Дублине. Набоков сформировался как писатель в условиях “модернизма недоразвитости”, русского ответа на соприкосновение с дестабилизирующим Западом. Он – плоть от плоти петербуржской традиции Пушкина, Гоголя, Достоевского, Андрея Белого и Мандельштама. Интертекстуальные переклички в его произведениях – оммаж этой традиции, бесконечная игра с ней.

30 Boyd 2, с. 33.

31 Schiff, с. 118. Многие друзья и родственники Набоковых остались в оккупированной Европе и были обречены на гибель – если, конечно, не удастся бежать. Из 150 долларов аванса, полученного за “Себастьяна Найта”, Набоков послал 50 долларов Анне Фейгиной, Вериной кузине, которая осталась на юге Франции и чье положение можно было назвать безвыходным. Schiff, с. 117.

32 Schiff, с. 115.

33 Berg.

34 Schiff, с. 313.

35 John Buehrens, *“Famous Consultant and Forgotten Minister”*,

UUWorld, январь 2001 г., *www.uuworld.org/*2004/01/*lookingback.html*; McKinney, с. 149–151. В некотором смысле Томпсон шел по пути, проложенному У. Э. Б. Дюбуа, который, как и Томпсон, получил в Гарварде диплом бакалавра, после чего отправился продолжать обучение в Берлин. Томпсон, как и Дюбуа, некоторое время жил и работал в Берлине. Скорее всего, бизнесом Томпсон увлекся под влиянием библии предпринимательства для чернокожих, которую написал Букер Т. Вашингтон. Томпсон поступил в ученики Фредерика Уинслоу Тейлора и со временем стал лектором в Гарвардской школе бизнеса. Считается, что это он создал профессию международного бизнес-консультанта.

36 McKinney, с. 149.

37 Schiff, с. 313.

38 Schiff, см. фото "студебекера коммандер" 1941 г. на с. 210. См. также John's Old Car and Truck Pictures, *http://oldcarandtruckpictures.com/Studebaker/*1941*_Studebaker_Commander_*4*_DoorSedan-jan*20*.jpg*. В 1927–1937 гг. компания Studebaker продавала модель под названием "диктатор" (объяснялось это название тем, что "студебекер" "диктует стандарты", которым следуют все автомобили). Возможно, производители подразумевали и современное политическое значение слова "диктатор", поскольку другие модели назывались "президент", "коммандер" и "чемпион".

39 До того он изучал ее в Гарварде.

40 Buehrens, *"Famous Consultant"*; "Obituary", Academy of Management Journal, с. 66.

41 Roper, *"High Country"*, с. 9.

42 *Yosemite Museum*, Yosemite National Park, National Park Service, *http://www. nps.gov/yose/historyculture/yosemite-museum.htm.*

43 Boyd 2, с. 33.

44 *Yosemite National Park Guidebook*, National Park Service, 1940. В справочнике 1941 г. фотографий гораздо больше, а вот точные цены на проживание уже не указаны.

45 *Yosemite National Park Guidebook*, National Park Service, 1941.

46 Pavlik, с. 187.

47 *Temperatures & Precipitation*, Yosemite National Park, National Park Service, *http://www.nsp.gov/yose/planyourvisit/climate.htm.*

48 Boyd 2, с. 33–34.

49 Winawer.

50 Бахметьевский архив.

51 Skidmore.

52 Berg.

53 SO, с. 28.
54 DBDV, с. 52.

Глава 6

1 Schiff, с. 118.
2 Там же, с. 119.
3 DBDV, с. 53. Дом построили в 1934 г. “19 Appleby Rd, Wellesley, MA 02482”, Zillow, *http://www.zillow.com/homedetails/*19-*Appleby-Rd-Wellesley-MA*-02482/ 56617349_*zpid*.
4 DBDV, с. 106–107, перевод А. Ливерганта.
5 DBDV, с. 44–45.
6 Там же, с. 42.
7 Там же, с. 34.
8 Boyd 2, с. 21.
9 Такой деятельный и амбициозный писатель, как Набоков, все равно рано или поздно добился бы, чтобы его произведения опубликовали, однако помощь Уилсона открыла перед ним совсем иные по масштабу и значимости перспективы. В противном случае Набокову пришлось бы соглашаться на публикации в каких-нибудь сомнительных журналах и, разумеется, никакой стипендии Гуггенхайма он бы не получил. Также едва ли бы ему удалось зарабатывать на жизнь литературным трудом и познакомиться с Кэтрин Уайт, Дж. Лафлином, Эдвардом Уиксом, Уильямом Шоном и прочими. Словом, если бы не Уилсон, кто знает, какие книги бы Набокову удалось опубликовать – а самое главное, как это повлияло бы на замыслы его новых произведений.
10 Boyd 2, с. 21.
11 DBDV, с. 52.
12 Там же, с. 50.
13 Там же, с. 51.
14 Там же, с. 166.
15 Meyer, с. 259. Уилсон глубоко переживал смерть друзей. После смерти Фицджеральда Уилсон издал его произведения, а памяти Розенфельда посвятил проникновенную элегию. Wilson, *Classics and Commercials,* с. 503–519.
16 DBDV, с. 237.
17 См. письма Добужинскому, Гринбергу и Карповичу в Бахметьевском архиве.
18 DBDV, с. 105.
19 Там же, с. 50.
20 Boyd 2, с. 26.

21 Field, VN, с. 57.

22 LOC.

23 DBDV, с. 54.

24 DBDV, с. 105; Schiff, с. 125.

25 Boyd 2, с. 42–43. И хотя директору колледжа не нравился Набоков, сотрудники французской, итальянской, немецкой и испанской кафедр были совершенно им очарованы и написали декану письмо с просьбой оставить Набокова в колледже, а сотрудники кафедры английского языка и литературы даже подписали петицию в его защиту.

26 Boyd 2, с. 41.

27 Boyd I, с. 34.

28 DBDV, с. 54. Летом 1958 г., путешествуя по национальному парку "Глейшер" (неподалеку от границы штата Монтана и канадской провинции Альберта), Владимир с Верой читали друг другу "Войну и мир", сидя целыми днями в непогоду в домике. Впоследствии Набоков признавался в интервью, что вскоре они забросили книгу: она показалась им детской и устаревшей. Boyd 2, с. 362.

29 Там же, с. 41.

30 Hall, с. 13.

31 Laughlin, *"Taking a Chance on Books: What I Learned at the Ezuversity"*, National Book Awards acceptance speech, 1992, National Book Foundation, *http://www.nationalbook.org/nbaacceptspeech_jlaughlin.html#.VEoygOe6XdA*.

32 Hall, с. 13.

33 Boyd 2, с. 45.

34 SL, с. 41.

35 В. В. Набоков, "Николай Гоголь". Здесь и далее книга цитируется в переводе Е. Голышевой (при участии В. Голышева).

36 DS, Garnett, с. 158–159.

37 N., *Lectures on Russian Literature*, с. 25.

38 DS, *Garnett*, с. 159.

39 Boyd I, с. 194.

40 D. N., *Close Calls*, с. 303–304.

41 Там же, с. 304–305.

42 В. В. Набоков, "Под знаком незаконнорожденных"

43 Там же.

44 В. Набоков, "Переписка с сестрой". Нью-Йорк: Ann Arbor, Ardis, 1985. Американским одноклассникам Дмитрия такой наряд – костюм с красноватой жокейской фуражкой – наверняка казался забавным. Вера в письме подруге Елене Левиной тоже рассказывала, какой вид открывается из окна на Крейги-серкл. Houghton.

45 Там же.

46 Там же.

47 Ireland. Гарвард настолько переменился, что в 1944 г. было всего 19 выпускников – абсолютный минимум с 1753 г. Благодаря тому, что Гарвард переключился на оборонные исследования, был изобретен “Марк I” (автоматический вычислитель, управляемый последовательностями), протокомпьютер, на котором делали вычисления для проекта “Манхэттен” (программы по разработке ядерного вооружения), а также был создан первый в Гарварде циклотрон, необходимый для эхолокаторов, производства стеклопластика, напалма, дипольных отражателей (полоски алюминиевой фольги, которые используются, чтобы обмануть радары противника), получения производных плазмы крови, синтезированного хинина, противомалярийных лекарств и новых средств от ожогов и шока. Во Второй мировой войне участвовали 27 тысяч студентов, выпускников, преподавателей и прочих работников Гарварда, 697 из них погибли.

48 В. Набоков, “Переписка с сестрой”.

49 DBDV, с. 145; Schiff, с. 128.

50 В. Набоков, “Переписка с сестрой”

51 DBDV, с. 72.

52 Там же, с. 75.

53 Там же, с. 100.

54 Schiff, с. 128n.

55 Kelly, с. 51. Берлин обсуждал это с Верой Вейцман, женой Хаима Вейцмана.

56 Schiff, с. 129.

57 В. В. Набоков, “Николай Гоголь”.

58 Там же.

59 Там же.

60 DBDV, с. 76.

61 Ранее Набоков опубликовал в Америке две другие работы по энтомологии. NB, с. 238–243. В Европе он также публиковал научные статьи: Remington, с. 279, 283n9.

62 Письмо Набокова Комстоку, 20 февраля 1942 г., Berg.

63 SO, с. 5.

64 NB, с. 254. Эти и другие научные статьи Набоков посылал на прочтение Уилсону, чем, скорее всего, докучал профессиональному писателю, который в дальнейшем читал литературные труды Набокова в спешке, вполглаза и скорее по привычке. Однако статьи Набокова зачастую отличались точностью и оригинальностью стиля.

65 Boyd 2, с. 67–68.

66 В. В. Набоков, “Другие берега”.

1 Boyd 2, с. 46.
2 Schiff, с. 123.
3 N., *Russian Professor*, с. 104.
4 Там же.
5 Там же, с. 102.
6 Roper, *Drum*, с. 37–38.
7 N., *Russian Professor*, с. 100.
8 Там же, с. 100, 102–103.
9 Это было болото Окефеноки. Boyd 2, с. 51.
10 N., *Russian Professor*, с. 104.
11 Там же, с. 103. Набоков так описывал Дюбуа в письме к Уилсону: “Знаменитый негритянский ученый и организатор. Семьдесят лет, но выглядит на пятьдесят. Смуглое лицо, курчавые седые волосы, симпатичные морщины, большие уши – вылитый белогвардейский генерал в отставке, симпатично сыгранный Эмилем Дженнингсом. Руки шоколадно-розовые. Блестящий рассказчик старого образца. *Tres gentilhomme*. Курит особые турецкие сигары. Само обаяние, не говоря уже о других достоинствах. Рассказал мне, что, когда он плыл в Англию через Ла-Манш, на пароме его записали «полковником», так как в паспорте после его имени стояло *«Col.»”*. DBDV, с. 97.
12 SO, с. 48.
13 N., *Russian Professor*, с. 102.
14 DBDV, с. 2; Boyd 2, с. 644.
15 SL, с. 45.
16 Lawrence, с. 13.
17 Там же.
18 Лоуренс писал “Этюды” семь лет, дольше, чем любую другую книгу, за исключением “Влюбленных женщин”. Стиль эссе со временем менялся: если первые отличались сдержанностью и осторожностью, то последние “фривольны, предвзяты, непочтительны и расхлябанны”, чем похожи на стиль “Николая Гоголя”. Neil Roberts, *Studies in Classic*.
19 Lawrence, с. 14.
20 Главы о Мелвилле в “Этюдах” помогли в 20-е годы заново открыть Мелвилла американскому читателю. Delbanco, с. 24. То же сделал и Набоков с “Николаем Гоголем”. В 1928 году, после выхода знаменитого романа, Лоуренс опубликовал эссе “О «Любовнике леди Чаттерлей»”: возможно, именно оно навело Набокова на мысль написать в 1956 году послесловие к “Лолите”, хотя, конечно, в остальном оба эссе ничуть не похожи.
21 Boyd 2, с. 61. Грант дали на написание романа. “Под

знаком незаконнорожденных” на тот момент назывался “Человек из Порлока”: под “человеком из Порлока” имелся в виду незваный гость, который прерывает Кольриджа, когда тот записывает “Кубла-хана”, поэму, пришедшую к нему во сне. Поэма в результате так и осталась незавершенной.

22 DBDV, с. 111.

23 Там же.

24 Каньон, который обычно называют Литл-Коттонвуд, пользуется популярностью у скалолазов. Здесь добывали огромные глыбы кварцевого монцонита для строительства в Солт-Лейк-Сити храма Церкви Иисуса Христа святых последних дней.

25 В. В. Набоков, “Переписка с сестрой”.

26 Berg.

27 DBDV, с. 116.

28 NG, с. 151–152.

29 Критика других писателей у Набокова прочно вошла в литературный обиход и служила самым разным целям – как профессиональным, так и психологическим. Возможно, в русской литературной среде подобные нападки и встречали одобрение, однако в целом другие писатели-эмигранты намного сдержаннее. Так, рассуждая о Марке Алданове, Набоков писал Уилсону: “Жаль, что ты обсуждал мое стихотворение с другом Алдановым – уже двадцать лет он взирает на мое литературное поприще с подозрением и благоговейным страхом, полагая, что дело всей моей жизни – стереть братьев-писателей с лица земли… Алданов рассматривает литературу как своего рода гигантский Пен-клуб или масонскую ложу, требующую от писателей как талантливых, так и *talentlos*, взаимного расположения, предупредительности, взаимопомощи и благожелательных рецензий”. DBDV, с. 137. С годами Набоков не стал снисходительнее. Его обличения сделались настойчивее, требовательнее – тут он верен себе, – однако в результате на основе высказываний Набокова можно было определить, какие произведения стоит читать, а какие нет: схожего эффекта добивались критики социальных реформ, которых он с таким презрением изобразил в “Даре”. На юго-западе Америки растет так называемый “креозотовый куст” (прекрасно известный Набокову) – очень выносливое и долговечное растение, которое создает вокруг себя мертвую зону, душит все прочие растения с помощью сильной корневой системы и травит ядовитыми веществами.

30 DBDV, с. 236–237. “Меня потрясает то, как ты относишься к Фолкнеру, – пишет Набоков Уилсону. – Уму непостижимо, что ты воспринимаешь его всерьез… и настолько очарован его идеей (в чем бы она ни заключалась), что готов примириться с его

бездарностью”.

31 SO, с. 80.

32 Среди прочих американских фильмов последней четверти века “Убийцы”, в частности, повлияли на “Криминальное чтиво” Тарантино и “Старикам тут не место” братьев Коэнов.

33 DBDV, с. 117n[3].

34 Там же, с. 116, с. 117n4.

35 Там же, с. 116.

36 Там же.

37 Там же, с. 117n6.

38 NG, с. 151.

39 Там же.

40 NB, с. 12.

41 Архив журнала *Time, Berg*.

42 DBDV, с. 115. “Он направился в ванную, принял холодный душ… и, дрожа от духовного пыла и ощущая чистоту и уют пижамы и халата, досыта напоил перо-самотек”. “Под знаком незаконнорожденных”, гл. 16, перевод С. Ильина.

43 Schiff, с. 127.

44 В. В. Набоков, “Николай Гоголь”.

45 DBDV, с. 115–116.

46 *“Lone Peak”*, SummitPost.org, *http://www.summitpost.org/lone-peak/*151267.

47 Архив журнала *Time, Berg*.

48 *“Lone Peak* 11,253”, Climb-Utah.org, *http://climb-utah.com/WM/lonepeak.htm*.

49 Архив журнала *Time, Berg*.

50 Hall, “Ezra Pound Said”.

51 Schiff, с. 127.

52 DBDV, с. 117.

53 Bakh, 6 августа 1943 г.; NB, с. 289–290.

54 DBDV, с. 294–295.

55 Leamer, с. 50–51. Следующей осенью Ансолд поступил в аспирантуру по теологии в Оберлинском колледже.

56 Roper*, Fatal Mountaneer*, с. 47. Как и Ансолд, Набоков внимательно читал Бергсона и относился к нему с большим уважением.

Глава 8

1 DBDV, с. 294.

2 Там же, с. 126.

3 Bagazh, с. 188.

4 Там же, с. 191.

5 Там же, с. 190.

6 DBDV, с. 132.

7 Там же, с. 121.

8 Там же, с. 118.

9 Там же, с. 119. 23 ноября 1943 г. Набоков писал Уилсону: “Замечательно, что есть человек, который способен писать о русской литературе так, как ты”.

10 Уилсон также читал работу Мирского о Пушкине. DBDV, с. 74, 79.

11 Набоков всерьез подумывал написать книгу в соавторстве с Уилсоном – единственным из всех собратьев-писателей. DBDV, с. 121–122.

12 Там же, с. 76.

13 Там же, с. 78.

14 Там же, с. 120. В конце концов Набоков и Уилсон все же стали соавторами – книги “Переписка Набокова с Уилсоном” (*The Nabokov-Wilson Letters*, 1979), которая впоследствии была дополнена и переименована в “Дорогой Братец Кролик, дорогой Володя” (*Dear Bunny, Dear Volodya,* 2001). В 1966 г. Набоков рассказывал интервьюеру: “Единственным случаем, когда я сотрудничал с другим писателем, был перевод пушкинского «Моцарта и Сальери» в соавторстве с Эдмундом Уилсоном, который мы сделали для журнала *New Republic*”. SO, с. 99.

15 DBDV, с. 132, с. 142.

16 DBDV, с. 112.

17 Там же, с. 138.

18 “Под знаком незаконнорожденных”, предисловие, xi; Boyd 2, с. 91.

19 Boyd 2, с. 106.

20 В. В. Набоков, “Под знаком незаконнорожденных”.

21 Там же, с. 22.

22 Эмбер – переводчик “Философии греха” Круга, благодаря которой Круг прославился в Америке – “запрещенной в четырех штатах и ставшей бестселлером в прочих”. BS, с. 26.

23 Sweeney, *Sinistral Details*. Роман Мэри Маккарти, о котором шла речь, – “Круг ее общения” (*The Company She Keeps*).

24 В 1952 г., когда Набоков вывел Уилсона в качестве героя рассказа, опубликованного в журнале *New Yorker*, Уилсон откликнулся: “Зря ты мне сказал, что в рассказе обо мне что-то есть [имелся в виду рассказ «Ланс»], поскольку я взял за правило не читать никаких упоминаний о себе из опасения, что это может повлиять на мою оценку”. DBDV, с. 303.

25 Там же, с. 209–210.

26 Там же, с. 210.

27 В. В. Набоков, “Под знаком незаконнорожденных”, предисловие к 3-му американскому изданию романа.

28 DBDV, с. 210.

29 Там же.

30 В. В. Набоков, “Под знаком незаконнорожденных”.

31 Там же. Пьеса, колени и дочь – все это предсказывает “Лолиту”, с. 61–64 и пр.

32 В. В. Набоков, “Под знаком незаконнорожденных”.

33 Там же.

34 Там же.

35 Там же.

36 BS, с. 143, с. 160.

37 В. В. Набоков, “Под знаком незаконнорожденных”.

38 Там же.

39 Там же.

40 Hardwick, с. 20.

41 DBDV, с. 215.

42 Updike, с. 191–192, с. 202. “Мне больше всего нравятся его американские романы, – писал Апдайк. – В Америке его невероятный стиль нашел… такой же невероятный предмет изображения… Набоков заново открыл наше уродство… жуткие, поросшие деревьями окраины, необъятная пустота… мусор придорожной Америки… тоскующие граждане жестокого общества, которые отчаянно преувеличивают… значение любви”. О “Память, говори” Апдайк писал: “По-английски Набоков не написал ничего лучше этих воспоминаний – и никогда после не писал с такой нежностью”. “Ада” Апдайку не понравилась: “Должен сознаться в предрассудке: художественная литература приземленна… Талант и манера Набокова сами по себе настолько не от мира сего, что переносить их в волшебное царство – все равно что покрывать глазурью глазурь. В пейзажах «Ады» нет ничего, что могло бы сравниться с российской действительностью, как она описана в «Память, говори», или трансамериканским паломничеством Лолиты и Гумберта Гумберта”.

43 DBDV, с. 230.

44 В. В. Набоков, “Лолита”.

45 Там же.

46 Там же.

47 В. В. Набоков, “Другие берега”, гл. 9.

48 В. В. Набоков, “Память, говори”.

49 DBDV, с. 142.

50 Там же.

51 DBDV, с. 146.

52 Гостиница *The Inn on Newfound Lake*, домашняя страница *http://www. newfoundlake.com/main.html*.

53 Schiff, с. 134.

54 Boyd 2, с. 107.

55 Schiff, с. 134; Appel, *Annotated*, с. 424.

56 DBDV, с. 194.

57 Там же, с. 188. В письме от 25 мая Набоков также называет себя “импотентом”. Только за первый год после выхода уилсоновских *Memoirs of Hecate County* было продано 60 000 экземпляров. Впоследствии книгу подвергли преследованиям и в конце концов запретили. Уилсон потерял кучу денег из-за невыплаченных роялти. Переиздали сборник только в 1959 г., когда “Лолита” с трудом, но все же попала на прилавки, что свидетельствовало о смягчении нравов. Разумеется, Набоков знал о перипетиях с книгой Уилсона. Скандальная слава *Hecate County* доказала, что талантливый роман, построенный на сексуальной интриге, имеет все шансы понравиться читателю. Сам Уилсон считал *Hecate County* своим лучшим произведением. *De Grazia*, с. 209–210.

58 Schiff, с. 134; NB, с. 397. Набокову нравилось охотиться за бабочками к востоку от Миссисипи, но все же в целом он предпочитал западные штаты с их более дикими, величественными горными пейзажами.

59 SO, с. 26. Набоков часто рассказывал о том, как придумывал места, сочинял миры, и это провокационное признание с прометеевскими его ассоциациями соответствовало модернистскому отказу от натурализма. Однако Набоков, куда менее провокационно, все же недооценивал то, как выполнил задачу, за которую берется всякий писатель и вообще рассказчик, если уж на то пошло: оживить местную специфику, чтобы она заиграла новыми красками, придать ей конфликт, который заинтересует читателя, вызовет у него восторг, покажется знакомым и понятным, как будто так все и было в жизни. Большинство читателей не волнует, что видимая реальность не всегда соответствует вымышленной: вымысел в данном случае допустим и служит правде. Слова Фолкнера, который в интервью журналу *Paris Review* в 1956 году признавался, что на примере романа “Сарторис” осознал: “Стоило писать лишь о клочке родной земли”. Нарисованную от руки карту – приложение к роману “Авессалом! Авессалом!” – Фолкнер, вполне в духе Набокова, подписал как “Единоличный собственник и владелец” вымышленного округа Йокнапатофа. См. *“Sketch Map of the Nabokov Lands in the St. Petersburg Region”* с фирменной набоковской

нарисованной от руки бабочкой. SM, с. 17.

60 DBDV, с. 308.

61 Sweeney, *Sinistral*, с. 65.

62 N., *“The Refrigerator Awakes”*, New Yorker, 6 июня 1942 г., с. 20.

63 N., *Poems and Problems*, с. 145.

64 Flanner, *Goethe*, часть I, с. 34, и часть II, с. 28, 30, 35. Манн вынашивал замысел романа о Голливуде, но так его и не написал. “Понравится ли немецким эмигрантам Лос-Анджелес, зависит от того, любят ли они природу”. Bahr, цитата у Laskin. Перед обедом Манн часто выгуливал своего пуделя Нико в Пэлисейдс-парке в Санта-Монике.

65 Johnson, *Bedfellows*.

66 В. В. Набоков, “Превратности времен”, гл. 3, перевод С. Ильина.

67 В. В. Набоков, “Переписка с сестрой”.

Глава 9

1 DBDV, с. 229n1.

2 Там же. Семен Карлинский, редактор сборника переписки Набокова и Уилсона, описывает этот случай подробно, точно и со свойственной ему удивительной эрудицией.

3 Там же, с. 230.

4 Berg, письма Гарри Кленча.

5 Berg. Набоков надеялся “найти ответ на серьезные нерешенные вопросы классификации бабочек”. Remington, *Lepidoptera Studies*, с. 278.

6 *“Hazel Schmoll”,* Colorado Women’s Hall of Fame, *http:// www.cogreatwomen.org/ index.php/item/*162*-hazel-schmoll.*

7 DBDV, с. 200.

8 Boyd 2, с. 116.

9 Набоков читал и писал по-французски, по-английски, по-русски, по-немецки и по-латыни.

10 Berg.

11 Там же. Изначально описание появилось в журнале *National Geographic* в июне 1944 г.: с. 672.

12 Berg.

13 Там же. Слово “экология” встречается в письме Уилсону от 21 ноября 1948 г. DBDV, с. 241. Слово “экологический” встречается в том же письме и в заметках о лепидоптерологии 1944 г. NB, с. 307.

14 NB, с. 403.

15 Там же, с. 322.

16 Там же, с. 422.

17 Там же, с. 126.

18 Berg.

19 Друзья-энтомологи внимательно читали труды Набокова. Сирил дос Пассос из Американского музея естественной истории так отзывался о статье Набокова “Заметки о морфологии рода *Lycaeides*”: “Статья необычайно интересная, я прочел ее с огромным удовольствием… Так сразу ее не осмыслить, так что я пообещал себе в дальнейшей ознакомиться с ней внимательнее”. Berg. 31 мая 1949 г. дос Пассос писал Набокову: “Наверняка вы читали статью Манро в *The Lepidopterists’ News*… о понятии рода в *RHOPALOCERA*, в которой он приводит Уоррена, Грея, вас и меня в качестве печальных примеров «раскольников» и возвращается к допотопным представлениям… Мы с Уорреном переписывались на эту тему и пришли к выводу, что Манро следует осадить. Нам кажется, лучше, если это сделаете вы”. NB, с. 447.

20 AAA Guide, с. 38.

21 “Минимум четверо лепидоптерологов навестили меня здесь, чтобы засвидетельствовать свое почтение и отвезти меня в дальние охотничьи места”. DBDV, с. 219.

22 Ремингтон проводил исследования на научной станции университета Колорадо, неподалеку от ранчо Шмолль. NB, с. 49–50.

23 *Garland Companion*, с. 277–278.

24 DBDV, с. 218.

25 Pickering, с. 15. Лонгс-Пик-Инн построил писатель-натуралист Энос Миллс. Pyle, с. 50.

26 Pickering, с. 7. Набоковы питались в общей столовой. Свет и вода у них в домике, скорее всего, были. Личный визит автора, 15 сентября 2012 г.

27 Pickering, с. 18.

28 Там же. Личный визит автора.

29 Schiff, с. 143. Писатель Эдмунд Уайт, который работал в *Saturday Review of Literature* в начале 1970-х, выпустил заглавную статью по случаю публикации “Прозрачных вещей” Набокова. White, *“How Did One Edit Nabokov?”,* City Boy (New York: Bloomsbury USA, 2009).

30 Berg.

31 *Psyche*, № 49, сентябрь-декабрь 1942 г.

32 Berg.

33 Berg, письмо от 13 мая 1943 г.

34 Berg, письмо от 12 февраля 1947 г.

35 Berg, письмо от 26 мая 1943 г.

36 Stallings and Turner, *New American*. 10 лет спустя Столлингс по-прежнему полагался на анализ гениталий. Stallings and Turner, *Four New Species,* 4. Набоков ввел в обиход несколько терминов морфологии гениталий, в том числе *humerulus, alula, bullula, mentum, rostellum, sagum* и *surculus*. NB, с. 498.

37 Berg, письмо от 21 марта 1944 г.

38 Berg, письмо от 12 ноября 1943 г.

39 Berg, письмо от 13 февраля 1946 г.

40 Berg, письмо от 21 марта 1944 г.

41 Berg, письмо от 14 апреля 1944 г.

42 Berg, письмо от 12 ноября 1943 г.

43 Berg, письмо от 8 июля 1944 г. Вскоре после Перл-Харбора, 16 февраля 1942 г., Набоков записался в резерв. В личном деле (регистрационный номер 726, порядковый номер 10207) указано, что его рост – 5 футов и 11 с половиной дюймов (то есть 181 см), вес 170 фунтов (77 кг), лицо румяное, на животе шрам от аппендицита. Национальный архив, Национальный центр хранения личных дел военнослужащих.

44 Набоков утверждал, что написал часть “Лолиты” в 1947 г., но 16 января 1952 г. в письме Уилсону признается: “Как обычно, я чертовски занят, но в Кембридже, надеюсь, у меня выдастся время для некоторых приятных трудов, в частности, для романа (по-английски), который я пальпирую в уме уже второй год”. DBDV, с. 298.

45 В. В. Набоков, “Лолита”.

46 DBDV, с. 294. Набоков писал Уилсону, что “дороги тут ужасные, но городок бесконечно очарователен и старомоден: туристов тут не бывает вовсе. Жители очень любезны и всегда готовы помочь. Когда отсюда поднимаешься в горы, на высоту 9000–10000 футов, то лежащий внизу, в глухой долине, городок с его жестяными крышами и стыдливыми тополями кажется игрушечным… и слышны лишь голоса играющей детворы”. Там же.

47 В. В. Набоков, “Лолита”. Название “Теллурид” Набоков мог увидеть в Музее сравнительной зоологии, когда читал о том, как в 1902 г. некто по фамилии Уикс поймал экземпляр бабочки в “Теллуриде, в горах Сан-Мигель, на юго-западе штата Колорадо, на высоте 10000–12000 футов”. NB, с. 425. Однако Набоков никогда не упоминал ни о Уиксе, ни о Теллуриде в первых своих двух серьезных статьях о ликенидах – “Неарктические разновидности *Lycaeides Hüb[ner]”* и “Заметки по морфологии семейства *Lycaeides*”. Возможно, рассказ Столлингса о пойманных им в Теллуриде летом 1947 г. бабочках вызвал у Набокова желание тоже съездить туда.

48 Berg.

49 Boyd 2, с. 121. *“Erebia Magdalena”*, Butterflies and Moths of North America, *http://www.butterfliesandmoths.org/species/Erebia-magdalena*.

50 Berg, письмо от 8 января 1948 г.

51 Berg, письмо от 23 февраля 1948 г.

52 Boyd 2, с. 116. Набоков до конца дней активно коллекционировал бабочек, но уже не писал теоретических работ и не проводил лабораторных исследований.

53 DBDV, с. 219. Набоковы смогли себе позволить так долго прожить в Колумбайн-Лодж исключительно из-за продажи “Портрета моего дяди” и еще одного рассказа журналу *New Yorker*. 24 июля 1947 года Набоков писал Уилсону: “…я в данный момент (как обычно, летом) сижу на мели”. Там же, с. 217.

54 SM, с. 119.

55 В. В. Набоков, “Другие берега”, гл. 6. Набоков достоверно описывает бабочек, и все-таки они у него играют роль тотемов, как форель у Хемингуэя в рассказе “На Биг-Ривер” и река Ирати в “Фиеста (И восходит солнце)”.

56 Там же.

57 NB, с. 323.

58 SO, с. 22.

59 Schiff, с. 140.

60 Bentley, с. 17. Брехт, как известно, высмеивал американцев. Однако была в его неприятии Америки и другая сторона. Американцы безнадежны, но все же не так уж они и безнадежны… Они люди, и кое-какие их привычки так нравились Брехту, что он их перенял: скажем, обыкновение не пожимать собеседнику руку, когда вас представили друг другу, или переспрашивать: “И что?” – в немецком не было аналога, пока Брехт не вопросил: “So was?”. Там же.

61 *“Herny Koster”*, IMDb.com, *http://www.imdb.com/name/nm*0467396*/bio*.

62 NB, с. 46.

63 Там же, с. 45.

64 Там же. В романе “Под знаком незаконнорожденных”, над которым Набоков тогда работал, встречаются заимствования из Мелвилла.

65 Boyd 2, с. 82.

66 Там же.

67 DBDV, с. 146.

68 Там же, с. 148.

69 Там же.

1 Bishop, *Nabokov at Cornell*, с. 234.

2 DBDV, с. 225.

3 Boyd 2, с. 123.

4 Diment, *Pniniad*, с. 30-I.

5 SL, с. 83; Schiff, с. 153.

6 Там же, с. 82.

7 Boyd 2, с. 303. С работавшим в Гарварде структуралистом Романом Якобсоном у Набокова сложились напряженные отношения: в 1957 г. Якобсон выступил против кандидатуры Набокова, и того не взяли в университет. Там же, с. 698n50. Совместная работа над переводом "Слова о полку Игореве", которую Набоков и Якобсон начали в соавторстве с медиевистом из Корнелльского университета Марком Шефтелем, так ничем и не кончилась. В 1957 г. Набоков написал Якобсону письмо, где, помимо прочего, признавался, что не может с ним сотрудничать и его раздражают командировки Якобсона в тоталитарные государства. (Тот ездил в СССР.) Berg. До того, как его не взяли в Гарвард, Набоков отзывался о Якобсоне иначе: "Научные труды Якобсона гениальны". DBDV, с. 241.

8 Boyd 2, с. 129. Уилсон восхищался успехами Набокова: тот приехал в Америку без гроша в кармане и за какие-нибудь десять лет не только стал преподавателем престижного университета, но и сумел построить головокружительную литературную карьеру на неродном языке. Уилсон тоже мог бы устроиться преподавать, однако колебался: он полагал, что "все это как-то… неестественно, неловко, отвратительно" для писателя, и, несмотря на финансовые трудности, продолжал "жить на гонорары за статьи и авансы от издательств". *Letters*, с. 401. Впрочем, у них с Набоковым были совершенно разные уровни доходов: Уилсон получал жалованье в *New Yorker*, которое на тот момент, когда он написал "Мемуары округа Геката", составляло 10 000 долларов плюс еще 3 000 в счет возмещения расходов. (Набокову в Корнелле платили 5 000 долларов в год.) Там же, с. 404; de Grazia, с. 211–212; Schiff, с. 152n. Устроившись в Корнелл, Набоков начал искать работу, где платили бы больше, и всегда просил аванс в счет жалованья. Schiff, с. 153.

9 В. В. Набоков, "Бледное пламя". Здесь и далее книга цитируется в переводе С. Ильина и А. Глебовской.

10 Там же.

11 Appel and Newman, с. 236.

12 Boyd 2, с. 219.

13 С каждым годом Вере все чаще приходилось участвовать в

постоянно множившихся делах мужа: вести переписку от его имени (как личную, так и по литературным вопросам) и заниматься всем прочим. Тысячи писем за его подписью на самом деле написала Вера. Schiff, Boyd и пр.

14 Schiff, с. 151.

15 Shapiro, с. 282.

16 Gibian and Parker, с. 159.

17 Shapiro, с. 281–282.

18 Shapiro, с. 282.

19 Дмитрий родился 10 мая 1934 г., а день рождения Лолиты – 1 января 1935 г. В. В. Набоков, “Лолита”.

20 Berg; Boyd 2, с. 129.

21 Shapiro, с. 282.

22 Berg.

23 Schiff, с. 152n.

24 D. N., *Close Calls*, с. 305–306.

25 В. В. Набоков, “Лолита”.

26 Там же.

27 Там же.

28 Там же. Писсуары казались Набокову верхом пошлости. В “Память, говори” он писал: “В эпоху, когда от литературы ждут, что она будет появляться из чьего-то любимого общественного писсуара… моя церемонная проза [может доставить удовольствие] лишь зрелому читателю дня вчерашнего”. Berg.

29 D. N., *Close Calls*, с. 306 и пр.

30 В. В. Набоков, “Лолита”.

31 Там же.

32 По настоянию родителей Дмитрий подал документы в Гарвардскую школу права и был принят, но официально так и не поступил туда.

33 В. В. Набоков, “Лолита”.

34 Там же.

Глава 11

1 В. В. Набоков, “Лолита”.

2 SO, с. 47.

3 Там же. Набоков утверждал, что ему приятно вспоминать о “Лолите”. *On a Book Entitled*, с. 333–334; SO, с. 47.

4 Многие другие авторы описывали секс куда откровеннее – взять хотя бы самых известных, Генри Миллера и Д. Г. Лоуренса.

5 В. В. Набоков, “Волшебник”.

6 Там же.

7 Там же.

8 Там же.

9 Начало повести скорее напоминает трудное “Приглашение на казнь” и предвосхищает “Под знаком незаконнорожденных”, чем “Память, говори”, “Лолиту” и “Пнина”.

10 В. В. Набоков, “Волшебник”.

11 “Волшебник” обыгрывает сюжет “Красной Шапочки”, в “Лолите” же встречаются аллюзии/переклички с шестьюдесятью другими произведениями.

12 *Hecate County*, с. 250–251.

13 *Hecate County*, цит. по de Grazia, с. 214.

14 Dabney, с. 326. В письмах Уилсон иногда упоминает о Миллере: *Letters*, с. 537, 663. О том, что Набоков тоже читал Миллера (по крайней мере просматривал), можно судить по его замечанию сестре: “Миллер – бездарная непристойность”. NB, с. 464.

15 De Grazia, с. 239. Эдел редактировал дневники Уилсона за четыре десятилетия (с 20-х по 50-е годы включительно).

16 Edel, *The Twenties*, цит. по: de Grazia, с. 239. Эротической прозой Уилсона восхищался Джон Апдайк: “Принцессу-златовласку”, главный рассказ “Мемуаров округа Геката”, он назвал “первым и по сей день самым ярким впечатлением от секса, который я случайно подсмотрел сквозь окно беллетристики”. Updike, *Hugging*, с. 196.

17 В. В. Набоков, “Волшебник”.

18 Там же.

19 SL, с. 96.

20 В. В. Набоков, “Волшебник”.

21 Там же.

22 В. В. Набоков, “Лолита”.

23 Там же.

24 Там же.

25 Там же.

26 Там же.

27 Там же.

28 Там же.

29 Там же. В 1958 г. Вера писала в дневнике: “Мне бы хотелось, чтобы хоть кто-нибудь заметил, с какой нежностью описана детская беспомощность, ее трогательная зависимость от чудовища ГГ и, несмотря на это, ее отчаянная храбрость. Никто не видит… что Лолита, в общем, хорошая девочка… в противном случае она не выправилась бы после того, как ее жестоко растоптали, не смогла бы начать все заново с бедным Диком”. Berg. Набоков написал для “Память, говори” рецензию на роман в

том же духе, но в конце концов решил не включать ее в книгу: двадцать лет спустя, уже после его смерти, она была опубликована в журнале *New Yorker*. NB, с. 456–458. И хотя в послесловии к американскому изданию Набоков утверждает: “Я не читаю и не произвожу дидактической беллетристики, и чего бы ни плел милый Джон Рэй, «Лолита» вовсе не буксир, тащащий за собой барку морали”, в 1956 году в письме к Уилсону он просит: “Когда ты будешь читать книгу, ты, надеюсь, отметишь про себя, какая это целомудренная история”. DBDV, с. 331.

30 В. В. Набоков, “Лолита”.

31 В предисловии к американскому изданию “Лолиты” Набоков упоминает о книге “Фанни Хилл. Мемуары женщины для утех” Джона Клеланда, а Уилсон прислал ему экземпляр “Истории О” Доминика Ори, над которой оба писателя хихикали, как напроказившие мальчишки, по словам Веры.

32 Harris, VI.

33 В. В. Набоков, “Лолита”.

34 Там же.

35 Там же.

36 Там же.

37 Там же.

38 Там же.

39 Там же.

40 Там же.

41 Berg, заметки для “Память, говори”; Boyd 2, с. 226.

42 В. В. Набоков, “Лолита”.

43 Schiff, с. 166–167, о 1948 г.; Boyd 2, с. 170, о 1950-м.

44 Schiff, с. 167.

45 Boyd 2, с. 169. Писать на карточках Набоков привык, занимаясь энтомологией: он постоянно делал заметки на каталожных карточках размером 10×15 см. Обычно он уничтожал первые варианты произведений, но в 1958 году Библиотека Конгресса предложила налоговые льготы в обмен на рукописи, и он их сохранил. Boyd 2, с. 367.

46 В. В. Набоков, “Лолита”.

47 Там же.

48 “Самка *Lycaeides argyrognomon sublivens*”, NB, с. 481. Термин “небесный остров” (*sky island*, в английском языке обозначает одиночные высокие горы в низменной местности) появился в начале 1940-х годов и в последующие четверть века прочно вошел в обиход.

49 Berg. “Волшебника” Набоков захватил с собой совершенно случайно: он полагал, что единственный экземпляр рукописи уничтожен, но в 1959 г., судя по письму, которое он написал

издателю Уолтеру Минтону, внезапно ее обнаружил, и в 1986 г. повесть вышла в переводе Дмитрия Набокова. Berg. Этот рассказ вызывает сомнения. В письме Уилсона Набокову от 30 ноября 1954 г. с отзывом на “Лолиту”, которую тот прочел в рукописи, сказано: “А теперь о твоем романе. Мне он нравится меньше, чем все, что я у тебя читал. Рассказ, из которого вырос роман, был любопытен, однако на роман эта тема «не тянет»”. DBDV, с. 320. Скорее всего, Уилсон имел в виду именно “Волшебника” – если, конечно, не существует какого-то другого рассказа, неизвестного исследователям.

50 Дневники Уилсона тех лет поражают откровенностью, но на прозаические его произведения это качество еще не перешло.

51 В. В. Набоков, “Лолита”.

52 SL, с. 122.

53 “Мне надоело, что мои книги погружены в тишину”, – писал он Уилсону 13 июня 1951 г. DBDV, с. 292.

54 DBDV, с. 289. Твен, как и Набоков, терпеть не мог, когда в его романах искали “мораль” или “мотивы” – см. его “Предупреждение” к “Приключениям Гекльберри Финна”. Набоков прекрасно знал, кто такой Твен и откуда он родом. В городе Ганнибал, штат Миссури, он обратил внимание на “коричневый и голубой, которые борются за власть на Миссисипи”. Berg, дневник 1951 г.

55 Castiglia, *Bound and Determined*, I.

56 Sturma, *Aliens and Indians*, с. 318.

57 Там же.

58 Sayre, *Abridging*, с. 488.

59 А. С. Пушкин, “Джон Теннер”.

60 Там же.

61 DBDV, с. 311. Набоков с удовольствием работал в Уайденеровской библиотеке в Гарварде, анализируя литературные аллюзии в “Евгении Онегине”.

62 Wolff, с. 410–411. Пушкин называл произведения Шатобриана и романы Джеймса Фенимора Купера об Америке “блестящими”. Там же, с. 411. Горячими поклонниками Майн Рида также были Фрэнк Харрис и Теодор Рузвельт.

63 Мотив похитителя-ревнивца и его пленницы, которая ему изменяет, скорее, в духе Пруста. Field, VN, с. 328–329.

64 Boyd 2, с. 141. Больше всего Набоков общался на конференции с Рэнсомом: в Солт-Лейк-Сити они вместе несколько раз выступали по радио. Field, *Life in Part*, с. 272.

65 Интервью с Ричардом Баксбаумом, 14 августа 2013 г. На момент интервью Баксбаум был заслуженным профессором международного права Калифорнийского университета в Беркли,

лауреатом премии имени Джексона Х. Ролстона.

66 Zimmer, *http://dezimmer.net/LolitaUSA/Trip2.htm.*

67 В. В. Набоков, “Лолита”.

68 Интервью с Баксбаумом. Он обратил внимание на отдельные кровати, потому что его собственные родители всегда спали вместе на одной.

69 В. В. Набоков, “Лолита”.

70 Там же.

71 Там же. Действительно, такие большие мотели понемногу начали появляться, но еще не получили широкого распространения.

72 Интервью с Баксбаумом.

73 NB, с. 447.

74 Boyd 2, с. 142. В дальнейшем Клотс написал “Практический атлас бабочек Северной Америки, к востоку от Великих равнин” (*Field Guide to the Butterflies of North America, East of the Great Plains*).

75 Berg, *“Notes for a second volume (twenty years in America) of* Speak, Memory”.

76 Boyd 2, с. 142. Автор в свои 66 лет опрометчиво решил повторить это приключение, чтобы понять, как все было, и поднялся до базового лагеря, который расположен на пике Разочарования на высоте почти 1000 м над уровнем моря (дорога к нему занимает 8 км). Налетела гроза. Завидев свинцовые тучи и молнию, автор тут же прекратил подъем и позорно удрал. Через полчаса небо совершенно очистилось, засияло солнце, однако возвращаться в горы автор уже не стал. Но этот день в горах Титон, когда он попытался совершить опасное восхождение, среди легендарных вершин, запомнился ему навсегда.

77 DBDV, с. 254.

78 Там же.

79 Набоковы получили американское гражданство в 1945 г.

80 Schiff, с. 268. Новый “бьюик спешиал” 1954 г. стоил от 2200 до 3163 долларов. У Набоковых был двухдверный седан, самая маленькая модель. “Спешиал” был самой популярной из моделей “бьюика”. “1954 *Buick Special – Classic Car Price Guide”*, Hagerty, *http://www.hagerty.com/price-guide/*1954-*Buick-Special.*

81 Steve Coates, *“His Father’s Siren, Still Singing”*, New York Times, 4 мая 2008 г., *http://www.nytimes.com/*2008/05/04/ *weekinreview/*04*nabokov.html.*

Глава 12

1 Гумберт Гумберт время от времени приводит какие-то наблюдения, которые могли принадлежать Набокову: к примеру, что ему так и не удалось установить, кем формально Гумберт Гумберт доводился падчерице, хотя прочел много “книг о браке, растлении и удочерении”. В. В. Набоков, “Лолита”. В Библиотеке Конгресса хранятся 94 карточки размером 10 × 15 см с заметками к “Лолите”. Набоков напоминает себе посмотреть некоторые слова в словаре или тезаурусе – не весь его колоссальный лексикон, как ожидали некоторые, был всегда доступен ему.

2 LOC.

3 LOC; Boyd 2, с. 211. Словарь сленговых выражений, собранный Набоковым, свидетельствует о “ругательствах, которые в ярости рассыпала Лолита”: “шик”, “что я, дура, что ли”, “вонючка” и “пошел ты”. Lolita, с. 181.

4 Boyd 2, с. 211.

5 Dolinin, с. II.

6 В. В. Набоков, “Лолита”.

7 Там же.

8 Berg. Также известен как дневник, в котором Набоков писал страницу в день.

9 В. В. Набоков, “Лолита”.

10 Там же.

11 Набоков в этом смысле был антипозитивистом или кантианцем.

12 В. В. Набоков, “Лолита”. Параллельно этому процессу Гумберт Гумберт учиться смотреть на Лолиту с любовью, а не только с вожделением.

13 Там же. По поводу путешествия Гумберта Гумберта и Лолиты, а также по многим другим вопросам, касающимся Набокова, см. замечательный сайт Дитера Циммера – *http://dezimmer.net/index.htm*.

14 В. В. Набоков, “Лолита”.

15 Там же.

16 Там же.

17 Там же. Описание деревьев перекликается с записью в дневнике от 28 июня 1951 г.: “Вчера ночью высокие грузовики, как страшные рождественские елки во мраке”. Berg. Записи из поездки на запад в 1951 г. так часто встречаются в тексте “Лолиты”, что возникает вопрос: сохранил ли Набоков ту записную книжку, чтобы ученые будущего смогли отчасти восстановить процесс написания романа, или же она уцелела исключительно потому, что в ней оставалось много чистых страниц, на которых Вера в 1958 г. описывала события,

сопровождавшие публикацию романа в Америке? См. главы 15 и 16 этой книги.

18 В. В. Набоков, “Лолита”.

19 Там же.

20 Там же.

21 В начале книги Набоков с помощью перечня актеров и режиссеров *Who’s Who in the Limelight* (“Кто есть кто при свете рампы”) описывает окружение Клэра Куильти и выдает его вымышленные имена – совсем как в 3-й главе мелвилловского “Искусителя”, где герой по имени Черная Гвинея составляет список обличий афериста. Appel, *Annotated*, с. 351n5.

22 В. В. Набоков, “Лолита”.

23 Набоков считал, что Шатобриан первый из европейских писателей достоверно описал Америку: он побывал там в 1791 г. и впоследствии создал такие романы, как “Натчезы”, “Атала, или Любовь двух дикарей в пустыне” и “Рене, или Следствия страстей”.

24 Эта информация перекочевала в текст романа из дневника Набокова. Berg.

25 В. В. Набоков, “Лолита”.

26 Там же.

27 Там же.

28 Там же.

29 Список неполон. Набоков пародирует сам себя: автобиография Гумберта, в центре которой один-единственный объект повествования – он сам, перекликается с подробнейшими набоковскими мемуарами “Память, говори”. Признания Гумберта напоминают Жан-Жака Руссо с его “Исповедью”. “По мере развития повествования появляется то же ощущения утраченного детства, всплывают те же параноидальные подозрения. Герой Набокова вслед за персонажами Руссо пытается найти себе оправдание, обезоружив своих палачей совершенной, неслыханной откровенностью”. Bruss, с. 29.

30 Appel, liii.

31 Там же, liv.

32 Там же, lx.

33 Одни читатели находят его забавным, другие же считают сексуальное насилие над детьми недопустимым и поэтому совершенно не воспринимают “Лолиту”. Видимо, с этим ничего не поделать: так будет всегда.

34 Между некоторыми фильмами Хичкока и произведениями Набокова существует определенное, едва ли не мистическое, сходство: мотели (как в “Лолите” и “Психо”), двойники (Герман и Феликс в “Отчаянии”, Гай и Бруно в “Незнакомцах в поезде”),

национальные парки (в “Лолите” и “К северу через северо-запад”), психиатры, которые все объясняют (Джон Рэй в предисловии к “Лолите” и психиатр, который изображает героя Нормана Бейтса в конце “Психо”), авторские камео (у Набокова – практически в каждом романе, начиная с “Король, дама, валет”, и во всех американских фильмах Хичкока, начиная с “Ребекки”). Набоков и Хичкок высоко ценили творчество друг друга, в 1964 г. перезванивались и переписывались в надежде найти фильм, над которым смогут вместе поработать. Посмотрев “Неприятности с Гарри”, Набоков заметил: “Его черный юмор похож на мой, если можно так сказать”. Davidson, с. 4. И Набоков, и Хичкок родились в 1899 г., оба с началом Второй мировой войны эмигрировали в США, оба до этого прославились за границей. Хичкок просил Набокова взяться за сценарий к фильму “Исступление”, но тот не смог. “Основное сходство в том, что Хичкок и Набоков одинаково общаются со своей аудиторией… шутливо, не всегда открыто, с пародиями и аллюзиями на самих себя”. Там же, с. 10.

35 Другие писатели того времени, в том числе Миллер и Керуак, тоже высмеивали стерильный образ Америки. Произведения Керуака 1940–1950-х годов ничуть не похожи на романы Набокова, однако “Бродяги дхармы” (даже больше, чем “В дороге”, в которой персонажи, совсем как Гумберт Гумберт и Лолита, путешествуют по всей Америке) с точки зрения тем и приемов смахивают на произведения Набокова. Керуак отправился на запад, надеясь узнать Америку (и вообще – что-то узнать), в июле 1947 г. Набоков в то лето был в Колорадо, да и путешествия Гумберта Гумберта и Лолиты тоже начинаются примерно о сю пору, в середине августа 1947 г. И “Бродяги дхармы”, и “Лолита” – произведения глубоко субъективные, при этом и там и там есть точные описания американских городков, типично американских пейзажей. Повернутый на буддизме Рэй, герой “Бродяг дхармы”, восхищается горами (Маттерхорн-Пиком в Калифорнии и горами округа Скаджит в штате Вашингтон), через которые переходит пешком, как и увлеченный бабочками Набоков. И “Лолита”, и роман Керуака заканчиваются описанием любовных чувств. И там и там повествователи оказываются носителями чуждых идей (буддизм Рэя и европейское эстетство, граничащее со снобизмом, у Гумберта). Описание пика Лонгс у Набокова, которое смахивает на русские пейзажи из его детства, перекликается с эпизодом из “Бродяг дхармы”, когда Рэй, поднимающийся на гору, испытывает огромное счастье при мысли о том, что эта местность ему знакома: “Что-то невыразимое оборвалось в моей душе, как будто я жил здесь раньше и ходил по этой тропе”. Douglas, xxiii. И Рэй, и Гумберт

боятся полицейских, да и общество людей в целом их пугает. Но кое-кого они любят, даже обожают: спустившийся с горы Рэй счастлив, что снова “чувствует запах людей”. Там же, xxii. “Подлинную историю послевоенной Америки со всей ее скоростью, шутовством и грустью”, по словам Керуака, “можно передать только как исповедь или внутренний монолог”. Там же, x. Набоков, повествование в американских романах которого ведется от первого лица, наверняка согласился бы со словами Керуака.

Глава 13

1 В. В. Набоков, “Лолита”.

2 Там же.

3 Там же.

4 Там же.

5 DBDV, с. 294. Горы преимущественно не гранитные; геологический состав окружающих Теллурид гор сложен, и хотя гранит там тоже встречается, все же чаще встречается брекчия. “Стыдливые тополя”, вероятно, бальзамические тополя, они же тополя волосистоплодные, деревья с широкими листьями, которые растут на влажных почвах на высоте начиная от 2 км над уровнем моря до верхней границы произрастания лесов.

6 Там же. Это, пожалуй, был самый важный трофей за все годы в Северной Америке. В Музее сравнительной зоологии Набоков описал этот вид бабочки, *Lycaeides argyrognomon sublivens*, на основе девяти самцов, которых поймали в окрестностях Теллурида в 1902 г. NB, с. 425, с. 480–481. На крутом кустистом склоне у мотеля в Теллуриде Набокову в 1951 г. “посчастливилось обнаружить диковинного вида самку”. Там же, с. 481. Теперь эта бабочка называется *Lycaeides idas sublivens Nabokov*. Там же, с. 754.

7 Одна из причин, по которой Набокова так любят читатели, в том, что ему удается облечь в слова ощущения, которые доводилось переживать многим из них (или по прочтении показалось, что доводилось). То, что писатель испытал те же ощущения – например, заметил два облака, двигавшиеся с разной скоростью, так что одно догоняло другое, – как бы сближает его с читателями.

8 В. В. Набоков, “Лолита”.

9 Там же.

10 Emerson, с. 34.

11 Дмитрий занял первое место и стал лучшим полемистом

среди учащихся средних школ Массачусетса и всей Новой Англии на соревнованиях в школе Холдернесс, Плимут, штат Нью-Гэмпшир. D. N., *Close Calls*, с. 306.

12 В этом смысле “Лолита” перекликается, помимо прочего, с “Алой буквой”, “Хижиной дяди Тома”, “Приключениями Гекльберри Финна”, “Поворотом винта”, “Писцом Бартлби”, “Билли Бадом”, “Моби Диком” и “Морским волком”.

13 Houghton, письмо от 3 мая 1950 г.

14 Houghton, письмо от 8 мая 1950 г. Иван – старший сын Николая.

15 Bakh, письмо от 2 ноября 1951 г. Весной 1951 г. Набоков взял у Гринберга взаймы 1000 долларов. Boyd 2, с. 199.

16 Boyd 2, с. 206.

17 Boyd 2, с. 208. Росс умер 6 декабря 1951 г. в возрасте 59 лет. Рассказ опубликовали 2 февраля 1952 г.

18 Schiff, с. 152n.

19 В сентябре 1951 г. Набоков писал Уилсону: “Нынешние же мои обстоятельства хуже некуда, и это притом, что весной я взял у Романа в долг тысячу долларов”. DBDV, с. 295.

20 Schiff, с. 153.

21 Bakh. Набоков писал Уилсону: “Всего *New Yorker* купил 12 из 15 глав, которые я им послал. Один отрывок вышел в *Partisan*”. DBDV, с. 262.

22 DBDV, с. 273. Зубы Набокову удалял “чудесный швейцарец доктор Фавр”, дантист из Бостона. Berg, заметки к “Память, говори”.

23 DBDV, с. 294.

24 Набоков всю жизнь страдал от бессонницы, но, судя по описанию снов, которые он начал записывать после шестидесяти, каждую ночь он спал хотя бы несколько часов. Berg.

25 DBDV, с. 292.

26 Boyd 2, с. 608.

27 Такая ситуация описана в “Легком бунте на Мэдисон-авеню” (декабрь 1946), “Хорошо ловится рыбка-бананка” (январь 1948), “Знакомой девчонке” (февраль 1948), “Я сумасшедший” (декабрь 1948), “Дорогой Эсме – с любовью и всякой мерзостью” (апрель 1950) и “Над пропастью во ржи” (1951).

28 См. у Сэлинджера в *The Catcher in the Rye: “phony”, “crumby”, “that killed me”, “I got a bang out of that”*.

29 Набоков берется за эту тему, однако старательно избегает ненормативной лексики, Сэлинджер же время от времени прибегает к ней.

30 Boyd 2, с. 73, о Набокове; Slawenski, с. 166, о Сэлинджере.

31 Сэлинджер работал над романом более 10 лет, учитывая,

что впервые Холден Колфилд появляется на страницах рассказа “Легкий бунт на Мэдисон-авеню”, написанного в ноябре 1941 г. (хотя опубликован он был только после войны). Набоков писал “Лолиту” 5 лет, хотя можно сказать, что эту тему он начал разрабатывать с конца 1930-х годов, так что всего получается 15 лет.

32 Дж. Д. Сэлинджер, “Над пропастью во ржи”. Здесь и далее книга цитируется в переводе Р. Райт-Ковалевой. Возможно, образ “худенькой, как раз для коньков” девочки Сэлинджер позаимствовал из “Волшебника” Набокова.

33 Дж. Д. Сэлинджер, “Над пропастью во ржи”.

34 Там же.

35 В. В. Набоков, “Лолита”.

36 Там же.

37 Berg, заметка от 18 февраля 1951 г.; Boyd 2, с. 122, 685n40.

38 SL, с. 130.

39 Schiff, с. 172. Набоков писал Уилсону: “У нас прелестный, покосившийся от времени дом с массой *bibelots* и хорошей *bibliothèque*, этот дом сдала нам прелестная лесбиянка Мей Сартон”. DBDV, с. 303.

40 Schiff, с. 173.

41 ЕО, т. 2, с. 328.

42 В поэтическом пантеоне Набокова Пушкин уступал только Шекспиру.

43 DBDV, с. 262.

44 Там же, с. 311.

45 Шекспир, “Король Лир”, акт I, сцена 3. Гонерилья обсуждает с Освальдом, как ее слуги обращаются с ее отцом. Пушкин во время работы над “Евгением Онегиным” читал Байрона и других поэтов эпохи романтизма. Mitchell, с. xxvii-xxxi. Во время кишиневской ссылки (да-да, поэт был сослан в тот самый Кишинев, где спустя 80 лет был еврейский погром, против которого выступил в печати отец Набокова) Пушкин подружился с семейством, которое и познакомило его с творчеством Байрона. Там же, с. xxvii.

46 ЕО, т. I, с. 165. Тон письма Татьяны похож на тон любовного письма Шарлотты Гейз Гумберту. Эта и другие цитаты взяты из набоковского перевода романа в стихах.

47 ЕО, т. I, с. 115.

48 Там же, с. 114.

49 Там же, т. 3, с. 181–183.

50 Там же, т. 2, с. 209. Набоков считает от даты завершения “Онегина” – 1831 года. Нормы русского языка впервые были определены только в XVIII веке. Mitchell, с. xi. Заимствование из

иноязычных литератур происходило через французские переводы.

51 Там же, т. 2, с. 5–10.

52 ЕО, т. 2, с. 5–6. На первой же странице комментариев (т. 2, с. 5) Набоков оставляет примечание к примечанию. Про эпиграф пишет, что тот, скорее всего, вымышленный, “однако для тех, кто склонен искать прототипы литературных персонажей и «действительную жизнь» в глухих тупиках искусства, я предлагаю некое направление бесплодного изыскания в комментарии к главе Первой, XLVI, 5–7”: чтобы понять этот комментарий, его следует читать вместе с комментариями из 2-го тома, с. 173–174. Мы оказываемся вовлечены в какую-то дикую погоню, закладываем сразу несколько страниц в нескольких местах, как в начале романа “Бледное пламя”, который Набоков задумал в том же году, когда трудился над переводом “Онегина”.

53 ЕО, т. I, с. 165. В примечании к этим строчкам Набоков пишет, что выделил слово “Зачем” курсивом “под впечатлением изумительной записи Тарасовой (пластинку я как-то слушал в доме Эдмунда Уилсона в Толкотвилле), читавшей письмо Татьяны”.

54 Там же, т. I, с. 166.

55 Там же, т. II, с. 391–392.

56 Там же, т. I, с. 261.

57 Там же, т. I, с. 262.

58 Там же, т. 3, с. 85. Обсуждая творчество Пушкина, Набоков старается придерживаться простоты, документальных материалов и доказательств. Ср. с “Подлинной жизнью Себастьяна Найта”, где читатель/исследователь никак не может толком узнать автора/брата.

59 Там же, т. I, с. 259.

60 Картина находилась в резиденции британского посла в Афинах. Впрочем, статуэтка могла изображать и Наполеона. В других переводах “Онегина”, в частности у Чарльза Джонсона и Уолтера Арндта, сказано, что это совершенно точно Наполеон. Набоков об этом умалчивает: должно быть, он заметил, что Наполеона обычно изображали вовсе не “с руками, сжатыми крестом”, как написано у Пушкина, а с одной рукой, согнутой в локте, а другой – спрятанной за отворот мундира. На картине Филлипса Байрон изображен со сложенными руками.

61 В 1951 г. Набоков признался в интервью, что нечасто читает молодых американских писателей, а вот “критиков – охотно”. Harvey Breit, *“Talk with Mr.Nabokov”*, New York Times, 18 февраля 1951 г., *http://www.nytimes.com/ books/*97/03/02*/lifetimes/ nab-v-talk.html.*

62 В. В. Набоков, “Лолита”. “Впрочем, кому какое дело?”

Шарлотты напоминает “как знать?” Татьяны (и то и другое – вводные предложения).

63 EO, т. 3, с. 98–100. Евгений берет с собой в путешествие экземпляр “Рене”, “Адольфа” и “Мельмота-Скитальца” Чарльза Метьюрина (название “Мельмот” Набоков позаимствовал для автомобиля в “Лолите”).

64 Там же, с. 100–101.

65 Boyd 2, с. 225, с. 310.

66 DBDV, с. 308.

67 SO, с. 46.

68 Brodhead, с. 13.

69 Parker, с. 768.

70 Набоков, письмо редактору, *New York Review of Books*, 7 октября 1971 г.

71 Boyd 2, с. 502.

72 В. В. Набоков, “Лолита”.

73 Boyd 2, с. 200.

74 В Гарварде к этому списку добавился “Дон Кихот”.

75 Appel, lviii; Borges, с. 201.

76 Brodhead, с. 5.

77 Г. Мелвилл, “Моби Дик”. Здесь и далее цитаты приводятся в переводе И. Бернштейн.

78 Там же.

79 К примеру, двойники Куильти – Гумберт в “Лолите” – своего рода затянувшаяся пародия на мотив двойничества в духе Достоевского.

80 Boyd 2, с. 246–247.

81 Gilmore, с. 109.

82 Строго говоря, Пип не каютный юнга, хотя живет в каюте у Ахава и, скорее всего, прислуживает ему. Он обычный матрос из тех, кто остается на корабле, когда гарпунщики на вельботах бросаются в погоню за китом.

83 Г. Мелвилл, “Моби Дик”.

84 Остальные двое – Дэггу, гарпунщик-негр, и кок Флис.

85 Г. Мелвилл, “Моби Дик”.

86 В. В. Набоков, “Лолита”.

Глава 14

1 NB, с. 489–494.

2 Личная поездка автора в сентябре 2012 г. Заведение по-прежнему работало под названием *Corral Motel*, но его собирались перестраивать на новый лад. Бревенчатые дома американского

Дикого Запада очень похожи на русские избы времен детства Набокова.

3 NB, с. 493.

4 DBDV, с. 298.

5 Там же.

6 Там же, с. 308.

7 Там же, с. 262.

8 DBDV, с. 300. Набоков писал Уилсону: “Преподавать мне надоело”, но при этом признавался, что, готовясь к занятиям, с огромным удовольствием перечитывал “Мэнсфилд-парк” Остин или “Холодный дом” Диккенса: “По-моему, мне было интереснее, чем моим ученикам”. Там же, с. 282.

9 Там же, с. 298.

10 D. N., *Close Calls*, с. 306.

11 В. В. Набоков, “Переписка с сестрой”. При этом Набоков говорил, что сын “даровит, умен”. Там же.

12 *Close Calls*, с. 307.

13 Roberts, *Hearse Traverse*, “Harvard Five”.

14 *Harvard Mountaineering Archive*.

15 Интервью с Питером Маккарти, президентом Гарвардского клуба альпинистов, 14 мая 2012 г.

16 *American Alpine Journal* № 28 (1954): с. 196–200.

17 Alden, с. 30, с. 33. В том же 1953 г., когда Дмитрий совершил первое восхождение, Арт Гилки погиб на Чогори, а британцы впервые поднялись на Эверест.

18 *Close Calls*, с. 309.

19 Там же; В. В. Набоков, “Переписка с сестрой”.

20 *Harvard Mountaineering* № 12, май 1955 г.; *Close Calls*, с. 311.

21 В. В. Набоков, “Переписка с сестрой”.

22 В 1955 г. Дмитрий дважды сорвался со скал в Канадских Скалистых горах, и его страсть к альпинизму поутихла: он решил оставить это дело, пока не убился. Boyd 2, с. 268.

23 С 1935 г. там проводится знаменитый Шекспировский фестиваль.

24 DBDV, с. 308.

25 Дом № 163 по Мид-стрит, который снимали Набоковы, принадлежал профессору Южно-Орегонского педагогического колледжа. Находился он на крутой улочке и в сентябре 1999 г. сгорел дотла: Johnson, *Nabokov-L*.

26 SL, с. 140.

27 Schiff, с. 199. По почте Набоковы отправлять рукопись побоялись, потому что по закону Комстока почтовая пересылка произведений, содержащих непристойные сцены, считалась преступлением. Там же, с. 204. Шифф также упоминает, что Уайт

три года откладывала прочтение “Лолиты” и взялась за роман лишь в марте 1957 г.: одной из причин было то, что ей не хотелось скрывать рукопись от коллеги, Уильяма Шона. Подробное описание ухищрений, на которые шла Уайт, которой не терпелось как можно скорее прочесть “Лолиту” (передумала и стала тянуть время она уже потом), см.: Diment, *Two Lolitas*.

28 Schiff, с. 199.

29 DBDV, с. 314.

30 Berg, заметки к “Память, говори”.

31 DBDV, с. 317.

32 Мучился ли Набоков, сочиняя “Лолиту”? Да, если верить тому, что он говорил редактору журнала *New Yorker*. Однако в письме сестре, отправленном примерно в то же время, Набоков признается: “Я по-прежнему довольно толст… Вообще все удивительно хорошо”. В. В. Набоков, “Переписка с сестрой”. Набоков всегда радовался, когда удавалось найти время поработать над тем, чем хотелось.

33 Вера исполняла обязанности секретаря и составляла план действий.

34 Schiff, с. 205–206.

35 О Лафлине см. SL, с. 152; о Ковичи – Schiff, с. 201. Джойс тоже был вынужден опубликовать “Улисса” сперва во Франции.

36 Schiff, с. 201; SL, с. 147.

37 De Grazia, с. 7–9. *The Little Review* отважно опубликовал эпизод 13, “Навсикая”.

38 Розы в “Лолите” упоминаются довольно часто (так, вульву Лолиты Гумберт Гумберт называет “коричневой розой”) – вероятно, потому что часть романа была написана в Ашленде.

39 De Grazia, с. 338, с. 370. В 1958 г. в Америке была опубликована “Лолита”, а год спустя, отчасти благодаря “Лолите”, переиздали “Мемуары округа Геката”. Schiff, с. 236.

40 Тема инцеста присутствует в романе “Матильда” Мэри Шелли, который долгое время оставался под запретом, и в “Гептамероне” Маргариты Наваррской. Эта же тема затрагивается в “Преступлении и наказании” Достоевского и в главе “У Тихона” из романа “Бесы” (впервые опубликована только в 1922 г.).

41 Schiff, с. 236.

42 В первые три недели после выхода было распродано 100 тысяч экземпляров книги, впервые со времен издания “Унесенных ветром” (1936). Schiff, с. 232.

43 DBDV, с. 317.

44 SL, с. 178.

45 Там же.

46 Всем произведениям Набокова, когда бы и где бы они ни

были написаны, свойственны живость, яркость и радостные интонации.

47 SL, с. 150. У Дмитрия от поездки остались куда более радужные воспоминания: “домик в Таосе… мы сняли у пары джентльменов – поклонников оперы. Его болезненное своеобразие… с лихвой искупал… джип времен Второй мировой войны, на котором я возил отца охотиться за бабочками, да еще то, что именно здесь я впервые услышал «Реквием» Верди, который стал моим любимым у него произведением”. *Close Calls*, с. 315.

48 Schiff, с. 203.

49 Там же.

50 SL, с. 149.

51 SL, с. 143.

52 Boyd 2, с. 256–257.

53 В Diment, *Pniniad*, с. 45, сказано, что в журнале *New Yorker* в 1953 г. “печаталось невероятное множество русских материалов”. Это был год, когда умер Сталин и арестовали Берию.

54 *Pnin*, с. 60–61.

55 Maar, с. 80.

56 DBDV, с. 304.

57 У романа Маккарти были предшественники: “Наставники” Ч. П. Сноу, “Дом профессора” Уиллы Кэсер и “Вечер выпускников” Дороти Сэйерс.

58 В. В. Набоков, “Пнин”. Здесь и далее роман цитируется в переводе С. Ильина. Название ресторана, скорее всего, аллюзия на популярные мемуары “Яйцо и я” (1945) Бетти Макдональд, по которым в 1947 г. сняли одноименный фильм (также известен под названием “Неудачник и я”).

59 В. В. Набоков, “Пнин”.

60 Там же.

61 Там же.

62 Diment, *Pniniad*. Шефтель устроился в Корнелл в 1945 г. и был одним из членов приемной комиссии, которая рассматривала кандидатуру Набокова. Он был рад принять в штат собрата-эмигранта, к тому же, как и он сам, женатого на еврейке. Там же, с. 31. Несмотря на эти сходства, Шефтель и Набоков так и не подружились. Другой преподаватель Корнелла, Роберт М. Адамс, вспоминал: “Многим казалось, что Набоков вовсе не испытывает никакой потребности в друзьях, что ему, кроме Веры, никто не нужен, и даже Бишопов, с которыми Набоков общался чаще всего… нельзя было назвать его близкими друзьями”. Там же, с. 35. Смешные ошибки в английском и преподавательские

странности Шефтеля дополнили портрет Тимофея Пнина. Однако Шефтель оказался куда удачливее своего литературного двойника: в 1961 г. его взяли на работу в Вашингтонский университет. Там же, с. 56.

63 В. В. Набоков, “Пнин”.

64 Там же.

65 Там же.

66 Там же.

67 Потенциальному издателю Набоков описывал Пнина как человека “незаурядной силы духа, очень чистого… преданного друга, мудрого и спокойного, верного единственной любви, который никогда не спускается с высот искренности и честности”. Boyd 2, с. 292–293.

68 Рассказ ВН об их общем прошлом живописен, однако ему не стоит слепо верить: Пнин с ним во многом не согласен. *Pnin*, с. 179–180.

69 Там же, с. 84.

70 SL, с. 150.

71 В. В. Набоков, “Пнин”; *“Pnin Gives a Party”*, New Yorker, 12 ноября 1955 г., с. 47.

72 Там же.

73 Boyd 2, с. 270. В марте 1955 г. он писал Уайт: “Я охотно принимаю тридцать ваших мелких исправлений” во фрагменте романа, озаглавленном “День Пнина”, но прочие исправления счел неуместными: они “повлияют на внутреннее ядро произведения, которое строится на целой серии внутренних гармоничных переходов: больно даже подумать о том, чтобы их заменить”. SL, с. 156–157.

74 В. В. Набоков, “Пнин”.

75 Там же.

76 Там же.

77 Там же.

78 Там же.

79 Там же. Набоков так и не обзавелся в Америке собственным жильем, так что описанный в романе дом, скорее всего, воплощал его идеал: уединенный, небольшой (чтобы было легко протопить), среди полей и лесов, возле утеса, где можно ловить бабочек. “Травянистую площадку между садиком и утесом навещали фазаны, – пишет Набоков. – Сирень – краса русских садов… теснилась вдоль одной из стен дома… И высокое листопадное дерево… роняло большие, сердцевидные ржавые листья и тени бабьего лета на деревянные ступени открытого крыльца”.

80 В. В. Набоков, “Пнин”.

81 Там же.

82 Там же.

83 Там же. Фрагмент предвосхищает рассказ Раймонда Карвера “Почему вы не танцуете?”.

84 Boyd 2, с. 271–287. Бойд мастерски, с подробными комментариями разбирает “Пнина”, оказывая читателю незаменимую услугу: все-таки Набоков – не самый простой для восприятия автор. В биографии можно найти пояснения к каждому из произведений Набокова.

85 В. В. Набоков, “Пнин”.

86 Там же.

87 Набоков с помощью целого эпизода добивается того же эффекта, которого обычно удается достичь лишь отдельными фразами, звучащими как откровение.

88 В. В. Набоков, “Пнин”.

89 Там же.

90 SL, с. 179. “Я не пишу очерки”, – ответил он Паскалю Ковичи.

91 Maar, с. 77.

92 Boyd 2, с. 282.

93 Там же, с. 307.

94 В. В. Набоков, “Пнин”.

95 Там же.

96 SL, с. 178.

97 Набоков придумывал очень интересные шахматные задачи, хотя сам в шахматы играл средне. Gezari, с. 44–45.

98 Кафка писал Оскару Поллаку 8 ноября 1903 г.: “Я думаю, имеет смысл читать лишь те книги, которые нас ранят и пронзают. Если книга, которую мы читаем, не заставляет встряхнуться, как удар по голове, то зачем мы ее читаем?.. Нам нужны книги, которые влияют на нас подобно несчастью, которые глубоко нас печалят, как смерть тех, кого мы любили больше самих себя… Книга должна, точно топор, разбивать застывшее море внутри нас”. Karl, с. 98.

99 DBDV, с. 316.

100 Там же, с. 343.

101 Там же, с. 320. Уилсон упоминает о некоем “раннем рассказе” Набокова, в котором также затронута тема педофилии: вероятнее всего, он читал “Волшебника” или какую-то его часть. См. примечание “привез из Европы”, с. 308.

102 DBDV, с. 322. Набоков имеет в виду статью Уилсона “Эрец Исраэль”, опубликованную в журнале *New Yorker* 4 декабря 1954 г. Полгода спустя появилась другая статья, “Свитки с Мертвого моря”.

103 Уилсон прочитал рукопись до конца, о чем специально упоминает в черновике письма. Beinecke.

104 DBDV, с. 325.

105 Там же, с. 330.

106 Там же, с. 306.

107 Там же, с. 318.

108 Wilson, *Window*, с. 232.

109 Там же.

110 Там же, с. 237.

111 Там же, с. 230–231.

112 Там же, с. 237. Уилсон усматривал злорадство в том, как Набоков описывает страдания персонажей. Описания эти уморительны, однако автор ни в коем случае не отделяет себя от своих героев. Это и собственные промахи и оплошности Набокова. В его произведениях нет сострадания автора к героям в традиционном смысле слова, однако зачастую чувствуется, что он поддерживает персонажей в самые отчаянные и стыдные минуты, разделяет их муки.

113 Как у Пушкина в “Евгении Онегине”, где автор называет себя близким другом героя.

114 В. В. Набоков, “Пнин”. Пнин переживает даже не сердечный приступ, а нечто вроде панической атаки. Интервью с профессором Тристаном Дэвисом, Университет Джонса Хопкинса, 13 ноября 2013 г. Сердечный приступ, видимо, остался от первого плана романа, в котором Пнин еще умирал.

115 См. Pitzer и пр.

116 В. В. Набоков, “Пнин”.

117 “Дневник” Анны Франк, опубликованный по-английски в 1952 г., стал бестселлером за год до того, как Набоков начал писать “Пнина”, так что те, кто читал о Мире, наверняка вспоминали Анну. Но Анна из дневника – живой человек, со своим характером и переменами настроения: это мир превратил ее в символ еврейской мученицы, сама же Анна, когда вела записи, ни о чем таком не помышляла. Мира в романе как будто посылает с небес белок в помощь Пнину. Там же, с. 136. Обычно Набоков строил фабулу произведения на пародии и интертекстуальных конструкциях, но в “Пнине” он от этого далек. Писатель решил обойтись собственными силами и столкнулся с трудностями. Разнообразить, расширить повествование ему не удалось, и в конце концов он “отказался от многих перспектив… уничтожил все, что с художественной точки зрения неоправданно”. SL, с. 178.

Глава 15

1 Писатель Эдвард Далберг вспоминал о Уилсоне: “Он относился ко мне с неизменной добротой… и всегда был готов помочь собрату-писателю при условии, что чувствовал над ним превосходство”. Meyers, с. 448–449. Писательница Лилиан Хеллман отмечала, что с женщинами Уилсон обходился галантно, над человеком же высокомерным, как она рассказывала книжному обозревателю Джозефу Эпштейну, который впоследствии перефразировал ее слова, “ему непременно надо было одержать интеллектуальную победу, продемонстрировать, что он лучше вас разбирается в теме, читал самые важные книги, о которых вы слыхом не слыхали, на языках, которых вы не знаете, – в общем, доказать, кто тут самый умный”. Там же, с. 449; Epstein, *“Never Wise – But Oh, How Smart”*, New York Times, 31 августа 1986 г., раздел 7, 3.

2 Karlinsky, DBDV, с. 24.

3 Beinecke. В обширном архиве Уилсона в Йеле подобные заметки отсутствуют, и это сразу бросается в глаза.

4 DBDV, с. 312.

5 Там же.

6 Там же, с. 25. Карлинский родился в Харбине и в конце 1930-х перебрался в Лос-Анджелес. *“In Memoria*m”, University of California, *http://senate. universityofcalifornia.edu/inmemoriam/ simonkarlinsky.html.*

7 DBDV, с. 210. Совет Уилсона Набокову повторяет его же совет литературоведу Малколму Каули, который долгое время оставался сталинистом: Уилсон полагал, что Каули следует пересмотреть свои взгляды, чтобы потом не было стыдно. Christopher Benfey, *“Malcolm Cowley Was One of the Best Literary Tastemakers of the Twentieth Century. Why Were His Politics So Awful?”,* New Republic, 28 февраля 2014 г., *http://www.newrepublic.com/ article/*116499*/long-voyage-selected-letters-malcolm-cowley-reviewed.*

8 В. В. Набоков, “Дар”. Роман Чернышевского “Что делать?” автор прочел в переводе в колледже и, признаться, с трудом его одолел: до того нудно.

9 В. В. Набоков, “Дар”.

10 Там же.

11 Там же.

12 Разбор творчества и взглядов Чернышевского не ограничивается каким-то одним разделом книги: Набоков критикует “романы идей” и социально-бытовые условия “послевоенного поколения” с самого начала, с первой главы.

13 DBDV, с. 210.

14 Набоков “никогда бы не позволил моральной проблематике взять верх над художественной стороной

произведения”. Kopper, с. 64. Он испытывал острую потребность вырваться из склепа российской истории, похожего на декорации к какой-нибудь опере. Во-первых, ему совершенно не хотелось оказаться под колесами истории, а потом (по примеру некоторых) гордиться перенесенными страданиями. Поэтому по сравнению с произведениями Солженицына, Ахматовой и Пастернака, всех, кто остался на родине и еле выжил, проблематика Набокова может показаться обыденной и мелкой.

15 Boyd 2, с. 293.

16 John Gordon, *“Current Events*”, Sunday Express (London), 29 января 1956 г., с. 6; Schiff, с. 212–213.

17 Boyd 2, с. 293.

18 DBDV, с. 331.

19 Graham Greene, *“The John Gordon Society”*, The Spectator (London), 10 февраля 1956 г., с. 182.

20 Boyd 2, с. 295.

21 Harvey Breit, *“In and Out of Books”*, New York Times Book Review, 11 марта 1956 г., с. 8. Некоторые из процитированных Брейтом мнений принадлежат Гарри Левину. В ноябре Набоков написал Левину письмо и поблагодарил за теплые слова: “Я никогда не забуду вашу доброту к «Лолите» в истории с Харви Брейтом”. Houghton.

22 DBDV, с. 331.

23 Boyd 2, с. 295.

24 Schiff, с. 213.

25 С 1938 по 1945 г. в этой же консерватории преподавала известная французская пианистка и композитор Надя Буланже: она вела композицию у Аарона Копленда, Куинси Джонса, Джона Кейджа и многих других музыкантов.

26 D. N., *“Close Calls”*, с. 311. Кстати, сам Набоков, когда в 1920-е годы учился в Кембридже, тоже не успел вовремя закончить перевод, порученный ему отцом. Boyd I, с. 178.

27 Письма Веры Беркману, июнь-июль 1955 г., Berg. “В Лонги Дмитрий прошел все возможные экзамены, – писала Вера. – И получил отличные оценки. Преподаватели полагают, что у него большие способности, рекомендуют ему заниматься музыкой и вокалом. Хотя я уже смирилась с мыслью, что этот год окажется пробным”.

28 SL, с. 155.

29 Там же, с. 156.

30 Berg, 1 июля 1955 г.

31 Там же.

32 Berg, 5 декабря 1962 г.

33 Berg, 1 июля 1955 г.

34 Berg, 8 июня 1956 г.

35 Berg, заметки Веры о Дмитрии, 1950 г.

36 Boyd 2, с. 83.

37 Berg, 10 марта 1955 г.

38 Berg, 10 октября 1956 г. В рекомендательном письме Генри Аллену Мо, сотруднику фонда Гуггенхайма, Набоков не забыл и о себе: попросил третий грант, на этот раз чтобы завершить исследование “популяции чешуекрылых Скалистых гор”. SL, с. 189. Фонд Набокову отказал.

39 Berg, 2 февраля 1959 г.

40 Berg, 14 ноября 1955 г.

41 Там же.

42 Berg, письмо Веры от 2 февраля 1959 г.

43 Berg, 10 августа 1959 г. Беркман останавливалась в гостиницах, не в мотелях, поскольку вокруг автобусных станций было полным-полно дешевых гостиниц. “Самая грязная” попалась ей в городе Бьютт, штат Монтана.

44 Berg, 14 ноября 1955 г.

45 Рассказ Беркман “Заросли ежевики” *(Blackberry Wilderness)*, опубликованный в одноименной книге (1959), формально может считаться подражанием Набокову, поскольку посвящен судьбе художника. Однако по стилю он ближе к Готорну. На с. 149–150, кажется, появляется сам Набоков. *Blackberry Wilderness* (Garden City, N. J.: Doubleday, 1959).

46 Berg, 16 января 1958 г. Беркман написала рецензию на сборник рассказов писателя под названием “Набоковская дюжина” (*Nabokov’s Dozen*), которая была опубликована 21 сентября 1958 г. в газете *New York Times*. Она отметила, что автор зачастую уделяет внимание маленькому человеку, попавшему в жернова истории и что у каждого рассказа множество стилистических и интонационных оттенков. “Можно заметить, что мистер Набоков воспринимает опыт не в каком-то одном оттенке (черном или белом), а во всех цветах спектра”. Весной 1959 г. Набоков попросил Сильвию подменить его в Корнелле, но она не смогла, поскольку собиралась в Стэнфорд на курс писательского мастерства.

47 DBDV, с. 331.

48 Там же, с. 321. Маккарти использует слово “туман” без всякой иронии. В 1962 г. она написала довольно-таки проницательную и проникнутую благоговением рецензию на “Бледное пламя” для журнала *New Republic*.

49 Рассказы Генри Джеймса о призраках признают существование низших духов, однако не дают ответа на вопрос, существуют ли высшие духовные сферы. Твен изображает

привидения в юмористическом ключе и старается держаться подальше от церквей. Ни тот ни другой не разделяют воззрения Эмерсона и не ищут “духовных истин”: само это понятие превратилось в оксюморон.

50 Fluck, с. 24.

51 Набоков, “Красавица”, предисловие к *Ultima Thule*, с. 147.

52 Berg.

53 Это название встречается в дневнике Владимира и Веры, Berg, но и в поэме “Бледное пламя”, строфа 680, комментарий на с. 243.

54 Boyd 2, с. 306.

55 Там же. Набоков в 1957 г. предсказал, что через год “президент Кеннеди” поможет королю найти убежище.

56 Там же, с. 306–307. Кинбот после всех описанных в романе событий уезжает в западный штат и останавливается в мотеле, точь-в-точь как Набоковы. Мотель находится в городке под названием Кедры, “в Ютане, на границе с Айдомингом”. PF, с. 182.

57 Может, и не Кинбот, а кто-то другой, но для простоты повествования здесь мы будем называть его Кинботом. Набоков писал впоследствии: “Интересно, заметит ли кто-то из читателей следующие особенности: 1) что комментатор вовсе не свергнутый король и даже не доктор Кинбот, а русский профессор Всеслав Боткин, сумасшедший 2) что на самом деле он совершенно не разбирается ни в орнитологии, ни в энтомологии, ни в ботанике 3) что он совершает самоубийство, не успев завершить указатель”. Berg, записные книжки за 1962 г. Возникает ощущение, что роман не исполнил замысел автора. Набокову очень нравилась поэма (“Бледное пламя”), которую он сочинил специально для книги. Schiff, с. 277–278. А вот Кинботу она, похоже, не очень-то по душе. В. В. Набоков, “Бледное пламя”.

58 Boyd 2, с. 425.

59 Там же, с. 425–426.

60 Boyd 2, с. 398.

61 Учитывая, где именно его книги продавались лучше всего и где, по словам Набокова, он нашел замечательных читателей, можно сделать вывод, что писатель обращался к американской публике. Так что унижен оказался именно американский читатель.

62 В. В. Набоков, “Бледное пламя”.

63 Boyd 2, с. 439–440.

64 Kernan, с. 102–104.

65 В. В. Набоков, “Бледное пламя”.

66 Там же. Шуточные стихи – пример “формы, радостно

управляющей содержанием”. Chiasson, с. 63.

67 Там же.

68 Поэт называет “Прелюдию” “поэмой роста моего ума”. *Norton Anthology*, с. 230.

69 SO, с. 18.

70 В. В. Набоков, “Бледное пламя”. Кинбот в “Бледном пламени” также откровенно высказывается о предрассудках и о том, как следует говорить о черных и о евреях.

71 В. В. Набоков, “Пнин”.

72 В. В. Набоков, “Другие берега”, гл. 1.

73 Там же. Alexandrov, с. 23–24.

74 В. В. Набоков, “Память, говори”.

75 Там же.

76 Alexandrov, с. 187.

77 В. В. Набоков, “Бледное пламя”.

78 Там же.

79 Там же.

80 Там же.

81 Там же.

82 Там же.

83 Там же.

84 Там же.

85 Кинбот в комментариях к строфам о том, как родители смотрят телевизор, в то время как дочь топится, замечает, что “прием синхронизации уже заезжен Флобером и Джойсом до смерти”. Там же, с. 196.

86 В. В. Набоков, “Бледное пламя”.

87 Там же.

88 Там же.

89 Там же. Речь идет, скорее всего, о кедровом свиристеле, поскольку более яркий богемский свиристель водится преимущественно в Северо-Западной Америке и в Западной Канаде. *Birds of North America*, с. 240–241. Свиристели – очень красивые птицы: оперение у них такое гладкое, как будто это не перышки, а шубка.

90 В. В. Набоков, “Бледное пламя”.

91 Там же.

92 Там же.

93 Там же.

94 Там же.

95 Там же. То, что в “Бледном пламени” Набоков описывает королевство, несколько сбило с толку американских читателей: все-таки американцы относятся к монархии как к анахронизму и сами бы наверняка свергли короля. Скорее всего, Набоков

рассчитывал и на читателей других стран, не только на американских.

96 Там же.

97 Там же.

98 Там же.

99 Там же.

100 Там же.

101 И это ничуть не удивительно, учитывая, что Шейд – исследователь творчества Поупа. Возможно, он, как многие другие писатели, настолько вдохновился предметом своих штудий, что ничего другого просто выбрать не мог. Boyd 2, с. 443–444.

102 Kernan, с. 124–125.

103 В. В. Набоков, “Бледное пламя”.

104 Там же.

105 Там же.

106 Там же.

107 Там же.

108 Там же. Несмотря на благоговение, Кинбот искажает смысл рукописи и придумывает собственные строки.

109 Там же. Набоков описывает поле “чихотных, буйно цветущих плевелов”, на которое приземлился Кинбот: скорее всего, это были заросли амброзии. “Почти половина случаев аллергического насморка вследствие реакции на цветочную пыльцу в Северной Америке вызвана амброзией”, а эти желтые цветы, безусловно, цветут буйно.

110 Там же. Автор испытал подобные галлюцинации, спускаясь с горы Хамфрис хребта Сьерра-Невада в 1987 году.

111 Другой пример дружбы в романе – между Шейдом и фермером Паулем Гентцнером, который знал “как что называется”.

112 В. В. Набоков, “Бледное пламя”. Такое подробное описание, пожалуй, объясняется любовью Набокова к высоким горам и страстным увлечением ими Дмитрия. Альпинисты часто рассказывают длинные подробные истории.

113 Кинбот считает эту бабочку, *Vanessa atalanta*, своеобразным *memento mori*: та бабочка, образ которой проходит через всю поэму, садится на рукав Шейда перед тем, как его застрелят. Скорее всего, знаменитое фото Уолта Уитмена с бабочкой (ненастоящей) на пальце никак не связано с этим образом.

114 У. Вордсворт, “Строки, написанные на расстоянии нескольких миль от Тинтернского аббатства”, перевод В. Рогова.

115 В. В. Набоков, “Бледное пламя” (в русском переводе “Кто

скачет там в ночи под хладной мглой?”).

116 Там же, с. 143, с. 239.

117 Бойд утверждает, что Шейд написал не только поэму “Бледное пламя”, но и комментарий, который приписывают Кинботу. Boyd 2, с. 443–456. Мне суждение Бойда представляется чересчур упрощенным.

118 В. В. Набоков, “Бледное пламя”. Желание найти какое-то одно, бесспорное решение для книги вроде “Бледного пламени” вполне понятно, но все-таки неразрешимые загадки и запутанные половинчатые решения тоже интересны. Из лени приведем такой аргумент. Набоков однажды обмолвился в интервью, что “реальность – бесконечная последовательность шагов, уровней восприятия, явлений с двойным дном, а следовательно… недосягаема. Можно узнавать еще и еще, но узнать все нельзя… эта затея обречена на провал”. В другой раз он советовал “иметь смирение и здравый смысл признать, что реальный мир всегда от нас ускользает”. Bloom, с. 99. Кинбот утверждает, что не умеет писать стихи, однако, может статься, именно его перу принадлежит поэма Шейда. “В некотором смысле мы все поэты”, – говорит он супруге профессора Харлея, Эбертелле. В. В. Набоков, “Бледное пламя”. Он добавляет к поэме Шейда множество вариантов тех или иных строк и в комментариях даже признается, что некоторые из них сочинил сам: “побег земблянского короля (вклад К, 8 строк)”, с. 70; “Эдда” (вклад К, 1 строка)”, с. 79; “вороватые луна и солнце”, с. 90–93; “подростки нашли потайной ход (вклад К, 4 строки)”, с. 130. В. В. Набоков, “Бледное пламя”.

119 Kernan, с. 104–105. Шейд следует “по удивительному американскому пути Эмерсона и Торо… мистик и визионер, он совершенно не религиозен, однако верит в то, что за видимым миром есть и другой, невидимый, что жизнь земная – лишь ступень восхождения к трансцендентному”. Там же.

120 В. В. Набоков, “Бледное пламя”.

121 Там же. После десяти лет работы над “Евгением Онегиным” Набоков вполне мог чувствовать себя неповоротливым. Вообще же в приведенном фрагменте романа описывается первый (и довольно небрежный) переводчик Шекспира на земблянский, Конмаль, герцог Эроза. Там же, с. 306.

122 Там же.

123 Там же.

124 Там же.

Глава 16

1 “Лаура и ее оригинал”, предисловие Д. В. Набокова.

2 Field, Life in Part, с. 32. О вибрации Набоков говорит во “Вдохновении”.

3 Hagerty, *Life of Maynard Dixon*, и пр.

4 См. письмо Эдит Дейл Вере от 9 февраля 1956 г., в Boyd 2, с. 698n30. До Эдит женой Диксона была фотограф Доротея Ланж.

5 SL, с. 186. Набокову очень нравился их “красивый коттеджик”. Там же. Уилсону он описывал “розовые, терракотовые и сиреневые” горы неподалеку от дома, которые “составляли приятный фон Кавказским горам Лермонтова”, – с помощью Веры он заканчивал за Дмитрия перевод “Героя нашего времени”. DBDV, с. 333.

6 U. S. Census, 1950.

7 EO, vol. 3, с. 43–51. Разбор дуэли Онегина и Ленского и знаменитой дуэли 27 января 1837 г., на которой Дантес смертельно ранил Пушкина, отличается несвойственной Набокову строгостью и простотой.

8 Leving, с. 3. Никки Смит, литературный агент и представитель, и Питер Сколник, который представлял юридические интересы наследия Набоковых с 1987 по 2008 г., утверждают, что Вера примерно с 1930 г. и до самого конца была для Набокова кем-то вроде “доверенного лица”, которое посылает произведения автора в издательства и субагентам (одним из таких субагентов была Алтаграция де Жаннелли). Leving, с. 4.

9 В. В. Набоков, “Пнин”.

10 Boyd 2, с. 363.

11 Berg, page-a-day.

12 Berg.

13 D. N., *Close Calls*, с. 307, с. 310. Дмитрий называл “бьюик” “величественным”.

14 Berg. По рассказам Сэнди Левина, друга Дмитрия, он работал переводчиком в Международном центре Колумбийского университета. Там Дмитрий “вовсю знакомился с девушками”. Интервью с Сэнди Левиным, 3 июня 2012 г. Бойд пишет, что Дмитрий, скорее всего, работал переводчиком в *Current Digest of the Soviet Press*. Boyd 2, с. 362. Жил Дмитрий в доме 636 по Вест-Энд-авеню, кв. 8, тел. Lyceum 5–0516.

15 Интервью с Сэнди Левиным и Бреттом Шлезингером, 27 ноября 2012 г. Собрания резервистов в Нью-Йорке проходили по адресу: Западная 47-я улица, д. 529.

16 Diment, Pniniad, с. 40. В сентябре 1958 г. Набоков наводил глянец на перевод, в мае 1959 г. Вера его напечатала, а в 1960 г. он был опубликован.

17 Интервью со Шлезингером.

18 Berg, page-a-day.

19 Там же. В дневнике указано, что сигнальный экземпляр прислали, когда Набоковы были в национальном парке “Уотертон-Лейкс” в провинции Альберта. Бойд утверждает, что книгу прислали в городок Бабб, штат Монтана, см. Boyd 2, с. 363. Шифф предполагает, что Набоковы в это время были в национальном парке “Глейшер”, см. Schiff, с. 228.

20 Berg. В том же номере *New Republic*, в котором была опубликована хвалебная статья, вышла и рецензия с резкой критикой “Лолиты”.

21 Berg, page-a-day.

22 Там же. Рассказ Веры словно послужил прообразом (разумеется, на самом деле это не так) для изображения родео в маленьком городке в Неваде в фильме “Неприкаянные” Джона Хьюстона (1961).

23 Там же. Раньше Набоковы считали Минтона болтуном. Boyd 2, с. 364; Schiff, с. 229.

24 SL, с. 257. Рецензент *Times* Орвилл Прескотт был шокирован: “Описать подобное извращение со страстью извращенца, но чтобы при этом не получилось отвратительно, просто невозможно. Мистер Набоков пытался, но у него ничего не получилось”. *“Books of the Times”*, New York Times, 18 октября 1958 г.

25 SL, с. 258.

26 Schiff, с. 230. “Лолита” с 28 сентября по 9 ноября занимала первое место в списке бестселлеров. С 16 ноября по 8 марта 1959 г. – второе, уступив “Доктору Живаго”. 8 марта роман опустился на третье место, после “Доктора Живаго” и “Исхода” Леона Юриса. *Hawes Publications, http://www.hawes.com/*1958/1958.*htm* и *http://www.hawes.com/*1959/1959.*htm*.

27 Schiff, с. 255.

28 В США никаких запретов не было. Набоков гордился страной своего гражданства за то, что в ней “Лолиту” никогда не запрещали. “В этом отношении Америка – самая зрелая страна в мире”, – заметил Набоков в интервью газете *New Haven Register*. Boyd 2, с. 367. Во Франции вскоре после того, как в 1955 г. издательство *Olympia Press* выпустило роман, государство “Лолиту” запретило и отменило запрет только в январе 1958 г. Boyd 2, с. 364. Запрет был введен в ответ на требования британского правительства, поскольку из Франции экземпляры “Лолиты” через Ла-Манш проникали в Великобританию. De Grazia, с. 260. В мае 1958 г. во Франции снова ввели ограничения: теперь “Лолиту” запретили продавать тем, кому не исполнилось 18 лет, и выставлять на витрину книжных магазинов. Boyd 2, с.

364. Британское издание “Лолиты” стало возможным лишь с принятием в 1959 г. закона, ослабившего запрет на публикации книг непристойного содержания. De Grazia, с. 266.

29 Dupee, *“Lolita” in America*, с. 30.

30 Там же.

31 Там же, с. 35.

32 Там же.

33 Там же, с. 31.

34 Там же, с. 30, с. 31.

35 McCarthy, *F. W. Dupee*; McCarthy, *On F. W. Dupee*.

36 Dupee, с. 35.

37 Там же.

38 Там же, с. 31. Дьюпи приветствовал “Лолиту” как первую ласточку перемен 1960-х годов. Ему нравилось наблюдать, как комически-непочтительно препарирует писатель повседневную американскую жизнь с ее благопристойностью. В предисловии к длинному отрывку из “Лолиты”, опубликованном в *Anchor Review* (разумеется, все непристойные фрагменты были тщательно вымараны), Дьюпи написал: “Книга написана словно в насмешку… Сцены из жизни в «Лолите» отвратительны, но вполне узнаваемы”. Дьюпи процитировал поэта Джона Холландера, который заявил, что роман “пылает омерзительным извращением самого неожиданного вида”, однако “не отличается серьезностью с медицинской, социологической или мифической точек зрения”. Насчет недостатка серьезности Дьюпи был не согласен и постарался показать, что случай Гумберта – типичное явление для Америки 1950-х годов. “Остается лишь посмеяться над теми из критиков, кто не удосужился понять, насколько живо передана действительность в этой фантастической игре теней”. В статье в литературном журнале *Encounter* Дьюпи заявил, что в послесловии к роману Набоков отрицает реальность изображения американской действительности совершенно в духе “местных писателей, не желающих замечать реального положения вещей”.

39 Schiff, с. 232.

40 150 тысяч долларов в 1958 г. равны 1,2 миллиона долларов в 2014 г.

41 Berg. Слова “еще более важно” написаны рукой Набокова на линованной карточке, вложенной в дневник. На карточке написано: “Мои дневниковые записи, лето 1951 года, когда я писал «Ло» и, что еще важнее, Верин дневник, который она вела в первые месяцы после выхода «Ло» в Америке”.

42 Berg, page-a-day.

43 В. В. Набоков, “Переписка с сестрой”.

44 Boyd 2, с. 366.

45 После выхода романа “Лолиту” похвалил Грэм Грин и многие другие знаменитости. Свободная публикация в Америке не только способствовала переизданию “Мемуаров округа Геката”, но и разрешению и первому легальному изданию “Любовника леди Чаттерлей” в Великобритании. Schiff, с. 236.

46 Berg.

47 Там же.

48 Boyd 2, с. 374.

49 Berg.

50 Boyd 2, с. 372. “Доктор Живаго” был опубликован спустя несколько дней после “Лолиты” и со временем потеснил ее в списке бестселлеров *New York Times*. Весь следующий год оба романа попеременно занимали первое и второе места. Доктор Швейцер не угодил Набокову тем, что сотрудничал с Бертраном Расселом в деле ядерного разоружения, а еще своей филантропией и поверхностной теологией.

51 “Vladimir Nabokov Discusses «Lolita» Part I of 2”, YouTube video, опубликовано на канале *JiffySpook* 13 марта 2008 г., *http:// www.youtube.com/ watch?v=Ldpj_5JNFoA*.

52 Там же.

53 Dieter Zimmer, *Vladimir Nabokov: The Interviews, http://www.d-e-zimmer.de/ HTML/NABinterviews.htm*. До нас дошли 125 интервью писателя, примерно 15 из них относятся ко времени публикации “Лолиты”.

54 О любви Набокова к диванам и кушеткам см. DBDV, с. 300nI. Он признается: “Люблю есть и пить, развалясь (лучше всего на диване) и в тишине”.

55 “Vladimir Nabokov Discusses «Lolita» Part 2 of 2”, YouTube video, опубликовано на канале *JiffySpook* 13 марта 2008 г., *http:// www.youtube.com/watch?v= o-wcB4RPasE*.

56 Там же, особенно на 1:33 и 1:45.

57 “Dr. Strangelove and the Bomb”, YouTube video, опубликовано vilixiliv 6 ноября 2010 г., *http://www.youtube.com/ watch?v=-mUCLHZWiJo*.

58 Его улыбка похожа на улыбку актера Монтгомери Клифта после автомобильной аварии.

Глава 17

1 Ресторан находился в доме 803 по Третьей авеню, между 49 и 50-й улицами. Там любила бывать киношная и театральная публика, в том числе Орсон Уэллс, Джозеф Коттен и Маргарет Салливан.

2 Еще на ужине присутствовала чета по фамилии Толлер: по словам Веры, он был “вторым лицом” в издательстве Putnam’s. Berg, page-a-day.

3 *“Books: The Lolita Case”*, Time, 17 ноября 1958 г.

4 Berg, page-a-day.

5 Вознаграждение за найденную интересную и потенциально успешную книгу составляло 20 000 долларов. Schiff, с. 237n. Оно равнялось проценту от авторских отчислений за первый год издания плюс 10 % от доли издательства за вторичные права за 2 года. Там же, с. 236n.

6 Berg, page-a-day.

7 *“The Lolita Case”,* Time.

8 Berg.

9 Об этом упоминалось во время телевизионного интервью Набокова с Триллингом.

10 DBDV, с. 363.

11 Schiff, с. 229.

12 Рамздэль и Бердслей в “Лолите” – выдуманные городки в Нью-Гэмпшире.

13 Набоков сперва обратился к Беркману, но тот не смог. Тогда он предложил вместо себя Херба Голда, которого рекомендовал ему бывший коллега по Уэлсли. Boyd 2, с. 376.

14 Пастернака вынудили отказаться от премии. Там же, с. 372.

15 Там же, с. 374.

16 Berg, page-a-day, 16 ноября 1958 г.

17 Schiff, с. 247.

18 SL, с. 262.

19 Там же, с. 258.

20 Там же, с. 276. Дмитрий взялся за перевод в конце 1958 г. и на Рождество привез показать отцу черновой вариант. Набоков его одобрил, уговорил Дмитрия бросить работу в Нью-Йорке и целиком отдаться переводу. Boyd 2, с. 377.

21 Houghton, письмо от 12 февраля 1959 г.

22 Berg.

23 Barth and Segal, I. Набоков написал Дмитрию 16 января 1961 года письмо, в котором, помимо прочего, было сказано следующее: “Я прервал литературные труды, чтобы сочинить этот назидательный стишок: *«In Italy, for his own good / A wolf must wear a Riding Hood».* Пожалуйста, помни об этом”. SL, с. 324.

24 Интервью с Бреттом Шлезингером, 27 ноября 2012 г.

25 SL, с. 276.

26 Schiff, с. 246; Boyd 2, с. 380. Набоков отклонил приглашения Дэвида Сасскинда и Майка Уоллеса: Berg.

27 Berg.

28 Schiff, с. 247.

29 Boyd 2, с. 381. Уэйденфелд был партнером в недавно созданной компании *Weidenfeld and Nicolson*. Вторым партнером был Найджел Николсон, сын Гарольда Николсона и Виты Сэквилл-Уэст. Boyd 2, с. 378.

30 Boyd 2, с. 381.

31 Дмитрий быстро выучил итальянский (это было нужно для учебы на оперного певца), так что вдобавок переводил произведения отца и на этот язык.

32 Berg, *page-a-day*.

33 SO, с. 71. Также в Швейцарии Набоков написал “Прозрачные вещи” (1972) и “Смотри на арлекинов!” (1974).

34 Berg, *page-a-day*. В следующем месяце Сейла восстановили, и он благополучно окончил университет. Друг и (некоторое время) сосед Сейла по комнате Ричард Фаринья описал этот случай в романе “Если очень долго падать, можно выбраться наверх” (*Been Down So long It Looks Up to Me*, 1966). Жена Сейла, Фейт Сейл, стала редактором в издательстве *G. P. Putnam’s Sons*. “Волшебник” (1986) стал одной из книг, которые она редактировала в *Putnam’s*. Berg.

35 Berg, *page-a-day*.

36 Boyd 2, с. 372; SO, с. 205.

37 SO, с. 206. Набоковы также полагали, что педоцентризм – “коммунистический заговор, направленный на то, чтобы уничтожить американскую систему образования”. Houghton, из письма Веры Елене Левиной, 19 августа 1969 г.

38 Houghton, письмо Веры Елене Левиной от 27 июля 1972 г. В марте 1968 г. Вера писала Элисон Бишоп: “Ничего не может быть хуже этой войны, но, признаться, мы не представляем… что тут может сделать президент. Отдать страну и всю Восточную и Юго-Восточную Азию коммунистам?.. Это битва с коммунизмом не на жизнь, а на смерть, а не просто локальная войнушка”. Berg.

39 Berg, записки Набокова Филду от 20 февраля и 10 марта 1973 г. Кстати, Джек Керуак тоже читал *National Review*.

40 Schiff, с. 338.

41 Schiff, с. 335.

42 Там же, с. 338.

43 Джон Хаусман родился в 1902 г. в Бухаресте. Отец его был немецким евреем, уроженцем Эльзаса, мать – наполовину валлийкой, наполовину ирландкой. Хаусман учился в часной школе Клифтон-Колледж в Бристоле, в которой были специальные общежития для еврейских мальчиков.

44 См. *“75 at 75: Brian Boyd on Vladimir Nabokov”*, записано 5

апреля 1964 г., опубликовано 18 июля 2013 г. *http://92youndemand.org/75-at-75-brian-boyd-on-vladimir-nabokov*.

45 SL, с. 508. Документы, о которых упоминает Набоков, хранились в Итаке, а в 1969 г. их перевезли в Монтре, чтобы показать биографу Набокова Эндрю Филду.

46 Berg, записки для второго тома “Память, говори”.

47 Zweig, с. 225; McGill, с. 173–174.

48 SL, с. 264. Набоков в письме Дуайту Макдоналду назвал “Доктора Живаго” “дрянным, слезливо-сентиментальным, фальшивым и бездарным романом, который ни описания природы, ни политические мотивы не спасут от мусорной корзины”.

49 Wilson, *“Doctor Life and His Guardian Angel”*, New Yorker, 15 ноября 1958 г., с. 213–238; *“Legend and Symbol in «Doctor Zhivago»”*, Encounter, 9 июня 1959 г., с. 5–15.

50 В январе 1959 г. Николай Набоков писал (на бланке “Конгресса за свободу культуры”, организации, в которой он был генеральным секретарем и которая существовала на деньги ЦРУ): “Мои польские друзья, издающие журнал, который по праву можно назвать единственным приличным из ныне существующих польских журналов, были бы счастливы получить ваше и *New Yorker* разрешение на публикацию польского перевода вашей статьи о Пастернаке из журнала *New Yorker*… Журнал называется *Kultura*. Выходит он в Париже, и вся польская интеллигенция тайком его читает”. Beinecke.

51 Wilson, *Legend and Symbol*. “Доктор Живаго” чем-то смутно похож на “Бледное пламя”: и там и там есть герой-поэт, взыскующий высшей истины, а его стихи включены в текст романа.

52 Там же.

53 Schiff, с. 243–244.

54 Wilson, *Letters*, с. 578.

55 Там же.

56 Pitzer, с. 17.

57 DBDV, с. 362.

58 Hawes Publications, *http://www.hawes.com/*1956/1956.*htm*.

59 *“On First Reading Genesis”*, 15 мая 1954 г., и *“The Scrolls from the Dead Sea”*, 14 мая 1955 г. *“On First Reading Genesis”* была перепечатана в нескольких тысячах экземпляров.

60 Dabney, с. 351.

61 Петр Набоков, второй сын Николая, был студентом Колумбийского университета, специализировался на антропологии и истории американских индейцев. В январе 1961 г. на званом ужине у отца он познакомился с Уилсоном и

после выхода “Извинений” написал ему с просьбой посоветовать, чем лучше заниматься, чтобы и писать, и ездить в научные экспедиции. В конце концов Петру удалось выстроить карьеру подобным образом и добиться значительного успеха. Beinecke.

62 Dabney, с. 353.

63 Исследователь, внимательно прочитавший переписку, отметил, что Набоков с Уилсоном разошлись как в море корабли: ни один не отвечал на уверения другого в дружеском расположении. Kopper, с. 58. Набоков в письмах был особенно сдержан. Скорее всего, оба стеснялись своих чувств. Набоков скучал по Уилсону, по его замечаниям и все-таки зачастую отвечал по-дружески тепло. Уилсону казалось, что Набоков держится с ним как надменный богач – высокомерно и с издевкой. Оба в письмах часто высказывали сожаления, что никак не удается повидаться.

64 Wilson, *“Strange Case”*, New York Review of Books, 15 июля 1965 г.

65 Там же. Арндт, вежливо отвечая в письме на выпады Набокова, все же заметил “капельку яда за… жреческой заботой о точности текста”. Beinecke. В 1962 г. Арндту за перевод “Онегина” вручили премию Боллингена.

66 SO, с. 247.

67 Там же, с. 82.

68 Там же, с. 80.

69 Там же, с. 88. Скорее всего, Набоков читал эссе Сьюзен Зонтаг 1964 г. “Против интерпретации”. В том году Зонтаг представляла Набокова публике на чтениях в еврейском культурном молодежном центре 92*nd Street Y*.

70 Там же.

71 Там же, с. 81.

72 В архиве Уилсона в Йельском университете куда больше материалов посвящено Пастернаку, чем Набокову: тринадцать папок против двух, причем некоторые из этих тринадцати папок битком набиты. Заметки Уилсона о произведениях Набокова демонстрируют неприязнь: “ненависть к среднему классу” в “Отчаянии” и “Камере обскура”, “омерзительные буржуазные ужасы послевоенной Германии”, “нездоровая кровавая подоплека, точь-в-точь как в немецких фильмах того времени”, “дерьмо, сексуальные извращения, мелкий и колкий садизм – всего понемногу”, “определенная доля старомодного петербуржского фатовства и фантазии”. Он пытается понять творчество Набокова, подвергая фабулу его произведений детальному разбору, в особенности тех, которые были написаны еще в Берлине. Видимо, Уилсону кажется, что с помощью такого вот психоанализа он

сумеет раскрыть тайную сущность Набокова: доказать, что тот жесток, имеет садистические наклонности, любит всякую грязь и т. п. Эффективность и истинность метода психоанализа сомнению не подвергается. Уилсон полон решимости никому не дать себя обмануть, и его тревожит то, что ему кажется жестокостью Набокова по отношению к собственным персонажам. Эти заметки Уилсон сделал уже в конце жизни, и по каким-то причинам произведения Набокова не раскрылись перед ним, не пробудили в нем свойственной ему мудрости и понимания. Так, о "Бледном пламени" Уилсон отозвался: "Прочел с интересом, но мне показалось, что это какая-то глупость". Bakh, письмо Гринбергу, 20 мая 1962 г.

73 DBDV, с. 357, 30 марта 1958 г.

74 Roger Boylan, *"Dmitri Nabokov, Car Guy",* Autosavant, ноябрь 2009 г., *http://www.autosavant.com/*2009/11/24/*dmitri-nabokov-car-guy*; Boylan, *"Dmitri Nabokov, Car Guy: Take Two"*, Autosavant, 2010, *http://www.autosavant.com/* 2010/04/15/*dmitri-nabokov-car-guy-take-two.*

75 D. N., *Close Calls*, с. 320.

76 Dmitry Minchenok, *http://sputniknews.com/voiceofrussia//*2012_02_28/67099376/.

77 Там же.

78 Интервью с Барбарой Виктор, 30 мая 2012 г. Пользуясь законом о свободном доступе к информации, я подал запрос в ЦРУ и прочие службы безопасности и получил ответ из комиссии по информации: "Касательно записей, которые позволят установить взаимосвязь между предметом вашего запроса и ЦРУ, в случае, если таковая имела место быть, Комиссия по информации постановила, что, согласно пункту 3.6(a) Указа Президента 13526, ЦРУ не может ни подтвердить, ни отрицать существование или несуществование записей, которые отвечают на ваш вопрос". Из письма ЦРУ от 28 августа 2013 г., справка: F-2013–00275.

79 Minchenok.

80 *Close Calls*, с. 320.

81 Там же.

82 Schlesinger, *Journey Down the Tyrrhenian*.

83 Booth, с. 300–309.

84 EO, vol. 2, с. 154.

85 Там же, с. 382.

86 В. В. Набоков, "Бледное пламя".

87 В "Память, говори" – еще и узнаваемая российская действительность.

88 Dupee, *Introduction*.

89 Berg. Набоков читал “Эксперимент со временем”, но обращался и к “Естественной философии времени” Джеральда Уитроу. Boyd 2, с. 487.

90 В книге не приводится убедительных доказательств того, что Данн действительно предвидел это извержение: скорее, читатель верит его доверительному и честному джентльменскому тону. У Данна Набоков позаимствовал проницательность, с которой тот анализирует и описывает трудноуловимые состояния психики.

91 Berg. Набоков также написал типологию собственных снов.

92 Berg, сон, записанный 4 декабря 1964 г. В 1967 г. Набоков записал другой сон о Уилсоне: “Странный сон: кто-то на лестнице берет меня за локти. Э. У. Шутливое примирение”. Boyd 2, с. 499.

93 Berg, заметки к роману “Память, говори”.

94 О снах сексуального характера Набоков тоже не распространяется, упоминает лишь “Несколько снов, один из них очень эротический, повторяет (едва ли не в пятисотый раз) с абсолютной свежестью фугу из моей ранней юности”. Berg, сон 14 октября 1964 г., 8:30 утра. И 13 декабря: “Интересный эротический сон. Кровь на простыне”. Berg.

Отрывки из *Dear Bunny, Dear Volodya: The Nabokov-Wilson Letters,* 1940–1971, *by Edmund Wilson, copyright* © 1979 *The Estate of Edmund Wilson*, использовано с разрешения *The Wylie Agency LLC*.

Отрывки из *Dear Bunny, Dear Volodya by Vladimir Nabokov, copyright* © 1979 *The Estate of Vladimir Nabokov*, использовано с разрешения *The Wylie Agency LLC*.

Отрывки из *Dear Bunny, Dear Volodya* перепечатаны с разрешения *the University of California Press*.

Отрывки из неопубликованных писем *Excerpts of unpublished letters credited to The Estate of Vladimir Nabokov* из *Henry W. and Albert A. Berg Collection of English and American Literature, The New York Public Library, Astor, Lenox and Tilden Foundation. Copyright © The Estate of Vladmir Nabokov*. Использовано с разрешения *The Wylie Agency LLC*.

Отрывки из *Vladimir Nabokov: Selected Letters* 1940–1977, *edited by Dmitri Nabokov and Matthew Bruccoli. Copyright* © 1989 *by the Article* 3*b Trust Under the Will of Vladimir Nabokov*. Перепечатано с разрешения *Houghton Mifflin Harcourt Publishing Company. All rights reserved*.

Отрывок из главы 7 этой книги публиковался в другой редакции в *The American Scholar, Summer* 2015.

Отрывок из главы 5 публиковался в другой редакции в *The Hopkins Review, volume* 8, *number* 2, 2015.

notes

Примечания

1

Первая книга, которую Набоков написал по приезде в Америку, исчерпывающе содержательная, эксцентричная литературная биография Гоголя, была, как неоднократно подмечали, столько же о том, как читать самого Набокова, сколько о том, как читать русского писателя XIX века, автора “Мертвых душ” и “Ревизора”. Жестокие нападки Набокова на собратьев-писателей – так, Хемингуэя он называл шутом, а Фолкнера надутым мошенником и т. п. – также были продиктованы стремлением привлечь к себе внимание, подобно тому, как человек отчаянно прорубает дорогу сквозь заросли сорняков на поле и готов даже сжечь все вокруг, лишь бы расчистить себе путь *(здесь и далее, если не указано иное, примечания автора)*.

2

“Я – камера” – пьеса Джона ван Друтена по книге Кристофера Ишервуда “Прощай, Берлин”, автобиографическому роману о жизни в Берлине с начала 1930-х годов до прихода к власти нацистов.

3

Правильно говорить “Набо́ков”. Большинство же англоязычных читателей, в особенности те из них, кого в юности впечатлила песня *“Don’t Stand So Close to Me”* группы *Police* (в частности, там есть такая строчка: “Как старик из той книги Набо́кова”), так и зовут его Набо́ковым – что ж, видимо, им проще выговорить такой вариант.

4

Удостоверение личности (*фр.*).

5

Здесь и далее перевод А. Макаровой *(прим. перев.)*.

6

До появления термина *(фр.)*.

Перевод А. Люксембурга *(прим. перев.)*.

8

Вскоре Николай ушел от русской жены Натальи к своей бывшей студентке-американке. Новых успехов как композитор он не добился – но не потому, что не хватило способностей или идей: у него обнаружился другой талант – водить дружбу со знаменитостями (впрочем, он Николаю и раньше был свойственен). Во время войны этот талант приобрел идеологическую окраску: Николай стал помощником Джорджа Ф. Кеннана, Чарльза Ю. Болена и Исайи Берлина – тех, кто определял политику холодной войны по отношению к Советскому Союзу. В войну Николай надел погоны и к 1951 году и сам занял высокий пост: стал генеральным секретарем Конгресса за свободу культуры, организации, которую субсидировало ЦРУ. Конгресс поддерживал культурные проекты и начинания, направленные против политики Советского Союза.

9

О том, как было трудно выбраться из Европы (именно из-за бюрократических препон), свидетельствует рассказ Стэнли М. Райнхарта, одного из основателей издательства *Holt, Rinehart & Winston*, который во время “лондонского блица” пытался вывезти в Америку двух своих племянников: “Совокупная британская и американская бюрократическая волокита оказалась настолько сильна, что даже из Синг-Синга мальчикам было бы сбежать куда проще. Пока шли приготовления, я как-то сказал жене… что легче было бы нам с ней завести еще двух детей – и уж точно быстрее. Мы наняли целую армию юристов, чтобы подготовить аффидавиты для американского консульства в Англии. Четыре фотокопии налоговых деклараций о доходах за последние четыре года… а также чеков, выписок с банковских счетов за двенадцать месяцев, ипотечных платежей за два года, список имеющихся акций и облигаций, четыре письма от распорядителей из банков, а также четыре письма от четырех выдающихся граждан Америки… Наконец аффидавиты отправились авиапочтой в Англию. Одни марки стоили пятнадцать долларов”. Stanley M. Rinehart, *“The Nefugees”,* Good Housekeeping, 28 января 1943 г.

10

Однако иногда он бывал высокомерен и бесцеремонен. “Мой отец, – писал много лет спустя Владимир историку, который изучал наследие Владимира Дмитриевича, – чувствовал себя настолько неизмеримо выше любых обвинений в антисемитизме… что из какого-то апломба и презрения к показной юдофилии он высказывался о евреях и неевреях так же прямолинейно, как и его еврейские коллеги”. О большевике Моисее Урицком, к примеру, он отзывался так: “Как сейчас помню эту отвратительную фигуру плюгавого человечка… с наглой еврейской физиономией…”

11

Отец Набокова тоже любил охотиться за бабочками и мотыльками. Персонаж романа “Дар” Федор подумывает написать биографию покойного отца, выдающегося ученого: он тепло и с восторгом рассказывает о приключениях отца в Западном Китае – размышления об отце, отважном натуралисте, лишены привычной для героя иронии и проникнуты глубоким чувством. Когда Набоков приехал в США, Музей естественной истории возглавлял доктор Рой Чепмен Эндрюс, естествоиспытатель, чем-то похожий на отважного отца Федора. В молодости Эндрюс так сильно хотел работать в музее, что, когда его не взяли на должность научного сотрудника, устроился ассистентом отдела таксидермии: в его обязанности входило в том числе и мытье полов.

12

Уилсон был далек от спорта. В детстве подарил другому мальчику бейсбольную форму, которую ему купила мать в надежде, что сын увлечется атлетикой. К моменту знакомства с Набоковым Уилсон уже был весьма дороден (при относительно небольшом росте) и страдал подагрой. Но Набоков все равно попытался приохотить его к ловле бабочек. “Попробуйте сами, Братец Кролик, – писал он Уилсону [Братец Кролик – прозвище Уилсона]. – В мире нет благороднее спорта”.

13

Персонажи комикса Бада Фишера, выходившего с 1907 г. *(прим. перев.)*.

14

Уилсон был знаком с Гринбергом независимо от Набокова, который во Франции учил Гринберга английскому языку. Гринберг был бизнесменом, однако не мыслил жизни без литературы, а после переезда в Соединенные Штаты издавал русскоязычные журналы. Сестра Гринберга Ирина подружилась с Уилсоном еще в 1935 г.: она была его гидом во время визита Уилсона в Москву, где он собирал материал для книги “Путешествие по двум демократиям” (*Travels in Two Democracies*, вышла в 1936 г.).

15

Дело “парней из Скоттсборо”, девяти афроамериканских юношей, в 1931 году обвиненных в изнасиловании, стало поворотом в борьбе с расизмом и за справедливый суд *(прим. перев.)*.

16

Экспедиция Льюиса и Кларка – первая сухопутная экспедиция через всю территорию США в 1804–1806 годах. Возглавляли экспедицию Мериуэзер Льюис и Уильям Кларк *(прим. перев.)*.

17

Следует отметить, что перед тем как отправиться в Калифорнию, Набоков ознакомился с произведениями тамошних писателей. В письме Уилсону из Пало-Альто он упомянул, что получил его недавно опубликованную “занятную книгу” *The Boys in the Back Room: Notes on California Novelists*, и добавил, что большинство очерков – о Джоне Стейнбеке, Натанаеле Уэсте, Джеймсе М. Кейне, Джоне О’Хара и Уильяме Сарояне – прочел еще раньше, когда они выходили в *New Republic*.

18

Жалкий человек *(фр.)*.

19

В статье *Times Literary Supplement* в декабре 2011 г. английский прозаик Мартин Эмис выражает почтение Набокову. Рассуждая о новом сборнике эссе Брайана Бойда, Эмис замечает, что биограф писателя “ставит перед собой грандиозную задачу: доказать, что Набоков еще гениальнее, чем кажется”. Бойд, пишет Эмис, “пытается как-то объяснить или оправдать единственный момент из всего корпуса текстов писателя, который вызывает смущение. Из девятнадцати романов Набокова минимум шесть частично или полностью посвящены теме сексуальности девочек-подростков… Скажу прямо: обилие нимфеток, на которое невозможно не обратить внимание… связано не с моралью, а с эстетикой. Но все равно их слишком много”.

Тема педофилии, однако, связана не только с эстетикой. Ее повторяемость сродни насилию: литературный эквивалент сладострастной навязчивости педофила. Разумеется, склонный к самоанализу Набоков не мог этого не замечать в своих произведениях. Поскольку реальных доказательств сексуальных связей с детьми (которые его биографы, хотя и преклонялись перед гением писателя, все равно старались отыскать) не существует, возникает подозрение, что Набоков чувствовал нечто такое, что мог бы сделать, то, как некий писатель должен был бы раскрыть тему педофилии. Эта тема, которую прежде либо игнорировали, либо стыдливо замалчивали, привлекала его по причинам, которые, пожалуй, не были ясны ему самому до тех пор, пока он не затронул их в “Лолите”. Жизнь девочки в романе полна страданий, ее жизнь в неволе безрадостна и абсурдна в своей двусмысленности. В те годы таких, как Лолита, было немало, в том числе и в детских приютах. Набоков не ставил перед собой цели “исправить” что бы то ни было, однако его тяга к историям на запретные темы, рассказам об унижении и насилии, которые писались отчасти в шутку, помогли ему и его читателям обратить внимание на серьезную проблему.

20

В 1940-х годах в Йосемити водилось множество черных медведей. В фильмах тех лет, рекламировавших парк, туристы кормят медведей с рук. Медвежата быстро смекали, что надо встать на задние лапки, чтобы получить корм.

21

Йосемити был символом западного туризма и начиная с 1870-х годов привлекал туристов, которые приезжали на Запад по железной дороге: в рекламных проспектах железных дорог описывались красоты парка, и эти материалы, наряду с публикациями о путешествиях и мемуарами путешественников, служат доказательством того, что Йосемити и прочие национальные парки способствовали развитию туризма в Америке, точно так же как в Европе – замки и соборы. Большинству американцев поездка в Европу была не по карману, а во время Первой мировой войны стала недоступна даже для самых состоятельных: тогда-то и обрели популярность путешествия по западным штатам. В 1908 году Генри Форд представил публике “форд Т”, во многих районах США стали строить и ремонтировать дороги, пусть и медленно. В 1913 г. смягчили запрет на въезд в долину Йосемити на автомобиле. В 1915 г. тысячи автотуристов приехали в Калифорнию на Всемирные ярмарки в Сан-Франциско и Сан-Диего, причем многие завернули и в Йосемити.

22

Впрочем, на этой почве процветало все, что можно назвать дерзким, аморальным и модернистским, – только невидимо для глаз. Достаточно вспомнить, как в 1947–1948 годах ослепленный страстью Гумберт Гумберт, путешествуя по Америке со своей юной наложницей, заезжает в национальные парки и посещает мемориалы. Гумберт Гумберт и Лолита побывали в национальных парках “Роки-Маунтин”, “Меса-Верде”, на озере Крейтер, в Йеллоустоуне и пещере Уинд, а также у национального монумента Бандельер, Джила-Клифф-Двеллингз, в заповеднике “Каньон-де-Шей” и в национальном парке “Долина Смерти”. Заезжали они и в заказник “Нэшнл-Элк” в Вайоминге, посетили дом Линкольна в Спрингфилде, штат Иллинойс, а также гору Рашмор.

23

В 1935 г. Уилсон тоже стал стипендиатом фонда Гуггенхайма и на эти деньги ездил в СССР собирать материалы для книги. Начиная с 1930–1931 гг. Уилсон работал в литературном комитете фонда, где и подружился с Генри Алленом Мо, который возглавлял фонд на протяжении 40 лет. По словам Уилсона, Мо был “единственным человеком, который за время сотрудничества с фондом не растолстел и не засыпал на рабочем месте”. Потрудившись в литературном комитете, Уилсон заметил, что “фонд работал бы куда эффективнее, если бы – по крайней мере, в литературном отделе – Мо мог самостоятельно принимать решения”. Мо и Уилсон остались друзьями, так что письма Уилсона в поддержку того или иного писателя имели вес.

24

Набоков в книге напрямую не высмеивает Гарнетт, хотя глава о “Мертвых душах” и начинается с недвусмысленного заявления: “Старые английские переводы «Мертвых душ» не стоят медного гроша и должны быть изъяты из всех публичных и университетских библиотек”.

25

“Старый, обширный, тянувшийся позади дома сад, выходивший за село и потом пропадавший в поле, заросший и заглохлый, казалось, один освежал эту обширную деревню и один был вполне живописен в своем картинном опустении. Зелеными облаками и неправильными трепетолистными куполами лежали на небесном горизонте соединенные вершины разросшихся на свободе дерев. Белый колоссальный ствол березы, лишенный верхушки, отломленной бурею или грозою, подымался из этой зеленой гущи и круглился на воздухе, как правильная мраморная сверкающая колонна; косой остроконечный излом его, которым он оканчивался кверху вместо капители, темнел на снежной белизне его, как шапка или черная птица”. – Н. В. Гоголь, “Мертвые души”, т. 1, гл. 6.

26

“Хмель, глушивший внизу кусты бузины, рябины и лесного орешника и пробежавший потом по верхушке всего частокола, взбегал наконец вверх и обвивал до половины сломленную березу. Достигнув середины ее, он оттуда свешивался вниз и начинал уже цеплять вершины других дерев или же висел на воздухе, завязавши кольцами свои тонкие цепкие крючья, легко колеблемые воздухом”. – Н. В. Гоголь, “Мертвые души”, т. 1, гл. 6.

27

Набоков продолжал писать стихи по-русски и тогда, когда ему уже было за семьдесят. Одни из лучших его стихотворений, включенных в сборник *Poems and Problems* (1970), “К князю С. М. Качурину” и “С серого севера”.

28

Из перечисленных писателей Набоков считал истинными и самобытными мастерами только Пруста и Джойса.

29

Здесь и далее знаком отмечены все случаи, когда оригиналы были недоступны, поэтому текст дается в переводе с английского *(прим. перев.)*.

30

В конце книги Набоков делает вывод, что Гоголь не сумел раскрыть свой недюжинный дар и стал самым заурядным писателем.

31

Американский мальчишка военных лет, Дмитрий безошибочно определял виды самолетов по одному лишь силуэту вдалеке или по шуму двигателя. Он обожал собирать и клеить различные модели.

32

Впоследствии Набоков часто общался с Лафлином в приказном тоне, как тот, к кому отнеслись неуважительно. На следующий год после того, как Набоковы гостили в Алте, он писал: “Я хочу, чтобы вы кое-что для меня сделали… Я куда-то подевал образцы растений, которые привез из Юты… Там несколько видов люпинов [и] мне нужен тот, который растет в местах обитания *annetta*… Также мне нужны несколько экземпляров муравьев… Усыпите их в спирте или углекислоте… и положите в коробочку с ватой. Растения можно переслать в картонной коробке… но проследите, чтобы они лежали ровно”. Четыре года спустя, обсуждая договор на перепечатку книги, которая должна была выйти уже в другом издательстве, Набоков писал: “Независимо от того, принесет ли сделка прибыль или нет… мне нужно поддерживать документацию в порядке, а для этого мне необходим договор, который вы заключили с *New American Library*… Пожалуйста, займитесь этим… Понятия не имею, почему вы не удосужились сделать это раньше”. Лафлин послал Набокову экземпляр “Под покровом небес” Пола Боулза, и Набоков заявил, что произведение Боулза – “совершеннейшая и бездарная чушь. Вам следовало отправить рукопись на проверку какому-нибудь образованному арабу. Но все равно спасибо, что прислали мне эти книги. Надеюсь, вас не обидит моя откровенность”.

33

В 1963 году. Партнером Вилли был Том Хорнбейн. Ансолд был членом экспедиции, которая доставила Джима Уиттакера на Эверест по Южной седловине, в 1963-м уже освоенной альпинистами, поскольку десятью годами ранее по ней поднялись англичане. Ансолд и Хорнбейн решили взойти на Эверест по новому маршруту, который был во много раз сложнее, так что исход их затеи вызывал серьезные сомнения. Их успех способствовал развитию альпинизма.

34

Имеется в виду разновидность американского бального танца начала XX века под музыку в стиле регтайм. Для танца были характерны тяжелые и неповоротливые шаги вбок с наклоном корпуса из стороны в сторону.

Пылкое стремление Николая Набокова отыскать аутентичную американскую музыку перекликается с одержимостью его двоюродного брата уникальными местами охоты и экземплярами бабочек, однако наиболее рьяным и последовательным в поисках всего истинно американского оказался, пожалуй, второй сын Николая, Петр Набоков, ныне почетный профессор антропологии в Калифорнийском университете. Петр – один из авторов труда "Архитектура американских индейцев" (*Native American Architecture),* уникального исследования с богатым иллюстративным материалом и научными комментариями, автор книг "Лес времени: восприятие истории у индейцев Америки" (*A Forest of Time: American Indian Ways of History*), "Куда бьет молния: жизнь святых мест американских индейцев" (*Where the Lightning Strikes: The Lives of American Indian Sacred Places*) и многих других. За несколько десятков лет неутомимых исследований Петр Набоков изъездил Америку вдоль и поперек, совсем как его дядя Владимир: обоими двигала страсть, которую они пронесли через всю жизнь и которая толкала их на поиски, в экспедиции и приводила к выдающимся открытиям. Самая популярная из всех работ Петра Набокова, рассчитанная на широкий круг читателей, пожалуй, книга "Снова здесь: американские индейцы в Йеллоустоунском национальном парке" (*Restoring a Presence: American Indians and Yellowstone National Park*) 2004 года, написанная в соавторстве с Лоренсом Лендорфом, опровергающая распространенное представление о том, что Йеллоустоун был природным заповедником, где в изобилии водились бизоны, медведи и прочая типично американская живность, а людей там якобы не было. Считалось, что индейцы боялись этих лесов, избегали их, на деле же в течение минимум 8 тысяч лет племена индейцев постоянно кочевали по территориям, которые ныне относятся к парку, и разбивали там становища.

36

Уилсон писал о Пушкине задолго до знакомства с Набоковым. Клайв Джеймс, критик из Австралии, назвал эссе Уилсона 1937 года “В память о Пушкине” лучшим кратким введением в творчество поэта, и в этом точка зрения Джеймса отражала мнение Джона Бейли, автора авторитетного труда “Пушкин: сравнительный комментарий” (*Pushkin: A Comparative Commentary*). Суммируя похвалы, Джеймс называет оценку, которую Бейли дал статье Уилсона, “щедрой похвалой, учитывая, что лучшее длинное введение в творчество Пушкина написал сам Бейли”.

37

Уилсон посылал Набокову свою новую книгу “Ночные тетради” (*Note-books of Night,* 1942), где, среди прочего, был рассказ “В Лорелвуде” о детстве в Нью-Джерси. DBDV, с. 237n5.

38

От латинского слова, которое обозначает “маленькую девочку”, образованного из *puellus*, сокращения от *puerullus*, то есть “мальчик, раб”.

39

Набоков впервые предложил Вере (тогда еще Слоним) перебраться в Америку, когда они даже не были женаты (см. письмо от 3 декабря 1923 г.). В конце 1960-х годов, отвечая на вопрос интервьюера, почему он начал писать по-английски (не мог же он знать, что однажды все-таки получится эмигрировать), Набоков признался: “Нет, я знал, что рано или поздно окажусь в Америке”.

40

Слово “экология” встречается в заметках Набокова всего несколько раз. Оно появилось 80 лет назад, придумал его Эрнст Геккель, немецкий ученый, который также ввел в обиход понятия “филюм”, “филогенез” и “стволовая клетка”.

41

В том числе он автор 690-страничной эпической поэмы “Америка” (1941), написанной белым стихом.

42

Автор имеет в виду роман “Фиеста” Э. Хемингуэя.

43

Вихляние *(фр.)*.

Шлюхи *(фр.)*.

Надуть *(фр.)*.

Задняя мысль *(фр.)*.

Запросы, ходатайства *(фр.)*.

Перевод Г. Шенгели.

Американцы, впрочем, обсудили, осмыслили и взяли на карандаш огромное количество текстов, в особенности религиозных (и в первую очередь из Библии). Виртуозный образец американской риторики, речь Мартина Лютера Кинга “У меня есть мечта”, строится на аллюзиях, но при этом без педантизма. Возможно, большинство американцев и не слышит эти аллюзии, однако именно они придают речи Кинга силу и убедительность. Среди прочих источников, которые питали и составляли это произведение риторического искусства, оставаясь незамеченными в силу своей известности, – спиричуэлы (“Наконец-то свобода”), Геттисбергская речь Авраама Линкольна, Декларация независимости США, патриотическая песня “Страна моя, это все о тебе” Сэмюела Фрэнсиса Смита, “Пусть Америка снова станет Америкой” Лэнгстона Хьюза, Исход, Послание к Галатам святого апостола Павла, Книга Исайи, Книга Амоса, “Ричард III” Шекспира, народная песня “Эта страна – наша с тобой” и “Автобиография” У. Э. Б. Дюбуа (“та славная Америка, о которой мечтали отцы-основатели”).

Обстоятельное исследование *(фр.)*.

51

Машина Руба Голдберга – устройство, которое выполняет простое действие сложным образом по “принципу домино”. Названо в честь американского карикатуриста и изобретателя Руба Голдберга (1883–1970) *(прим. перев.)*.

Набоковы также встречались с Гарри Левиным и его русской женой Еленой, которые познакомили их с писателем Джоном Дос Пассосом; встречались с Карповичами, с Артуром и Мэриан Шлезингерами, с художником Билли Джеймсом, сыном философа Уильяма Джеймса и племянником писателя Генри Джеймса.

Здесь: точность выражений *(фр.)*.

Это явление, имеющее немало свидетельств, обычно объясняют сильной усталостью. Возможно, Дмитрий рассказывал об этом отцу. В мемуарах Дмитрий признается, что “читал о призрачном «третьем человеке», который сопровождал на большой высоте первых альпинистов, пытавшихся покорить Гималаи”.

55

А вскоре Невада и вовсе перегнала Вайоминг, поскольку в Лас-Вегас потянулся народ. Вайоминг – горное сердце Америки, и этим он тоже очень нравился Набоковым: в хребет Титон входило несколько легендарных и самых опасных для восхождения пиков среди всех Скалистых гор.

У Гоголя, оглушенного успехом “Ревизора” и “Мертвых душ” (писателя ранило, что критики не поняли его произведения), Набоков научился тому, что надо быть готовым разочаровать, обмануть ожидания читателей, слишком сильно его любивших, или же (быть может, и зря) стоять на своем и ни за что не извиняться.

57

В письме Сильвии Беркман в начале февраля 1959 г. Вера признавалась: “Я хотела написать вам гораздо раньше, но совершенно запуталась, поскольку непосильно загружена работой. Владимир отказывается принимать даже малейшее участие в собственных делах, а у меня не хватает сил и знаний разобраться с ними должным образом. К тому же я вовсе не мадам де Севинье, и после десяти – пятнадцати писем в день чувствую себя разбитой”.

58

Осенью 1959 г. Набоковы впервые за двадцать лет поехали в Европу – на чествование “Лолиты”. Дмитрий же планировал перебраться жить в Италию, чтобы учиться там вокалу. В итоге он действительно переехал в Италию, и в конце концов родители обосновались неподалеку от него: им всегда хотелось жить рядом с сыном.

59

Не буду служить *(лат.)*.

Есть еще школа злой критики, когда разбирают произведения великого писателя и заявляют, мол, нет в них ничего особенного. Пожалуй, самым ярким представителем подобного течения был Эндрю Филд, чьи исследования творчества Набокова в 1970–80-е годы, кажется, писались с единственной целью: доказать, что критик ничуть не глупее писателя. Надеюсь, я все же не таков. Надеюсь также, что мою книгу не сочтут грубыми националистическими нападками на интернациональное творчество Набокова, попыткой ксенофобской Америки заявить на него свои права, засунуть его произведения поглубже в папку Американских Писателей и заявить, что это – последнее слово: больше о нем сказать нечего. Не бывает последних слов.